This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Б. М. МАРКЕВИЧЪ.

30140
4

MH
6342

17211

Markevich, B. M.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Б. М. МАРКЕВИЧА.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія (бывшая) А. М. Котомина, Фонтанка, д. № 93.
1885.

PG 3467
M327
1885
v. 3

Содержаніе

ТРЕТЬЯГО ТОМА:

	стран.
Марина изъ Алаго Рога.	1
Княжна тата	257
Лѣсникъ	329

МАРИНА ИЗЪ АЛАГО-РОГА.

МАРИНА ИЗЪ АЛАГО-РОГА.

СОВРЕМЕННАЯ БЫЛЬ *).

(Посвящается графинѣ Соф. Андр. Толстой).

Poor soul!
Hamlet.

I.

Въ большой осьмиугольной залѣ, освѣщенной круглыми, en oeil de boeuf, только-то начисто вымытыми окнами, стояла, наклонясь надъ длиннымъ дубовымъ столомъ, занимавшимъ всю средину покоя, красивая, статная дѣвушка. Разбиваясь о широкіе переплеты оконъ, багровые лучи заката играли причудливыми бликами въ складкахъ широкихъ, узорно расшитыхъ рукавовъ ея бѣлой, украинской рубахи, скользили по ея смуглой, полной шеѣ, и, словно нить расплавленнаго золота, вились по лоснящимся изгибамъ темной, небрежно свитой въ переплетъ, съ пунцовою лентой, длинной и тяжелой косы, которую дѣвушка нетерпѣливымъ движеніемъ руки только-что перекинула себѣ со спины на грудь. Она стояла повернув-

*) Впервые напечатана въ первыхъ трехъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ за 1873 годъ. Въ слѣдующемъ 1874 году книгопродавецъ-типографъ М. О. Вольфъ издалъ въ трехъ томахъ, подъ названіемъ: „На поворотѣ“, „Забытый вопросъ“ и „Марину изъ Алаго-Рога“ и напечаталъ эту „Современную быль“ въ первомъ томѣ своего изданія.

шись отъ солнца и, упираясь обѣими ладонями о столъ, провѣряла глазами по лежавшему предъ ней каталогу длинный рядъ томовъ дорогихъ, преимущественно англійскихъ изданій, сейчасъ разобранныхъ и уставленныхъ ею въ порядкѣ. То были недавно прибывшія книги, какъ можно было заключить по большому деревянному ящику, стоявшему тутъ же на свѣженавощенномъ паркетѣ, и по цѣлому вороху разорванныхъ листовъ нѣмецкихъ газетъ, въ которыя онѣ были тамъ обернуты. Дѣвушка полугромко читала ихъ названія, произнося англійскія слова какъ французскія, и при этомъ догадливо сжимала свои густыя брови, сознавая чутьемъ, что произноситъ не такъ...

— *History of Greece*, by George Groot esq., читала она.— двѣнадцать томовъ. Всѣ. *Pauperism, its causes and remedias* prof... то-есть *профессоръ*, значитъ Fawcet. Одна толстая книга. Тутъ. *Dissertations and discussios*... J. S. Mill... Ахъ. это вѣрно сочиненія знаменитаго Милля! съ какою-то ребяческою радостью воскликнула она.

— Что, готово? раздался за нею хриплый, но громкій голосъ, и, мягко вступая по протянутой изъ сосѣдней комнаты холстяной дорожкѣ, вошелъ въ залу плотный, рослый и лысый какъ колѣно мужчина лѣтъ пятидесяти. во фракѣ и лѣтнемъ желтоватаго колера платкѣ на шеѣ. Это былъ Іосифъ Козьмичъ Самойленко, глинскій землевладѣлецъ и главноуправляющій малорусскими имѣніями графа Владиміра Алексѣевича Завалевскаго, котораго съ минуты на минуту ожидали въ Аломъ-Рогу, мѣстѣ настоящаго нашего разсказа.

— Вотъ вы мнѣ никогда не хотѣли нанять англійскаго учителя, молвила вмѣсто отвѣта дѣвушка, не оборачиваясь и перелистывая взятый ею со стола томъ Милля,—изъ десяти фразъ девять не понимаешь... срамъ просто!...

— А ну тебя съ англійскимъ учителемъ! гнѣвно кашлянулъ Іосифъ Козьмичъ.—Спрашиваю: убирать это можно?

Онъ толкнулъ ногой въ пустой ящикъ.

— Можете, все также не отрывая глазъ отъ книгъ отвѣчала она.

Іосифъ Козьмичъ захлопалъ въ ладоши. Двое чисто одѣ-

тыхъ, но довольно растрепанныхъ слугъ выбѣжали изъ передней.

— Тащите вонъ... Да не такъ, стой! Эка порода-то сиволапая! На руки подымай, дурачье! Вамъ вѣдь, ерепеи вы вислоухіе, что̀ мазаный полъ, что̀ паркетъ тысячный—одинъ чортъ!... суетился и ругался господинъ Самойленко.

— Грубо и несовременно! громко замѣтила дѣвушка, приподымая плечи, между тѣмъ какъ „вислоухіе ерепеи“, нескладно переплетая ноги и тѣсно прижимаясь боками къ сторонкамъ тяжелаго ящика, выносили его изъ залы.

— Такъ я и посмотрю на твою современность! отгрызся Іосифъ Козьмичъ, медленно шагая за ними и не покидая ящика озабоченнымъ взглядомъ.

— *Ceschichte der neuen Philosophie* von Cuno Ficher, продолжала читать дѣвушка, слѣдя за числомъ книгъ по каталогу.—Есть. *Parerga und Parallelipomena*, von Arthur Schopenhauer, два тома. Тутъ. *History of civilization in England* by Thomas Buckle. Она прочла „Бюкль“—и вдругъ догадалась.—Ахъ, Боже мой, да это *Бокль!* Бокль въ оригиналѣ! повторила она съ торжествомъ, и на ея крупныхъ и какъ спѣлая вишня алыхъ губахъ сложилась мгновенно полуудивленная, полупрезрительная улыбка. Въ ея понятіяхъ Бокль былъ *такая современная и передовая книга*,—сама она впрочемъ никогда не могла осилить „эту книгу,“—что она никакъ не могла себѣ ее представить въ рукахъ заскорузлаго аристократа и капиталиста, какимъ несомнѣнно долженъ былъ быть этотъ *противный графъ*, у котораго въ одномъ ихъ уѣздѣ тридцать тысячъ десятинъ земли и три каменные *дворца*, какъ говорятъ въ ихъ Сѣверской сторонѣ крестьяне... А между тѣмъ нельзя было усомниться, что „этотъ Бокль“ принадлежалъ тому самому графу: она сама вытащила эти два толстые тома вмѣстѣ съ другими изъ ящика и, какъ Пушкина Татьяна, могла даже замѣтить на поляхъ ихъ „слѣды его карандаша“... Она еще разъ дернула плечомъ и равнодушно зѣвнула...

— Что̀ же, онѣ тутъ лежать останутся, или на полки ихъ уставить? спросилъ, возвращаясь изъ передней, Іосифъ Козьмичъ, указывая на книги толстымъ перстомъ, на которомъ

блестѣлъ огромный сердоликовый перстень съ вырѣзаннымъ на немъ гербомъ древняго рода Самойленковъ.—Какъ по-вашему современнѣе, Марина Осиповна? примолвилъ онъ, уже подсмѣиваясь.

— Какъ хотите... Вотъ здѣсь свободно, отвѣчала она, обводя глазами залу, всѣ простѣнки которой заняты были полками огромной старой библіотеки Завалевскихъ, и останавливая ихъ на одномъ пустомъ мѣстѣ.—Только, если уставлять, — позовите кого-нибудь: я свое дѣло сдѣлала и устала ужасно...

— А пусть себѣ на столѣ останутся, рѣшилъ Іосифъ Козьмичъ,—самъ пріѣдетъ, куда захочетъ, туда и ткнетъ... Только что-жь его нѣтъ до сихъ поръ?—Главноуправляющій вынулъ часы. — Поѣздъ приходитъ четвертаго въ половинѣ, а теперича восьмой въ началѣ; неужто-жь имъ 25 верстъ нужно тащиться четыре часа? Собственныхъ своихъ саврасыхъ подъ него послалъ съ Лаврентьемъ... Человѣкъ непьющій... Развѣ самъ не пріѣхалъ, а заставилъ меня даромъ во фракъ нарядиться? Отъ такого шелопута и этого неуваженія, пожалуй, ожидать можно! фыркнулъ въ заключеніе господинъ Самойленко, надменно выпучивая впередъ животъ свой.

— Откудова писалъ онъ, что пріѣдетъ? спросила Марина.

— Изъ Санктъ-Петербурга, и въ письмѣ акуратно обозначилъ день и часъ...

— Такъ онъ въ Петербургѣ теперь живетъ? перебила его дѣвушка.

— А кто его знаетъ! Предпослѣднее письмо изъ Лондона было... А предъ тѣмъ годъ ровно не писалъ ничего. А въ позапрошломъ годѣ изъ Америки получилъ я отъ него цыдулку: выслать ему двѣнадцать тысячъ въ Парижъ.

— Онъ и въ Америкѣ былъ? воскликнула дѣвушка.

— А тамъ бы ему и оставаться! прорвался на это вдругъ Іосифъ Козьмичъ. — На что ему сюда пріѣзжать? Только путать станетъ да мѣшать.

Господинъ Самойленко не договорилъ, но его раздувшіяся ноздри и поджатыя губы говорили достаточно о досадѣ и глу-

бокомъ безпокойствѣ, которыя причинялъ ему этотъ нежданный пріѣздъ его патрона.

Упершись головой на обѣ руки, дѣвушка внимательно слѣдила за выраженіемъ его лица, и странная улыбка блуждала на складкахъ ея рта:

— Какъ же онъ вамъ мѣшать будетъ, сказала она, — когда онъ совсѣмъ не реальный человѣкъ и никакой практической почвы подъ нимъ нѣту?

— Да, толкуй себѣ — практической почвы нѣту! качнулъ головой Іосифъ Козьмичъ.—Всѣ они теперь за практику взялись, какъ и половины у нихъ прежнихъ доходовъ не стало... Только изъ практики-то этой пока все у нихъ одинъ пшикъ выходитъ, домолвилъ онъ, внезапно хихикнувъ.—Вѣдь прочія-то имѣнія онъ чуть не всѣ, говорятъ, передалъ какой-то родственницѣ, княгинѣ Солнцевой; остаются у него теперь одни *мои*...

— А на долго ему вашихъ хватитъ? вдругъ засмѣялась Марина.

Іосифъ Козьмичъ не понялъ и вопросительно обернулся на нее. Но глаза ея были опущены и съ какимъ-то почти печальнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ спросила она:

— Молодъ онъ еще?

— Какое молодъ! Когда я, объяснялъ господинъ Самойленко,—по просьбѣ покойнаго дяди его, графа Константина Владиміровича, вступилъ въ управленіе Алорожской экономіей,—этому теперь двадцать первый годъ пошелъ,—онъ ученіе свое кончалъ въ Москвѣ, въ университетѣ, потому покойный графъ, какъ теперь помню, велѣлъ ему выслать шесть тысячъ на экипировку...

— Такъ онъ теперь ужь совсѣмъ старикъ?

— Ну, не совсѣмъ, возразилъ, крякнувъ, Іосифъ Козьмичъ,—а до моихъ лѣтъ, пожалуй, и не такъ далеко ему...

— И такой-же какъ вы... *облый?* засмѣялась опять Марина, употребляя вычитанное ею гдѣ-то выраженіе, которое ей очень нравилось, и изображая руками по воздуху пространную округлость Іосифа Козьмича.

— Не видалъ я его никогда, а должно-быть пожиже, бу-

детъ, самодовольно отозвался господинъ Самойленко,—потому не тотъ ихъ родъ совсѣмъ. Я въ дѣда вышелъ, въ генералъ-поручика...

— Опять аристократничать начали, про родъ свой и про дѣдушку генералъ-поручика! насмѣшливо воскликнула Марина.

Злобно взглянулъ на нее господинъ Самойленко, и лысина его мгновенно побагровѣла.

— Ты такъ глупо разсуждаешь, закричалъ онъ на дѣвушку, — потому... потому въ тебѣ кровь... И, какъ бы спохватившись, тотчасъ же мягче примолвилъ: сумбуръ одинъ изъ книгъ-то вычитала!...

— Ничего тутъ книги не виноваты, хладнокровно отвѣчала она, хотя лицо ея мгновенно поблѣднѣло, — а только какъ вы себѣ тамъ ни толкуйте, а все же онъ, каковъ ни есть, *графъ*, а вы его управляющій...

— А мнѣ наплевать на этого графа, совсѣмъ ужь разсвирѣпѣлъ Іосифъ Козьмичъ. — Завтра съ нимъ попрощаюсь, такъ, можетъ, почище его самъ графъ буду!...

Онъ обернулся всѣмъ своимъ грузнымъ тѣломъ, поймавъ на-лету взглядъ Марины, съ любопытствомъ обращенный къ дверямъ, выходившимъ въ садъ.

Онѣ были раскрыты на половину, и изъ-за нихъ господинъ Самойленко различилъ кого-то ему незнакомаго, подымавшагося по ступенькамъ лѣстницы, что̀ вела изъ сада въ библіотеку.

— Кого вамъ угодно? крикнулъ онъ гнѣвно подъ свѣжимъ еще впечатлѣніемъ перемолвки своей съ Мариной.

— Я ищу здѣшняго управляющаго, отвѣчалъ густой и въ то же время мягкій, словно звукъ віолончелевой струны, голосъ, и на порогѣ залы показался человѣкъ довольно высокаго роста, въ изно̀шенномъ сѣромъ пальто, съ блѣднымъ, усталымъ лицомъ и густыми, почти совершенно сѣдыми волосами, падавшими со всѣхъ сторонъ большими взъерошенными кольцами.

— Кого вамъ? повторилъ свысока управляющій.

— Осипа Кузьмича Самойленко, отвѣчалъ нововошедшій, подымая на него большіе и усталые, какъ и вся его наружность, глаза.

— І-о-сифа Ко́зь-мича, поправилъ его господинъ Самойленко:—онъ передъ вами...

— Ахъ, это вы... я очень радъ, проговорилъ тотъ, очевидно нѣсколько озадаченный такимъ пріемомъ.—Я... я графъ Завалевскій...

Іосифа Козьмича точно черепицей съ крыши по головѣ хватило. Онъ совершенно растерялся.

— Ваше сіятельство, помилуйте, захлопоталъ онъ, прижимая обѣ руки къ груди и топоча на мѣстѣ словно помимо его воли заходившими пятками,—какъ же вы такъ... пѣшкомъ... и черезъ садъ?... За вами послана... четверня, въ коляскѣ... Неужели?...

— Очень вамъ благодаренъ, поспѣшилъ сказать графъ, лошади ждали насъ у станціи желѣзной дороги, и мы отлично ѣхали, но тутъ, верстахъ въ четырехъ, на пути, лопнула у насъ шина на колесѣ. Къ счастью, тутъ же недалеко оказалась кузница, куда мы кое-какъ дотащились... Со мною одинъ пріятель ѣдетъ, князь Пужбольскій, — онъ тамъ остался съ людьми, пока наварятъ новую шину, а я предпочелъ дойти сюда пѣшкомъ ..

Господинъ Самойленко между тѣмъ успѣлъ овладѣть собою; ему стало ужасно досадно за то невольно овладѣвшее имъ чувство приниженности и страха, которое онъ выразилъ въ первую минуту предъ графомъ, да еще въ присутствіи Марины, и закинувъ голову назадъ:

— Такая непріятность съ каждымъ можетъ случиться, преувеличенно развязнымъ тономъ заговорилъ онъ,—я кучеру своему далъ приказаніе запречь лошадей въ экипажъ, въ которомъ я ѣзжу самъ, и, конечно... очень жалѣю... но провѣрять крѣпость шинъ не входило въ кругъ моихъ соображеній... и, такъ-сказать, обязанностей...

Іосифъ Козьмичъ остался очень доволенъ этимъ изъявленіемъ независимости своей и достоинства и съ торжествомъ на челѣ покосился на Марину. Но она не глядѣла на него и все въ томъ же положеніи, у стола, упершись головой объ обѣ руки, съ какимъ-то нетерпѣливымъ любопытствомъ въ заго-

рѣвшихся глазахъ слѣдила за каждымъ словомъ, за каждымъ движеніемъ Завалевскаго.

А графу понравилась выходка его управляющаго. „Не рабствуетъ по-крайней-мѣрѣ“, подумалъ онъ.

— Мнѣ было бы очень досадно, если бы этого со мною не случилось, весело сказалъ онъ. — Я пошелъ одинъ по дорогѣ... и, вообразите, послѣ двадцати пяти лѣтъ отсутствія, узналъ мѣста, припоминалъ, угадывалъ... Я такъ былъ радъ,— старый дубъ, другъ моего дѣтства, подъ которымъ я заучивалъ mensa, mensae, онъ все тутъ, и я—такъ это крѣпко засѣло у меня въ памяти съ тѣхъ поръ,—отсчиталъ 85 шаговъ отъ него до калитки сада. Вышло ровно такъ, улыбнулся Завалевскій,—и такой доброй, сердечной улыбки никогда еще не видала Марина...

— А не изволили вы замѣтить, смягчаясь вдругъ, спросилъ Іосифъ Козьмичъ, — когда вы остановились у кузницы, въ какомъ видѣ былъ кузнецъ?

— Онъ очень мраченъ, сколько я могъ замѣтить, продолжалъ улыбаться тотъ.

— То-то, ненадеженъ, закапризничаетъ случаемъ, такъ и до самой ночи, пожалуй, провозится съ работой... Я лучше отправлю сейчасъ шарабанъ за княземъ, а вещи привезутъ на подводѣ... Вѣдь и люди съ вами?

— Съ Пужбольскимъ его камердинеръ; со мною никого, отвѣчалъ графъ, опускаясь въ кресло и съ задумчивою улыбкой обводя взоромъ кругомъ себя.

— Я сейчасъ прикажу... И припоминая: — книги ваши прибыли только вчера, сказалъ г. Самойленко,—она вотъ, по порученію моему, разобрала...

Онъ кивнулъ головой на Марину и на столъ съ книгами и вышелъ изъ покоя.

Завалевскій разсѣянно взглянулъ по направленію стола, смутно замѣтилъ женщину, машинально вскочилъ съ мѣста и, пробормотавъ „mille pardons“, такъ же машинально принялся торопливо подвязывать распустившійся галстухъ. Но мысли его были далеко; онъ не замѣтилъ ни небрежнаго до невѣжливости поклона, какой сочла обязанностью своею отпустить

ему Марина, ни разбиравшій ее смѣхъ, когда онъ, постоявъ нѣкоторое время на мѣстѣ, опустился снова въ кресло и, не обращая уже на нее никакого вниманія, принялся бормотать что-то про себя, какіе-то стихи, и даже нѣмецкіе, такъ какъ до ея слуха явственно донеслись слова: „schwankende Gestalten“, и потомъ „Herz“ и затѣмъ что-то еще непонятное...

— Вы устали съ дороги? крикнула она ему неожиданно съ напускною рѣшимостью; въ сущности ей было почему-то очень неловко.

— Я?...

Завалевскій встрепенулся словно отъ сна, поднялъ опущенныя вѣки—и при горячемъ трепетаніи широко падавшаго на нее въ эту минуту столба свѣта увидѣлъ предъ собою странное, поразившее его своею оригинальною красою созданіе. Изъ-подъ почти черныхъ бровей, очерченныхъ красивою и смѣлою дугой, глядѣли прямо на него большіе лучистые голубые глаза, съ выраженіемъ какой-то ребяческой дерзости и простодушнаго недоумѣнія. — Отчего ты такой совсѣмъ особенный? казалось, говорили эти недоумѣвавшіе и умные глаза. Неправильный, нѣсколько грубоватый рисунокъ слегка вздернутаго носа и пышныхъ, молодыхъ губъ, широкія плечи и, изъ-подъ шитой рубашки, роскошныя очертанія бюста, напоминавшія франкфуртскую Аріадну, матовый, безъ тѣни, но яркій, словно позолоченный цвѣтъ кожи и низкій, гладкій лобъ, по обѣимъ сторонамъ котораго, закрывая уши, свободно спускались волны русыхъ волосъ, сливавшихся гдѣ-то сзади въ одну огромную косу,—все это исполнено было такой жизни, силы, своеобразія, въ этомъ молодомъ обликѣ было что-то такое свѣжее, непочатое, — почвенное, внутренно сказалъ себѣ Завалевскій,—что всѣ артистическія струны его существа загремѣли въ немъ вдругъ какимъ-то всезаглушающимъ аккордомъ. Онъ закинулъ голову, ударилъ рукою объ руку и воскликнулъ:

— Ахъ, какъ вы красивы!...

— Что-о? грубо и обиженно отрѣзала она ему въ отвѣтъ метнувъ на него гнѣвнымъ взглядомъ, между тѣмъ какъ все лицо ея озарялось пожаромъ.

Онъ покраснѣлъ еще рѣшительнѣе, чѣмъ она, взъерошилъ въ замѣшательствѣ свои волосы и проговорилъ слегка дрогнувшимъ голосомъ:

— Ради Бога, извините меня... Я бываю иногда разсѣянъ до безобразія... Но вы, смѣю надѣяться, не можете думать, чтобъ я намѣренно... При этомъ свѣтѣ... и вашъ костюмъ... и эти волосы—мнѣ представились...

Марина глянула на него изподлобья и вдругъ разразилась оглушительнымъ, неудержимымъ смѣхомъ.

— Ахъ, какой вы шутъ уморительный! воскликнула она въ свою очередь.

Дико зазвучала въ первую минуту эта примитивная откровенность въ ушахъ графа. Но смѣхъ дѣвушки былъ такъ искренень, такъ сообщителенъ, — онъ былъ внѣ всякаго кодекса свѣтскихъ приличій, но за то всѣ приличія, взятыя вмѣстѣ, не стоили этого свободнаго молодаго смѣха. Завалевскій почувствовалъ это — и расхохотался въ одну ноту съ Мариной...

Онъ подошелъ къ столу со стороны противоположной той, у которой она стояла, и взявъ первую попавшуюся ему подъ руку книгу.

— Осипъ... Іосифъ Козьмичъ, поправился онъ,—говорилъ сейчасъ... вашъ батюшка? прервалъ онъ себя, вопросительно поведя на нее взглядомъ.

Она кивнула утвердительно, помаргивая все еще смѣявшимися глазами.

— Онъ говорилъ сейчасъ, продолжалъ графъ, — что вы дали себѣ трудъ привести мои книги въ порядокъ.

— Дала себѣ этотъ трудъ и даже очень утомилась, таская ихъ изъ ящика, насмѣшливо проговорила дѣвушка; она такъ и ожидала, что „смѣшной старичекъ“, какимъ сейчасъ представился ей Завалевскій, подастъ ей немедленно новый поводъ къ смѣху.

Но онъ неожиданно для нея замолкъ мгновенно, и мысль его, — она поняла это, — далеко отлетѣла отъ нея, отъ всего окружавшаго его въ эту минуту. Онъ безсознательно перебиралъ пальцами по книгѣ, оставшейся у него въ рукѣ, и гля-

дѣлъ недвижно въ окно, откуда виднѣлась безконечная лѣсная даль съ ея померкавшими въ тѣняхъ набѣгавшаго вечера вершинами. Его лицо приняло опять свое усталое, чтобы не сказать унылое, выраженіе. Но Марина, одною шириной стола отдѣленная отъ него, успѣла разглядѣть его тонкія черты, его длинные блѣдные пальцы и нѣжную шею подъ помятыми воротничками цвѣтной рубашки и съ удивленіемъ спрашивала она себя: „да старикъ-ли онъ въ самомъ дѣлѣ?“...

— У васъ, къ сожалѣнію, все больше англійскія книги, заговорила она громко, чтобы сказать что-нибудь: не то досаду, не то какую-то странную жалость подымала во днѣ ея души непонятная ей унылость этого человѣка.

Онъ опять словно проснулся и какъ бы совершенно позабылъ все, что было предъ этимъ. Онъ уложилъ локти на столъ и съ доброю своею улыбкой уставился прямо въ лицо Марины.

— А вы по-англійски не читаете?

— Нѣтъ, сказала она:—я по-французски знаю порядочно, по-нѣмецки хуже, а по-англійски совсѣмъ нѣтъ,—не учили...

Онъ помолчалъ, потомъ спросилъ:

— А вообще вы много читаете?

— Да, все, что попадется, я очень люблю...

Онъ покачалъ головой—и ничего не сказалъ.

Но Марина поняла его неодобреніе и отпустила тотчасъ же колкимъ тономъ:

— А по-вашему, разумѣется, женщина должна ничему не учиться и ничего не читать?...

Онъ не отвѣчалъ, какъ бы соображая, и продолжалъ покачивать головою.

Она было вскинулась „развивать ему свои убѣжденія“ относительно „женскаго вопроса“, но вдругъ пріостановилась.—Лучше пусть онъ спрашиваетъ, подумала она, — *доказать* всегда успѣю...

Онъ дѣйствительно спросилъ ее, читала-ли она поэтовъ?

— Да... нѣкоторыхъ, отвѣчала она не сейчасъ, такъ какъ нѣкоторое время прошло въ колебаніи: слѣдуетъ-ли признаться въ этомъ, или нѣтъ?

— И любите? неумолимо допрашивалъ Завалевскій.

— Такъ себѣ, средственно, пояснила она. И бѣлые, ровные какъ подобранная нить жемчуга зубы сверкнули подъ приподнявшеюся верхнею губой Марины.

— Кого-же, напримѣръ?

— Ну, Некрасова, разумѣется...

— Разумѣется, повторилъ онъ съ какою-то невеселою усмѣшкой.—А Пушкина?

На устахъ ея сложилась легкая гримаска.

— Да, онъ мнѣ нравится, сказала она,—только вѣдь онъ не развитъ...

— Что-съ? Какъ вы это сказали? чуть не съ ужасомъ вскрикнулъ графъ,—это Пушкинъ *не развитъ?*..

— Ну, конечно! съ торжествующею улыбкой подтвердила она.

На этотъ разъ графъ подумалъ, что она дѣйствительно его въ глаза дурачитъ. Но онъ ошибался. Бѣдная Марина дѣйствительно была „убѣждена“, что Пушкинъ „не развитъ“. Ей это преподалъ одинъ учитель изъ семинаристовъ, сосланный въ Глинскъ за участіе въ какой-то „политической агитаціи“ и переведенный оттуда „за пропаганду вредныхъ соціалистическихъ ученій“ — какъ значилось въ казенной бумагѣ,—въ дальнюю губернію. Когда онъ уѣзжалъ съ жандармами изъ города, уѣздныя почитательницы его поднесли ему у заставы букетъ изъ левкоевъ и булавку для галстуха; булавка изображала кинжалъ, по лезвею котораго микроскопическими буквами вырѣзано было одно таинственное слово: *Гармодію* *). Идея кинжала и надписи принадлежала самому „мученику“, а деньги на символическій подарокъ, заказанный одному жиду-мельнику, который въ то же время былъ и часовыхъ, и золотыхъ дѣлъ мастеръ, собраны были по подпискѣ, въ которой участвовала и Марина. Какъ же было ей не повѣрить на слово такому авторитету?.. А иныя стихотворенія Пушкина, какъ нарочно, такъ нравились ей, такъ забирали ее за душу... Но все-же таки „онъ былъ не развитъ“, упрямо говорила она себѣ...

---

*) Гармодій, при помощи друга своего Аристогитона, умертвившій Гиппарха, одного изъ двухъ тирановъ аѳинскихъ.

II.

— Шарабанъ и подвода отправлены, возгласилъ г. Самойленко, возвращаясь въ залу, и примолвилъ офиціальнымъ тономъ:—въ столовой собраны всѣ лица, принадлежащія къ управленію Алорожской экономіи; если вашему сіятельству угодно будетъ...

— Ахъ, нѣтъ, ради Бога, Ос... Іосифъ Козьмичъ! воскликнулъ графъ въ какомъ-то перепугѣ! я ненавижу всякую казенщину... избавьте меня, пожалуйста!.. И—замѣтивъ обиженное выраженіе, которое внезапно изобразилось въ чертахъ г. Самойленка:—Позвольте, позвольте мнѣ прежде всего, поспѣшилъ онъ сказать,—познакомиться, подъ вашимъ руководствомъ, съ самымъ дѣломъ... а затѣмъ вы мнѣ всегда успѣете представить... если это необходимо... подначальныхъ вамъ лицъ...

Іосифъ Козьмичъ самодовольно наклонилъ голову: это было даже болѣе, чѣмъ онъ ожидалъ.

„Ни съ дѣломъ, ни съ людьми во-вѣки вѣковъ не быть тебѣ знакомымъ, милый мой!“ рѣшилъ онъ въ умной головѣ своей.

— Да не угодно-ли вамъ будетъ, Владиміръ Алексѣевичъ, весело и развязно заговорилъ онъ, понявъ какъ-то сразу, en bloc, что за человѣкъ былъ Завалевскій, и почитая вслѣдствіе сего за лучшее не называть его ни „вашимъ сіятельствомъ“, ни „графомъ“,—не хотите-ли съ дороги закусить чего-нибудь?...

— Нѣтъ, я нисколько не голоденъ... Чаю развѣ...

— Сейчасъ устроимъ... Марина, ступай, распорядись!..

— Ахъ, зачѣмъ вамъ безпокоиться! живо обернулся на нее графъ.

— Она у меня хозяйка, съ достоинствомъ произнесъ Іосифъ Козьмичъ, какъ бы желая дать ему почувствовать, что это молъ единственно изъ гостепріимства оказывается тебѣ внимательность.

— Что, вы въ стаканѣ пьете? спросила Марина Завалевскаго, скользнувъ по немъ своимъ лучистымъ взглядомъ.

— Въ чашкѣ, если позволите:—я въ гусарахъ не служилъ, примолвилъ онъ, смѣясь.

Марина такъ и покатилась.

— А кто въ стаканѣ пьетъ, тотъ непремѣнно былъ гусаромъ? спрашивала она, сама удивляясь тому, изъ-за чего сдѣлалось ей такъ вдругъ весело, и указывая пальцемъ на Іосифа Козьмича:—то-то видно сейчасъ, что онъ былъ военнымъ прежде, проговорила она, — стакановъ по пятнадцати дуетъ!

Завалевскаго всего покоробило отъ этого жеста, отъ этого вульгарнаго выраженія. Болѣзненно передернуло у него подъ правымъ глазомъ, точно кто подъ самымъ его ухомъ визгнулъ по стеклу мокрымъ пальцемъ. Онъ конфузливо опустилъ голову, боясь встрѣтиться глазами съ Мариной. Но она все видѣла, отгадала чутьемъ впечатлѣніе, произведенное ею на него, и, заалѣвъ по самый лобъ, сердито сдвинувъ брови и закусивъ нижнюю губу, она прянула съ мѣста и, промолвивъ скороговоркой: „я вамъ сейчасъ пришлю чаю“, выпрыгнула изъ залы, словно испуганная коза...

Іасифъ Козьмичъ также все видѣлъ,—и лукавая улыбка скользнула по его толстымъ губамъ, когда Завалевскій, проводивъ Марину какими-то весьма подозрительными, по мнѣнію г. Самойленка, глазами, поднялъ ихъ на него и сказалъ:

— Замѣчательная наружность у вашей дочери, Іосифъ Козьмичъ!...

— Да-съ, отвѣчалъ онъ, придвигая къ себѣ кресло ногой и усаживаясь въ немъ какъ можно спокойнѣе насупротивъ графа:—красавица, могу сказать безъ лишней скромности... И воспитана,—насколько это только возможно было въ нашей глухой сторонѣ. Покойница жена моя, примолвилъ онъ со вздохомъ,—происходившая изъ рода князей Серебряныхъ-Телеп-

невыхъ,—въ домѣ даже ихъ воспитаніе получила,—сама была женщина образованная... и съ другой стороны, мы ничего не жалѣли, конечно...

Іосифъ Козмичъ передохнулъ и взглянулъ на графа.

Тотъ молчалъ и загадочно глядѣлъ на него.

— И справедливость требуетъ сказать, началъ опять г. Самойленко, и уже съ нѣкоторымъ паѳосомъ,—сѣмена, посѣянныя такъ-сказать нами, пали не на неблагодарную почву. Училась она прекрасно и отъ природы весьма понятлива... даже прямо надо сказать—умна! И Іосифъ Козьмичъ кивнулъ головой самоувѣренно и рѣшительно...

— Умна? повторилъ графъ, все такъ же загадочно глядя на него.

Г. Самойленкѣ послышалось сомнѣніе въ звукѣ его голоса.

— Конечно, поспѣшилъ онъ добавить, какъ бы извиняясь за Марину,—по первому разговору вы могли... можетъ быть заключить... Но съ этимъ ничего не подѣлаешь... идеи вѣка...

— Идеи вѣка! опять повторилъ Завалевскій и вдругъ засмѣялся: очень забавнымъ зазвучало ему это выраженіе въ устахъ господина Самойленки,—ничего съ этимъ не подѣлаешь, конечно...

Онъ тотчасъ же затѣмъ какъ бы припомнилъ что-то и, какъ бы боясь позабыть это вдругъ вспомянутое, торопливо спросилъ, подымаясь съ мѣста:

— Кабинетъ покойнаго дяди тутъ налѣво, не правда-ли?

— Черезъ корридоръ налѣво, отвѣчалъ озадаченный Іосифъ Козьмичъ, указывая дверь рукою и не трогаясь изъ своего кресла. Но, увидѣвъ, что Завалевскій, не оглядываясь, быстро направился въ сторону кабинета, онъ поднялся покряхтывая съ мѣста и пошелъ за нимъ.

Кабинетъ бывшаго владѣльца Алаго-Рога была пространная четырехъ-угольная подъ высокимъ сводомъ комната, оклеенная темно-малиновыми обоями съ такого же цвѣта кожаною мебелью вокругъ стѣнъ, и большимъ, съ цѣльными стеклами, венеціянскимъ окномъ, обращеннымъ къ широкому плесу—*виру*, по мѣстному выраженію,—свѣтлой и быстрой рѣчки, Алаго-Рога, отъ котораго и вся вотчина Завалевскаго

принимала свое названіе... Чѣмъ-то затхлымъ, сумрачнымъ и суровымъ вѣяло въ этомъ, послѣ многихъ лѣтъ сегодня только, чувствовалось, открытомъ и провѣтренномъ покоѣ. Старинныя, пожелтѣвшія отъ времени гравюры съ Рафаэлевскихъ картинъ въ вычурныхъ, рукою самого покойнаго графа выточенныхъ рамахъ, непривѣтливо глядѣли со стѣнъ. На дубовомъ объемистомъ столѣ, такомъ же, какой стоялъ въ библіотекѣ, сиротливо лежала развернутая книга въ древнемъ пергаментномъ переплетѣ, и рядомъ съ нею бѣлѣлась акуратно сложенная кипка свѣжепереписанныхъ крупною конторскою рукою вѣдомостей и счетовъ, подготовленныхъ г. Самойленкой къ пріѣзду Завалевскаго...

— Ничего здѣсь не тронуто; какъ застала смерть покойнаго, въ самомъ томъ видѣ велѣлъ я все оставить, доложилъ онъ, останавливаясь на порогѣ кабинета, между тѣмъ какъ графъ задумчиво подходилъ къ окну.

— Онъ здѣсь и умеръ?

— На этомъ вотъ самомъ мѣстѣ. Іосифъ Козьмичъ указалъ на кресло, стоявшее у окна.—Вышелъ онъ, по обыкновенію, изъ спальни, послѣ утренняго чаю, сюда, сѣлъ за книгу и...

Но Завалевскій, какъ бы избѣгая тяжелыхъ воспоминаній, или подъ вліяніемъ другой занимавшей его въ эту минуту мысли, прервалъ его приглашеніемъ сѣсть и „вооружиться терпѣніемъ, такъ какъ онъ имѣетъ сообщить ему нѣчто, и посовѣтоваться съ нимъ относительно сего, и что собственно для этого онъ теперь и прибылъ въ Алый-Рогъ“.

„Занимательно будетъ послушать—что онъ мнѣ выкинетъ?“ подумалъ управляющій, не безъ нѣкоторой однако внутреннѣй тревоги, и молча сѣлъ у стола. По другой сторонѣ Завалевскій помѣстился въ креслѣ, въ которомъ скончался, пораженный мгновенно ударомъ, его покойный дядя.

Небо меркло; уже не совсѣмъ ясно рисовались другъ предъ другомъ лица собесѣдниковъ.

— Скажите, пожалуйста, началъ графъ не вполнѣ твердымъ голосомъ, словно перемогалъ въ себѣ внутреннюю

неохоту приступить къ разговору,—сколько у насъ десятинъ лѣсу?

— Лѣсу? переспросилъ г. Самойленко. — То-есть какого именно?

— Нну... хорошаго!...

— То-есть строеваго?

— Да, строеваго.

— Порубки есть... На такомъ пространствѣ... двѣнадцать человѣкъ одной конной стражи держу, — а все не усмотрѣть вездѣ. Народъ теперь какой, сами знаете... Тысячъ пятнадцать десятинъ однако добраго лѣсу пожалуй и найдется, заключилъ Іосифъ Козьмичъ.

— А какъ цѣна?

„Вотъ оно! Спустить хочетъ", догадался тотчасъ же управляющій.

— Цѣны небольшія, началъ онъ громко, мямля и растягивая, чтобы дать себѣ время соображать свои отвѣты,—вѣдь вся здѣшняя сторона лѣсная... мелкопомѣстные очень сбиваютъ цѣны...

— На триста тысячъ можно будетъ однако продать?

— На триста тысячъ! даже вскрикнулъ г. Самойленко:— на что вамъ такая огромная сумма, Владиміръ Алексѣевичъ?

— Нужно...

— Прокутились? фамиліарно спросилъ управляющій, которому въ голосѣ Завалевскаго слышалось что-то несмѣлое, что онъ объяснялъ себѣ стыдомъ раскаявавшагося въ поступкѣ своемъ человѣка.

— Въ мои годы не кутятъ, Осипъ Кузьмичъ: всему есть предѣлъ въ этой жизни! сухо отвѣчалъ на это графъ. И голова его исчезла въ тѣни боковой подушки кресла, въ спинку котораго онъ откинулся всѣмъ тѣломъ.

— Ваше дѣло-съ!...

И Іосифъ Козьмичъ, такъ безцеремонно разжалованный въ Осипа Кузьмича, сложивъ руки на животѣ, принялся съ достоинствомъ вертѣть пальцемъ о палецъ, въ ожиданіи и соображеніи дальнѣйшихъ объясненій...

Нѣкоторое время прошло въ молчаніи:

— Такъ можно будетъ? раздался наконецъ голосъ графа.

— Чего-съ?

— Получить триста тысячъ отъ продажи лѣса?

— Если желаете продать, холодно промолвилъ г. Самойленко,—покупателей можно найти...

Настало новое молчаніе.

Но вотъ изъ глубины кресла раздался снова голосъ Завалевскаго, и въ этомъ голосѣ звучало что-то,—какая-то тихая печаль и незлобивая и тонкая иронія,—чего никакъ уже не въ силахъ былъ разобрать Іосифъ Козьмичъ.

— Вы впрочемъ весьма естественнымъ образомъ должны были придти къ заключенію, что я „прокутился", говорилъ графъ.—И даже, съ извѣстной точки зрѣнія, это совершенно справедливо,—жизнь моя дѣйствительно *прокучена*, хотя, засмѣяся онъ,—и не совсѣмъ можетъ быть такъ, какъ понимается обыкновенно подъ этимъ словомъ... Во всякомъ случаѣ я принадлежу къ числу такъ-называемыхъ *безполезныхъ*... къ тѣмъ, которыхъ практическіе люди называютъ коптителями неба. А въ нашъ *реальный* вѣкъ—коптить небо вѣдь это такое страшное преступленіе, что въ сравненіи съ нимъ роднаго отца зарѣзать—дѣтская шалость. Не такъ-ли?...

Но г. Самойленко не отвѣчалъ; онъ глядѣлъ въ упоръ на графа и размышлялъ: что онъ *съ пунктикомъ*, или просто отъ жиру бѣсится?

— Ну, такъ вотъ-съ, продолжалъ все тѣмъ же тономъ Завалевскій,—чтобы спасти нѣсколько мою репутацію во мнѣніи моихъ согражданъ, я задумалъ устроить вещь *полезную*... И для этого мнѣ нужны деньги,—никакъ не менѣе трехсотъ тысячъ, Іосифъ Козьмичъ!

— Что же именно? полюбопытствовалъ узнать тотъ.

— Очень не хитрую вещь: институтъ для образованія народныхъ учителей...

— Я читалъ въ газетахъ, сказалъ г. Самойленко, — что недавно правительствомъ утверждено... въ Тамбовѣ, кажется..., такое именно заведеніе, основанное...

— Да, перебилъ его графъ, — но развѣ это исключаетъ возможность другаго подобнаго же заведенія?

— Это такъ-съ, согласился тотъ.

— Къ тому же учителей, которыхъ будетъ готовить Тамбовъ, не хватитъ на всю Россію... А тѣмъ болѣе въ здѣшней сторонѣ, отдаленной отъ большихъ центровъ, образованіе именно *народныхъ* учителей найдетъ для себя, слѣдуетъ думать, условія болѣе благопріятныя, чѣмъ въ иномъ мѣстѣ. Меня въ этомъ, во всякомъ случаѣ, увѣряли всѣ компетентные люди, съ которыми я говорилъ о моемъ предположеніи... Весьма важно и то, что о постройкѣ нечего хлопотать,—зданіе готово.

— А гдѣ именно?

Сердце такъ и ёкнуло у Іосифа Козьмича.

— Да вотъ это самое,—этотъ домъ!

Этотъ домъ!... Предчувствіе не обмануло г. Самойленку. Это жилище, *дворецъ*, который онъ уже такъ давно привыкъ называть „моимъ дворцомъ", гдѣ въ продолженіе четырнадцати лѣтъ хозяйничалъ онъ полнымъ властелиномъ,—все это изъ-за каприза шальнаго человѣка должно поступить теперь подъ какую-то безсмысленную школу; по этимъ паркетнымъ поламъ, вдоль этихъ подъ мраморъ отшлифованныхъ стѣнъ будутъ ступать смазными сапожищами нечесаные хлопцы, стоять грязныя, облитыя чернилами скамьи? Воображеніе неумолимою кистью рисовало все это безобразіе предъ внутренними очами Іосифа Козьмича.

— Этотъ домъ! повторилъ онъ громко.—Помилуйте! Историческій, такъ-сказать, памятникъ вашего рода!...

— Начавшагося съ моего дѣда и кончающагося со мною? тихо засмѣялся Завалевскій.—Плакать не о чемъ!...

„Ну, если ты и родомъ ужь своимъ не дорожишь!"... злобно взглянулъ на него г. Самойленко. — Дай Богъ вамъ успѣха, заговорилъ онъ, едва сдерживая кипѣвшее въ немъ негодованіе,—только, по моей опытности, не предвижу я ничего хорошаго отъ подобнаго заведенія...

— Отчего, отчего? живо воскликнулъ графъ.

— Да вотъ-съ, недалеко за примѣромъ итти,—по вашему предписанію, отпускаю я каждый годъ 2.500 рублей на пять школъ, заведенныхъ въ окружности Алорожской экономіи,—

кромѣ отопленія школъ и ремонта на нашъ счетъ... Сумма, можно сказать, болѣе чѣмъ достаточная, и учитель вполнѣ обезпеченъ, потому, получая въ годъ до 350 рублей, онъ при здѣшней еще дешевизнѣ можетъ жить не только безбѣдно, а даже съ нѣкоторымъ, такъ-сказать, комфортомъ...

— Ну, и что же?...

— А то-съ, ядовито отвѣчалъ управляющій,—что каждый годъ приходится мѣнять учителей, и что ни мѣняй, то хуже прежняго.

— О, Боже мой, все то же! послышался тихій вздохъ Завалевскаго.

А г. Самойленко продолжалъ между тѣмъ съ злорадствомъ.

— Или пьетъ безобразно, или и вовсе нѣтъ его въ школѣ, потому вымазалъ онъ себѣ голову розовымъ масломъ и въ городъ поѣхалъ, на городскомъ валу съ уѣздными мѣщанками таскаться... А то, коли особенно изъ семинаристовъ,—хуже ихъ нѣтъ какъ изъ этого народа!—начнетъ онъ это въ школѣ „*развивать*“ хлопцевъ.... И такое это *развитіе*, я вамъ скажу-съ, примолвилъ въ скобкахъ Іосифъ Козьмичъ,—что у меня, повѣрите, колотья въ животѣ дѣлаются только отъ этого слова одного... Начнетъ онъ перво-на-перво доказывать хлопцамъ, что они и батьки ихъ дурни, потому думаютъ, что свѣтъ на трехъ китахъ стоитъ, а съ этого тотчасъ и перейдетъ на „борьбу за существованіе“... Это у нихъ любимое: *борьба за существованіе*. А то еще про Добролюбова,—писатель былъ такой, очень они его уважаютъ,—такъ онъ это про него девятилѣтнему сопляку толкуетъ! И понесетъ онъ, скажу вамъ, такую ахинею, что слушаешь его, бывало, слушаешь—и, кажется, со злости собственною бы своею рукой его, поганца, и вмѣстѣ со школою съ этою сжегъ! А вѣдь замѣтьте то, что *борьба за существованіе* кончается у него непремѣнно тѣмъ же, что нарѣжется онъ какъ стелька пьянымъ и три дня носа въ школу не кажетъ потомъ...

— Ну, а священники что же? какимъ-то болѣзненно-взволнованнымъ голосомъ спросилъ графъ.

— Священники!.. Іосифъ Козьмичъ только рукой махнулъ.

— Но, можетъ быть, еслибы серьезно, спеціально заняться здѣшними школами, при правильномъ руководствѣ...

— Пробовано, перепробовано! воскликнулъ управляющій.— И самъ я, и вотъ Марина моя—большую охоту имѣла она къ этому дѣлу сначала,—и строгостью, и лаской, и на всякій манеръ старались мы молодцовъ этихъ облагородить, внушить имъ чувство долга и обязанности...

„А твоя Марина, подумалъ графъ и улыбнулся, вспомнивъ о ней,—должно быть, сама не прочь толковать хлопцамъ о *борьбѣ за существованіе*“...

— И такъ и не добились мы ни до чего! заключилъ межъ тѣмъ г. Самойленко,—причемъ, разумѣется, не счелъ нужнымъ упомянуть, что изъ пяти школъ, содержимыхъ на деньги Завалевскаго, двѣ были закрыты еще въ прошломъ году, вслѣдствіе того, что родители перестали вовсе посылать туда дѣтей своихъ; школы же значились въ вѣдомостяхъ существующими, и ассигнованныя на нихъ деньги шли, въ числѣ другихъ доходовъ, въ бездонный карманъ господина главноуправляющаго.

— Но этотъ самый недостатокъ въ хорошихъ учителяхъ, на которой вы жалуетесь, сказалъ Завалевскій, какъ бы обрадованный представившимся ему аргументомъ,—не говоритъ-ли онъ краснорѣчиво за полезность такого заведенія, которое могло бы подготовлять достойныхъ и надежныхъ наставниковъ для народныхъ школъ?

Достойныхъ и надежныхъ? хихикнулъ г. Самойленко.— Да одно изъ двухъ: или вы дадите ему въ вашемъ институтѣ высшее противъ его сословія образованіе, такъ онъ у васъ полугода въ школѣ не останется, а убѣжитъ въ городъ, на желѣзную дорогу или какое тамъ другое мѣсто... А обяжете вы его, положимъ, по уставу вашему, прослужить сколько-то тамъ лѣтъ сельскимъ учителемъ, такъ онъ или съ ума сойдетъ, или пулю себѣ въ лобъ пуститъ, потому вообразите себѣ образованнаго человѣка въ нашей глуши лѣсной,—каково ему жить съ нашими волками четвероногими и двуногими!... Если жь вы его самого на первоначальной грамотѣ да на четырехъ правилахъ ариѳметики держать будете, такъ вѣдь изъ него

тотъ же пьянчужка ледащій учитель выйдетъ, что и теперь не знаемъ мы какъ съ ними быть. Такъ на что вамъ тогда для расплода этой дряни институтъ заводить!..

— Позвольте однако, пробовалъ защищаться Завалевскій,— вы ставите такую произвольную дилемму...

Но Іосифъ Козьмичъ расходился окончательно.

— Позвольте вамъ сказать, Владиміръ Алексѣевичъ, что народнаго образованія, такъ какъ вы—я очень хорошо понимаю васъ,—такъ какъ *вы* бы желали, не достигнете вы никакими институтами, ниже большимъ даже жалованьемъ учителямъ!.. Человѣкомъ сдѣлать почитай изъ звѣря дикаго, какимъ приходитъ у насъ въ школу мужицкое дитя,—не легкое дѣло, повѣрьте моему слову, и посвятить себя ему наклонность особенная нужна, все равно, что, положимъ, на флейтѣ играть или тамъ къ механикѣ что-ли,—*призваніе* прежде всего нужно...

Завалевскій задумчиво улыбнулся,—онъ словно ждалъ довода и въ душѣ своей не находилъ на него возраженія.

— Апостолатъ нуженъ, да, тихо заговорилъ онъ про себя, забывая о присутствіи г. Самойленки и покачивая головою сирава налѣво, какъ онъ это обыкновенно дѣлалъ въ минуты размышленія,—отреченія во имя любви и высшихъ задачъ духа... Создается-ли это искусственно?.. А откуда возьмутся живыя силы тамъ, гдѣ внизу мордовскій богъ, повыше культъ мертвящаго, животнаго матеріализма... и ни традиціи, ни устоя...

Іосифъ Козьмичъ не совсѣмъ разслышалъ, но понялъ такъ, что графъ внутренно сдается на его доводы.

— Трудно-съ, очень трудно, заговорилъ онъ опять,— особенно когда ни съ какой стороны дѣло это надлежащей поддержки не находитъ. Мѣры правительства въ этомъ отношеніи...

— Правительство, такъ! вдругъ горячо прервалъ его Завалевскій, — а вы не чувствуете, какъ смертельно обидно за страну, гдѣ и въ такомъ насущномъ, кровномъ дѣлѣ нужно, чтобы чиновникъ толкалъ васъ въ шею?...

Г. Самойленко и опѣшилъ, и обидѣлся въ одно и то же время.

— Да-съ, язвительно прошипѣлъ онъ,—и, смѣлымъ скачкомъ перекидываясь на противоположную сторону вопроса,— а вотъ что̀ можетъ легко случиться: вы вотъ, напримѣръ, доброхотно и отъ правительства совершенно самостоятельно вздумали учредить образовательный институтъ, и деньги большія на него пожертвовали, и даже самое жилище вашихъ предковъ...

— Il n'en démord pas! засмѣялся внутренно графъ.

А тотъ продолжалъ все злѣе:

— И, разумѣется, почитаете себя въ правѣ разсчитывать, что увѣковѣчили, такъ-сказать, ваше имя такимъ колоссальнымъ пожертвованіемъ на благое просвѣщеніе... Вдругъ-съ послѣ вашей кончины—при жизни вашей этого, пожалуй, не сдѣлаютъ, — вздумается тамъ въ Петербургѣ какому-нибудь департаменту, или совѣту, что институтъ вашъ вовсе никому не нуженъ, а деньги могутъ съ гораздо большею пользою быть употреблены на другое назначеніе. Хлопъ — предписаніе!... И этотъ вашъ *дворецъ* отдается подъ какое-нибудь интендантское депо или сводную конюшню, а капиталъ розданъ большимъ лицамъ въ займы, съ разсрочкою платежа на 37 лѣтъ...

— Да, пожалуй, поручиться нельзя! громко засмѣялся Завалевскій, и подумалъ: „а онъ очень уменъ однако!“...

Еще разъ настало молчаніе.

Завалевскій прервалъ его вопросомъ, который снова озадачилъ его уже, казалось, торжествовавшаго собесѣдника.

— Скажите мнѣ однако, на какое другое учрежденіе могъ бы я съ большею пользою пожертвовать деньги мои и этотъ домъ?

— А вы ужь непремѣнно желаете пожертвовать? растерянно пробормоталъ господинъ Самойленко.

— Да, потому что, не почитая себя способнымъ ни на какую *полезную* задачу, я могу служить такимъ цѣлямъ единственно матеріальными средствами, имѣющимися у меня въ распоряженіи...

— Но почему же, позвольте узнать, Владиміръ Алексѣевичъ, вдругъ началъ Іосифъ Козьмичъ, ласковымъ, льстивымъ

голосомъ, пробуя, en désespoir de cause, и этого фортеля,— почему же въ васъ такое недовѣріе къ собственнымъ вашимъ силамъ? При вашемъ, кажется, положеніи и образованіи польза, которую бы вы могли принести государству...

— Да очень просто, не далъ ему кончить Завалевскій,— потому что я вообще въ *пользу* не вѣрю!...

Уменъ былъ дѣйствительно господинъ Самойленко, но это было рѣшительно выше его пониманія.

Онъ не успѣлъ еще найти слова въ отвѣтъ на это странное признаніе, какъ вдругъ изъ библіотеки донесся шумъ чьихъ-то спѣшныхъ и тяжелыхъ шаговъ, и кто-то, еще невидимый, запыхавшимся и визгливымъ голосомъ прокричалъ:

— Je veux être décapité si je vous céde sur ce point, — никогда Абиссинцы не были Семитами! Mais où diable êtes vous?

— Сюда, сюда! громко отвѣчалъ съ мѣста Завалевскій, засмѣявшись.—Это Пужбольскій, объяснилъ онъ Іосифу Козьмичу,—большой оригиналъ, какъ увидите...

Дѣйствительно, въ дверяхъ кабинета показалась здоровая и рослая фигура, съ выпуклыми грудью и животомъ, огненною, *лопатою*, бородой, въ мягкой, чернаго цвѣта, пуховой шляпѣ, надвинутой на самыя брови, и съ лезвеемъ сѣкиры на длинномъ топорищѣ, тускло блестѣвшемъ при послѣднемъ сіяніи дня надъ его правымъ плечомъ. Словно самъ Ричардъ-Львиное Сердце или одинъ изъ мрачныхъ героевъ Шекспировскихъ историческихъ драмъ ввалился въ комнату...

Іосифъ Козьмичъ, никогда не читавшій Шекспира, глядѣлъ, недоумѣвая, на него и на его топоръ, между тѣмъ какъ Пужбольскій, продолжая начатый съ Завалевскимъ въ коляскѣ, два часа тому назадъ, споръ о происхожденіи абиссинцевъ, возглашалъ пискливымъ фальцетомъ, которымъ, какъ бы въ насмѣшку надъ его богатырскимъ видомъ, надѣлила его причудливая природа:

— Абиссинскія племена имѣютъ два языка, deux idiomes, qui sont le *Ghise* et le *Tigrinia;* эти языки...

— Семитическаго происхожденія, договорилъ, поддразнивая его, Завалевскій.

— C'est faux, c'est faux! завизжалъ князь.—Ни Бурхардъ, ни Saucy...

— За то Роллинсонъ, Форстеръ...

— Mais laissez-moi donc achever, sacrebleu! И Пужбольскій со злостью рванулъ топоръ свой съ плеча и замахалъ имъ по воздуху.

— Да перестань буйствовать, пожалуйста, продолжалъ смѣяться графъ, — непремѣнно кого-нибудь изъ насъ зацѣпишь... Позвольте однако познакомить васъ, господа: князь Александръ Ивановичъ Пужбольскій, — Іосифъ Козьмичъ Самойленко,—здѣшній губернаторъ...

Это шутливое обозначеніе его положенія очень польстило Іосифу Козьмичу: онъ во-вѣки вѣковъ не простилъ бы Завалевскому, если бы тому вдругъ вздумалось попросту сказать: „мой управляющій".

— Невзначай сорвется, такъ, пожалуй, и... не договаривая, улыбнулся онъ князю, кивая на его орудіе.

— Откуда ты этотъ топоръ притащилъ? спросилъ графъ.

— Во-первыхъ, не топоръ, а сѣкира, поправилъ Пужбольскій и сунулъ ее подъ самые глаза Завалевскаго. — Voyez donc, quelle forme, mon cher, — la vraie hache normande!... Я купилъ ее тамъ, у кузнеца... Очень интересно было бы *слѣдить* (русскія глагольныя формы были вѣчно точкою преткновенія для Пужбольскаго, воспитывавшагося за границей и который лишь на осьмнадцатомъ году своей жизни сталъ говорить на родномъ языкѣ,)—какъ пришла эта форма въ Сѣверскую сторону, когда въ Новгородѣ, напримѣръ... .

— Ее занесли сюда изъ Польши банды Дмитрія Самозванца, пресерьезно отвѣчалъ ему Завалевскій: — вѣдь мы здѣсь на самомъ историческомъ пути его похода на Москву...

— На Новгородъ-Сѣверскъ, Путивль, Рыльскъ, Трубчевскъ, Брянскъ, тотчасъ же и зарядилъ Пужбольскій. И вдругъ спохватившись:—А что же общаго съ нормандскою сѣкирой les банды Дмитрія Самозванца? запищалъ онъ.

— Очень просто, объяснялъ графъ, котораго страсть была дразнить и сбивать съ толку Пужбольскаго на почвѣ исторіи

и археологіи,—и еслибы ты былъ знакомъ съ учеными трудами польскаго историка Шайнохи.

— Читалъ, читалъ Шайноху! замахалъ тотъ руками.

— А если читалъ, такъ долженъ знать, что Поляки, или, точнѣе,—Ляхи, Лехи, Лехиты,—не что иное какъ Нормандское племя...

— Quelle blague, quelle infâme sottise! И Пужбольскій, выронивъ изъ руки сѣкиру, которая, звякнувъ, грохнулась подъ ноги подскочившаго съ испуга Іосифа Козьмича, схватилъ себя въ отчаяніи за волосы.—*Допускавъ*, что Лехи—et je l'admets, je l'admets, parfaitement!—племя не славянское, а *завоюющее* аборигеновъ страны, Славянъ Poloniae magnae—то это завоеватели, sine dubio, изъ одного происхожденія съ Уграми, завоевателями Паннонiи, то-есть, Гунны, des Touraniens purs, mon cher, одного семейства съ Туркмено-Турками и Финскими нашими племенами... И, помимо другихъ доказательствъ, это племенное сродство говорится въ историческихъ, неизмѣнныхъ симпатіяхъ Венгерцевъ и Поляковъ. Но, чтобы Поляки были des Normands! Какъ могъ, нѣтъ, скажи, приставалъ онъ къ графу,—скажи, какъ могъ твой Шайноха *выдумывать* эту безстыдную ложь!...

— А почему не *выдумывать?* передразнилъ его Завалевскій:—поле гипотезы безконечно...

— А Дмитрій Самозванецъ, дѣйствительно, шелъ нашею мѣстностью, поспѣшилъ г. Самойленко заявить и себя не невѣждою по части исторической науки. — И даже пять лѣтъ тому назадъ, сколько помнится, я доставилъ графу за границу вырытый у насъ въ лѣсу крестьяниномъ кожаный кошель съ монетою его царствованія...

— Мелочь,—да, небольшая рѣдкость! съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ отозвался на это князь, — у меня штукъ пять этихъ копѣекъ Самозванца...

— Нѣтъ-съ, тамъ была, я помню, и одна крупная монета...

— Рубль?. Рубль Дмитрія Іоанновича? такъ и взвизгнулъ Пужбольскій.—Гдѣ, гдѣ, куда ты его дѣвалъ?

Онъ кинулся къ графу.

— Право не знаю,—кому-то подарилъ... Грегоровіусу въ Римѣ, кажется...

Князь только отчаянно руками всплеснулъ.

— Грегоровіусу! повторилъ онъ задыхаясь: — какъ матеріалъ для его исторіи Рима, probablement! Mais, par la barbe de Jupiter, — на что ему, говори, говори! — que diable peut entendre Gregorovius dans un рубль Лжедмитрія! Да тебѣ за это мало голову *отсѣкнуть!*... Ты знаешь-ли, что такихъ рублей всего три или четыре на свѣтѣ? При императрицѣ Екатеринѣ отысканъ былъ le coin... какъ это по-русски?...

— Штемпель?... чеканъ?...

— C'est cela, чеканъ! Настоящій, его чеканъ, „Дмитрій Іоанновичъ, царь Бѣлыя“ et caetera... И она приказала нарочно нѣсколько экземпляровъ этихъ его рублей выбить. Mais le coin était un peu fendu d'un côté, и эти при Екатеринѣ выбитыя монеты сейчасъ можно узнать. А настоящія...

— Успокойся, успокойся, Пужбольскій! сказалъ графъ, которому это начинало нѣсколько надоѣдать. — Настоящій Дмитрій Іоанновичъ, „царь Бѣлыя“, et caetera,—у меня, въ московскомъ моемъ домѣ, я никому его не отдавалъ, и днесь, въ присутствіи Іосифа Козьмича, я передаю тебѣ его въ вѣчное и потомственное владѣніе: можешь получить, когда вернемся.

Пужбольскій съ радости полѣзъ было обнимать его, но Завалевскій остановилъ его движеніемъ руки, указывая на книгу, лежавшую на столѣ:

— А посмотри вотъ на эту рѣдкость,—только ее тебѣ не подарю: c'est une relique de famille.

Князь такъ и прыгнулъ къ пергаментному переплету—и, поднеся книгу къ окну, ему тотчасъ же кинулся въ глаза типографскій значекъ, по которому онъ узналъ драгоцѣннаго Альда XVI вѣка.

— Un Horatius Flaccus vénitien du cinque cento, editio princeps! крикнулъ онъ,—quelle merveille!...

— А въ библіотекѣ у насъ и инкунабулы найдутся, молвилъ графъ, — и Пужбольскій, бережно опустивъ Альда на

прежнее мѣсто, тотчасъ же сталъ приставать, чтобъ ему показаны были эти инкунабулы.

— Темно, да и не знаю право теперь, какъ мы найдемъ, отговаривался Завалевскій. Но Іосифъ Козьмичъ, которому хотѣлось домой, объявилъ, что *рѣдкія книги* въ особомъ шкафу, ключъ отъ котораго у него спрятанъ, и что онъ сейчасъ отыщетъ его и пришлетъ, а съ нимъ лампу, свѣчъ, чаю и поужинать.

— А затѣмъ честь имѣю кланяться, заключилъ онъ, подавая первый руку графу и Пужбольскому.

— Что̀ онъ, большой мошенникъ, твой управляющій? спросилъ князь, едва успѣлъ исчезнуть тотъ за дверью.

— Немалый, смѣю думать, засмѣялся Завалевскій.

— Et avec cela familier comme la gale, и рука потная...

И Пужбольскій, гадливо отирая свою правую руку о полу пальто, спросилъ:

— Что̀, ты его прогонишь?

— Не намѣренъ.

— А что̀?

— Во-первыхъ тлѣ̀въ и своеобразенъ,—что̀ я очень цѣню въ людяхъ; во-вторыхъ, какой же у насъ съ тобою управляющій не будетъ мошенникомъ?

— И то правда, вздохнулъ князь.—Какъ подумаешь только, что̀ Горбачевъ, Толкачевъ, Тукмачевъ, Фицтумъ, Розенбаумъ et toute la satanée kyrielle de mes управляющіе наворовали у меня денегъ...

Онъ только свистнулъ въ заключеніе.

А Іосифъ Козьмичъ, вернувшись къ себѣ,—онъ занималъ лѣвое крыло обширнаго Алорожскаго дома,—засталъ въ залѣ Марину, распустившую косу и, съ великолѣпными волосами своими закинутыми за плечи, раздиравшую пальцемъ листы свѣжаго нумера какого-то петербургскаго журнала. Она не читала, а пробѣгала глазами за одно и то же время романъ нѣкоего господина Омнипотенскаго, и помѣщенный вслѣдъ за нимъ какой-то трактатъ о соціальной патологіи, сочиненія доктора Лиссабонскаго, — что̀ впрочемъ оказывалось совершенно тождественнымъ.

„Очень прогрессивно, но ужь очень скучно!“ думала Марина, нетерпѣливо обрывая толстую бумагу, въ надеждѣ, что „дальше лучше пойдетъ“...

Она живо обернулась на шумъ шаговъ Іосифа Козьмича.

— Что тамъ, этотъ князь пріѣхалъ? спросила она. — Я чаю сейчасъ послала...

— Надо ужинъ снарядить, да освѣтить ихъ тамъ чѣмъ-нибудь... Да не помнишь-ли, гдѣ ключъ отъ того шкафа, въ которомъ рѣдкія книги? урывисто пропускалъ сквозь зубы г. Самойленко, сердито шагая по комнатѣ.

Онъ мелькомъ взглянулъ на нее, — она показалась ему какъ-то особенно красива...

— Да ты бы сама туда пошла! сказалъ онъ, останавливаясь на ходу.

— Это еще для чего? надменно фыркнула она.

— Ну, не чванься, матушка. И онъ ласково повелъ на нее глазами. — Недолго намъ, можетъ-быть, оставаться здѣсь, такъ молодцами покажемъ себя ему на-послѣдяхъ, чтобъ онъ не воображалъ, что очень жалѣемъ.

— Что это значитъ? съ удивленіемъ перебила его Марина.

— А то это значитъ, съ новою вспышкою гнѣва зашагалъ Іосифъ Козьмичъ, — что этотъ шальной философъ какой-то отдаетъ триста тысячъ и *дворецъ* свой,—гдѣ мы тутъ живемъ двадцать лѣтъ, на учебное заведеніе!...

— На какое учебное заведеніе? повторила, слѣдя за нимъ блестящими глазами, дѣвушка.

— А на такое, что будутъ въ немъ всякихъ шалопаевъ въ наставники народа приготовлять.

Марина всплеснула руками, и свѣтлая, чистая радость озарила какъ пламенемъ ея молодое, говорящее лицо.

— Триста тысячъ и домъ свой, едва могла проговорить она,—и это онъ жертвуетъ для блага народа? Да онъ послѣ этого великолѣпный господинъ!

— Да, точно, пробурчалъ себѣ подъ носъ г. Самойленко:— великолѣпный дуракъ!...

— Я сейчасъ все имъ устрою, защебетала Марина, свя-

зывая наскоро лентою свои распущенные волосы.—Ну, а князь этотъ каковъ?

— А этотъ шутъ еще какой-то невиданный, рѣшилъ неумолимо про Пужбольскаго практическій Іосифъ Козьмичъ.

Черезъ полчаса Марина, тихо подкравшись къ дверямъ библіотеки, наблюдала за слугами, уставлявшими тарелками и бутылками большой круглый столъ, освѣщенный лампою. За другимъ столомъ, при двухъ свѣчахъ, сидѣли другъ противъ друга Завалевскій и князь, огненная борода котораго напоминала нашей героинѣ не Ричарда Львиное Сердце,—такъ какъ о немъ, и вообще объ историческихъ лицахъ, она въ своемъ качествѣ *современной* дѣвицы имѣла лишь самое слабое понятіе,—а жида-разнощика, у котораго она покупала булавки. Друзья горячо промежь себя спорили. Это былъ все тотъ же, въ третій разъ возобновлявшійся споръ о происхожденіи абиссинцевъ.

— Согласенъ; оставляю тебѣ Пельгрева и о Максѣ Миллерѣ не упомяну, говорилъ графъ;—но вотъ тебѣ самое рудиментарное доказательство: нарѣчіе, на которомъ читаютъ Библію всѣ Абиссинскія племена, къ какому принадлежитъ оно семейству языковъ?

— Къ Семитическому, отвѣчалъ Пужбольскій.

— Что и требовалось доказать, торжествовалъ Завалевскій.

— Да развѣ это доказательство, развѣ имѣетъ какой-нибудь смыслъ подобный силлогизмъ, визжала огненная борода, колотя себѣ въ грудь обѣими руками:—Чехи читаютъ Библію на латинскомъ языкѣ,—ergo чехи Латинскаго племени?...

— Отецъ прислалъ вамъ ключъ отъ книгъ, неожиданно для него проговорила вдругъ Марина, легкою поступью своею незамѣтно скользнувшая тѣмъ временемъ въ залу.

Онъ оторопѣлъ, глянулъ на нее, срывая шляпу, которую до сей минуты, въ пылу неустанно возобновлявшагося пренія, все не успѣвалъ еще стащить съ головы.

Она положила, улыбаясь, ключъ между двумя пріятелями и молча указала рукою на простѣнокъ, въ который вдѣлана была витрина для инкунабулъ.

Пужбольскій схватилъ ключъ и свѣчку со стола и тотчасъ же отправился къ нимъ.

А Марина, какъ стояла, повернула голову, смѣлымъ и ласковымъ взглядомъ глянула въ самые глаза Завалевскаго и проговорила горячо и медленно:

— Вы хо-рошій человѣкъ!

— Почему вы такъ думаете? спросилъ онъ въ изумленіи.

— Я знаю! также медленно промолвила она опять, кивнула головой сверху внизъ, еще разъ улыбнулась ему и—скрылась.

— Mon cher ami, быстрымъ шагомъ переходя къ нему отъ витрины, зашепталъ Пужбольскій тотчасъ вслѣдъ за ея исчезновеніемъ,—ты въ Венеціи, въ церкви Santa Maria Formosa былъ?

— Былъ.

— Святую Варвару Пальма Веккіо помнишь тамъ?

— Очень хорошо помню.

— Эту силу, жизнь, красоту! восклицалъ восторженно Пужбольскій.—И не напоминаетъ тебѣ ее,—avec moins de distinction, peut-être—эта... не хочу знать, не говори кто, зачѣмъ, для чего? но эта прелестная Erscheinung, которую мы съ этой минуты такъ и будемъ называть: la bella Barbara di Corno carmino (Алаго-Рога)!

— Barbara, пожалуй, шутливо отвѣчалъ Завалевскій, на котораго выходка Марины—онъ не могъ объяснить себѣ ея смысла,—нѣсколько непріятно подѣйствовала,—но никакъ уже не великомученица...

III.

Было уже довольно поздно, когда Завалевскій, проводивъ Пужбольскаго въ приготовленную ему комнату, вернулся въ кабинетъ, гдѣ онъ велѣлъ приготовить себѣ постель на диванѣ. Онъ потушилъ принесенную имъ свѣчу и подошелъ къ раскрытому окну...

Майская ночь лежала кругомъ, безмолвная и прозрачная. Широкая полоса тѣни падала справа на землю отъ вѣковыхъ липъ, колоссальною группой подымавшихся съ этой стороны сада, и сквозь какой-то причудливо очерченный прорывъ въ сплошной листвѣ ихъ вершинъ выглядывалъ золотымъ пятномъ щербатый мѣсяцъ, словно лампада изъ глубины пещеры. Изъ сада несся проникающій запахъ жасмина; туманы поднимались надъ рѣкой...

То были знакомые съ дѣтства, съ дѣтства любезные Завалевскому туманы Алаго-Рога. Какъ въ тѣ младенческіе дни, когда изъ этого же окна, погрузивъ въ обѣ ручонки свою кудрявую головку, глядѣлъ онъ за рѣку съ какимъ-то сладкимъ чувствомъ въ трепетно бившемся сердцѣ—и все ждалъ, все чудилось ему... вотъ, вотъ, сейчасъ, поверхъ лѣсу стоячаго, поверхъ той ольховой рощи, выглянетъ лѣшій и нечеловѣческимъ гоготомъ загогочетъ на весь лѣсъ... и онъ заранѣе, въ чаяніи близкаго ужаса, закрывалъ глаза и чувствовалъ на волосахъ своихъ чью-то мягкую руку, руку старика дяди, — и снова жадно глядѣлъ онъ впередъ, и гдѣ-то внутри его сказывалось ему, что пока тутъ эта рука, ничего ему не сдѣлаетъ лѣшій... какъ и въ тѣ дни стлались теперь надъ

рѣкою сизыя пелены тумана, раздвигая ея берега до безконечной дали... Словно изъ лона глубоко дремлющихъ водъ выростали, казалось, стволы ольхъ, серебримые блѣднымъ мѣсячнымъ сіяніемъ... Но вотъ колыхнулся сѣдой паръ и, цѣпляясь за кусты, понесся вверхъ... вотъ вьется онъ среди стволовъ,— вотъ побѣжалъ разорванными клочьями, хватаясь за верховые сучья... Не воздушная-ли семья Виллъ проносится тамъ въ фантастической пляскѣ? .. Но снова темнымъ очеркомъ рисуются лѣсныя вершины на синей чащѣ неба, тяжелѣя падаетъ туманъ и прыгаетъ по землѣ большими бѣлыми клубами,—и снова, тихо волнуясь, заливаетъ даль серебримое луной марево безконечнаго озера...

„Призраки... все тѣ же призраки... какъ и вся жизнь! vitae phantasmata", прошепталъ Завалевскій, поворачивая къ окну вольтеровское кресло покойнаго дяди и медленно опускаясь въ него.

И изъ толпы этихъ призраковъ его минувшей жизни прежде всего выдѣлялся предъ нимъ суровый, почти аскетическій обликъ этого старика, воспитавшаго его... Завалевскій не помнилъ матери,—она скончалась два года послѣ его рожденія. Отецъ его былъ убитъ подъ Варною, въ турецкую кампанію. Онъ остался сиротою на рукахъ дяди... Заподозрѣнный по дѣлу 14-го декабря, графъ Константинъ Владиміровичъ Завалевскій выпущенъ былъ изъ крѣпости послѣ полуторагодоваго заключенія и сосланъ въ деревню, съ запрещеніемъ въѣзда въ столицу. По прошествіи десяти лѣтъ запрещеніе это было снято съ него, но графъ не пожелалъ самъ воспользоваться дарованнымъ ему прощеніемъ. — „Я чистъ, *обѣлять* меня безполезно", отвѣчалъ онъ холодно чиновнику, посланному къ нему отъ генералъ-губернатора съ этою вѣстью. Онъ былъ дѣйствительно чистъ, не участвовалъ ни въ какихъ преступныхъ замыслахъ; онъ остался на вершинахъ и, за распавшимся *Союзомъ Благоденствія*, не поступилъ ни въ одно изъ образовавшихся послѣ того обществъ. Но онъ понесъ бы скорѣе голову свою на плаху, чѣмъ отказаться отъ прежнихъ друзей, чѣмъ, въ виду гибели, отдѣлить судьбу свою отъ ихъ судьбы... Памяти ихъ, тѣмъ *чистымъ*

стремленіямъ первоначальной связи его съ ними остался онъ вѣренъ до конца... Въ продолженіе двадцати восьми лѣтъ, до смерти, Константинъ Владиміровичъ не выѣзжалъ изъ Алаго-Рога... Да и что было дѣлать ему въ Петербургѣ, въ Москвѣ того времени?—„*Съ нами* порвалась нить“, говорилъ онъ своимъ отрывчатымъ, часто загадочнымъ языкомъ,—„теперь тамъ минотаврово логовище, непроглядная темь... изъ мрака дѣти мрака выйдутъ“...

И Завалевскій вспомнилъ, какъ въ этомъ кабинетѣ, наклонясь надъ этимъ драгоцѣннымъ Альдомъ XVI вѣка, въ длинномъ сѣраго сукна халатѣ, похожемъ на хитонъ, съ бархатною шапочкой на порѣдѣвшихъ волосахъ, читалъ съ нимъ старикъ Artem poëticam:

.. .Grajis ingeniun,
Grajis dedit ore rotundo
Musa loqui...

раздавался какъ живой въ его ушахъ, не по лѣтамъ одушевленный, слегка дрожавшій голосъ дяди. Константинъ Владиміровичъ самъ преподавалъ племяннику латинскій языкъ; эллинскому обучалъ его ученый филологъ, выписанный старикомъ изъ Германіи. Въ строгія рамы заключена была жизнь юноши; рано привыкъ онъ сосредоточиваться, наблюдать, вдумываться въ предстоявшія ему явленія. Изъ суммы впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ постояннаго общенія съ дядей, въ душѣ его глубоко врѣзались два понятія, засвѣтились лучезарно двѣ звѣзды: *родина и свобода*. И Завалевскій вспоминалъ опять, какъ рано зачитывался онъ всѣмъ, что относилось до Русской Исторіи, вспоминалъ свои раннія, молодыя, до слезъ горькія недоумѣнія...

Когда ему минуло девятнадцать лѣтъ, дядя отправилъ его въ университетъ, въ Москву. — „Пора разстаться, пора тебѣ въ жизнь“, говорилъ онъ ему на прощаньи,—„съ Богомъ,—и не возвращайся безъ нужды... Не напоминай собою обо мнѣ,—за тобой наблюдать будутъ... Учиться будешь хорошо, знаю,—приготовленъ... Да и зачѣмъ?... Свѣта, свѣта и еще свѣта—вотъ что нужно! Времени прошло довольно,—можетъ быть, и *тамъ* успѣли это понять... Свѣта ищи, къ свѣту веди,

если сможется... А нѣтъ, — что же дѣлать! Во мракъ ты не пойдешь, — уходи! Только ко мнѣ не обращайся, не требуй совѣтовъ,—я не отвѣчу"...

И призраки минувшаго проносились одинъ за другимъ предъ духовными очами Завалевскаго. Онъ вспоминалъ свою одинокую жизнь въ университетѣ — товарищи почитали его за „педанта", — и первую любовь... и первые лучи снова загоравшагося тогда въ Москвѣ „свѣта", вспоминалъ *славянъ* и *западниковъ*, свѣтлыя личности, дѣтскую нетерпимость и горячія увлеченія, добросовѣстныя натяжки и яростные до брани споры въ одной извѣстной тогда въ Москвѣ гостиной, на Собачьей-Площадкѣ... И затѣмъ, въ 1848 году, разгромъ университетовъ, безумныя гоненія... А тамъ Петербургъ, свинцовое небо и свинцовыя лица, затянутые воротники, канцелярія многочисленная и вымуштрованная какъ казарма, большой свѣтъ съ его маменьками, назойливо бѣгавшими за Завалевскимъ, какъ за богатымъ женихомъ, съ его офицерами, которые прыткими ногами выплясывали себѣ карьеру, со всякими самомнящими правовѣдами и облизанными дипломатами... Изъ раздушенной и душной атмосферы бала или раута Завалевскій бѣжитъ, алча свѣжаго воздуха, куда нибудь къ Пяти Угламъ, въ тѣсный литературный кружокъ, или на чиновничью сходку, въ третьемъ этажѣ, на Стремянной... Тамъ опять споры, споры безъ конца, но безъ московской искренности, безъ вѣскости московскаго знанія,—за то съ тѣмъ избыткомъ самонадѣянности и желчи, что такъ присущъ петербуржцу, изворотливая діалектика и жидкая культура, презрѣніе къ исторіи, къ преданіямъ быта и, какъ панацея противъ существовавшаго зла, государственныя и экономическія теоріи, цѣликомъ нахватанныя изъ французскихъ книжекъ тридцатыхъ годовъ... Печально слушаетъ Завалевскій — и думаетъ: „нѣтъ, не зажжете вы *свѣта*, друзья мои: ваши высиженныя теоріи, вашъ деревянный канцелярскій либерализмъ—не *свобода*, ваше напускное народолюбіе тѣмъ же Иваномъ Четвертымъ пахнетъ"... А будущіе „общественные дѣятели" — онъ это чувствуетъ, — глубоко презираютъ его, въ свою очередь, какъ „аристократа" и „идеалиста"...

И все тяжелѣе, ненавистнѣе съ каждымъ днемъ становятся для Завалевскаго его канцелярія, и балы high life'a, и маменьки, владѣлицы взрослыхъ дочерей, и демократы-чиновники, и слѣпой космополитизмъ литературныхъ борцовъ.

„Что дѣлать? думаетъ онъ; неужели *уходить*, — уходить такъ рано"...

Крымская война разрѣшила его недоумѣнія: онъ распростился съ Петербургомъ и поскакалъ въ одно изъ своихъ великорусскихъ имѣній. Черезъ мѣсяцъ онъ выступалъ въ походъ съ ополченіемъ той губерніи.

Какъ изстрадался онъ! Чего ни наглядѣлся въ продолженіе этого похода! Бездарность, распущенность, безобразное пьянство, казнокрады, сжигавшіе на свѣчкѣ сторублевыя ассигнаціи, и рядомъ безъ сапогъ солдаты, гибнувшіе въ грязи непроходимыхъ дорогъ, — вся та „мерзость и чернота неправды", которую горькимъ стихомъ громилъ въ тѣ дни поэтъ...

Имъ овладѣвало отчаяніе, ему хотѣлось скорѣе въ бой, онъ жаждалъ непріятельскаго штыка, пули, ядра. Скорѣе, скорѣе *туда*, говорилъ онъ себѣ, гдѣ „безсмысленную ложь" свою искупаетъ теперь Россія потоками чистѣйшей, благороднѣйшей крови своей, гдѣ противъ всего міра, за вчера поднявшимися стѣнами, отстаиваютъ честь ея неслыханные бойцы, безъ словъ, безъ страха и безъ надежды...

Завалевскій кинулъ свою дружину и поступилъ въ пѣхотный полкъ, форсированнымъ маршемъ спѣшившій изъ Москвы въ Севастополь... Но онъ не дошелъ туда: не вражій выстрѣлъ, а злокачественный тифъ лишилъ его памяти, сознанія окружавшаго...

Рядомъ съ нимъ лежалъ ополченецъ Пужбольскій, раненый при Черной. Они сдружились... Вмѣстѣ, по заключеніи мира, уѣхали они за границу... Константина Владиміровича уже не было на свѣтѣ: онъ умеръ, пока племянникъ былъ въ походѣ.

Въ неотразимомъ блескѣ воскресало въ воспоминаніяхъ Завалевскаго его трехлѣтнее пребываніе въ Италіи. Онъ весь ушелъ тамъ въ міръ искусства, въ міръ древности, въ тотъ

обаятельный, вѣчно живой, вѣчно юный міръ... Онъ вспоминалъ еще, какъ, по пути туда, онъ случайно во Франкфуртѣ, за table d'hote'омъ въ Hôtel d'Angleterre, познакомился съ высокимъ, чопорнымъ, саркастически улыбавшимся старикомъ, какъ онъ сошелся съ нимъ, и завязалась затѣмъ между ними переписка, какъ мало-по-малу овладѣвалъ его мыслью своеобразный геній этого случайнаго его знакомца: звали его Артуръ Шопенгауэръ...

Первая вѣсть о готовившемся освобожденіи крестьянъ застала Завалевскаго въ Римѣ. Онъ все кинулъ—и поспѣшилъ на родину...

Живо припоминался ему тогдашній переѣздъ изъ Штетина въ Петербургъ. Погода стояла великолѣпная; онъ по часамъ глядѣлъ, не отрываясь, съ палубы на мелкую, словно рыбья чешуя, морскую зыбь, всю трепетавшую въ нѣгѣ и сіяніи горячаго весенняго солнца... Онъ ожидалъ, онъ говорилъ себѣ, что такимъ же трепетомъ и сіяніемъ жизни должна была теперь, предъ великимъ разсвѣтомъ, быть отъ края до края исполнена его родина...

Онъ по пріѣздѣ не имѣлъ случая замѣтить ничего подобнаго... Тѣ же разговоры, та же діалектика, только еще болѣе прежняго желчи; съ одной стороны безплодныя жалобы и ядовитыя нареканія, съ другой—безпощадная насмѣшка, торжествующее глумленіе, словно весь вопросъ состоялъ въ томъ, какъ бы злѣе насолить тѣмъ, кто почиталъ себя въ правѣ жаловаться, — вотъ что̀ нашелъ въ Петербургѣ Завалевскій... На Васильевскомъ Острову таинственно работали коммиссіи... Старые знакомые приняли его недовѣрчиво, почти враждебно; онъ, извѣстно, былъ „аристократъ“ и „идеалистъ“...

Но онъ, именно въ этомъ своемъ качествѣ „идеалиста“, не стремился ни къ какому вліянію, не примыкалъ ни къ какой партіи, не навязывалъ никакой своей программы. Чьими бы руками ни совершалось великоѐ дѣло, лишь бы совершилось оно,—онъ мысленно заранѣе сжималъ горячо въ своихъ эти благотворныя руки... Для него важнѣе было другое: онъ все прислушивался, трѣвожно искалъ того усиленнаго пульса жизни, который—упорно надѣялся онъ,—долженъ былъ биться въ

странѣ наканунѣ такого огромнаго событія. Но онъ все не доискивался его...

Насталъ великій день (Завалевскій былъ назначенъ членомъ крестьянскаго присутствія въ одной изъ среднихъ губерній); за этимъ слѣдовалъ цѣлый рядъ коренныхъ преобразованій, измѣнившихъ всю наружную физіономію страны... Но внутри ея, гдѣ, гдѣ то широкое, воскрешающее вѣяніе свободы, та подымающая сила жизни, которую съ юности призывалъ нашъ „идеалистъ“ всѣми голосами души своей? Гдѣ благодарная дѣятельность освобожденнаго труда? Гдѣ тотъ подъемъ *духа* въ народѣ, обрѣтшемъ вновь свои человѣческія права?... Тщетно искалъ вокругъ себя Завалевскій, — внизу прогулъ, шатанье, недоимка, міръ горлановъ и пьяный самосудъ; выше—постыдное, тупое уныніе, безнадежность трутня, выгнаннаго изъ улья... А мысль, *молодая* мысль Россіи—то, что именовало себя тогда „новыми людьми“, — чѣмъ привѣтствовала, чѣмъ праздновала она это великое дѣло освобожденія родины?

Съ ужасомъ и отвращеніемъ раскрывалъ каждый разъ Завалевскій нумера толстыхъ журналовъ, ежемѣсячно получавшихся имъ изъ Петербурга; часто, не довѣряя глазамъ своимъ, знакомился онъ съ ихъ содержаніемъ... Тамъ раздавался какой-то дикій вой,—вой эѳіоповъ, по древнему сказанію, лаявшихъ на солнце... Полудикіе семинаристы, заявлявшіе себя представителями „молодаго поколѣнія“, сталкивали съ вѣковыхъ пьедесталовъ высочайшихъ представителей человѣческой культуры и обзывали ихъ „пошляками“; наглые гаеры въ бѣшеной „свистопляскѣ“ топтали ковлиными ногами все великое, духовное прошлое человѣка, и съ пѣной у рта, съ поднятыми кулаками, требовали, да возвратится онъ въ образъ звѣриный. Освистанное искусство объявлено было „аристократическимъ тунеядствомъ“, поэзія „пакостнымъ времяпрепровожденіемъ“, исторія оказывалась „не стоящимъ вниманія собраніемъ всякой негодной дряни“... Дерзость этого скоморошества уступала только его неслыханному комизму. Лѣтосчисленіе русской мысли повелѣвалось вести съ какой-то полемической статьи одного изъ „новыхъ людей“, а „дворянскую литерату-

ру", то-есть все то, что по-русски написано было не семинаристами, почитать не существующею. Россіи, оплеванной наперерывъ всѣми этими бѣшеными устами, приговоренной ими на мельчайшіе атомы,—Россіи объявлялось, что у нея и исторіи никакой нѣтъ, что во все продолженіе ея тысячелѣтняго существованія она произвела одного единственно „порядочнаго человѣка", и что этотъ порядочный человѣкъ—Стенька Разинъ!...

Глубоко, всѣми сторонами своего существа, какъ человѣкъ образованія, какъ гражданинъ, какъ сынъ своей земли, возмущенъ былъ Завалевскій,—и воспоминались ему пророческія слова его дяди: „изъ мрака лишь дѣти мрака выйдутъ"... Да, вотъ они, эти исшедшія изъ мрака дѣти! Неразумное прошлое давало свой естественный плодъ... Но гдѣ же, гдѣ же спасеніе?...

Быстро неслись призраки... Завалевскій вспоминалъ 1863 годъ, грозу, подымавшуюся съ Запада на Россію, и могучій взрывъ патріотическаго чувства, охватившій его родину изъ конца въ конецъ... Горячо отдался онъ весь этому спасительному движенію! Онъ уразумѣлъ сразу всю его вѣскость, все его значеніе...

Въ пылу увлеченія нашъ идеалистъ обрекалъ всего себя на дѣло сліянія русскихъ окраинъ съ общимъ отечествомъ; онъ началъ составлять большое общество съ цѣлію пріобрѣтать покупкою имѣнія въ Западномъ краѣ, намѣревался самъ поселиться въ немъ, поступить тамъ на службу... Предпріятіе не удалось,—предложенія его были отклонены... „Благо, что такъ случилось", вспоминалъ теперь Завалевскій, улыбаясь своею унылою улыбкой:—„хорошъ бы я былъ! Считаемый чуть не за самую газету *Впстъ* въ 1866 году, я, пожалуй, былъ бы выгнанъ оттуда какъ „революціонеръ" и „соціалистъ"...

Онъ почувствовалъ себя безполезнымъ и снова уѣхалъ въ Италію. Но онъ не обрѣлъ въ ней прежнихъ восторговъ, прежняго самозабвенія. Онъ теперь, можетъ быть, еще лучше, тоньше понималъ, цѣнилъ искусство, но онъ уже не чувствовалъ себя способнымъ отдаться ему всецѣло, уйти всѣмъ существомъ своимъ въ этотъ волшебный міръ и, какъ прежде

блаженно замереть въ немъ... Онъ вспоминалъ, какъ однажды въ Венеціи, остановившись предъ Святымъ Маркомъ, перечислялъ онъ мысленно, что̀ генія, человѣческаго труда и навезенныхъ изо всѣхъ странъ земли сокровищъ потрачено было на этотъ исполинскій памятникъ дней славы и величія... „*Что̀* двигало все это“, подумалъ онъ, „*то̀* уже никогда, никогда для человѣка, не вернется! И для меня къ этому нѣтъ уже возврата“... Нежданныя, жгучія слезы выступили у него подъ рѣсницами... Онъ на другой же день уѣхалъ въ Гамбургъ, оттуда въ Америку. „Посмотримъ на страну, гдѣ *этого* никогда не бывало“, сказалъ онъ себѣ,—„познакомимся поближе съ *новою* жизнію, съ *новыми* задачами“...

Но самъ онъ не могъ отрѣшить себя отъ *прежняго* человѣка. Въ этой странѣ безпредѣльной свободы,—Завалевскій провелъ тамъ два года,—онъ все отыскивалъ суровыя республиканскія добродѣтели, пуританъ временъ Пенна, героевъ пустынь и дѣвственныхъ лѣсовъ Купера,—и натыкался лишь на эксплуататоровъ и humbug'овъ всякаго рода. Онъ задыхался, какъ задыхался въ немъ Эдгардъ По, въ этомъ мірѣ машинъ, царственнаго мѣщанства, колоссальнаго разсчета и циническаго корыстолюбія. *Новая* жизнь наводила на него невыносимую тоску. Онъ вернулся въ Европу.

Онъ пріѣхалъ въ Парижъ вслѣдъ за вступленіемъ въ него германской арміи... Его настигла тамъ коммуна со всѣмъ ея безумствомъ, со всѣми ея ужасами, со всѣми ужасами версальскаго возмездія... „А вотъ и разрѣшеніе *новыхъ* задачъ!“ говорилъ себѣ Завалевскій,—„пожаръ, кровь и разрушеніе! Чѣмъ же хуже были Неронъ и Гунны?“... Какъ бы въ отвѣтъ ему, какой-то русскій выходецъ посылалъ изъ Женевы свой братскій привѣтъ поджигателямъ Парижа: „Петролеумъ“, восклицалъ онъ въ младенческомъ восторгѣ,—„вотъ тотъ факелъ, которымъ долженъ освѣтиться великій пиръ равенства и братства людей!“ — „Какъ будетъ вонять на этомъ пиру!“ говорилъ по этому поводу Пужбольскій,—Завалевскій засталъ его въ Парижѣ,—Пужбольскій, который, не стѣсняясь, въ самый разгаръ террора отпускалъ громко на улицѣ подобныя же замѣчанія, за что̀ чуть и не былъ разстрѣлянъ однажды

толпою блузниковъ. Его уже тащили къ стѣнѣ. Bon mot спасло ему жизнь.—„Vous allez me fusiller; je veux bien; mais en serez vous plus propres?“ спросилъ онъ вдругъ, указывая на ихъ грязныя лохмотья,—„tenez, j'aime mieux vous payer du savon!“ И онъ вытащилъ два золотыхъ, бывшихъ въ его карманѣ. Его отпустили съ громкимъ смѣхомъ...

И вотъ, послѣ пяти лѣтъ отсутствія, Завалевскій опять на родинѣ... Комедія Нечаевскаго процесса только-что была отыграна, патріотическая струна давно смолкла,—и надъ нею ретроспективно потѣшались теперь фельетонныя балалайки... Внимательно сталъ прислушиваться, приглядываться Завалевскій, и... и прежнею тоской щемило у него въ груди... Преобразованная родина, на свѣжіе глаза, представлялась ему теперь—увы!—какимъ-то нескладнымъ недорослемъ, облеченнымъ въ одежду взрослаго человѣка и безпомощно запутавшимся въ ней... Ничто, казалось ему, не спорилось, не шло въ здоровый ростъ, не складывалось въ строй, въ дѣйственное, живучее сочетаніе... *Старое*, очевидно, вымирало, гнія, но изъ-подъ его опадающихъ стеблей нигдѣ не замѣчалъ Завалевскій свѣжихъ побѣговъ здоровой молодой жизни... Въ темныхъ и нелѣпыхъ краскахъ рисовался предъ нимъ этотъ давно не виданный имъ родной бытъ: города и села представляли собою зрѣлище одного сплошнаго кабака; вѣчно неуловимый *красный петухъ* гулялъ безнаказанно по всему пространству *деревянной* Россіи; жаловались на тѣсноты, на опеку, толковали о расширеніи правъ,—а самоуправленіе не умѣло моста устроить, и земскія дороги утопали въ грязи какъ во времена Михаила Ѳедоровича, а излюбленные люди страны, а представители высшихъ и низшихъ сословій позорили себя то-и-дѣло безстыдною недобросовѣстностью... Сегодня читалъ Завалевскій, какъ нѣкій избранникъ провинціальной юстиціи, надѣвъ на себя посконную ризу, кощунствовалъ, пьяный, предъ пьянымъ мужичьемъ; завтра разсказывалось объ убійствѣ, совершенномъ 18-лѣтними мальчиками въ видѣ опыта, съ цѣлью пріучить себя къ будущимъ убійствамъ! Благодушно выносила изъ камеръ присяжныхъ общественная совѣсть поразительныя оправданія; адвокатъ превращалъ защиту

преступника въ апоѳеозъ преступленія... И ни одного дня безъ новой клеветы, безъ новаго скандала,—безъ новаго случая безсмысленнаго, необъяснимаго на первый взглядъ самоубійства. Юноши, женщины, дѣти лишали себя, не задумываясь, жизни, какъ бы въ мрачномъ сознаніи своей безполезности, своей безысходной душевной нищеты...

— О, бѣдный край мой! восклицалъ съ отчаяніемъ Завалевскій:—неужели отъ твоего азіатскаго сна пробудила тебя нѣкогда дубинка Петра Алексѣевича только затѣмъ, чтобы ты расползся теперь отъ умственной безтолочи, отъ духовнаго безсилія!... За азбуку надо приниматься тебѣ, за настоящую, правильную, строгую азбуку!...

У него давно былъ составленъ проектъ того образовательнаго заведенія, о которомъ, какъ вѣдомо читателю, происходило у него сейчасъ объясненіе съ господиномъ Самойленкой. Онъ съ новою горячностью принялся за это дѣло. Представленныя имъ предложенія, разсмотрѣнныя вчернѣ, были заранѣе одобрены... Оставался денежный вопросъ, который и побудилъ его пріѣхать въ Алый-Рогъ...

Но въ то самое время, когда онъ занимался своею работой, соображалъ, дополнялъ, совѣщался съ такъ-называемыми *компетентными* лицами, имъ овладѣло тяжелое и неодолимое разочарованіе. Недовѣріе къ задуманному имъ заведенію, выраженное ему откровенно его управляющимъ, было только эхомъ его собственныхъ внутреннихъ сомнѣній... „Народная школа, разсуждалъ онъ, стоитъ въ непосредственномъ отношеніи къ общему уровню цивилизаціи въ странѣ и въ прямой зависимости отъ него. Соотвѣтственно каждому данному историческому моменту, культура и нравственный идеалъ народа отражаются въ этой школѣ „какъ солнце въ малой каплѣ водъ". Во всѣхъ странахъ, гдѣ образованіе не пустое слово,—народный учитель представляетъ собою крайнее звено той цѣпи, по которой, проходя чрезъ всѣ слои общества, спускается сверху внизъ, въ народныя массы, свѣтъ и тепло просвѣщенія... Спрашивается: существуетъ-ли у насъ что-либо подобное такой цѣпи,—а, буде есть оно, что̀ придется вобрать въ себя сверху и что̀ передавать внизъ, въ

глубь народную, этому приготовленному мною народному учителю, когда прицѣпится онъ своимъ звеномъ къ остальнымъ звеньямъ этой милой цѣпи? *Какой* это культуры, *какого* нравственнаго катихизиса поставленъ онъ будетъ младшимъ представителемъ?... Чѣмъ совершеннѣе, чѣмъ *человѣчнѣе* будетъ дано ему воспитаніе — тѣмъ изолированнѣе, тѣмъ осиротѣлѣе будетъ онъ стоять между этимъ, безсмысленнымъ *верхомъ* quasi-культуры и неосмысленнымъ *низомъ*... Кто же выдержитъ такое положеніе?... Нѣтъ, восклицалъ Завалевскій, — тутъ мало того запаса духовныхъ силъ, съ какимъ выходитъ, напримѣръ, въ Германіи такой учитель изъ своей семинаріи;— тутъ надо создавать миссіонеровъ, бойцовъ на смерть противъ этой мертвечины, крестоносцевъ идеи, какихъ умѣютъ создавать іезуиты-сектанты, нужны фанатики свѣта и любви, какъ были у насъ до сихъ поръ фанатики мрака и ненависти!... Но кто создастъ ихъ, этихъ новыхъ *рыцарей духа*, въ распрекрасной странѣ, гдѣ „образованность“ состоитъ въ отрицаніи всякаго *духа?* Не я-ли самъ, спрашивалъ онъ себя съ горькою улыбкой, — буду этимъ пророкомъ, буду „глаголомъ жечь сердца людей“?

Нѣтъ, онъ не обманывалъ себя,—онъ не годился, не могъ болѣе... Леденящая родная атмосфера сдѣлала свое дѣло: съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ, чувствовалъ онъ, изсякалъ въ его душѣ, in imo pectore, прежній живой источникъ энтузіазма... А безъ энтузіазма, говорилъ онъ себѣ,—выйдетъ все та же гниль и прахъ!... Хороши плоды отъ всѣхъ этихъ насажденій нашихъ умниковъ, признающихъ одну всемогущую богиню — *пользу!*... Нѣтъ, *польза* — не сила, не самобытный двигатель, никогда не была имъ, не будетъ! Она ничто, звукъ пустой, если за нею не стоитъ другое, высшее начало, которато она только послушная раба... Лишь то, что само въ себѣ, an sich, какъ говорятъ нѣмцы, заключаетъ жизнь и питаетъ ее, что не чрезъ возбужденіе извнѣ и не въ виду чего-либо ему посторонняго, а въ самомъ себѣ находитъ причину, цѣль и удовлетвореніе,—то лишь одно плодотворно, то лишь одно творило и подвигало...

Все это было справедливо, — но потому самому не могъ

онъ никакъ выпутаться изъ фальшиваго круга, въ которомъ онъ находился: безъ того одухотворяющаго, въ себѣ самомъ сущаго начала жизни, которое, въ его убѣжденіи, отсутствовало во всемъ, что̀ ни окружало его, въ обществѣ какъ въ учрежденіяхъ, то̀ *полезное*, что̀ могло бы быть имъ совершено, должно было оказаться столь же несостоятельнымъ, сколько и все остальное, совершенное доселѣ въ его отечествѣ; а между тѣмъ, — какого же пробужденія *духа жизни* можно было ожидать отъ этой, какъ энергично выражался онъ, — „всеобщей мертвечины“?... Она могла лишь заразить и то̀ живое, что̀ прикасалось къ ней... Не подрѣзаны-ли были крылья у него самого? Не сознавалъ-ли онъ самъ, какъ все холоднѣе и безнадежнѣе заплескивала его самого эта мертвая волна?...

Бесѣда его съ практическимъ Іосифомъ Козьмичемъ навела на него окончательное уныніе.

И, уже не вѣруя въ него, думалъ онъ теперь объ этомъ задуманномъ имъ дѣлѣ, которое, все же, полагалъ онъ, надо, „для очистки совѣсти“, привести будетъ къ концу, — и съ внутреннею улыбкою горечи и презрѣнія къ собственной немощи, сравнивалъ себя съ нажившимся подрядчикомъ, „предоставляющимъ отъ своихъ избытковъ въ распоряженіе начальства“!...

Тихимъ, больнымъ смѣхомъ засмѣялся вдругъ Завалевскій.

— Что̀, хорошъ я къ тебѣ вернулся, пріятель? проговорилъ онъ полугромко, прикасаясь рукою къ пергаментному корешку лежавшаго на столѣ стариннаго Горація, по которому внезапно скользнуло блѣдное сіяніе выплывшаго изъ-за липъ мѣсяца.—По-твоему, вѣдь это все тлѣнъ и суета? Перемелется—все мука будетъ; увѣнчаемся розами, среброчеканную чашу съ старымъ фалернскимъ въ руку — и nunc est bibendum,—и прочая. „Не такъ-ли, старый эгоистъ?... А вотъ, что̀ бы *онъ*, твой прежній хозяинъ, сказалъ?...

И Завалевскій глубоко вздохнулъ.

Мысли его приняли другое направленіе... Онъ поднялся съ мѣста и уложилъ оба локтя на мраморный подоконникъ открытаго окна.

— О чемъ жалѣть? жизнь прошла... Какъ? не все-ль равно?!.. У кого проходитъ она хорошо?... Жизнь — вспоминалъ онъ франкфуртскаго собесѣдника своего Шопенгауэра, призракъ, — отрицаніе, — чего же ждать отъ нея! А тамъ — теперь уже близко — *Нирвана*, вѣчный покой и блаженство небытія, гдѣ...

in deinem Nichts hoff Ich das All zu finden!

Досказалъ онъ себѣ словами Фауста...

Неожиданный яркій свѣтъ блеснулъ прямо въ глаза ему.— Онъ невольно отшатнулся...

Свѣтъ билъ слѣва, изъ одного изъ оконъ одноэтажнаго крыла, примыкавшаго прямымъ угломъ къ главному зданію. На это, настежъ, какъ и у Завалевскаго, раскрытое окно кто-то только-что поставилъ лампу подъ бѣлымъ колпакомъ, и графу прежде всего кинулся въ глаза высоко и объемисто росшій подъ тѣмъ окномъ кустъ *Иванъ-чая;* его густонасаженные красно-лиловые цвѣтки словно вспыхивали подъ падавшимъ на нихъ сверху отвѣсною струею огнемъ.

А выше, въ самомъ окнѣ, виднѣлся женскій обликъ съ распущенными волосами, въ чемъ-то распашномъ и бѣломъ...

„Эта та опять, что по ней „Пушкинъ не развитъ"!... Что она полуночничаетъ?" сказалъ себѣ съ досадою Завалевскій, усаживаясь такъ, чтобъ она оттуда не могла замѣтить его.

Она и не замѣтила; она была увѣрена, что онъ давно спитъ, и спитъ не въ кабинетѣ, а въ спальнѣ покойнаго графа, что выходила на главный фасадъ, по ту сторону дома.

Ей не спалось: въ маленькой спальнѣ ея было душно, — луна только-что глянула ей въ стекла, какъ бы вызывая ее... Она надѣла пудермантель, зажгла лампу и открыла окно.

И вотъ она стоитъ тутъ и всею высокоподымающеюся, полуобнаженною грудью своей вдыхаетъ въ себя воздухъ ночи... Завалевскому, за низкимъ свѣтомъ лампы, не видать ея явственно. Но онъ слышитъ,—она, кажется, запѣла?...

Да, запѣла,—что-то тихое и протяжное... и знакомое ему; кажется... Да, онъ помнитъ: въ саратовскомъ своемъ имѣніи, въ степи, слышалъ онъ эту пѣсню:

Ужь какъ палъ туманъ на сине море,
А злодѣй-тоска въ ретиво сердце;
Не сойдетъ туманъ со синя моря,
Ужь не выйдетъ грусть изъ сердца вонъ...

Ни умѣньемъ, ни особою звучностью не отличалось ея пѣніе. Свѣжій, нѣсколько гортанный и довольно высокій, — прямо русскій голосъ... и все... И ничего личнаго, *субъективнаго*, въ томъ, что̀ сказывала она имъ теперь; вспомнилась ей пѣсня потому развѣ, что тамъ, надъ Алымъ-Рогомъ, рѣдѣя, волновался туманъ предъ разсвѣтомъ, а никакъ—Завалевскій это чуялъ, — не отъ „злодѣя-тоски въ ретивомъ сердцѣ"... И оттого, именно оттого такое нежданное, захватывающее впечатлѣніе производила на него эта пѣсня. Безыскусно и вѣрно передавала ее дѣвушка, передавала ее такъ, какъ вышла она изъ устъ народа,—и никогда еще такъ глубоко и сильно, въ продолженіе всей своей жизни, не чувствовалъ Завалевскій, какъ эти народные звуки были родны, были близки его душѣ... Все, что̀ заключалось въ нихъ, — и это смиреніе вѣковаго страданія, и неизсякаемая жажда лучшей доли, и ширь этой тоски, невѣдомая никакому иному народу въ мірѣ, безпредѣльная какъ степь, какъ воздухъ этой степи, какъ вся эта убѣгающая въ незримую даль русская природа,—все это было *его*, какъ и *ея*, общее, свое; онъ впиталъ все это въ себя съ молокомъ матери, онъ вѣдалъ съ юныхъ дней:

«И помнилъ онъ отъ самой колыбели,
Какъ, темныя свои качая ели,
Вся стономъ стонетъ русская земля»... *).

— Это стоны, припоминалъ онъ далѣе, жадно прислушиваясь въ то же время къ пѣснѣ,—стоны

«Богатыря въ цѣпяхъ»...

Голосъ оборвался внезапно, и лампа Марины исчезла вмѣстѣ съ нею съ окна.

— Куда же это она? совсѣмъ уже громко воскликнулъ

*) Майковъ, *Двѣ судьбы*

графъ, съ такимъ ощущеніемъ, будто въ немъ что-то оборвалось...

Но вслѣдъ за тѣмъ донесся къ нему со двора лязгъ желѣзнаго блока и стукъ хлопнувшей двери. Онъ глянулъ въ окно...

Марина, вся въ бѣлыхъ, колеблемыхъ вѣтромъ складкахъ, вся облитая свѣтомъ майской ночи, подвигалась по двору, по направленію къ рѣкѣ...

— *Каро!* вдругъ кликнула она и обернулась. Завалевскій только отойти успѣлъ...

— *Каро!* повторила она и свистнула пронзительнымъ, ямщичьимъ свистомъ, и на этотъ свистъ, жалобно визжа и скребя передними лапами по желѣзу откоса, показался на окнѣ ея комнаты большой бѣлый пудель, заметался, гавкнулъ— и неустрашимо, головою внизъ, хвостомъ вверхъ, ринулся къ ней изъ окна съ отчаянно-радостнымъ лаемъ...

— Милый ты, милый, князь мой за-алатой бральянтовый! цыганскимъ говоромъ обращалась она къ своему *Каро*, прыгавшему вокругъ нея середь двора, и, поймавъ его за шею, наклонилась цѣловать его, наклонилась такъ низко, что бѣлая голова собаки вся исчезла въ темной волнѣ ея волосъ.

Но вотъ она выпрямилась, нетерпѣливо встряхнула этою волною и, вскинувъ глаза свои на мѣсяцъ, запѣла опять, запѣла теперь во всемъ избыткѣ переполнявшаго ее молодаго, расходившагося веселья:

Полоса-ль моя полосынька,
Полоса-ль моя не паханая,
Не пахана, не бороненая...

Завалевскій словно только ждалъ, — ждалъ именно этой пѣсни...

Не пахана, не бороненая...

повторилъ онъ, опускаясь снова въ кресло.

Чѣмъ-то давно забытымъ, трепетно надежнымъ, молодымъ, какъ этотъ только-что смолкнувшій дѣвичій голосъ, пахну́ло на нашего „идеалиста“.

— Ты правъ, „пламенный Квиритъ“: - nunc est pede

libero pulsanda tellus! Перемелется — мука будетъ... И мой институтъ тоже! домолвилъ Завалевскій, вставая и направляясь къ своему ложу.

Онъ уже укладывался подъ одѣяло, какъ къ нему, вмѣстѣ съ ворвавшимся въ покой легкимъ порывомъ вѣтра, донеслись издали слова пѣсни:

Въ темномъ лѣсѣ кто откликнется?

заливалась Марина уже у самаго рѣчнаго берега.

— Спасибо,—вотъ тебѣ откликъ! чуть школьнически не крикнулъ графъ, натянулъ одѣяло по самыя уши и заснулъ крѣпкимъ, давно ему невѣдомымъ сномъ.

IV.

На другой день, часу въ девятомъ утра, хозяинъ и его гость пили чай на примыкавшемъ къ библіотекѣ довольно широкомъ балконѣ, уставленномъ мраморными вазами съ цвѣтами, и съ котораго вели въ садъ нѣсколько широкихъ каменныхъ ступеней.

Утро стояло великолѣпное. За чертою тѣни, падавшей отъ дома и защищавшей нашихъ пріятелей отъ уже горячихъ солнечныхъ лучей, начиналась ослѣпительная игра свѣта и несся оттуда весь тотъ немолчный, пѣвучій и жужжащій гамъ, звенѣла та безконечная гамма счастливыхъ звуковъ, что̀ на очарованныхъ крылахъ приноситъ съ собою молодая весна.

Пріятели были въ отличномъ расположеніи духа; оба они выспались отлично, проснулись бодрые и свѣжіе. Даже обычно усталое лицо Завалевскаго казалось помолодѣвшимъ.

Предъ Пужбольскимъ на скатерти, между большой чашкой похолодѣвшаго чая и блюдомъ только-что взрѣзанной имъ ветчины, лежало нѣсколько книгъ, принадлежавшихъ, судя уже по однимъ переплетамъ ихъ, къ весьма почтенному по отдаленію времени. Онъ читалъ громко ихъ заглавія одно за другимъ—и помиралъ со смѣху.

— Послушай, какая прелесть! *L'histoire aetiopique d'Héliodorus...*

....traitant les amours de Théagène et Charyclée, докончилъ графъ, весело усмѣхнувшись тоже.—Да, это переводъ милаго стараго Amiot,—и прелестно!... Какъ я зачитывался имъ въ молодости! Этотъ старинный французскій языкъ, живописный и наивный, не твоему нынѣшнему чета!

Но Пужбольскій, не слушая, провозглашалъ съ новымъ хохотомъ новое заглавіе:

—*Comédie du pape malade et tirant à sa fin, traduit du vulgaire arabic en bon rouman et intelligible* (sic), *par Thrasibule Phénice.* 1516... Ты читалъ это?

— Не помню.

— Съ наслажденіемъ прочту,—должно-быть восхитительно!... Это, очевидно, памфлетъ,—веселый можетъ-быть, какъ сказка Бокачіо, ou violent comme le fameux sonnet de Pétrarque contre Rome... Онъ еще разъ прочелъ годъ изданія: mil cinq cent seize, положилъ книгу на столъ и, запуская пальцы въ свою огненную бороду, спросилъ:

— Хотѣлъ бы ты жить въ это время, Завалевскій?

— Въ какое? разсѣянно спросилъ графъ. Онъ въ эту минуту думалъ о томъ, какими мѣрами могъ бы быть на вѣчныя времена огражденъ его институтъ, а главное—смыслъ его, отъ всякихъ случайностей.

— En plein cinquo cento? пояснилъ Пужбольскій.

— Да, время будто и хорошее,—на разстояніи отъ него трехсотъ лѣтъ, примолвилъ лукаво Завалевскій, зная, что его пріятель тотчасъ же какъ изъ пушки выстрѣлитъ.

— Какъ, какъ! дѣйствительно такъ и вскинулся тотъ,—ты бы не хотѣлъ жить въ то время, когда искусство *занято*—„занимало", поправился онъ,—такое важное мѣсто въ жизни, что папа Юлій II, la Rovere, *объявлялъ* войну Флоренціи за то, что она не хотѣла *уступлять* ему Микель-Анджело?

— А Флоренція, какъ ты думаешь, очень довольна осталась, когда увидѣла себя вынужденною отослать Микель-Анджело твоему воинственному папѣ? поддразнивалъ его Завалевскій.

— Mais, par la barbe de Jupiter! запищалъ князь,—это совсѣмъ другой вопросъ, я говорю про искусство, которое въ то время...

Но Завалевскій его уже не слушалъ и снова погрузился въ соображенія о своемъ институтѣ.

А Пужбольскій между тѣмъ засыпалъ о Львѣ X и о нюренбергскихъ художникахъ, о Цезарѣ Борджіа и о Peter Fischer'ѣ, перескочилъ какимъ-то удивительнымъ, одному ему

возможнымъ скачкомъ, отъ Луки Кранаха къ прекрасной Арсиноѣ, супругѣ Птоломея Филадельфа, которую родная сестра ея, Клеопатра, велѣла отравить изъ зависти къ ея красотѣ, причемъ расхвалилъ Клеопатру и выбранилъ врага ея, Горація, ce plat courtisan d'Auguste, который долженъ былъ однако согласиться, когда узналъ о ея мужественной смерти, что она „non debilis mulier", что будто бы по-русски могло бы быть переведено въ этомъ случаѣ: „не дюжинная женщина"... Все это, невѣдомо уже какъ, кончилось вопросомъ: какого мнѣнія Завалевскій о стихотвореніяхъ Anastasius Grühn'a?

Завалевскій не разслышалъ было...

— Ну, да, Anastasius Grühn, нетерпѣливо повторилъ князь,—псевдонимъ графа Ауерсперга, un pair d'Autriche aujourd'hui... Въ прошломъ году я на Траунзее жилъ въ одномъ отелѣ съ однимъ фельдмаршалъ-лейтенантомъ, старикомъ; такъ тотъ даже плакалъ, говоря о немъ... Я и прочелъ. Dio mio, какая скука!

— Къ чему же ты читалъ?

— Нельзя,—надо!... Я все читаю, нужное и ненужное... Я всѣхъ ихъ *одолѣвалъ*, всѣхъ этихъ Гервеговъ, Платеновъ, Фреймегратовъ.

— Вѣдь ты ничего въ поэзіи не смышлишь, Пужбольскій? сказалъ ему на это графъ съ улыбкой.

— Ну да, не смыслю! отгрызся онъ,—потому что не восхищаюсь, какъ ты, стихами, гдѣ семьдесятъ пять тысячъ существительныхъ и ни одного глагола, твоимъ знаменитымъ „шопотъ, робкое дыханье", или тамъ у Гёте: o Lust, o Wonne, o Erd'... o Son'...

Онъ обрѣзалъ вдругъ, на полусловѣ, и уставился на подходившаго въ это время медленными шагами къ балкону пожилаго, сутулаго и прихрамывавшаго человѣка въ синемъ армякѣ и порванной, рыжей отъ времени, мѣховой шапкѣ, надвинутой на самыя брови.

— Это вчерашній кузнецъ, сообщилъ князь Завалевскому, обернувшемуся въ ту же сторону. — Quel type! Настоящій Книппердолингъ!

— Откуда у тебя все это берется! пожалъ плечомъ графъ.

— А ты не помнишь Книппердолингъ—le Малюта Скуратовъ, l'executeur des hautes oeuvres de Jean de Leyde... Погляди на эту скверную харю! уже попотомъ примолвилъ онъ.

Дѣйствительно, лицо, обезображенное оспой, большіе, далеко другъ отъ друга отстоявшіе, волчьи зубы, сѣрые недобрые глаза, глядѣвшіе угрюмо изъ—не подъ бровей, которыя были у него рѣдки, словно выжжены,—а изъ-подъ низко свисшей со лба на глаза кожи, рѣзкимъ краснымъ цвѣтомъ обозначавшей линіи этихъ бровей, и—когда онъ, не торопясь, снялъ шапку предъ господами,—огромная голова вся въ бурыхъ вихрахъ:—такова была незавидная наружность кузнеца, поднявшагося теперь на третью ступеньку балкона и безъ словъ, словно чего-то ожидая, выглядывавшаго снизу на Завалевскаго.

— Что тебѣ нужно, любезный? спросилъ графъ.

— На счетъ вчерашняго, не тотчасъ же послѣдовалъ отвѣтъ.

— То-есть, что это на счетъ вчерашняго?

— Извѣстно,—шину наваривалъ. Шапка кузнеца заходила въ его рукахъ, и глаза исчезли подъ опустившеюся на нихъ кожей.

— Развѣ ты не получилъ, что тебѣ слѣдуетъ?

— Вѣдомо, что не получалъ, язвительно и уже совсѣмъ отворачиваясь отъ вопрошавшаго, отвѣчалъ онъ.

— Постой, постой, любезный! вмѣшался князь.—Во-первыхъ, какъ тебя звать-величать?

— Осипомъ, угрюмо отрѣзалъ кузнецъ.

— Такъ позвольте же васъ, господинъ Осипъ,—не знаю по отчеству какъ,—позвольте спросить: не я-ли тебѣ вчера собственною рукой моею вручилъ два серебряные рубля въ видѣ двухъ желтенькихъ и притомъ новенькихъ бумажекъ?

Шапка еще злѣе замоталась между пальцами „Книппердолинга".

— Такъ, можетъ, вы на чай дали... а развѣ шина два цѣлковыхъ стоитъ?

— Именно, именно! запищалъ Пужбольскій:—моей вели-

кой милостью твоей великой лѣности на чай далъ, потому ты меня тамъ изъ дрянной шины три часа *продерживалъ!* Да за сѣкиру взялъ ты съ меня, что захотѣлъ! А за работу тебѣ ни гроша не слѣдуетъ, потому при тебѣ говорилъ мнѣ кучеръ, что везъ насъ, что нанятъ ты управляющимъ погодно, на всѣ работы по экономіи... Такъ ты только обязанность свою *справилъ.*

— Такъ мало-ль что станетъ кучеръ врать! сипло отрѣзалъ кузнецъ, придерживаясь рукой за перила и переступая съ хромой ноги на здоровую.

— А если онъ вралъ, такъ что-жь ты тогда же ему не сказалъ, при мнѣ? а ты съ тѣмъ и ушелъ въ свою дыру, ниего не сказавши!...

— Ты, любезный мой, говори толкомъ, началъ опять графъ,—ты какъ нанятъ на экономію работать: погодно, или поштучно?

— Погодно, отвѣчалъ тотъ не смущаясь,—будто все дѣло не разрѣшалось этимъ.

Пужбольскій чуть не захлебнулся отъ негодованія.

— Ты послушай, послушай, господинъ Осипъ, зашипѣлъ онъ,—ты мнѣ скажи: ты посты соблюдаешь?

Изъ-подъ красной кожи выглянули опять недобрые глаза „Книппердолинга“ и мрачно остановились на князѣ.

— А то какъ же?... Хрестьянинъ тоже! отвѣчалъ онъ.

— И ни разу, ни разу не случалось тебѣ *оскоромлятьсл?*

— Богъ миловалъ!...

— Такъ какъ же это ты, какъ же, продолжалъ захлебываться Пужбольскій,—посты блюдешь, въ душеспасительность груздя и сыроѣшки вѣришь, а въ Божьи заповѣди не вѣришь!... Или, можетъ, ты и не знаешь, что говоритъ осьмая заповѣдь?

— Перестань, пожалуйста, сказалъ ему по-французски Завалевскій,—а ты, мой любезный, обратился онъ къ кузнецу,—коли имѣешь какую-нибудь претензію, ступай къ управляющему; ты съ нимъ рядился...

— Что мнѣ къ управляющему ходить! дерзко пробурчалъ Осипъ, спускаясь одною ногой со ступени,—сами князья-гра-

фы, знаете, почитай, что не годится бѣднаго человѣка обижда̀ть...

— И `est soûl, le gredin! сверкая глазами, вскочилъ съ мѣста своего Пужбольскій.

— А ты здѣсь на что̀? раздался въ то же время за нимъ басистый и повелительный голосъ,—голосъ господина Самойленки; главноуправляющій только-что вышелъ изъ библіотеки и, ни съ кѣмъ не здороваясь, стоялъ посередь балкона, вложивъ руки въ карманы пальто, уставивъ въ упоръ круглые глаза свои въ лицо кузнеца,—и князь съ изумленіемъ замѣтилъ, какъ подъ этимъ взглядомъ, чѣмъ-то смущеннымъ и трусливымъ смѣнялось наглое выраженіе, только-что изображавшееся на томъ лицѣ.

— За своимъ дѣломъ приходилъ, почти робко проговорилъ „Книппердолингъ“ и убралъ уже обѣ ноги свои со ступени.

— А какія это у тебя нынче „свои дѣла“ завелись, что̀ мнѣ они неизвѣстны? грозно крикнулъ Іосифъ Козьмичъ,—и кузнецъ, не отвѣчая и насунувъ обѣими руками шапку по самыя уши, спустился въ садъ и, ковыляя по дорожкѣ, исчезъ за ближайшимъ поворотомъ.

— А побаивается же онъ васъ однако! съ одобреніемъ и сочувствіемъ взглянулъ на Іосифа Козьмича князь.

— Знаетъ песъ, что на него палка есть, самодовольно проговорилъ тотъ.—Кабы не я, сгнилъ бы онъ давно въ Сибири! примолвилъ онъ,—и жизни сталъ не радъ, что такъ неосторожно уронилъ эти слова...

— Въ Сибири! воскликнулъ немедленно Пужбольскій. — За что̀?...

И онъ, и графъ обернулись на г. Самойленку съ такимъ вопрошающимъ, настоятельнымъ, показалось ему, выраженіемъ, что онъ увидѣлъ себя вынужденнымъ сказать болѣе, чѣмъ бы желалъ...

— Жена у него была, неохотно, сквозь зубы, пропустилъ онъ наконецъ.

— Ну?...

— Ну... и забилъ онъ ее до смерти, мерзавецъ!...

— И вы... вы это скрыли! съ ужасомъ проговорилъ князь.

— Скрылъ!...—недружелюбно и надменно повелъ на него взоромъ управляющій.—А по-вашему какъ, спросилъ онъ его неожиданно,—Сибирь хуже была бы ему наказаніемъ?... Когда я ему дозволилъ изъ усадьбы, дворовый онъ былъ, въ ту его теперешнюю кузню переселиться, такъ онъ отъ радости мало не обезумѣлъ... а то слонялся какъ тѣнь какая, два года сряду ни одной ночи на томъ же мѣстѣ ночевать не могъ... Скрылъ! повторилъ Іосифъ Козьмичъ и, словно не могъ онъ самъ совладать съ наступавшими на него со всѣхъ сторонъ воспоминаніями,—можетъ быть, пробормоталъ онъ,—такія обстоятельства были, что...

— Онъ не договорилъ и, отойдя на нѣсколько шаговъ отъ князя, наклонился къ кусту жасмина, подымавшемуся поверхъ балкона, очевидно рѣшившись не продолжать разговора.

— Les mystères d'Udolphe, par Anna Radcliffe! съ напускною веселостью молвилъ Пужбольскій, наклоняясь къ пріятелю:—на самомъ дѣлѣ его коробило...

Графъ не отвѣчалъ ни единымъ словомъ.

V.

Кузнецъ тѣмъ временемъ, ковыляя и пошатываясь, — онъ былъ не совсѣмъ трезвъ, — пробирался изъ сада ко двору. Онъ былъ золъ и велъ идучи сердитую бесѣду самъ съ собою:

— Въ кои вѣки... увидѣли!... И пожалѣлъ... Графами также прозываются!... Погодно, говоритъ... А что погодно? Все Лаврентій проклятый! А тотъ... чтобъ его дьявола лысаго!...

Онъ остановился, озираясь кругомъ подозрительными глазами, и, сжавъ кулакъ, потрясъ имъ по воздуху по направленію дома.

— Все взялъ... все!... Дьяволъ!... О—охъ!... Не достать... высоко... не подѣлаешь ничего!... Заповѣди, говорятъ, не знаешь... Точно,—въ грѣхѣ... весь.... не вылѣзти...

Онъ добрелъ такимъ образомъ до садовой калитки, отворилъ ее настежъ—и такъ и застрялъ въ проходѣ.

На встрѣчу ему, направляясь къ той же калиткѣ, шла легкими и спѣшными шагами Марина. Она была одѣта тщательнѣе обыкновеннаго, въ лѣтнемъ кисейномъ платьѣ; свѣжая лента вплетена была въ косу, на ноги надѣты ботинки на высокихъ красныхъ каблучкахъ; довольно длинная, расшитая въ-прозолоть черная кофточка, накинутая на плечи, связывалась впереди узломъ толстаго снура съ длинными шелковыми кистями по концамъ...

— Ишь ты! громко вскрикнулъ кузнецъ при видѣ ея.

Она на ходу чуть не наткнулась на него.

Онъ не двигался и продолжалъ глядѣть на нее пристально, съ какою-то странною смѣсью злости и невольнаго восхищенія

въ помаргивавшихъ глазахъ; на сухихъ губахъ складывалась неловкая, кислая улыбка...

— Что же, вы меня пропустите? спросила она, съ видимою неохотой подымая на него глаза.

Онъ отошелъ, не выдержавъ ихъ строгаго выраженія; она прошла въ калитку.

— Залетѣла ворона въ высокія хоромы! словно вырвалось у него ей вслѣдъ.

Она вся какъ полотно поблѣднѣла, обернулась и пошла прямо на него.

— Что такое, что ты сказалъ? дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ спросила она, забывая современное *вы*, съ которымъ почитала она необходимымъ обращаться къ кому бы то ни было изъ „меньшей братіи“.

— А ничего, *барышня*, ничего, внезапно переходя въ плаксивость, затянулъ онъ дребезжащимъ голосомъ, — про себя это я, про болѣсть свою... Не пожалуете-ли вотъ, матушка, безпалому, мнѣ, мази какой въ облегченіе?... Правая-то нога у меня отморожена, можетъ слышали?... Такъ маюсь съ нею, и моченьки моей нѣтъ...

— Обратитесь къ фельдшеру, рѣзко отвѣтила она:—нѣтъ у меня мази для грубіяновъ!...

Она ушла, невольно замедляя шаги; сердце высоко подымалось у ней въ груди... Она негодовала на необъяснимую, на ничѣмъ не вызванную ею дерзость этого человѣка, негодовала на себя за свою „негуманность“: онъ, можетъ быть, дѣйствительно нуждался въ ея помощи, а она отказала такъ грубо, оскорбительно... Но нѣтъ, это вздоръ, *онъ* оскорбилъ ее, она слышала тѣ обидныя слова... и что хотѣлъ онъ сказать ими?... а мазь и прочее, это ложь, одинъ отводъ... И что она ему сдѣлала?... Это не въ первый разъ замѣчаетъ она нерасположеніе его къ ней... Онъ живетъ далеко и его почти никогда не видать въ усадьбѣ; съ тѣхъ поръ, какъ она воротилась изъ пансіона, изъ города, этому вотъ ужь третій годъ пошелъ, она видѣла его всего-на-все три, четыре раза... Но каждый разъ онъ, какъ вотъ теперь, старался видимо попадать ей на встрѣчу, и каждый разъ, встрѣчаясь, глядѣлъ на

нее этими злыми глазами, улыбался этою скверною усмѣшкой... Его всѣ въ экономіи боятся, бабы *вѣдуномъ* почитаютъ, а Іосифъ Козьмичъ зоветъ „дрянь-человѣкомъ“ и гонитъ прочь, какъ только гдѣ завидитъ... Развѣ изъ злости къ нему, къ Іосифу Козьмичу, ненавидитъ *его дочь* этотъ человѣкъ?... Странное и обидное для нея чувство: она, что̀, кажется, никого и ничего на свѣтѣ не боится, и гордится сама предъ собою этою своею неустрашимостью, она... да, это она чувствуетъ... ей страшенъ почему-то этотъ хромой кузнецъ!... Она вотъ сейчасъ, когда онъ *это* ей сказалъ,—и что̀ хотѣлъ онъ этимъ сказать?—она не побоялась, прямо пошла на него, какъ на медвѣдя не побоялась бы пойти сейчасъ. А все же,—да, она это чувствуетъ, — она ни за что̀ бы не хотѣла еще разъ встрѣтиться съ нимъ!... Онъ ей страшенъ, да,—она его боится... боится словъ его, сквернаго взгляда...

Такъ разсуждала Марина, подходя къ балкону, на которомъ, завидѣвъ ее издали, издали улыбался ей изъ-подъ рыжихъ усовъ князь Пужбольскій, запустивъ обѣ руки въ свою широкую бороду, — что̀ всегда служило признакомъ розоваго расположенія его мыслей.

А „Книппердолингъ“, не двигаясь съ мѣста, долго слѣдилъ за ея бѣлѣвшимъ и исчезавшимъ въ извилинахъ аллей платьемъ... Отмороженная нога его затекла, и онъ, съ болѣзненною судорогой на обезображенномъ лицѣ, ухватившись рукой за заборъ, перекинулся на другую ногу, продолжительно охнулъ и, махнувъ какъ-то неестественно рукой, пошелъ своею дорогой.

Появленіе Марины, словно вѣтромъ тучи, мгновенно разсѣяло то натянутое положеніе, въ которомъ, послѣ переданнаго нами разговора, чувствовали себя всѣ три лица, находившіяся въ эту минуту на балконѣ.

— Птичка пѣвчая! съ доброю своею улыбкой и какъ бы про себя сказалъ графъ, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ минувшей ночи.

Она стояла внизу, не подымаясь на балконъ, и не слышала этихъ словъ, — но услышалъ ихъ Іосифъ Козьмичъ и широко и самодовольно осклабился.

— Всю ночь поетъ, людямъ спать не даетъ! съ громкимъ смѣхомъ проговорилъ онъ, ласково взглянувъ на Марину: — его льстило, что она такъ красива и такъ къ лицу одѣлась, и что все это, видимо, производитъ впечатлѣніе на людей, которые двѣ части свѣта, да, пожалуй, и еще какую третью, изъѣздили...

— Что такое? Она сдвинула брови... Къ вамъ Верманъ пріѣхалъ, передала она ему, легкимъ движеніемъ головы отвѣчая на поклонъ графа и Пужбольскаго, какъ бы давая имъ чувствовать, что только потому и видятъ они ее здѣсь, что Верманъ пріѣхалъ...

— А все то же, продолжалъ смѣяться Іосифъ Козьмичъ,— что отъ голоска Марины Осиповны никому во *дворцѣ* спать не приходится...

— А вы развѣ слышали? быстро промолвила она, мелькомъ взглянула на усмѣхавшееся лицо Завалевскаго и зарумянилась вся.

— И не я одинъ, а вотъ и Владиміръ Алексѣевичъ тоже. Вы слышали? обратился г. Самойленко къ графу.

Тотъ утвердительно кивнулъ.

— Ну, вотъ это ужь вы напрасно киваете, *не правда ваша!* воскликнула она, прикрывая замѣшательство свое смѣхомъ:—изъ „графской спальни“ нельзя слышать, что на дворѣ дѣлается...

— Я не въ спальнѣ спалъ, а въ кабинетѣ, сказалъ Завалевскій.

— Въ кабинетѣ! растерянно повторила Марина.—„Боже мой, неужели онъ меня видѣлъ?“ съ ужасомъ подумала она.

— Да что ты тамъ внизу стоишь, не двигаешься? молвилъ Іосифъ Козьмичъ.—Ступай сюда, займи дорогихъ гостей, — а я пойду... Ты говоришь, Верманъ пріѣхалъ... Нашъ здѣшній Ротшильдъ, объяснилъ онъ, обращаясь къ графу, — монополистъ! Всѣхъ здѣшнихъ помѣщиковъ въ крѣпостныхъ своихъ обратилъ: какую цѣну положитъ, такую и берутъ... Со мною вотъ съ однимъ, хвастливо примолвилъ онъ, — не совладать ему! Съ самаго декабря держусь, шерсть не уступаю,—ска-

залъ по девяти рублей за немытую, такъ и будетъ!.. Затѣмъ, должно быть, и пріѣхалъ!...

Величественный главноуправляющій, неуклюже передвигая толстыми ногами своими, сошелъ внизъ, также неуклюже подхватилъ подъ талію Марину, все еще недвижно стоявшую тамъ, приподнялъ ее сильною рукой на ближайшую ступеньку и удалился.

— Не угодно-ли выпить съ нами чаю, Марина Осиповна? спросилъ Завалевскій.

— Чаю?... Я пила... Впрочемъ, я всегда готова пить чай, рѣшила она вдругъ и — какъ вскидываетъ разомъ крыльями испуганная птица и такъ-же разомъ опускается на вѣтку,— перепорхнула черезъ ступени и очутилась на балконѣ, предъ чайнымъ столомъ, въ креслѣ только-что покинутомъ Пужбольскимъ.

— Не помню, представлялъ-ли я уже вамъ моего друга, князя...

— Ну, конечно, перебила она, — мы еще вчера познакомились съ *нимъ*, когда... я вамъ ключъ отъ рѣдкихъ книгъ приносила... Что же вы стоите, господинъ... князь?...

Пужбольскій поклонился и, не садясь, глядѣлъ на нее во всѣ глаза.

— Зачѣмъ вы такъ смотрите? досадливо сдвинула она опять брови.

— Я на вашъ *долманъ* заглядѣлся, поспѣшилъ онъ извиниться.

— Какой долманъ? Это? Она вскинула плечомъ.

— Да,—очень красиво, я нахожу...

— Это молдаванская кофточка; одинъ былъ тутъ грекъ *табаководъ*,—такъ онъ прислалъ мнѣ изъ Бухареста...

— Это не молдавскій, а венгерскій покрой, тотчасъ же замѣтилъ всезнающій Пужбольскій,—все тотъ же типъ длинной куртки, de la veste longue, долмана, который носятъ гонведы, гусары...

— Гусары? засмѣялась Марина—и взглянула на Завалевскаго.

— На венгерскомъ языкѣ *гусъ-ара* значитъ *тысяча копій*, mille lances, объяснилъ князь при семъ удобномъ случаѣ.

— Ну, и прекрасно, перебила его дѣвушка,—а еще лучше, что оно вамъ нравится...

— Да, очень! Женщины всегда должны были-бы носить что-нибудь волнующееся, накинутое на плечи. Это придаетъ какой-то легкій и вмѣстѣ съ тѣмъ гордый видъ...

— Я сама гордая! провозгласила неожиданно Марина.

Пужбольскій нѣсколько смѣшался, — онъ былъ вообще конфузливъ съ женщинами; ему показалось, что дѣвушка съ какимъ-то намѣреніемъ сказала это... но вмѣстѣ съ тѣмъ красота ея производила на него такое неотразимое впечатлѣніе...

— Вы имѣте на это право, проговорилъ онъ не совсѣмъ увѣренно.

— А почему вы думаете? быстро взглянула она на него.

Онъ улыбнулся.

— Еще древній поэтъ сказалъ, что гордость—естественное послѣдствіе красоты *) и...

— И пристала ей — какъ венгерская куртка, докончилъ засмѣявшись графъ.

— Какой же это *древній* сказалъ? сдерживая улыбку, спросила Марина.

— Овидіемъ звали его, отвѣчалъ Пужбольскій.

— Ахъ, это *латинскій?* Она скорчила презрительную гримаску.—Только на такомъ пустомъ языкѣ и можно говорить такія *пошлости*, какъ вы сейчасъ сказали!... А вы, значитъ, классикъ, клас-сикъ! жалостливо глядя на князя, тянула Марина...

— Неужели и вы тоже? вскинула она вдругъ свои большіе искристые глаза на графа,—и вы?...

Онъ улыбался—*самымъ уголкомъ рта*, замѣтила она,—и эта полузадумчивая, полунасмѣшливая улыбка несказанно нравилась ей...

— Вы также занимаетесь этими *лингвистическими ока-*

*) Fastus inest pulchris, sequiturque superbia formam. Ovid.

мелочностями? приставала она къ нему, уже болѣе для того, чтобъ онъ *еще уголкомъ, уголкомъ...*

Пріятели переглянулись и чуть-чуть не покатились оба.

Марина это замѣтила... и вдругъ оскорбилась:

— Вамъ, можетъ-быть, проговорила она надменно и нѣсколько въ носъ,—вамъ совсѣмъ не желательно со мною разговаривать, а вы только такъ... *снисходите?...*

„Боже мой, какъ ихъ всѣхъ бѣдныхъ исковеркали!“ подумалъ Завалевскій.—Подумайте, молвилъ онъ, межъ тѣмъ какъ Пужбольскій, весь красный, принимался было разувѣрять ее,—подумайте, молодая особа,—и онъ строго глянулъ ей въ глаза своими спокойными глазами, имѣетъ-ли какое нибудь здравое основаніе то, что вы сейчасъ сказали?

Она растерялась неожиданно:

— Вѣдь вы же аристократы, титулованные! чуть не со слезами проговорила она въ объясненіе.

Онъ засмѣялся.

— Если это можетъ васъ нѣсколько утѣшить, то я скажу вамъ, что дѣдъ мой, первый графъ Завалевскій, былъ статсъ-секретарь и большой человѣкъ при Екатеринѣ; зато отецъ его, а мой прадѣдъ, былъ отъ сохи взятъ въ солдаты... Если-бы мы жили во времена монархической Франціи, я бы въ королевскихъ каретахъ не имѣлъ права ѣздить...

Марина открыла большіе изумленные глаза: — она не поняла...

Пужбольскій торопливо, со всевозможными подробностями, поспѣшилъ объяснить ей, что значило „monter dans les carosses du roi“, и сколько нужно было „quartiers de noblesse“ для этого, и какъ все это происходило при версальскомъ дворѣ...

— Вы точно тамъ жили, со всѣми этими *уродами*, замѣтила ему Марина.

— Его-то повезли бы dans les carosses! все такъ же весело сказалъ графъ:—онъ отъ Рюрика въ прямомъ колѣнѣ летитъ внизъ. Древенъ!..

— Древенъ! повторилъ князь и тотчасъ же вскипятился:

— „И чѣмъ древнѣе ваши предки,
Тѣмъ больше съѣли батоговъ“

— Вотъ что сдѣлала изъ русской аристократіи московская татарщина! Есть чѣмъ у насъ хвалиться древностью рода!...

— А не будь этой московщины, которую ты такъ ненавидишь, отрѣзалъ ему на это Завалевскій,—ты былъ бы теперь нѣмецъ или подданный султана.

— Какъ? запищалъ, схватываясь за волосы, пламенный князь,—потому что какой нибудь Калита и всѣ эти *кулаки*...

— Я тебя спрашиваю, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ продолжалъ тотъ,—желалъ-ли бы ты въ эту минуту быть секретаремъ посольства его величества Абдулъ-Азиса при вѣнскомъ дворѣ?

— Mais, par la barbe de Jupiter, laisser moi donc achever!...

— Безъ этихъ „московскихъ кулаковъ“ не было бы Россіи, вотъ тебѣ и весь сказъ! закончилъ графъ.

— А развѣ это такъ нужно? кинула вдругъ Марина. И Пужбольскій, открывавшій ротъ, чтобы раздавить пріятеля силою своихъ аргументовъ, такъ и остался съ раскрытымъ ртомъ и предъ этимъ удивительнымъ вопросомъ.

— То-есть... чего же это именно не нужно? озадаченно спросилъ онъ дѣвушку.

— Россіи! храбро отвѣчала она.

— Вы хотѣли бы... чтобы Россіи не было?...

— Нѣтъ, не то, чтобъ ея совсѣмъ не было, объясняла она пресерьезно,—а для чего быть ей такой огромной... Ѳедорой такой! примолвила она, смѣясь. А чтобъ были все маленькія общины, а главное съ народнымъ правленіемъ, чтобы граждане сами управляли собой...

— Вотъ, напримѣръ, Глинскъ съ его уѣздомъ — первая республика! раздался смѣхъ и басъ вернувшагося Іосифа Козьмича. Онъ поднялся тяжело по ступенямъ и опустился въ кресло, поодаль отъ чайнаго стола, въ углу балкона.

— Ну, Глинскій уѣздъ! и Марина сморщила брови:—тутъ, кажется, ни одного человѣка нѣтъ, чтобы можно было его назвать *гражданиномъ!*...

— А Быстродольскій, а Чернобѣжскій, а Трущовскій, а Прутченскій? пересчитывалъ въ своемъ углу господинъ Са-

мойленко, отирая лысину огромнымъ пестрымъ фуляромъ,—тамъ есть что-ли?... Хоть шаромъ покати!...

— Ну, при такихъ условіяхъ, m-lle Марина, сказалъ смѣясь Пужбольскій,—не то нѣмцы, а какой-нибудь князь Куза проглотилъ бы всѣ ваши *общины* одну за другой, какъ слоеные пирожки.

— А вы бы хотѣли, спросилъ, ласково взглянувъ на нее, графъ,—хотѣли бы вы забыть русскую пѣсню и обратиться въ чужестранку?

— Боже сохрани! горячо вырвалось у нея.—Ради Бога, скажите мнѣ, наклоняясь къ нему и понижая голосъ, спросила она,—неужели вы въ самомъ дѣлѣ, сегодня ночью...

Онъ догадался, чего именно она боялась.

— Я лежалъ въ постели, отвѣчалъ онъ,—и слышалъ женскій голосъ. Я понялъ такъ, что некому было пѣть, кромѣ васъ... И за то великое вамъ спасибо! тепло примолвилъ онъ.

— За что это? живо, съ блестящими глазами воскликнула она.

— Это я вамъ когда-нибудь въ другой разъ скажу...

Завалевскій всталъ и заходилъ вдоль и поперекъ балкона. Весь этотъ разговоръ съ Мариной навелъ его опять на невеселыя размышленія.

Онъ заговорилъ въ разсѣянности, тихо, про себя, забывая о присутствіи другихъ...

— Все съ толку сбито, перепутаны всѣ понятія,—всѣ представленія!... дошло до слуха Марины.

Она ловила эти падавшія изъ устъ его слова, и странная скорбь ихъ выраженія захватывала ее за что-то ей будто ужь давно знакомое, лежащее гдѣ-то глубоко въ душѣ ея и до сихъ поръ никогда еще не всплывавшее на ея поверхность. Эти слова и внезапная печаль его—они были вызваны ею, она это понимала, но чѣмъ, какою именно ея *глупостью*,—развѣ вотъ тѣмъ, что она *про Россію сказала?*—она не умѣла себѣ дать отчета. Но она тоскливо упрекала себя въ этой его внезапной печали... Никто, нѣтъ, во всю ея жизнь, не внушалъ еще ей такого удивительнаго чувства, какъ этотъ *старикъ*, котораго она вчера только въ первый разъ увидала... *Онъ*

весь кругомъ правда, одна правда! говорила она себѣ съ какимъ-то умиленіемъ...

— Это вѣрно, что все съ толку сбито, подхватилъ на-лету Іосифъ Козьмичъ, и даже вздохнулъ, и Маринѣ стало вдругъ ужасно досадно на него за этотъ вздохъ и за то вообще, что онъ заговорилъ въ эту минуту.—Люди, продолжалъ онъ,—ходятъ какъ очумѣлые, сами не вѣдаютъ, что болтаютъ и чего хотятъ!... Не знаю, какъ у васъ тамъ, въ Санктъ-Петербургѣ, а у насъ, въ провинціи, очень это чувствительно...

— Въ *Санктъ*-Петербургѣ! влетѣлъ какъ бомба въ разговоръ Пужбольскій.—А кто же сбиваетъ, путаетъ, *отравитъ* васъ въ провинціи, какъ не этотъ чужеядный, чухонскій, гнилой *Санктъ*-Петербургъ! Кто вамъ вашихъ пророковъ насылаетъ? Кто поставилъ себѣ въ идолы разнузданное невѣжество и велитъ и вамъ кланяться ему какъ силѣ? Кто *повелитъ* молодому поколѣнію не *признать*, не знать ничего добраго, благороднаго, честнаго въ своемъ отечествѣ, а *воспитать себя* на „трезвой правдѣ господина Рѣшетникова“ и ему подобныхъ,—je l'ai lui, de mes propres yeux lu, обратился князь къ Завалевскому,—et c'est à propos du beau roman de *Война* и *Міръ* qu'ils bavaient cela, les crapauds,—другими словами, велитъ питать себя злостью съ самыхъ пеленъ изъ-за того, что какіе-нибудь *Афроська* и *Сысойка* *) отъ дикости своей принуждены древесную кору ѣсть!...

— Не одна дикость! воскликнула Марина.—Я читала! нищета безъисходная! Кормиться нечѣмъ! Развѣ такіе несчастные не заслуживаютъ всякаго участія, помощи?...

— Вѣрно, Марина Осиповна! улыбнулся ей на ходу Завалевскій:—но если у васъ у самихъ ничего свѣтлаго на душѣ не будетъ, *съ чѣмъ* придете вы къ нимъ на утѣшеніе? Если у васъ у самихъ никакого не будетъ здороваго содержанія, *чему* научите вы ихъ, чѣмъ могли бы они сами помочь себѣ, безъ чего ничто имъ не поможетъ? Прусское поморье, подите, обдѣлено природой похуже, чѣмъ вятскіе лѣса,—а тамъ дре-

*) Герои разсказа „Подлиповцы“, соч. Рѣшетникова.

весной коры не ѣстъ никто, и на Рѣшетниковыхъ никто въ Пруссіи не *воспитывается!*

Марина не нашла отвѣта; она и не искала его, она *ему* на-слово повѣрила...

— Нѣтъ, вы себѣ вообразите страну, гдѣ литература выработала бы себѣ единственно типы Афроськи съ Сысойкой! отчаянно топоталъ между тѣмъ предъ ней князь Пужбольскій. Смѣхъ такъ и пронималъ дѣвушку, глядя на него.

— Это даже преудивительно, забасилъ Іосифъ Козьмичъ:— въ резиденціи, въ центрѣ такъ-сказать всего, и кто это тамъ умами руководитъ, камертонъ, скажемъ, въ этомъ кругу газетномъ держитъ!... Жилъ у меня тутъ съ полгода въ конторѣ одинъ изъ университета, сосланный... Ну бывало по вечерамъ, отъ нечего дѣлать, разспрашиваешь его... Такъ, слово вамъ даю, я даже не вѣрилъ сначала! Какой нибудь тамъ „сынъ свободнаго художника“, „купеческій племянникъ“, отставные канцеляристы да семинаристы, всякія „оберъ-офицерскія дѣти“, да „технологи“ какіе-то,—словомъ, что ни газетчикъ, то разночинецъ!...

— Ну, это все равно, какой бы чинъ на нихъ ни былъ! недовольнымъ тономъ замѣтилъ графъ.

— Нѣтъ, позвольте-съ! обидчиво возразилъ г. Самойленко. — Не въ чинѣ дѣло!... Настолько требованія вѣка мнѣ извѣстны, и я не къ тому-съ... А что если на человѣкѣ нѣтъ порядочной общественной клички, — значитъ онъ никакихъ себѣ правъ образованія пріобрѣсти не умѣлъ, нигдѣ, значитъ, не учился...

— Не учился, потому навѣрное не могъ, средствъ не было, все бѣдность! горячо вступилась Марина.

— Такъ онъ и сиди въ своей дырѣ; будь скроменъ! загорячился Пужбольскій; а то вѣдь онъ, *невѣжа* круглый, въ судьи и законодатели лѣзетъ, онъ на русскомъ темномъ царствѣ Адиссона и Лессинга собою изображаетъ!...

— А Лессингъ, между прочимъ, прервалъ себя князь, обращаясь къ дѣвушкѣ, — былъ тотъ же нашъ братъ, славянинъ, изъ Лужичей, и назывался не Лессингъ, а Lessis... такъ и подписывался самъ сначала... то-есть, Лѣсикъ, отъ *Лъса*...

— Я даже такъ полагаю, продолжалъ разсуждать Іосифъ Козьмичъ,—что такъ какъ самъ онъ, выходитъ, ни рыба, ни птица, то и претитъ, какъ чорту ладанъ, его плебейству всякій благорожденный человѣкъ, а пуще еще того коли съ талантомъ.,. Ну, и надрывается онъ на него какъ песъ голодный. А что ужь эти они своему брату отчитываютъ, такъ, даю вамъ слово, перечтешь иной разъ, глазамъ не вѣришь!... Вѣдь до того-съ доходитъ, что другъ друга это они *„плевальницами“*, *„гнилыми бутербродами“* и *„вонючими клопами“* печатно, пе-чат-но-съ потчуютъ!... Тьфу, сволочь! заключилъ надменный г. Самойленко и плюнулъ отъ избытка негодованія въ жасминный кустъ, подлѣ котораго сидѣлъ онъ.

— Да-съ, это некрасиво! вздохнулъ Завалевскій, проводя себя рукой по лицу.—Но, скажите, кого же винить въ этомъ: ихъ-ли, или то общество, которое создаетъ ихъ и поощряетъ? Вѣдь эти молодцы плоть отъ плоти нашей, вѣдь это перлы нашей молдаво-валахской цивилизаціи!... Въ области печатнаго слова, давно сказано, на одного честнаго писателя приходится вообще по десяти Фальстафовъ. Весь вопросъ въ объемѣ того, что можетъ позволить себѣ Фальстафъ. Попробуй онъ въ Англіи, напримѣръ, доказывать, что королева Елисавета, или, положимъ, Нельсонъ, или Веллингтонъ были не что иное какъ „непроходимые пошляки“, или обозвать „дрянью“ такихъ непервостепенныхъ даже поэтовъ, какъ Кольриджъ или Теннисонъ, такъ вѣдь онъ отъ насмѣшекъ и *groan*'а долженъ будетъ дѣйствительно уйти со срамомъ въ свою дыру, какъ выражается Пужбольскій... А у насъ, скажите, воскликнулъ Завалевскій, внезапно зазвенѣвшимъ глубокою грустью голосомъ,—скажите, осталось-ли теперь хотя одно славное и честное національное имя, отъ Пожарскаго и Скопина до Карамзина и Пушкина, которое не было бы оплевано и оболгано самымъ беззастѣнчивымъ, наглымъ образомъ?... А русскій читатель ничего,—ухмыляется себѣ, да бороду поглаживаетъ!..

— Мало того, полное сочувствіе наглецу оказываетъ! снова вскипятился Пужбольскій.—Вотъ, говоритъ, какъ ловко этихъ историческихъ *аристократовъ* пробрали! Потому что милъ онъ ему, русскому читателю, этотъ журнальный капралъ,

взявшій палку въ руки! Онъ и дрожитъ предъ нимъ, и любитъ его, потому что это въ натурѣ его сидитъ,—какъ онъ себя тамъ либерала ни корчи,—любитъ, чтобы палкой били, кто бы ни билъ и за что бы ни били!...

— Это ужь точно! широко ухмыльнулся и закивалъ головой Іосифъ Козьмичъ.—У меня, молъ, ничего святаго нѣтъ, валяй по всѣмъ!...

— Ничего святаго... да!—глухо, какъ бы испуганно повторилъ Завалевскій.—И ненависть къ родной землѣ... И на этомъ возросло цѣлое поколѣніе!...

Онъ не докончилъ, усталымъ движеніемъ опустилъ голову на грудь и зашагалъ опять по балкону.

Марина слѣдила за нимъ во всѣ глаза...

Онъ вдругъ остановился предъ ней, взглянулъ ей въ лицо и закачалъ головою.

— Бѣдные вы! промолвилъ онъ чуть слышно.

Ей сдѣлалось вдругъ невыразимо жутко... Она хотѣла что-то сказать и не нашла... Онъ опять заходилъ, ероша нервною рукой свои сѣдые кудри...

— Вѣдь въ Хивѣ, пожалуй, хуже,—какъ ты думаешь, Завалевскій? неожиданно буркнулъ Пужбольскій.

Графъ обернулся къ нему и улыбнулся.

— Да, тамъ хуже, сказалъ онъ, подумавъ...

— Ну, вотъ видишь! Воспляшемъ же и возликуемъ, благо наши хивинцы *отъ реализма* не получили еще реальнаго права бить насъ палками по пятамъ!...

Всѣ разсмѣялись.

— А пусть онъ вамъ разскажетъ, сказалъ Маринѣ Завалевскій,—какъ его за подобную же вотъ выходку чуть не разстрѣляли въ Парижѣ коммунисты... Вы не имѣете-ли что сообщить мнѣ, Іосифъ Козьмичъ?...

— Имѣю, дѣйствительно, тяжело приподымаясь съ мѣста, отвѣчалъ тотъ,—и намѣренъ былъ именно просить васъ объ аудіенціи...

Они прошли въ кабинетъ.

VI.

Усѣвшись къ столу, насупротивъ Завалевскаго, Іосифъ Козьмичъ, не говоря ни слова, полѣзъ огромною своею рукой въ боковой карманъ пальто и вытащилъ оттуда нѣсколько акуратно связанныхъ пачекъ ассигнацій.

— Три тысячи пятьсотъ, коротко промолвилъ онъ, пересовывая пачки оконечностію пальцевъ по гладкому столу на сторону Завалевскаго.

— Это что? спросилъ тотъ.

— Задатокъ отъ Вермана,—можетъ получить желаете?... Остальные восемнадцать тысячъ пятьсотъ пятьдесятъ два рубля съ копѣйками въ два срока: первый черезъ десять дней, второй при послѣдней получкѣ шерсти, къ ильинской ярмаркѣ...

— Всего этого мало, Іосифъ Козьмичъ! сказалъ, помолчавъ, графъ.

— То-есть какъ же это мало?... Ахъ, да, спохватился главноуправляющій и благосклонно улыбнулся. — Говорено было и объ лѣсѣ, доложилъ онъ,—и, повидимому, можно будетъ съ нимъ же устроить, по вашему желанію...

— И скоро?

— По возможности скоро, Владиміръ Алексѣевичъ, мягко, чуть не нѣжно отвѣчалъ господинъ Самойленко: ночное размышленіе и утренняя бесѣда съ евреемъ „монополистомъ“ замѣтно измѣнили его вчерашнія воззрѣнія на предпріятіе Завалевскаго.—Черезъ десять дней онъ, то-есть Верманъ, долженъ за шерсть, какъ я вамъ докладывалъ, первую сумму внести, такъ вмѣстѣ съ деньгами обѣщалъ онъ и рѣшительный отвѣтъ привезть... Дѣло сладится, будьте покойны!

— Очень вамъ буду благодаренъ, Іосифъ Козьмичъ, особенно если это не пойдетъ въ долгій ящикъ...

— Будьте покойны! повторилъ управляющій.

Завалевскій откинулся въ спинку кресла и задумался, по обыкновенію. А Іосифъ Козьмичъ, вытащивъ свой огромный фуляръ, высморкался въ него зычно и рѣшительно, засунулъ его опять въ карманъ, качнулъ слегка туловищемъ справа налѣво и вдругъ началъ:

— А у меня къ вамъ просьба, графъ!

— Чѣмъ могу служить? нѣсколько оторопѣло спросилъ тотъ.

— Обстоятельство не совсѣмъ обыкновеннаго свойства...

Іосифъ Козьмичъ при этомъ обернулся на открытую дверь, всталъ и безцеремонно затворилъ дверь на ключъ.

— Не совсѣмъ обыкновеннаго свойства, промолвилъ онъ во второй разъ, усаживаясь на прежнее мѣсто, и передохнулъ.

Графъ молчалъ и съ любопытствомъ глядѣлъ на него...

— Мою Марину вы изволили видѣть...

Господинъ Самойленко поднялъ свои круглые глаза и такъ и уперъ ихъ въ лицо Завалевскаго.

— И даже по разговору судя, что вотъ сейчасъ происходилъ тамъ, на балконѣ, не почитаете ее недостойною вашего вниманія и даже, смѣю думать, вашей благосклонности...

— Конечно, конечно, нѣтъ, Іосифъ Козьмичъ! живо воскликнулъ графъ:—въ ней, очевидно, много сердца... и ума... Можетъ-быть...

— Понимаю, понимаю васъ, не давъ ему кончить, закачалъ одобрительно головою главноуправляющій: — „съ толку сбито“, какъ справедливо выразились вы сейчасъ тамъ. Это точно!... Только, повѣрьте, все съ вѣтру у ней и на поверхности! Тутъ,—онъ ткнулъ себя пальцемъ въ грудь,—какъ въ зеркалѣ чисто!...

— Вполнѣ вамъ вѣрю, съ убѣжденіемъ сказалъ Завалевскій. „Что же дальше будетъ?“ подумалъ онъ.

— Ваше одобреніе дорого, Владиміръ Алексѣевичъ, говорилъ дальше г. Самойленко,—оно, такъ-сказать, усиливаетъ... укрѣпляетъ мой образъ мыслей—и дѣйствій, вѣско примол-

вилъ онъ,—оно, выражусь такъ, дѣлаетъ для меня какъ бы осязательнымъ, что ошибки съ моей стороны не было, когда я рѣшился предоставить ей, то-есть я про Марину говорю, право дочери и наслѣдницы моей...

— А она не дочь ваша? съ изумленіемъ воскликнулъ графъ и невольно пододвинулся ближе къ столу.

Что-то неуловимо странное пробѣжало по лицу Іосифа Козьмича.

— Пріемышъ покойницы жены моей, не сейчасъ отвѣчалъ онъ, и вслѣдъ за тѣмъ прибавилъ:—Двухмѣсячною принята ею за родную дочь...

— И она знаетъ, эта дѣвушка, что она... не дочь ваша?...

— Догадывается, такъ думаю... Вы изволите понимать, вопросъ щекотливый... и разговору у насъ съ нею о томъ не было... Но я сталъ замѣчать, года съ полтора будетъ, съ самой со смерти моей покойницы, — я позволяю себѣ быть совершенно откровеннымъ съ вами, Владиміръ Алексѣевичъ,— замѣчаю нѣкоторое, такъ сказать, съ ея стороны охлажденіе... И это, признаюсь вамъ, мнѣ... мнѣ больно... — неожиданная для Завалевскаго струна искренняго чувства зазвенѣла въ голосѣ Іосифа Козьмича, — потому, понимаете, привязанъ... дѣтей у насъ съ покойницей никогда не было, — дама она была деликатная, болѣзненная... А Марину, дѣйствительно, любила такъ, какъ и родныхъ дѣтей немногіе любятъ. Всегдашнее желаніе ея было предоставить ей права законной, дочери, — и даже въ завѣщаніи своемъ письменно желаніе это выражено ею... Я, съ своей стороны, былъ всегда на это согласенъ, только тутъ представлялось затрудненіе одно, — относительно имѣнія; родовое оно у меня, и прямой наслѣдникъ былъ племянникъ, сынъ роднаго брата, — онъ могъ бы претензію заявить... Да и я самъ, признаюсь вамъ, почиталъ это какъ-то... несогласнымъ съ совѣстью и... и, скажу прямо, противу дворянской обязанности: что отъ роду идетъ, то въ родъ и вернуться должно... Мы же отъ гетмановъ, отъ Самойленки знаменитаго, — безъ сомнѣнія, вамъ извѣстно по исторіи, объяснилъ главноуправляющій, и громко дохнулъ, словно отъ ненаходящей уже себѣ мѣста въ его широкой

груди гордости, — отъ древнѣйшаго, можно сказать, во всей здѣшней сторонѣ и далѣе рода происходимъ... Такъ вы изволите понимать?...

— Понимаю, Іосифъ Козьмичъ; конечно, точка отправленія вѣрная, поспѣшно сказалъ Завалевскій, живо заинтересованный судьбою Марины и желая скорѣе знать, чѣмъ все это должно разрѣшиться.

— Только видно, со вздохомъ началъ опять г. Самойленко,—Всевышнему Промыслу такъ угодно было, чтобы линіи нашей не имѣть продолженія. 7-го августа прошлаго года, племянникъ мой, послѣдній, такъ сказать, представитель фамиліи, служившій поручикомъ въ лейбъ-гусарскомъ Павлоградскомъ полку, волею Божіею помре, въ самыхъ еще, можно сказать, незрѣлыхъ лѣтахъ... Отъ этой незрѣлости его даже, можно сказать, и смерть ему приключилась...

Графъ съ ужасомъ предвидѣлъ, что онъ начнетъ ему исторію своего племянника разсказывать.

— Такъ на счетъ Марины... вы что же? съ подобающею улыбкою приличія спросилъ онъ.

— Такъ вотъ-съ, заговорилъ тотчасъ же Іосифъ Козьмичъ,—какъ только кончина племянника стала мнѣ извѣстна, я, во исполненіе воли, выраженной покойною женою, и по собственному желанію моему, тотчасъ же отнесся къ высшей власти, въ Санктъ-Петербургъ, съ формальною просьбой,—такъ какъ нынче, какъ мнѣ извѣстно, на удовлетвореніе таковыхъ просьбъ прежнихъ затрудненій не имѣется,—о томъ, чтобы мнѣ, на законномъ основаніи, разрѣшено было вотъ такую-то воспитанницу покойной жены моей и мою...

— Такъ вы просьбу ужь подали? прервалъ его графъ.— Въ коммиссію прошеній, такъ? Отвѣтъ оттуда имѣете?

— Въ томъ моя и просьба къ вамъ, графъ, отвѣтилъ тотъ,—чтобы вы вашимъ вліяніемъ и связями помогли мнѣ получить скорѣйшій отвѣтъ, а до сихъ поръ, какъ говорится, ни привѣта, ни отвѣта оттуда никакого!... Знакомствъ также никакихъ въ столицѣ я не имѣю... Хотя мнѣ и совершенно извѣстно, что въ просьбѣ моей не заключается ничего незаконнаго, но я даже начинаю страшиться, не оставлена-ли

она вовсе безъ вниманія, за упущеніемъ мною какихъ-либо невѣдомыхъ формальностей, или...

— Нѣтъ, не можетъ быть, вамъ бы ее тогда возвратили просто съ указаніемъ на эти упущенія... У меня, къ счастію, есть тамъ отношенія—и вѣрныя. Я сегодня же напишу и черезъ недѣлю, много дней десять, мы получимъ обстоятельнѣйшее свѣдѣніе о томъ: доложена-ли ваша просьба, а въ удовлетвореніи ея и сомнѣваться нельзя, я полагаю... Я очень радъ, сердечно радъ, Іосифъ Козьмичъ, быть вамъ полезнымъ въ этомъ хорошемъ дѣлѣ, проговорилъ горячо Завалевскій,— и еслибы, паче чаянія, встрѣтилась какая-либо помѣха или проволочка, мы ее устранимъ, будьте увѣрены...

Іосифъ Козьмичъ весь разцвѣлъ и благодарными, даже нѣсколько влажными глазами взглянулъ на своего патрона.

— Послужу вамъ, послужу вамъ за это, Владиміръ Алексѣевичъ, вѣрою и правдою, насколько силъ только хватитъ! Вотъ какъ вы за вашимъ институтомъ учительскимъ, такъ и я за этимъ дѣломъ... Какъ устрою его—такъ хоть сейчасъ предъ Царя небеснаго! Съ чистою совѣстью предстану!...

„Съ чистою совѣстью?“... невѣрнымъ звукомъ отозвались эти слова въ чуткомъ ухѣ Завалевскаго. „Точно-ли только это дѣло у тебя на совѣсти?“ подумалъ онъ.

Настало долгое молчаніе. Іосифъ Козьмичъ не разъ было пытался заговорить, но графъ сидѣлъ, закрывъ себѣ все лицо рукою, какъ бы для того, чтобы ничто не мѣшало его размышленіямъ, и главноуправляющій не почелъ удобнымъ тревожить его.

— Скажите, пожалуйста, началъ самъ Завалевскій вопросомъ, котораго никакъ не ждалъ въ эту минуту господинъ Самойленко,—скажите, какъ произошла исторія этого Осипа кузнеца?...

— Исторія? переспросилъ тотъ, какъ бы недоумѣвая.

— Да!... Вѣдь это ужасно, что вы намъ разсказали тамъ!... Онъ дѣйствительно убилъ свою жену?...

— Ненамѣренно, пропустилъ сквозь зубы Іосифъ Козьмичъ. — Къ чему ты это опять подымаешь? говорило въ то же время насупившееся его лицо.

— Ненамѣренно? повторилъ графъ.

— Извѣстно — звѣрь! разсвирѣпѣетъ, себя не помнитъ, душитъ во что̀ попало!...

— Пьянъ былъ?...

— Нѣтъ, въ тотъ часъ пьянъ не былъ...

— И какъ же это вышло? поссорились?...

Господинъ Самойленко только плечомъ шевельнулъ; ему, очевидно, досадны были эти разспросы.

— Что̀ она, молодая еще была? спросилъ опять Завалевскій по нѣкоторомъ молчаніи.

— И кра-асавица, Владиміръ Алексѣевичъ! И въ одномъ этомъ, какъ бы безсознательно вырвавшемся словѣ сказалось графу все женолюбивое прошлое „потомка гетмановъ“.

— Да, теперь понятно, тихо проговорилъ онъ, — мужъ ревновалъ ее...

— Ревновалъ! съ какимъ-то ожесточеніемъ воскликнулъ Іосифъ Козьмичъ.—Кто его тамъ знаетъ, кто ему въ душу влѣзетъ, когда самъ онъ себѣ сказать не можетъ, любитъ онъ, или ненавидитъ, или что̀ у него тамъ творится?... Говорю—звѣри!...

— Она также была дворовая? равнодушно промолвилъ графъ.

— Да... швея была у покойницы...

— У супруги вашей?

— Д-да!...

— Странно, началъ опять неумолимый Завалевскій,—что „красавица“ не нашла себѣ лучшей пары, а пошла за... Онъ всегда такимъ звѣремъ глядѣлъ?...

Но главноуправляющій словно не разслышалъ; онъ глядѣлъ куда-то въ окно и не далъ отвѣта...

Завалевскому и не нуженъ былъ этотъ отвѣтъ: онъ настолько помнилъ старый крѣпостной бытъ, чтобы знать, изъ какихъ поводовъ дѣлались въ то время со дня на день дворовыя красавицы женами Богъ-вѣсть какихъ уродовъ...

— Что̀, это еще при дядѣ случилось? спросилъ онъ только.

— Нѣтъ, какъ бы припоминалъ главноуправляющій: — незадолго предъ этимъ скончался графъ... Одинъ я оставался,

а время-то, знаете, самое было горячее: ополченіе!... Вотъ давеча, прервалъ онъ себя, — князь такъ выразился, что мнѣ надо было понять, зачѣмъ молъ я мерзавца этого, Оську, въ каторгу не турнулъ?... Такъ, можетъ, его бы еще по суду не приговорили, а вамъ тутъ изъ вотчины лучшихъ тридцать человѣкъ предоставить слѣдовало на защиту отечества! Я его немедля первымъ долгомъ въ ратники и поставилъ!... Такъ вѣдь надо на бѣду: на первомъ-же переходѣ ногу себѣ правую, дрянь этакая, отморозилъ; изъ госпиталя черезъ три мѣсяца безъ четырехъ пальцевъ домой вернулся, — вотъ и служба его вся!... Съ тѣхъ поръ вотъ и живетъ онъ тамъ одинъ на кузнѣ, какъ Кащей безсмертный, кубышку себѣ набиваетъ!... Жаденъ сталъ—страхъ! А кузнецъ, доложу вамъ, хорошій...

Іосифъ Козьмичъ закончилъ на этомъ словѣ и, поднявшись съ мѣста, объявилъ, что его дѣло ждетъ, — поклонился и торопливо направился къ двери.

— А что, онъ бездѣтенъ послѣ жены остался? услышалъ онъ на-ходу еще вопросъ графа.

— Бездѣтенъ, отвѣчалъ, не оборачиваясь и щелкая ключомъ въ замкѣ; но Завалевскому показалось, что голосъ его не звучалъ при этомъ обычною ему твердостью.

VII.

— Такъ какъ же это васъ, убить или, какъ тамъ, разстрѣлять хотѣли въ Парижѣ? спрашивала Марина князя Пужбольскаго, когда они остались вдвоемъ на балконѣ.

Онъ весело, подсмѣиваясь надъ самимъ собою, en vrai bon enfant, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, передалъ ей подробности этого траги-комическаго эпизода.

Она слушала, облокотясь обнаженными локтями на столъ, глядя ему прямо въ глаза своимъ смѣло невиннымъ взглядомъ, улыбаясь своими полными алыми губами... А онъ смущенно среди своего разсказа глядѣлъ на эти губы, и мысленно, и разумѣется по-французски, спрашивалъ себя: какому счастливцу достанутся эти свѣжія вишни?...

— А знаете, возгласила вдругъ дѣвушка, едва успѣлъ договорить князь,—вѣдь *онъ* лучше васъ!

— Qui ça! озадаченно воскликнулъ Пужбольскій.

— Кто? *Онъ!* засмѣялась Марина, кивая на дверь библіотеки,—другъ вашъ!

— Завалевскій?—Князь засмѣялся въ свою очередь.—Совершенно съ вами согласенъ,—но интересно знать, какъ это формулируется въ вашей мысли? Вы мнѣ можете сказать?

— Онъ *гуманнѣе* васъ! сказала она.

— Въ какомъ же именно отношеніи?

— Извѣстно! нетерпѣливо проговорила она, досадуя, что онъ не понимаетъ ея съ перваго слова:—вы *аристократъ*, а онъ *человѣкъ!*

— Это потому, засмѣялся опять князь,—что его прадѣдъ *простолюдинъ* былъ?

— Какія вы все глупости говорите!... И Марина, быстро убравъ локти со стола, сердито откинулась въ спинку кресла. — Это потому, что вы... вы готовы бы были, кажется, съѣсть... вы безпощадны къ *бѣднымъ людямъ!*... А онъ, онъ *все* понимаетъ!...

— Вотъ видите, mademoiselle Марина, отвѣчалъ онъ,—и гораздо хладнокровнѣе даже, чѣмъ можно было ожидать отъ него, — мы съ Завалевскимъ, какъ тотъ двулицый Янусъ, le Janus à deux faces стараго Рима. *Понимаемъ* мы, кажется, одинаково, но... но выражается это у насъ разно: онъ il souffre, lui, онъ, *скорбѣетъ*, удачно перевелъ Пужбольскій,—et moi, je bous! Я сержусь... Вотъ и все!...

— Нѣтъ, не такъ, не все! возразила дѣвушка, — вы еще *презираете*, а вотъ это дурно, очень дурно!...

— Презираю! воскликнулъ Пужбольскій.—Да, и ненавижу! Я воспитывался не здѣсь, не въ Россіи... и до сихъ поръ привыкнуть не могу!... Мнѣ, сколько я себя только помню, всегда были ненавистны двѣ вещи: варварство и притѣсненіе!... Въ какомъ бы видѣ это ни представлялось, я не переношу... Но когда претендуетъ царить грязная толпа, или наглый арлекинъ-*невѣжда* становится вожакомъ и учителемъ общества,—противъ такого деспотизма я, да, я съ ножомъ готовъ полѣзть!...

Марина не отвѣчала, она внезапно задумалась... Что-то опять какъ бы знакомое, какъ бы уже пробѣгавшее въ ея душѣ звучало теперь для нея въ разгнѣванной рѣчи этого *аристократа*... Она вспоминала лохматыхъ и немытыхъ учителей алорожскихъ школъ, и глинскаго „мученика“, *Гармодія*, и гадливое ощущеніе, которое она превозмочь въ себѣ не могла, когда знакомили они всѣ ее съ *современнымъ міровоззрѣніемъ*, и какое тяжелое чувство неудовлетворенія выносила она каждый разъ изъ этихъ бесѣдъ...

Гнѣвъ Пужбольскаго тѣмъ временемъ совершенно соскочилъ съ него. Солнце начинало огибать лѣвый уголъ *дворца;* золотой лучъ, скользя сквозь темные листы сосѣдняго большаго орѣшника, то обводилъ какимъ-то робкимъ и ласковымъ ободомъ опущенную голову дѣвушки, то сверкалъ жгучею

искрой по золотой серьгѣ на кончикѣ ея маленькаго прозрачнаго уха, и Пужбольскій съ какимъ-то ребяческимъ удовольствіемъ слѣдилъ глазами за его перебѣгающимъ сіяніемъ и спрашивалъ себя теперь: дѣйствительно-ли походитъ Марина на Santa Barbara Пальмы Веккіо,—или скорѣе напоминаетъ она свѣтлымъ выраженіемъ молодаго лица тотъ, любимѣйшій его изъ всѣхъ шести или семи портретовъ Елены Фремонъ, второй жены Рубенса, что̀ въ Мюнхенской старой пинакотекѣ, тотъ портретъ, гдѣ старый, влюбленный и счастливый мужъ-художникъ изобразилъ ее въ три четверти, во всемъ блескѣ женственной красоты и роскоши, въ пышной голубой токѣ, съ стоящимъ на ея колѣнѣ пухлымъ, розовымъ, голымъ младенцемъ, въ токѣ же съ краснымъ перомъ на бѣлокурой головкѣ...

— Какое хорошее имя вамъ дано, mademoiselle Марина! сказалъ онъ вдругъ.

Она встрепенулась.

— Что̀ же такого хорошаго? Та же Марья!...

— Да совсѣмъ нѣтъ! словно обидѣли его, воскликнулъ онъ,—вовсе не Марья, а Марина,—marina, то-есть *морская*, отъ mare, море!...

— Въ самомъ дѣлѣ! удивилась она.

— Еще бы! Оттого и говорю, что хорошее, и идетъ вамъ отлично вдобавокъ!...

— Отчего же такъ идетъ? засмѣялась она.

— Оттого, что вся вы, ваша наружность, нравъ вашъ,— все это abyssum maris,—бездна морская!...

— Что̀ же, уже совсѣмъ расхохоталась Марина, — значитъ, я *измѣнчива, какъ волна?* Гдѣ это сказано?...

— Сказано это у Шекспира, — но его „perfid as wave“ вовсе не значитъ „измѣнчивая“, а „коварная“ какъ волна, и это къ вамъ вовсе не относится, и не то̀ хотѣлъ я сказать...

Пужбольскій съ невольною нѣжностью въ заискрившемся взорѣ взглянулъ на дѣвушку...

— Я хотѣлъ сказать, продолжалъ онъ, — ну возьмемъ ваши глаза, напримѣръ: они именно какіе-то всепоглощающіе

и всеотражающіе... глубокіе, голубые и красивые... какъ море...

Марина подняла на него эти „всеотражающіе“ глаза и покраснѣла.

— Вотъ, напримѣръ, этого, промолвила она, сдвинувъ брови,—онъ... графъ... никогда бы мнѣ не сказалъ!...

— Онъ не сказалъ бы вамъ, что вы... красивы?...

— Да, вспомнила она, и широко улыбнулась, вспомнивъ,— можетъ быть... но *не такъ!*...

— Иначе? шутливо сказалъ князь, Богъ знаетъ какъ обрадовавшись ея улыбкѣ, безъ чего онъ бы окончательно растерялся.

— Да! рѣшительнымъ голосомъ отвѣчала Марина: — онъ *хорошій*, не правда-ли? И не ожидая отвѣта:—у него дѣтей нѣтъ? спросила она.

— Нѣтъ; онъ и женатъ никогда не былъ... А къ чему вы это спросили?

— Такъ... И они были бы такія же *хорошія*... А такіе теперь нужны, молодые!... Какое онъ вотъ прекрасное заведеніе хочетъ устроить! Вотъ это называется: *чело-вѣкъ!* протянула Марина.—А скажите, отчего это онъ никогда не женился?

— Ну, das weisst der liebe Kukuk! отвѣчалъ, смѣясь, Пужбольскій.

— Это что̀ значитъ? Я по-нѣмецки швахъ...

— Это значитъ, что надо кукушку спросить,—она можетъ быть знаетъ, а я не знаю...

— А *вы* были,—или и теперь женаты?

— Богъ миловалъ!

Она опять расхохоталась.

— Вотъ это правда! женитьба такая гадость!...

— Вы находите?

— А то какъ! Бракъ, извѣстно,—обветшалое, стѣснительное и *цѣленесообразное* учрежденіе!

— О, Господи, даже страшно, какъ вы это все перечислили! комично проговорилъ князь.

— А вы *бракистъ?*

— Что̀-съ? даже испугался Пужбольскій.

— Вы за бракъ? За *церковный* бракъ?...

— Нѣтъ,—я за здравый смыслъ, отвѣчалъ онъ серьезно.

Марина вспыхнула.

— А здравый смыслъ, по-вашему, пылко возразила она,— велитъ стѣснять свое чувство, велитъ *скрипѣть* всю жизнь рядомъ съ человѣкомъ, котораго не любишь или котораго перестала любить?...

— А у Завалевскаго *хорошія* были бы дѣти, вы полагаете? неожиданно отвѣчалъ Пужбольскій вопросомъ на вопросъ.

Она озадаченно взглянула на него.

— Ну, конечно!

— А мать ихъ,—потому я смѣю полагать, что непремѣнно должна быть какая-нибудь мать, чтобы могли быть дѣти...

— Вы опять съ вашимъ вздоромъ! и разсердилась, и засмѣялась Марина.

— Нѣтъ-съ, это не вздоръ, а я только хочу спросить: вообразите, что этой матери вдругъ надоѣло бы *скрипѣть* рядомъ съ *хорошимъ* Завалевскимъ...

— Тогда она была бы нехорошая! воскликнула дѣвушка.

— Отчего же такъ? Она, можетъ быть, нашла бы, или думала бы, что нашла *еще лучше*... Или вы приказали бы ей одной изъ всѣхъ женщинъ въ мірѣ „стѣснять свое чувство“?

— Ну, положимъ, положимъ!... Что же дальше?

— А я это у васъ спрошу: что дѣлать въ такомъ случаѣ?

— Они бы... разошлись! проговорила Марина, смутно чувствуя, что стремится въ ловушку.

— Отлично! Ну, а *хорошихъ* дѣтей кто бы взялъ? Или ихъ на улицѣ оставить?

— Это уже зависѣло бы... отъ...

— Отъ accord mutuel,—отъ любовнаго соглашенія между отцомъ и матерью? помогалъ ей Пужбольскій.

— Ну да!...

— Восхитительно! Дѣтей, положимъ, взяла бы мать?

— Взяла бы! начала уже сердиться Марина...

— Тогда они лишены были бы *хорошаго* отца...

— Онъ бы ихъ не отдалъ ей! воскликнула она:—онъ бы ихъ, навѣрное, слишкомъ любилъ для этого!...

— Въ такомъ случаѣ, дѣти лишились бы матери, разсуждалъ князь, любуясь въ то же время разгорѣвшимся лицомъ дѣвушки; — но тутъ представляется еще третья комбинація: Завалевскій, съ своей стороны, *не стѣсняя своего чувства*, находитъ себѣ новый женскій объектъ, соглашающійся *скрипѣть рядомъ съ нимъ*, но положительно не согласный на то, чтобы скрипѣли рядомъ съ нею *хорошія* дѣти его отъ того прежняго субъекта, отъ той, которая перестала скрипѣть рядомъ съ *хорошимъ* Завалевскимъ. Такимъ образомъ эти бѣдныя *хорошія* дѣти остались бы и безъ *хорошаго*...

— Довольно, довольно! закричала Марина, затыкая уши и топая своими красными каблуками. — А торжествующій Пужбольскій такъ и покатывался въ своемъ креслѣ.

— Ну, и все вздоръ!... Что вы доказали! Что? Ничего не доказали, одинъ сумбуръ! повторила она, и сердясь, и хохоча...

— А хотя бы доказалъ! отвѣчалъ онъ:—что бракъ *необходимое* зло...

— И только-то, вы только до этого отрицательнаго заключенія и пришли?

Пужбольскаго поразило вдумчивое, печально-вопрошающее выраженіе лица дѣвушки въ эту минуту. Она не дождалась его отвѣта и воскликнула:

— А вотъ видите, вашъ другъ,—онъ, я убѣждена... онъ нашелъ бы *положительное* доказательство!... А не то, примолвила она черезъ мигъ,—онъ хоть бы *вѣру далъ!*...

Пужбольскій пристально взглянулъ на нее и задумался самъ.

— Знаете, сказалъ онъ послѣ небольшаго молчанія: — у васъ чрезвычайно вѣрное чутье, vous avec l'instinct.—Завалевскій именно тотъ человѣкъ, про котораго можно сказать, что онъ „даетъ вѣру"!... А между тѣмъ, примолвилъ онъ,—единственная женщина... — Онъ вдругъ спохватился и замолчалъ.

Марина такъ и вскинулась:

— Голубчикъ, милый... какъ васъ звать? только не княземъ, я не люблю...

— Александръ Иванычемъ...

— Александръ Иванычъ, умоляю васъ, договорите, раз-

скажите все!... Какая женщина? Онъ, навѣрное, любилъ ее? Это такъ интересно!...

— Это его тайна, mademoiselle Marina, я не могу, это... Ce serait... это была бы измѣна съ моей стороны...

Но Марина такъ приставала, что Пужбольскій не выдержалъ,—слабъ былъ человѣкъ предъ соблазномъ красоты,—и, взявъ съ нея слово, что она не перадастъ этого никому на свѣтѣ,—разсказалъ ей *все*...

Исторія — мы позволяемъ себѣ познакомить съ нею читателя нѣсколько подробнѣе, чѣмъ могъ это сдѣлать въ ту минуту князь Пужбольскій,—исторія была такого рода:

У Завалевскаго была троюродная сестра, Елизавета Григорьевна Зарницына. Онъ сошелся дружески съ нею, бывши еще студентомъ, въ Москвѣ, и вскорѣ сталъ въ ея домѣ своимъ. Елизавета Григорьевна была умная, живая и высоко честная женщина. Покойный мужъ ея, бывшій товарищъ графа Константина Владиміровича, и болѣе несчастный, чѣмъ онъ, погибъ въ бурѣ 1825 года. Молодая жена поѣхала за нимъ въ Сибирь и вернулась оттуда, уже по смерти его, въ 1842 году, съ двумя сыновьями и дочерью Александрой,—или, вѣрнѣе, какъ звали ее въ семействѣ, *Диной*,—которой было четырнадцать лѣтъ, когда Завалевскій познакомился съ ними. Эта дѣвочка съ первыхъ же дней приковала его къ себѣ. Тоненькая, смугловатая, съ длинными, какъ у египетскихъ сфинксовъ, какими-то никуда не глядящими и все видящими глазами, молчаливая и улыбающаяся странною, словно откуда-то извнѣ прилетавшею на уста ея улыбкой, она, какъ прототипъ ея въ Лермонтовской *Сказкѣ для дѣтей*,

„была одна изъ тѣхъ,
Которымъ рано все понятно"...

Кто-то прозвалъ ее *Прециозой*, и это прозвище за нею осталось: въ ней было дѣйствительно что-то таинственное и невыразимо-манящее этою таинственностью. Она никогда не высказывалась и давала отгадывать себя, заглядывать въ свое

внутреннее *я* лишь ровно настолько, насколько почитала это нужнымъ или почему-либо для себя выгоднымъ... И, Боже мой, какихъ душевныхъ сокровищъ не прозрѣвало воображеніе Завалевскаго за той заповѣдною чертой, за которую, словно въ святую святыхъ Соломонова храма, никому не дозволялось проникнуть?... Съ своей стороны, четырнадцатилѣтняя Дина съ первыхъ дней успѣла побывать во всѣхъ закоулкахъ внутренняго *я* Завалевскаго и овладѣла имъ, будто былъ онъ ея собственное созданіе, будто сама она, своими длинными, худенькими пальцами слѣпила его, дала ему образъ и вздохнула въ него духъ человѣческій. Она умѣла говорить его словами, досказывать ему еще для него самого неясную мысль, угадывать задолго впередъ его мнѣніе, его образъ дѣйствій въ данномъ случаѣ, и заранѣе направлять все это, куда ей хотѣлось... Ему казалось, что эта молодая, невѣдущая душа какъ зеркало отражала его душу, и не догадывался, что самъ онъ былъ не что иное какъ зеркало, въ которомъ отражалась воля Дины... Почти два года жилъ онъ въ какомъ-то очарованномъ мірѣ, насыщаясь томительнымъ и сладкимъ благоуханіемъ первой, чистой, мечтательной любви. Онъ кончалъ курсъ въ университетѣ; Динѣ наступалъ семнадцатый годъ,— на стремительныхъ крыльяхъ неслось къ нему, казалось, на встрѣчу близкое счастіе...

Однажды вечеромъ онъ засидѣлся у Зарницыныхъ позже обыкновеннаго. Дина ушла спать; онъ остался одинъ съ Елизаветою Григорьевной... Они молчали оба: онъ думалъ объ очаровательницѣ, только-что подарившей его какимъ-то блаженнымъ для него словомъ; хозяйка вязала шарфъ на длинныхъ спицахъ и казалась не въ духѣ... Вдругъ она остановилась, быстрымъ движеніемъ воткнула спицу въ свою рано посѣдѣвшую косу, подняла глаза и спросила:

— Владиміръ, неужто ты въ самомъ дѣлѣ думаешь о Динѣ?

— Думаю, отвѣчалъ онъ, смутившись отъ неожиданности вопроса.

— Серьезно?

— Какъ же иначе?...

— Боже мой, какое несчастіе! проговорила Елизавета Григорьевна, закрывая себѣ глаза рукою.

— Несчастіе! едва нашелъ силу повторить онъ, — сердце у него упало...

— Для тебя!... Для нея—мнѣ и во снѣ не приснился бы лучше тебя мужъ!...

— Объяснитесь, ради Бога! умолялъ бѣдный молодой человѣкъ.

Она схватила его за обѣ руки.

— Не про тебя, не про тебя жена, со слезами въ горлѣ прошептала она,—elle est possédée, mon ami!...

— Что вы говорите?... Онъ отшатнулся отъ нея, ему показалось, она въ бреду...

— Она моя дочь, единственная, съ глубокою печалью говорила госпожа Зарницына, — и, кромѣ меня, никто ея не знаетъ.... Я тебѣ говорю: elle est possédée... въ ней сидитъ съ измальства какой-то ненасытный, неутомимый демонъ, который движетъ и руководитъ ею... Все, что мы вынесли тамъ, въ Сибири, лишенія, горе, униженія, — все это глубокимъ и, прямо скажу тебѣ, злымъ чувствомъ запало ей въ сердце. И теперь ей нужна une revanche éclatante,—она себѣ это сказала, она добьется этого! нужны деньги, власть, вліяніе, все, что ослѣпляетъ, и вѣситъ, и владѣетъ людьми!... И если все это дастся ей когда-нибудь въ руки, не на добро употребитъ она его, вспомни мое слово! У нея разсчетъ какъ у семидесятилѣтняго ростовщика... Все это можетъ у ней сорваться, пропасть, самонадѣянна она слишкомъ, — но проведетъ она всякаго, кого захочетъ, какъ тебя провела... На бѣду, замѣтила я слишкомъ поздно, я бы не допустила!...

До утренней зари продолжался этотъ странный споръ... Завалевскій горячился, доказывалъ, умолялъ... Елизавета Григорьевна не сдавалась.

— Я властна отдать ее или не отдать, я ей мать родная! Я не согласна. Во всякомъ случаѣ она слишкомъ молода, теперь нечего объ этомъ думать! говорила она.

Рѣшено было наконецъ, что Завалевскій, выдержавъ свой послѣдній экзаменъ, уѣдетъ немедленно въ Петербургъ, что

онъ не вернется въ Москву и не возобновитъ рѣчи о бракѣ съ Диной до тѣхъ поръ, пока Елизавета Григорьевна съ дочерью не пріѣдетъ сама въ Петербугъ, куда она намѣрена была переселиться, чтобы не жить врознь съ сыновьями, которые черезъ два года должны были кончить курсъ въ одномъ изъ тамошнихъ высшихъ заведеній и поступить на службу.

Прошло два, почти три года. Отсутствіе не измѣнило Завалевскаго: все такъ же цѣпко, какъ и вблизи, владѣла его сердцемъ далекая Дина, и чары ея своеобразной прелести еще неотразимѣе, чѣмъ прежде, оковывали страстью все его существо...

Они свидѣлись наконецъ,—и одного взгляда достаточно было для нея, чтобъ убѣдиться, что онъ былъ все тотъ же: прежній, слабый и покорный рабъ ея... Она впрочемъ и до того ни минуты въ этомъ не сомнѣвалась... Предостереженія Елизаветы Григорьевны оказались тщетными; почтенная женщина не могла далѣе упорствовать... Она добилась лишь одного,—и въ этомъ случаѣ оказалась ей горячею союзницей сама Дина: помолвка дочери ея съ Завалевскимъ отлагалась до конца предстоявшаго зимняго сезона и до того времени должна была остаться тайною для всѣхъ, не исключая самыхъ близкихъ...

По рожденію, по связямъ, госпожа Зарницына принадлежала къ такъ-называемому „высшему обществу“. Дина стала *выѣзжать*... „Свѣтъ ее замѣтилъ“,—ея и нельзя было не замѣтить... Съ перваго же бала она была *окружена*, entourée, какъ говорятъ въ свѣтѣ; черезъ три дня не было *элегантной* холостой квартиры въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ и близь лежащемъ Царскомъ Селѣ, гдѣ бы не слышались шумные и восторженные толки о московской *Прециозѣ*; черезъ двѣ недѣли она была кумиромъ всего петербургскаго high life'a...

Поклонниковъ у нея было безъ конца, но заботливая нѣжность Завалевскаго, слѣдившаго за нею по баламъ и раутамъ, не находила поводовъ къ опасеніямъ. Никто въ такой степени какъ Дина не владѣлъ тѣмъ двойственнымъ—столь цѣнимымъ въ свѣтѣ—качествомъ внѣшней привлекательности и внутренней сдержанности, никто не умѣлъ такъ, какъ она,

нравиться всѣмъ и не поощрять замѣтно никого... Еслибъ и ревнивѣе былъ Завалевскій, онъ среди многочисленнаго двора Дины не отыскалъ бы своего соперника... Нуженъ былъ особенный случай...

Зима подходила къ концу; Завалевскій, какъ школьники, считалъ дни, остававшіеся еще до поста; Дина, съ своей стороны, жаловалась на усталость, на „эти скучные, все одни и тѣ же балы“... Но вотъ еще одинъ, у графини Лиговской, un bal pour les élus,—нельзя не ѣхать!... Поѣхали. Балъ прелестный, какъ слѣдуетъ: лакеи въ пудрѣ и басонахъ на лѣстницѣ. Лядовъ съ оркестромъ, buffet ouvert, кавалергарды и духота невыносимая... Послѣ третьей кадрили, которую онъ танцовалъ съ Диной, Завалевскій ушелъ изъ танцовальной залы искать прохлады въ дальнихъ комнатахъ.

Большой кабинетъ вдовы-хозяйки былъ пустъ, и атласныя занавѣси на одномъ изъ его оконъ отдувало какъ парусъ: за ними открыта была форточка. Завалевскій прямо прошелъ къ тому окну, отвернулъ занавѣсь... На дворѣ стояла оттепель,—несло влажнымъ, едва свѣжимъ воздухомъ... Послѣ той жары—какое блаженство!... Завалевскій совсѣмъ ушелъ за драпри.

Ему было хорошо,—и разсѣянъ онъ былъ всегда,—онъ задумался, глядя на звѣздное небо, и остался тамъ.

Смѣхъ, голоса, легкое звяканье шпоръ и шуршанье женскихъ тканей вывели его изъ забытья. Длинною вереницей проходили куда-то пары послѣ новой кадрили... Нѣкоторыя изъ нихъ остались въ кабинетѣ... Рядомъ съ его окномъ, на низенькій, стоявшій въ простѣнкѣ, узорный диванъ опустился кто-то... Заговорили... Онъ отгадалъ присутствіе Дины прежде, чѣмъ услышалъ ея голосъ.

Первымъ движеніемъ его было затворить форточку—чтобы не простудилась она какъ-нибудь,—и выйти къ ней... Что-то необъяснимое—неизбѣжно повторяющееся во всѣхъ подобныхъ случаяхъ—заставило его промедлить одно мгновеніе... А тамъ выходить ему къ ней уже было незачѣмъ.

— ... и повторять то, что я къ вамъ чувствую! договаривалъ прежде начатую фразу мужской по звуку, но, по выраженію, изнѣженный какъ у женщинъ и вялый чей-то голосъ.

— Довольно фразъ; докажите! отвѣчала на это Дина своимъ тихимъ, ровнымъ, невозмутимымъ mezzo-soprano.

— Но, Боже мой, что̀ мнѣ дѣлать,—научите меня!... Завалевскій узналъ этотъ ребячески-молящій голосъ: говорилъ молодой князь Солнцевъ, „un des plus brillants partis de Pétersbourg“.—Папа, съ нимъ еще можно сладить, il est tout simplement amoureux de vous, lui aussi... Mais maman! Съ ней ничего не подѣлаешь, elle vous trouve charmante, но для нея деньги прежде всего!... Avec notre train de maison, она говоритъ,—et puis ma soeur qu'on va mener dans le monde—мы можемъ дать тебѣ, au plus, пятнадцать тысячъ въ годъ; чѣмъ же ты будешь жить, si vous épousez une fille sans dot?

— Ces détails m'intéressent peu, такъ же невозмутимо сказала на это Дина:—что̀ вы рѣшили?

— О, Боже мой, воскликнулъ вмѣсто отвѣта молодой человѣкъ:—если бы у насъ было хоть пятнадцать тысячъ дохода!

— У меня ихъ три, а захочу,—будетъ восемьдесятъ завтра, проговорила она, презрительно роняя слова одно за другимъ.

— Такъ это правда? всплеснулъ замшевыми своими перчатками „блестящій“ офицеръ.—Мнѣ говорили, что у васъ давно есть un aspirant à votre main, и что вы только до сихъ поръ...

— Правда! прервала она его.

— Кто же это, скажите, ради Бога,—vous me fendez le coeur!

— Онъ здѣсь, онъ вамъ знакомъ, отвѣчала *Прециоза*,—графъ Владиміръ Завалевскій.

— Завалевскій!... Солнцева точно прихло̀пнуло въ первую минуту это имя,—но онъ снова воспрянулъ:—Да, промолвилъ онъ, слегка фыркнувъ,—il est riche, c'est vrai, но онъ никогда карьеры не сдѣлаетъ... c'est un *rouge*! Папа при мнѣ говорилъ: il est très mal vu en haut lieu!

— Да, я это знаю, едва слышно промолвила Дина. Измѣна ея вся объяснялась этимъ словомъ... Въ помутившейся головѣ Завалевскаго пронеслись слова ея матери: „ненасытный, неутолимый демонъ сидитъ въ ней“.

— Послѣ-завтра, говорила она между тѣмъ оторопѣвшему офицеру:—мы ѣдемъ въ бенефисъ Ронкони. Второй бенуаръ съ правой стороны... Вы мнѣ привезете туда рѣшительный отвѣтъ; я долѣе ждать не могу!

Она поднялась съ мѣста. Нервы были такъ напряжены у Завалевскаго, что онъ изъ-за толстой своей занавѣси разслышалъ, какъ звякнули одна о другую длинныя коралловыя подвѣски ея серегъ... Отзвонили! сказалъ онъ себѣ вдругъ — и, притиснувшись лбомъ къ стекольной рамѣ, замеръ, дѣйствительно какъ покойникъ...

Онъ насилу могъ дотащиться до швейцарской... На другой день, когда онъ поднялся съ дивана, на которомъ пролежалъ, одѣтый, до зари, и подошелъ къ туалетному столу, — онъ ужаснулся, увидѣвъ отраженіе свое въ зеркалѣ: онъ былъ желтъ, какъ шафранъ.

Онъ послалъ въ это же утро записку къ Елизаветѣ Григорьевнѣ Зарницыной, въ которой просилъ ее навѣстить его, такъ какъ онъ, по болѣзни, самъ пріѣхать къ нѣй не можетъ.

Она пріѣхала немедля — и испугалась, увидѣвъ его, но тотчасъ же отгадала:

— Дина? воскликнула она съ перваго слова.

— Вы были правы!... Онъ ей все передалъ.

Она заплакала,—обняла его за голову и поцѣловала.

— Благодари Создателя. — Онъ тебя спасъ!... Въ самомъ дѣлѣ, промолвила Елизавета Григорьевна съ горькимъ смѣхомъ, — что бы она съ однимъ твоимъ богатствомъ сдѣлала? „Vous êtes mal vu, ты карьеры не сдѣлаешь!..“ А онъ, этотъ мальчикъ... онъ просто глупъ, какъ видно, — но онъ сынъ своего отца, а отецъ, кромѣ богатства, въ огромной милости, высокое положеніе, въ родствѣ со всѣмъ Петербургомъ... Этотъ жалкій *ривалъ* твой надняхъ вензеля получитъ, будущее его обезпечено. Гдѣ же тебѣ съ нимъ вровень итти!... Ты слишкомъ небольшая птица pour mademoiselle Dina, бѣдный мой Владиміръ!...

— Каждому свой предѣлъ! сказалъ онъ съ своею тихою улыбкой,—его же не прейдешь... Она не властна надъ собою, ее влечетъ... Что же дѣлать? Надо помочь ей.

— Помочь!—чему? вскрикнула Елизавета Григорьевна.

— Дойти до цѣли, промолвилъ онъ.—Князю Солнцеву нельзя взять жену менѣе чѣмъ съ пятнадцатью тысячами дохода;—вы дайте ей двадцать пять,—цѣль достигнута.

— Откуда я ихъ возьму? засмѣялась она.—Ты знаешь, что у меня всего...

Онъ не далъ ей договорить:

— Послушайте, Lise,—вы знаете, что, въ случаѣ я не оставилъ бы послѣ себя дѣтей, вы и семейство ваше—одни изъ ближайшихъ, по закону, моихъ наслѣдниковъ... Раньше или позже это вамъ достанется, не все-ли равно?... Я никогда не женюсь!...

— Ты не можешь знать этого,—развѣ только одна Дина на свѣтѣ! горячо возражала г-жа Зарницына.

— Я никогда не женюсь! повторилъ онъ. И она чутьемъ почуяла въ эту минуту, что рѣшенія своего онъ не измѣнитъ.

— Я теперь же вамъ передамъ крѣпостною записью мое калужское имѣніе,—крестьяне тамъ на оброкѣ и платятъ въ срокъ, какъ въ банкѣ, двадцать двѣ тысячи семьсотъ рублей, а вы отдадите его въ приданое Динѣ. Съ тѣмъ, что имѣетъ она сама,—цифра круглая; княгинѣ Солнцевой не будетъ причины препятствовать долѣе счастію ея сына.

— Ни за что, ни за что! съ негодованіемъ отказала честная женщина.—За что станешь ты награждать ее?

— Кто знаетъ, задумчиво и печально взглянулъ ей въ глаза Завалевскій,—что выйдетъ изъ этого: награда или наказаніе?

— Для такихъ людей, какъ ты, нѣтъ счастія на землѣ! разрыдавшись, могла только проговорить Елизавета Григорьевна.

Съ пылающими негодованіемъ глазами слушала Марина разсказъ Пужбольскаго.

— И она приняла отъ него этотъ подарокъ? воскликнула она, когда онъ кончилъ.

Князь засмѣялся.

— Приняла,—и такъ, какъ будто она же оказывала одол-

женіе Завалевскому. Она на это молодецъ у насъ. Наивность цинизма доходитъ у нея до какой-то поэзіи...

— Отвращеніе! проговорила Марина:—а онъ, скажите, что̀ за чудо этотъ человѣкъ! онъ... не избѣгаетъ ея, видится съ нею до сихъ поръ?...

— Не избѣгаетъ ея—кто хочетъ, возразилъ хмурясь Пужбольскій,—когда *она* этого не желаетъ; elle l'exploite jusqu'aujourd'hui, примолвилъ онъ сквозь зубы.

— То-есть, какъ же это, что̀ вы хотите сказать?

— Она до сихъ поръ тянетъ съ него, что̀ можетъ, презрительно отрѣзалъ князь.

Марина даже покраснѣла: ей было совѣстно за эту *безстыдную барыню*, и до слезъ жаль *его*...

— Гдѣ она теперь?

— А вотъ вы ее, можетъ-быть, увидите...

— Здѣсь! съ невольнымъ ужасомъ и какою-то внутреннею болью проговорила дѣвушка.

— Да; мнѣ говорилъ Завалевскій, она изъ Петербурга ѣдетъ на лѣто въ мужнино имѣніе, въ Воронежскую губернію, и по пути хотѣла заѣхать сюда...

— Да это совсѣмъ не по пути, Воронежская губернія! прервала Марина.

— А вотъ то-то! опять засмѣялся онъ:—видите молъ, cher cousin, какая я вамъ преданный, нѣжный, всегда вѣрный другъ; съ дороги свернула, на цѣлыя сутки разницы себѣ *сдѣлала* единственно, чтобы взглянуть на васъ! Такъ вы ужь за это...

— Да чего̀ же ей нужно? гадливо произнесла Марина,—вѣдь она же знатна и богата...

— Недостаточно... И богатство, et les grandeurs—все это пошло̀ какъ-то мимо ея... какъ это говорится въ сказкахъ по губамъ *мазало*, въ ротъ не *падало*...

— Какъ же вы сейчасъ разказывали?...

— Да, да, объяснялъ Пужбольскій: — сводъ свой она вывела вѣрно, только одного не замѣтила, что строила она его на пескѣ. Онъ и *разъѣхалъ!*... Во-первыхъ, вслѣдъ за нашими несчастіями въ Крыму, кредитъ старика Солнцева лопнулъ

какъ мыльный пузырь... Онъ даже не выдержалъ, умеръ скоро затѣмъ... Оказалось, что у него долговъ болѣе чѣмъ на половину всего имѣнія... А тутъ l'émancipation—еще половиной меньше! И изъ всего ея echafaudage'а осталось au fond у Дины то, что̀ получила она отъ милостей Завалевскаго, и мужъ, изъ котораго она, pauvre femme, вотъ уже пятнадцать лѣтъ бьется что-нибудь сдѣлать, и не *добивается*...

— А мужъ что̀ же? спросила Марина.

На этотъ разъ Пужбольскій уже совсѣмъ расхохотался.

— Мужъ ничего, сказалъ онъ:—мужъ—князь Солнцевъ, и даже родня мнѣ близкій...

— Такъ вѣдь это что̀ же „князь“! Это только кличка, засмѣялась, въ свою очередь, дѣвушка.

— Оно и есть! Кличка для клички, какъ было прежде искусство для искусства, какъ нынче у вашихъ *либераловъ* самооплеваніе для самооплеванія!... Вообразите себѣ ярлыкъ безъ бутылки, бутылку безъ вина, табачный кисетъ безъ табаку,—вотъ вамъ Солнцевъ depuis que „*papa*“ est mort! Онъ тоже *либералъ*, между прочимъ...

— Я все думаю, заговорила Марина: — какъ это *онъ* дозволяетъ обманывать, или, какъ вы сказали, *эксплуатировать* себя этой женщинѣ!... Онъ или любитъ ее до сихъ поръ, или это слабость, которую онъ какъ *человѣкъ* не въ правѣ себѣ дозволить!...

— Ни первое, ни совсѣмъ послѣднее! возразилъ князь:—она употребляетъ теперь съ нимъ особенный... какъ это говорится? — да, особенный *фортель*, который дѣйствуетъ на Завалевскаго именно потому, что онъ, я употреблю слово въ вашемъ смыслѣ, что онъ *человѣкъ*. Судя по нѣкоторымъ словамъ qui lui sont échappés, она упрекаетъ его теперь въ томъ, что онъ былъ причиной ея несчастія, что онъ не долженъ былъ *дозволить* бракъ ея съ Солнцевымъ, долженъ былъ sobrement... трезво *посмотрѣть* на ея дѣтское увлеченіе, l'entrainement d'une pauvre et naïve enfant éblouie par le monde. А онъ что̀ сдѣлалъ? De la grandeur d'ame и не изъ чувства, а par rancune, par dépit amoureux, чтобы еще злѣе *отомщать* ей...

— И *онъ* этому вѣритъ? съ новымъ негодованіемъ перебила его Марина.

— Вѣритъ, c'est trop dire, но, насколько я могъ замѣтить, говоритъ себѣ, что въ этихъ упрекахъ есть нѣкоторая доля правды,—и это его мучитъ, я знаю... Elle le tient par cette ficelle là! закричалъ князь, пожимая плечами.

Марина глубоко задумалась.

— О, Боже мой! сказала она послѣ долгаго молчанія: — какъ присмотришься только поближе,—въ мірѣ одно коварство!...

— И любовь! добавилъ засмѣявшись Пужбольскій, но въ его выраженіи, опять помимо его воли, было болѣе чѣмъ одна шутка.

— А вы все съ своими глупостями; все съ глупостями! досадливо крикнула на него Марина. — Я съ вами говорить болѣе не хочу!

Она вскочила съ мѣста такъ же быстро, какъ и опустилась на него два часа тому назадъ, и, приподнявъ слегка спереди свою кисейную юбку съ воланами, торопливо сбѣжала со ступенекъ балкона...

— La Judith d'Allori! рѣшилъ съ восторженнымъ вздохомъ князь Пужбольскій, проводивъ ее глазами и очутившись одинъ предъ чашкой своего давно похолодѣвшаго чая.

VIII.

Съ этого дня между нашими друзьями и Мариной установились самыя добрыя пріятельскія отношенія. Каждое утро, часу въ девятомъ, приходила она съ ними чай пить, и до полудня, пока высоко поднявшееся солнце не прогоняло ихъ съ балкона, время проходило въ оживленной, всегда занимательной бесѣдѣ, въ горячихъ или веселыхъ толкахъ, спорахъ и разсказахъ. Это *совмѣстное чаепитіе*, какъ выражалась Марина, живой, дружескій обмѣнъ мыслей, вѣчныя пренія Пужбольскаго съ графомъ о предметахъ совершенно для нея новыхъ, которымъ внимала она съ возрастающимъ съ каждымъ днемъ любопытствомъ,—все это вскорѣ стало для нея такъ же дорого, такъ же необходимо, какъ воздухъ, которымъ она дышала. Весь день ходила она исключительно занятая тѣмъ, о чемъ утромъ была рѣчь за чаемъ; вечеромъ, ложась спать, готовила она вопросы, на которые пріятели ея должны были отвѣтить ей завтра; завтра она, проснувшись, улыбалась новому свѣтлому дню, глядѣвшему въ ея окна, и торопилась скорѣе одѣться и бѣжать на тотъ каменный, обросшій жасминомъ, любезный ей балконъ, гдѣ, она знала, за кипящимъ уже самоваромъ сидятъ друзья и поджидаютъ ее...

Странное дѣло, она будто вѣкъ была съ ними знакома, жизнь свою прожила съ ними, съ этими столь недавними своими пріятелями! Какъ еще ни съ кѣмъ, чувствовала она себя съ ними *„по себѣ“!*... А между тѣмъ,—разсуждала въ первые дни она сама съ собою,—что же общаго у нея съ ними? Вѣдь они *не какъ всѣ*, они *бѣлокостные* (въ числѣ всяческой „современной“ россійской ерунды она гдѣ-то вычитала и это, и

удержала въ памяти), они *баре, бѣлоручки*, а она *привыкла уважать однѣ лишь честныя мозолистыя руки!...* Ужь не потому-ли это, что въ ней самой течетъ *кровь Серебряныхъ-Телепневыхъ?...* Но она не хотѣла останавливаться на этой мысли,—ее льстило, напротивъ, то, что вотъ она сама, какъ знаменитый *Рахметовъ* въ знаменитомъ романѣ: *„Что дѣлать“,—по крови важная*, но *по убѣжденіямъ—народъ, демократка*, и не признаетъ никакихъ *сословныхъ отличій...* Отчего же ей такъ *хорошо*, такъ легко дышется съ *ними*, а такъ часто тяжело бывало съ *тѣми*, съ *прежними*, которые *развивали* ее и учили презирать *этихъ* бѣлоручекъ?... Вѣдь *либерализмъ*—развѣ его цѣль не состоитъ именно въ томъ, чтобы каждому жилось легко и свободно? А если, напротивъ, онъ, либерализмъ этотъ, долженъ стѣснять, привязывать какія-то гири къ ногамъ, то какая же цѣль его? Благо всѣхъ? Но развѣ всѣмъ будетъ легче оттого, что у каждаго будетъ по такой гирѣ на ногѣ?

Марина чувствовала, что у нея *уходитъ почва подъ ногами*, что она приходитъ къ заключеніямъ совершенно противоположнымъ тому, что она до сихъ поръ почитала *реальною истиной*, и съ ребяческимъ испугомъ говорила себѣ въ первое время, что она *измѣняетъ своимъ убѣжденіямъ!...* Но вслѣдъ затѣмъ стала она себя допрашивать: въ чемъ же именно расходятся сами друзья ея съ этою *реальною истиной* ея *убѣжденій?* И... и пришла въ недоумѣніе... *Демократизмъ, любовь къ народу?...* Да, дѣйствительно, они не почитаютъ себя *демократами*, никогда этимъ не хвалились предъ ней,—но можетъ-ли она по совѣсти сказать, что не любятъ они народа? О графѣ уже и говорить нечего: онъ весь, кажется, *одна правда,—правда и добро*,—онъ на дѣлѣ доказываетъ эту любовь свою *именно къ народу;* но самъ *Александръ Ивановичъ*, который такъ смѣшно сердится на все и бранится: сколько же разъ слышала она его горячія разсужденія о тяжести теперешнихъ налоговъ, о безобразномъ крестьянскомъ судѣ, гдѣ, какъ сама она не разъ видала,—волостное правленіе вѣдь тутъ, почти рядомъ со *дворцомъ*,—гдѣ кто поднесъ лишній штофъ, тотъ и правъ,—о круговой порукѣ, при кото-

рой труженикъ долженъ платить за пьяницу и лѣнтяя... Не вчера-ли еще такъ забавно смѣялся онъ надъ мнимыми *либералами*, которые „подъ *народомъ* разумѣютъ одни лапти и онучи, а сапоги почитаютъ недостойными шагать съ ними рядомъ. Когда же они отдѣляли себя отъ народа? Могла-ли она замѣтить хотя разъ въ ихъ сужденіяхъ, чтобъ они желали чего-нибудь для себя, *для своего сословія*, помимо блага остальныхъ, всей страны?... *Сословные предразсудки?* Но въ чемъ же? Есть-ли у нихъ что-либо общее съ *тупымъ міровоззрѣніемъ*, напримѣръ, Іосифа Козьмича, который такъ надутъ своимъ *родомъ*, что почитаетъ себя какимъ-то идоломъ, которому подошвы цѣловать—такъ и то еще не каждаго онъ допуститъ?... Александръ Ивановичъ, вспомнила Марина съ улыбкой, на-дняхъ вышелъ въ самый жаръ гулять въ поле; у самаго *Темнаго-Кута* видитъ онъ: на полосѣ баба лежитъ, кровью исходитъ,—мужики кругомъ стоятъ, охаютъ, дѣлать что̀ не знаютъ: за бороной, говорятъ, шла, да и грохнулась,—отъ солнца должно быть... „Такъ что̀-же вы стоите? засуетился онъ,—помочь надо,—воды скорѣе!...“ А ключъ за версту будетъ, и отъ плуговъ да отъ боронъ своихъ никто отойти не хочетъ... Такъ онъ взялъ ее на руки и понесъ къ ключу. Мужиковъ совѣсть разобрала, побѣжали за нимъ: „пусти, батюшка, донесемъ!“ А онъ имъ въ отвѣтъ,—а бабу все несетъ:—„вы, говоритъ,—шутъ этакой,—посты соблюдаете? *Въ душеспасительность сыропушки* вѣрите?“—„Какъ же, батюшка, не вѣритъ? говорятъ дураки,—вѣримъ!“—„А то, что ближнему помогать нужно,—объ этомъ не слыхали? Убирайтесь же къ чорту!“ И принесъ больную къ водѣ, привелъ въ чувство и оттуда довелъ ее до дому, да за подлѣкаремъ сходилъ самъ же, и не оставилъ, пока совсѣмъ ея на ноги не поставили... Чѣмъ же, спрашивала себя Марина, они *баре*, *бѣлоручки?* Тѣмъ развѣ, что родились они богатыми?... Такъ неужто-жь, въ самомъ дѣлѣ, у нихъ ихъ богатство отнимать!...

А все же они *аристократы!* говорила она себѣ, но подъ обаяніемъ того, что̀ она теперь понимала подъ этимъ словомъ,—она уже чувствовала всю себя. Это было что̀-то, чего она въ своей глуши не встрѣчала еще никогда, ни въ комъ,

и о чемъ не могли ей дать понятія тѣ русскія изданія, которыми зачитывались въ Глинскомъ уѣздѣ,—что-то не значившееся въ знакомомъ ей *современномъ* словарѣ, далеко не похожее на то, что̀ извѣстно ей было до сихъ поръ подъ знаменитымъ словомъ *развитость*. Это было то, что̀ Завалевскій по какому-то поводу назвалъ однажды при ней *культурою*, нѣчто широкое, свободное, *съ высоты*, какъ выражалась Марина... Ничего условнаго, навязаннаго извнѣ не чувствовала она,—ничего съуженнаго въ приготовленную наперед рамку, отзывающагося чахоточною работой насилованной мысли, вчера жеванною и непереваренною книгою... Какъ тотъ мальчикъ арабской сказки, побывавшій въ подземномъ чертогѣ геніевъ и принесшій оттуда алмазные и рубиновые плоды, которыхъ цѣнности онъ не вѣдалъ,—друзья Марины,—представлялось ей иной разъ,—пришли изъ какого-то другаго, *свѣтлѣйшаго* міра, и, не давая имъ никакой цѣны, сыпали сокровищами, что̀ принесли съ собою оттуда... Это нѣчто невѣдомое ей до сихъ поръ и неотразимо ее привлекавшее—какъ будто составляло часть ихъ самихъ, ихъ *организма:* это сказывалось въ ихъ пріемахъ, рѣчи, привычкахъ, вкусахъ, въ томъ, какъ *подходили они къ предмету сужденія*, въ безконечной разнообразности того, что̀ они знали, что̀ возбуждало въ нихъ любопытство и интересъ. А знали они *все*, казалось дѣвушкѣ, все привлекало вниманіе ихъ, отъ *какихъ-нибудь* ученыхъ изслѣдованій объ индійскихъ *Ведахъ* и до иллюстрацій Густава Доре къ средневѣковымъ сказкамъ...—А если, можетъ быть, это *дилеттантизмъ* одинъ! вдругъ вспомнила Марина (она что̀-то *ужасно сильное* прочла въ одномъ изъ своихъ журналовъ противъ *дилеттантизма*)... Но отчего же это *пошлое тунеядство*, какъ выражалось *передовое* изданіе, отчего же отзывалось оно для нея чѣмъ-то такимъ прекраснымъ, возвышеннымъ, *благороднымъ?* Отчего никогда еще такъ не чувствовала она себя *разумнымъ существомъ* какъ въ обществѣ этихъ *дилеттантовъ?*...

— Вотъ вы обо всемъ говорите, сказала она однажды имъ, для очистки совѣсти,—только менѣе всего о *современныхъ задачахъ*. Отчего это такъ?

Пужбольскій привскочилъ даже.

— Это какія такія *современныя задачи?* воскликнулъ онъ:—все тѣ же Шульце-Деличъ и Лассаль, господинъ Карлъ Марксъ и русскіе молодцы въ Женевѣ!...

— Я понимаю, что вы хотите сказать, заговорилъ въ свою очередь Завалевскій:—но изволите видѣть, молодая особа, съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ пересталъ быть *безхвостою обезьяной*, не о „хлѣбѣ единомъ" мыслилъ онъ въ продолженіе вѣковъ, и все, до чего ни касалась эта человѣческая мысль,— равно свято и дорого для человѣка...

— И дороже всѣхъ вашихъ *современныхъ задачъ*, перебилъ его горячо князь:—должно быть для человѣка то великое хранилище, въ которое въ продолженіе вѣковъ всѣ историческіе народы и страны вносили свои жемчужины—мысль, опытъ, знаніе, — то, чего нѣтъ, не можетъ быть выше для него, человѣческое просвѣщеніе, человѣческая *цивилизація*.

— Есть еще выше этого, молвила Марина съ глубокомысленнымъ видомъ,—это *счастіе всѣхъ!*

Пужбольскій съ отчаянія схватился обѣими руками за бороду:

— Mais, par la barbe de Jupiter! запищалъ онъ, — какъ вы, умная дѣвушка, можете повторять такую нелѣпицу! *Счастіе всѣхъ!*... Да развѣ мыслимо такое, общее для всѣхъ, подавляющее, животное счастіе!... Разъ, два, — чихать. И всѣ чихаютъ... Разъ, два, три, — всѣмъ счастливымъ быть! И всѣ тотчасъ же принимаются благоденствовать до поту лица... Помилуйте, вѣдь это только Валаамовы ослицы россійскаго *прогресса* могутъ пророчествовать о такомъ *счастіи* всѣхъ и обѣщать аллюминіевыя стойла будущему человѣчеству! Вѣдь вы подумайте только, — вѣдь это было бы не человѣческое счастіе, а счастіе той, прежней *безхвостой обезьяны;* вѣдь во сто кратъ легче было бы вѣкъ свой кандалы носить, чѣмъ благоденствовать въ этихъ стойлахъ! А пока человѣкъ снова не превратится въ животное, скажите сами, *ваше* счастіе можетъ ли быть счастіемъ, напримѣръ, какого-нибудь петербургскаго директора департамента, или вотъ того злющаго кузнеца, который намедни...

Завалевскій поднялъ въ эту минуту на Пужбольскаго та-

кіе странные, чуть не перепуганные глаза, что тотъ договорить не рѣшился и тотчасъ же перевелъ ихъ на дѣвушку.

Но Марина не слышала,—она сидѣла съ поникшимъ взоромъ, съ морщинкою раздумья на лбу... Она старалась припомнить одинъ нѣмецкій стихъ, слышанный ею недавно отъ графа — и который, думала она въ эту минуту, такъ хорошо относится къ нему самому...

— Ein edler Geist liebt edlere Gestalten! *).

къ немалому удивленію Пужбольскаго воскликнула она вдругъ, подымая на него глаза, и разсмѣялась...

Въ одно прекрасное утро Марина сдѣлала даже одно удивительное открытіе: *раціональность* и даже *разумную необходимость* того аристократизма, который признавала она въ друзьяхъ своихъ, она доказала себѣ *по Дарвину!* Путая въ возбужденной головѣ все, что̀ вычитала она о „подборѣ особей“, объ „условіяхъ развитія организмовъ“, о перерожденіи ихъ изъ низшихъ въ высшія формы, она вывела свое собственное заключеніе *ad hominem* и разсудила такъ, что если въ природѣ существуетъ законъ постояннаго совершенствованія, и ей для произведенія высшаго существа на землѣ, человѣка, нужно было пройти чрезъ многообразнѣйшія формы, начиная отъ одноглазой рыбы и до гориллы, а отъ гориллы, *проходя чрезъ всякихъ островитянъ, краснокожихъ и негровъ*, до чисто-бѣлой кавказской расы, то не слѣдуетъ-ли *индуктивно* заключить, что она не перестаетъ работать и понынѣ, и постоянно стремится выдѣлить изъ себя *особи*, формы, болѣе совершенныя, *тонконервныя*, способныя слѣдовательно къ *высшему развитію* и, такимъ образомъ, превосходящія прочихъ людей, людскую массу... А если это такъ, — а это уже такъ навѣрное! — то такіе люди, какъ ея друзья... какъ *онъ*, графъ,—она именно о немъ думала, — не представляются-ли они именно „высшими формами“, *высшими людьми*, стоящими на вершинѣ, надъ всѣми другими!...

Она такъ обрадовалась этому своему открытію, что прибѣжала въ то утро на балконъ съ намѣреніемъ сообщить его

*) Благородный умъ любитъ благородные образы. *Шиллеръ.*

друзьямъ ранѣе, чѣмъ тѣ еще вышли изъ своихъ комнатъ. Но когда они оба явились, ей стало совѣстно, и она ничего не сообщила; только съ Пужбольскимъ, съ которымъ она обыкновенно *грызлась*, она въ это утро была необычно ласкова, ни разу не говорила ему: „вздоръ“ и „глупости“, и позволяла ему глядѣть на себя, не прерывая его вѣчнымъ: „что вы на меня такъ смотрите?“—что приводило его всегда въ конфузъ и отчаяніе. Съ графомъ она завела бесѣду по поводу его института, а именно, о допущеніи въ него женщинъ, которыя, доказывала она, гораздо болѣе способны, чѣмъ мужчины... Она не успѣла договорить, какъ Пужбольскій влетѣлъ въ разговоръ съ мнѣніемъ какого-то нѣмецкаго спеціалиста, приписывающаго раздражительность и нервность сѣверо-американцевъ тому именно, что народная школа тамъ въ рукахъ женщинъ. Но Завалевскій, къ великому удовольствію дѣвушки, опровергъ этотъ доводъ на основаніи лично ему извѣстныхъ выводовъ и фактовъ и отвѣчалъ Маринѣ, что en principe онъ совершенно съ нею согласенъ и объ этомъ долго думалъ,—но что по отношенію къ его институту затрудненіе представляется въ томъ, во-первыхъ, что въ его мысли это заведеніе должно быть непремѣнно закрытое заведеніе, и во-вторыхъ, что въ него должны поступать исключительно дѣти крестьянъ; что такой интернатъ для крестьянскихъ же дѣвочекъ немыслимъ пока, но что,—и это предвидится и значится въ его уставѣ,—параллельно съ его мужскимъ курсомъ, но, разумѣется, отдѣльно отъ него, можетъ быть открытъ равносильный курсъ для женскихъ особъ всѣхъ сословій, если только начальство заведенія получитъ удостовѣреніе въ томъ, что будетъ не менѣе пятнадцати слушательницъ въ началѣ курса...

— Вдвое больше будетъ! воскликнула Марина. — Сколько тутъ бѣдныхъ дѣвушекъ, жаждущихъ знанія и занятій!

— Серьезно? быстро поднялъ на нее глаза графъ.

Она одумалась.

— Конечно, проговорила она,—очень много *такихъ*... которыя походятъ-походятъ и—бросятъ.

— Русское Ausdauer! усмѣхнулся онъ тѣмъ *уголкомъ*, что такъ нравился Маринѣ.

— Сдѣлайте меня инспектрисой, засмѣялась она:—я имъ *шалопайничать* не дамъ!...

Онъ взглянулъ на нее съ гораздо большею внимательностью, чѣмъ въ ея понятіи заслуживала эта шутка.

— А опытъ? спросилъ онъ.

— Опытъ пріобрѣтается...

— И терпѣніе тоже?...

Она подумала—и не отвѣчала.

— Хорошо, Марина Осиповна, сказалъ Завалеевскій съ новою полуулыбкой,—мѣсто вамъ будетъ, какъ только вы сами придете мнѣ сказать, что вы чувствуете себя способною управлять другими...

— Вы правы! отвѣчала она на это, и брови ея мгновенно сдвинулись отъ налетѣвшаго на нее облака печали,—я *пока* еще ни на что не гожусь!... А ужь какъ бы женщины у насъ, примолвила она со вздохомъ,—нуждались въ хорошемъ образованіи!...

— И не однѣ женщины! закачалъ головою графъ. — Подождемъ, можетъ быть и дождемся... А если у насъ установится когда-нибудь основательное образованіе, я не вижу причины, почему бы не допустить къ нему и женщинъ... Особенно славянская женщина,—она, пожалуй, дѣйствительно способна...

Марина не дала ему кончить.

— Не правда-ли, не правда-ли?—захлопала она даже отъ радости въ ладоши.—Какъ вы это справедливо сказали!...

— Да? засмѣялся онъ:—но въ моей мысли образованіе это должно опять-таки прежде всего служить естественному и неизмѣнному призванію женщины — быть *матерью!*... Та, которая будетъ въ состояніи замѣнить сыну своему наставника, будетъ вдвойнѣ мать!...

— А вотъ для этого, должно быть, язвительно воскликнулъ Пужбольскій,—и преподаютъ у насъ чуть не анатомію пятнадцатилѣтнимъ дѣвочкамъ!...

Въ прежнее время Марина такъ и взъѣлась бы на него за такое пренебреженіе къ *реальнымъ знаніямъ*, но тутъ она только шутливо погрозила ему пальцемъ и весело возгласила:

— Погодите, дайте образоваться русскимъ женщинамъ,— онѣ министрами будутъ!

— Ахъ! захлопалъ въ свою очередь въ ладоши Пужбольскій,—дождусь-ли я этого счастливаго времени! У меня дѣдъ былъ, — капитанъ-лейтенантомъ при Екатеринѣ служилъ, — такъ тотъ бывало, какъ вспомнитъ — и вздыхать начнетъ: „бабій вѣкъ, золотой вѣкъ! Такъ и я, Марина Осиповна, такъ и я!... Только вотъ какое я маленькое неудобство при этомъ предвижу: вообразите себѣ,—въ комитетѣ министровъ, или тамъ въ государственномъ совѣтѣ, внесено очень важное дѣло, напримѣръ по военному министерству, а самого министра вдругъ нѣтъ. Гдѣ министръ? спрашиваютъ... А секретарь докладываетъ: онѣ просятъ обождать ихъ немножко, онѣ изволятъ примѣрять новое платье отъ Ворта изъ Парижа... Ну такъ займемся пока дѣломъ министра юстиціи. А секретарь опять: госпожа министръ юстиціи извиняются, — онѣ сегодня ночью изволили произвести на свѣтъ новую гражданку и...

— Ну, скажите на милость, помирая со смѣху обратилась Марина съ жалобой къ Завалевскому,—есть-ли возможность говорить съ нимъ о чемъ-нибудь дѣльномъ!..

— Никакой возможности нѣтъ, молодая особа, подтвердилъ тотъ,—никакой!...

Марина въ этотъ день ушла съ балкона съ особенно свѣтлымъ чувствомъ на душѣ. Она какъ-то сознавала внутренно, что она была... не *естественнѣе*, нѣтъ!... *естественно*—это совсѣмъ другое значитъ,—это, напротивъ, вотъ когда она, напримѣръ, въ первый день знакомства ея съ графомъ, *отпустила*, что „Іосифъ Козьмичъ по пятнадцати чашекъ чаю въ сутки *дуетъ*“, и *онъ* такъ посмотрѣлъ на нее, услыхавъ это, что она, вся красная, убѣжала домой... Нѣтъ, совсѣмъ не то, не *естественнѣе;* она чувствовала, что была сегодня *простѣе*... была какъ бы *къ нимъ ближе*, — и что это очень хорошо какъ-то *выходитъ*....

И съ этой минуты юная *демократка* съ гораздо меньшимъ пренебреженіемъ, чѣмъ прежде, стала думать о томъ, что и она *бѣлокостная* и что въ ней *течетъ кровь князей Серебряныхъ-Телепневыхъ*.

IX.

Какъ хороша была весна въ этомъ году! Какимъ пышнымъ ковромъ послѣ, въ пору выпавшихъ дождей, зеленѣли травы въ поляхъ! А въ береженыхъ аларожскихъ лѣсахъ, на тридцать тысячъ десятинъ кругомъ, что было молодой тѣни, что переливовъ свѣта, что красокъ, что цвѣтовъ!... Весело было Маринѣ, низко наклонясь надъ сѣдломъ, пробираться впереди Завалевскаго по знакомымъ ей лѣснымъ тропинкамъ, неожиданно вывести его на широкую поляну, всю пламенѣвшую прощальнымъ блескомъ солнца, и, сдерживая твердымъ поводомъ своего тонконогаго коня, долгимъ и радостнымъ взглядомъ слѣдить за умиленнымъ выраженіемъ, которое принимало въ эти минуты лицо ея спутника... Онъ узнавалъ такъ долго невиданныя имъ мѣста, — и дѣтство, и первыя впечатлѣнія, первые восторги воскресали на мгновеніе въ его душѣ, на мгновеніе озаряли ее лучомъ тѣхъ первыхъ дней, тѣхъ блаженныхъ „грезъ первоначальныхъ“... Она никогда не заговаривала съ нимъ въ эти минуты, — она ждала,—она знала: онъ самъ заговоритъ, про себя, по обыкновенію, и затѣмъ словно проснется и поведетъ съ нею рѣчь, тихо улыбаясь... А эта улыбка — это *весь онъ!* говорила мысленно Марина...

Одно скучно: Іосифъ Козьмичъ сопровождалъ ихъ неизмѣнно въ этихъ прогулкахъ. Во-первыхъ, онъ былъ въ душѣ кавалеристъ и страстный лошадиный охотникъ; къ тому же и самыя лошади были *его* лошади, то-есть шли изъ Аларожскаго — небольшаго, но извѣстнаго по всей странѣ,—завода

чистокровныхъ арабскихъ коней, которымъ „потомокъ гетмановъ“ занимался болѣе, чѣмъ всѣми остальными отраслями ввѣреннаго ему управленія, и даже, благодаря этой его страсти къ лошадямъ, занимался безъ *пользы* для себя. Во-вторыхъ, онъ въ послѣднее время, послѣ того разговора съ графомъ, относился къ Маринѣ съ какою-то особенною, нѣжною внимательностью, какъ-то очень замѣтно старался показать себя *отцомъ*. Но на Марину это производило впечатлѣніе, далеко не отвѣчавшее ожиданіямъ самомнящаго господина Самойленки: его чрезмѣрная заботливость и ласково шутливыя рѣчи, съ которыми онъ постоянно обращался къ ней, теперь только раздражали и стѣсняли ее...

— Отстаньте! не выдержавъ, крикнула она однажды на него, въ присутствіи Завалевскаго, въ отвѣтъ на третій разъ возобновлявшійся его вопросъ, не слишкомъ-ли слабо подтянуты ремни ея сѣдла... Онъ тотчасъ-же и *отсталъ*, то-есть далъ имъ проѣхать, а самъ повернулъ назадъ къ князю Пужбольскому, который, вслѣдствіе полученной имъ при Черной ранѣ въ ногу, ѣздилъ верхомъ съ трудомъ и предпочиталъ для прогулокъ кабріолетъ, въ которомъ и катилъ трухъ-трухъ вслѣдъ за прочими, безпрестанно останавливаясь и взвизгивая отъ радости, когда натыкался взглядомъ на какой-нибудь благообразный бѣлый грибъ или щегольской березовикъ:—къ грибамъ онъ питалъ настоящую страсть... А Завалевскій, оставшись одинъ съ Мариной, только головой закачалъ... Она тотчасъ же догадалась...

— Вы недовольны мною? съ тревогой въ глазахъ обернулась она къ нему.

— Нехорошо, проговорилъ онъ, — *онъ* васъ любитъ.... *Искренно*! настойчиво примолвилъ онъ, замѣтивъ, что она собирается возражать ему...

Губы ея раскрылись еще разъ, она хотѣла что-то сказать,— но, безъ словъ, повернула внезапно лошадь и поскакала къ отставшимъ. У Пужбольскаго глаза засверкали: онъ безъ особаго волненія не могъ смотрѣть на нее въ этой амазонкѣ, стройно охватывавшей ея роскошные члены, подъ этою осѣненною фазановымъ перомъ шляпой, надвинутой на смѣлое

молодое чело, и прибиралъ изъ неисчерпаемаго запаса извѣстныхъ ему царицъ и героинь древняго и новаго міра, съ которою могла бы быть достойно сравнена эта *очаровательница*.

А она, не глядя на него и не смущаясь его присутствіемъ, прямо обратилась къ Іосифу Козьмичу:

— Извините меня,—я сейчасъ была очень груба съ вами!..

— Ну, матушка, не въ первый и не въ послѣдній разъ! Свои люди—сочтемся! засмѣялся онъ, очень польщенный тѣмъ, что она такое покаяніе принесла публично, предъ княземъ.

Марина улыбнулась ему и поскакала назадъ...

А тѣмъ не менѣе она очень обрадовалась, когда самъ Іосифъ Козьмичъ, въ одинъ какой-то особенно тихій и ясный день, предложилъ, вмѣсто обычной послѣ-обѣденной прогулки верхомъ,—катанье на лодкѣ по Алому-Рогу... Она знала, что онъ не поѣдетъ самъ,—онъ воды не долюбливаетъ, да и гдѣ-же ему, такому *облому*, умѣститься въ небольшомъ и довольно узенькомъ *суденушкѣ*, гдѣ она съ графомъ и *Александромъ Ивановичемъ*, да гребецъ четвертый, едва найдутъ мѣсто? Она будетъ одна съ друзьями!.. Друзья, въ свою очередь, изъявили полное согласіе на предложеніе Іосифа Козьмича.

На селѣ давно отзвонили къ вечернѣ, и Тулумбасъ, кухонный мужикъ, наряженный Іосифомъ Козьмичемъ въ красную кумачную рубаху и поярковую шляпу съ лентами по случаю назначенія его гребцомъ, начиналъ уже сильно поклевывать носомъ, сидя со спущенными на воду ногами на прачешномъ плоту, къ которому причалена была, ожидавшая нашихъ пріятелей, лодка,—когда Марина, въ соломенной шляпѣ на головѣ, опоясанная широкимъ алымъ кушакомъ и со своимъ *долманомъ*, накинутымъ на плечи, показалась на отлогомъ скатѣ аллеи, спускавшейся отъ *дворца* къ берегу. Съ веселымъ лаемъ несся впереди большой бѣлый пудель ея, *Каро*...

— Что, никого еще нѣтъ? крикнула она сверху Тулумбасу.

— Нѣ-ту-ти! испуганно грохнулъ онъ какъ изъ трубы, съ-просонья чуть не свалившись въ воду...

— До сихъ поръ сидятъ; несносный *акцизный*, уѣхать не можетъ! проговорила она съ досадою:—и что это они съ нимъ церемонятся!.. Но вотъ, кажется, идутъ они... Да, и

несносный акцизный съ ними, и Іосифъ Козьмичъ,—они только-что изъ-за стола, должно быть...

Марина бѣгомъ сбѣжала съ дорожки, прыгнула въ лодку и усѣлась къ рулю.

— *Каро*, ісі!..

Послушная собака улеглась въ ногахъ ея.

— Вотъ мы какими *фонами* сегодня! весело заговорила она съ Тулумбасомъ, указывая на коверъ, которымъ господинъ Самойленко велѣлъ устлать *суденушко*.

— И задѣпъ ишь новый приказали сварить,—можетъ гдѣ повылазать захотите, глупо улыбаясь отвѣчалъ гребецъ.

— Повылазать! Ахъ вы, Тулумбасъ, Тулумбасъ! съ хохотомъ повторила она... Она всему-бы разсмѣялась, — такъ *хорошо* было у нея на душѣ!..

Мужское общество подошло къ берегу.

— Да идите же скорѣй! звала она, кивая небрежно головой въ отвѣтъ на поклонъ акцизнаго чиновника, который былъ еще довольно молодой человѣкъ, щеголялъ „образованностью“ и, вслѣдствіе вѣроятно сего, носилъ преогромнѣйшіе, курчавые, какъ у барана, волосы, на которыхъ весьма неизящно торчала его форменная фуражка.

„Неужели же его съ нами повезутъ!“ думала съ испугомъ Марина; *акцизный* ей былъ *противенъ:* онъ былъ страстно влюбленъ въ нее,—и она это знала.

Но *акцизный* пріѣзжалъ „съ первымъ визитомъ“ къ новоприбывшему помѣщику и не почиталъ „согласнымъ съ приличіями свѣта“ протягивать этотъ визитъ. Онъ тутъ же раскланялся и, кинувъ на Марину пламенный прощальный взглядъ, въ-припрыжку отправился вверхъ по аллеѣ.

— Садись, Пужбольскій, говорилъ графъ, бывшій, по-видимому, въ очень хорошемъ настроеніи духа, между тѣмъ какъ господинъ Самойленко, не доходя до плота, кричалъ издали Маринѣ:

— Подымайтесь выше, до самой Карапековой пасѣки, чтобы не ранѣе сумерекъ назадъ быть!... Мы васъ тутъ съ огнями встрѣтимъ!...

Тулумбасъ поплевалъ себѣ въ обѣ руки и взялся за весла. Пріятели усѣлись; суденушко отвалило...

— Спросите князя, изъ-за чего изволятъ они гнѣваться, моргнулъ Завалевскій Маринѣ, глядѣвшей недоумѣвая на Пужбольскаго, который до сей минуты, противъ обыкновенія, не произнесъ ни единаго слова и, отвернувшись отъ нихъ, глядѣлъ куда-то въ лѣсъ.

— Что̀ притуманилась, зоренька ясная, пала на землю росой? тотчасъ-же и защебетала она, улыбаясь ему своими пышными устами.

Онъ словно почувствовалъ эту улыбку и быстро обернулся на нее, усмѣхаясь самъ...

— А это, изволите видѣть, пояснялъ тѣмъ временемъ графъ,—Ольга Ѳедоровна, экономка, разобидѣла ихъ сіятельство. Они сегодня утромъ сами изволили набрать къ обѣду березовыхъ грибовъ и принесли ей,—за обѣдомъ же подали будто бы не березовики, а подосинники,—такъ вотъ...

— Ну да, ну да! запищалъ мгновенно Пужбольскій,—это она намѣренно, avec arrière pensée, это она со мной не въ первый разъ дѣлаетъ! C'est pour sauver sa fichue âme, что она подмѣниваетъ мнѣ грибы... Она, видите,—и онъ, пододвинувшись ближе къ Маринѣ, замахалъ руками по воздуху въ пылу объясненія,—она, видите, почитаетъ, что березовикъ душеспасительнѣе, чѣмъ осинникъ,—такъ она ихъ сушитъ себѣ къ посту, а намъ...

Марина такъ расхохоталась, что выпустила руль изъ рукъ...

— Правѣ, барышня, правѣ держитесь, въ очеретъ вскочимъ! отчаянно заревѣлъ съ носа Тулумбасъ.

Она живо схватилась, налегла, и лодка, описывая широкую дугу, въѣхала въ самую средину теченія...

Смѣхъ смолкъ разомъ у всѣхъ троихъ... Будто въ какое-то очарованное царство попали они...

Все сіяло, пѣло, благоухало вокругъ... Густыми и стройными рядами, словно уставленное *шпалерами* войско, слѣва и справа подымались со дна рѣки тонкіе стебли высокаго тростника, тихо помахивая блѣдно-лиловыми, новорожденными перьями. Шильникъ и душистый аиръ несли вверхъ свои

острыя иглы и смѣлые, какъ лезвее шпаги, языки. Темными пятнами разстилались подъ ними безчисленныя семьи кудрявыхъ хвощей, и сочные кусты зори длинными мысками забирались въ воду,—далеко кругомъ несся въ воздухѣ ея проницающій запахъ... На свѣтлой рѣчной глади глянцовитыми блюдами лежали круглые листы купавокъ и бѣло-бархатныя маковки, задѣтыя весломъ Тулумбаса, исчезали въ струяхъ и выплывали вновь, на мигъ раскрывъ подъ ихъ тяжестью свою какъ золото ярко-желтую сердцевинку... Нескончаемыми извилинами бѣжалъ Алый-Рогъ; то близко сходились высокіе берега, и, спутывая свои вѣтви, низко опускали ихъ съ обѣихъ сторонъ надъ водою дряхлые дубы и изнеможенныя ольхи,— то расходились они въ широкій плесъ, съ полого-скатывавшимися до него холмами...И цѣлый міръ растеній и цвѣтовъ роился на тѣхъ холмахъ, надъ тою водною пустыней... Изъ молодой зелени трифолья и пырея выглядывали темно-алыя чашечки дикаго геранія, и милые колокольчики голубаго погремка, и бѣлая медуница, и лиловый змѣинецъ, и *сонъ и дрема*, красивый и яркій какъ пурпуръ... Благородные цвѣты пѣвника—первообразъ геральдической лиліи—раскидывали водометомъ свои синіе, желтые, перловые лепестки... Изъ камышей, встревоженные плескомъ веселъ, подымались стрекочущими стаями черные дрозды, краснобровыя и красноглазыя курочки; очеретянки, синія какъ яхонтъ, перелетали съ робкимъ свистомъ съ берега на берегъ; кофейно-сѣрыя горленки, съ чернымъ ожерельицемъ кругомъ нѣжной шеи, воркуя неслись парами въ прозрачномъ воздухѣ... И высоко, поверхъ этого пустыннаго, счастливаго міра, свѣтлое майское небо съ бѣгущими по немъ бѣлыми, дымчатыми облаками... Да, это, дѣйствительно, было очарованіе!...

Первый рѣшился заговорить Пужбольскій.

— Одного недостаетъ только — встрѣтить намъ вотъ за тѣмъ заворотомъ спящаго Лоэнгрина, влекомаго своимъ лебедемъ!... Вотъ за что можно любить кару-патрію! съ внезапнымъ взрывомъ восторга воскликнулъ онъ:—это за такіе невѣдомые уголки, гдѣ еще и человѣкомъ не пахнетъ! Вѣдь это настоящая рамка для легенды, для волшебной сказки!...

— А вотъ къ *церковищу* подъѣдемъ, сказала Марина,—тамъ говоритъ народъ...

— Ну, это я напередъ скажу вамъ, что, живо прервалъ онъ ее,—провалилась „скрозь“ землю церковь, а на томъ мѣстѣ вода выступила, и подъ водою колокола слышны... Въ Россіи повсемѣстно наткнетесь вы на этотъ сказъ... Нѣтъ, тутъ русалки должны быть непремѣнно!... Вѣдь есть здѣсь русалки, не правда-ли—есть? приставалъ къ дѣвушкѣ Пужбольскій.

— Спросите Тулумбаса! засмѣялась она въ отвѣтъ.

— Что же вы мнѣ про русалокъ разскажете, господинъ Тулумбасъ? тотчасъ же и обратился къ нему князь.

— А то-жь какія русалки *будутъ?* спросилъ тотъ, приподнимая весла и откидывая головой на затылокъ свою поярковую шляпу.

— *Майки, мавки!* пояснилъ ему графъ, припоминая мѣстное наименованіе....

— А то вы про *мабки!* И Тулубмасъ расхохотался во весь ротъ.—А брешутъ что-сь про нихъ бабы... Такъ буду я ихъ слухать! презрительно дернулъ онъ плечомъ.

— Тоже *прогрессистъ!* съ негодованіемъ проговорилъ князь, поворачивая ему спину.

— Пужбольскій,—тѣшась его разгнѣваннымъ видомъ, подразнивалъ его графъ:—а вѣдь повѣрье про русалокъ, и самое даже слово...

— *Русло, русло,* вотъ прямой корень, c'est incontestable! не далъ ему кончить Пужбольскій, — но я знаю, что ты хочешь сказать, — c'est même assez ingénieux du reste de le faire dériver de là,—будто миѳъ о русалкахъ и самое имя—не что иное, какъ проникшее къ намъ изъ Италіи и искаженное преданіе о святой Розаліи, и главное доказательство лежитъ будто въ томъ, что у насъ „русальный день“ совпадаетъ съ днемъ, когда на Западѣ *чествуютъ* эту святую...

— Это та, перебила, въ свою очередь, Марина,—которая одѣвалась въ собственные свои волосы?

— Та самая.

— И которую какой-то левъ схоронилъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы смѣшали! Эта Розалія, la patronne de Palerme, une sainte immaculée... Но та, про которую вы говорите, знаменитая Марія Египетская, la magna peccatrix de l'épilogue de Faust!...

— И ты спуталъ, замѣтилъ ему графъ, — въ эпилогѣ *Фауста* ихъ двѣ: одна Maria Aegyptiaca, а другая—Magna peccatrix, великая грѣшница, подъ которою разумѣется Марія Магдалина... И какіе божественные стихи влагаетъ имъ въ уста Гёте!...

Глаза его мгновенно оживились, что-то умиленное и сладостное промелькнуло въ нихъ, показалось Маринѣ.

— А чѣмъ же знаменита эта Марія Египетская? робко, стыдясь, что она этого не знаетъ, спросила она.

Завалевскій взглянулъ на нее, тихо улыбнулся, опустилъ голову и заговорилъ съ какою-то необычною ему, безсознательною торжественностью:

— Славилась она красотою своею и нечестною жизнью по всему востоку; покланялись ей какъ царицѣ; ѣздила она по средиземнымъ волнамъ, какъ нѣкогда Клеопатра, въ золотой триремѣ, подъ пурпуровыми парусами; сводила съ ума и разоряла всю молодежь Сиріи и Египта... И вотъ однажды узнаетъ она, что въ Іерусалимѣ готовится неслыханное торжество, неслыханный праздникъ. Въ храмѣ надъ гробомъ Господнимъ воздвигается отысканный царемъ Константиномъ, царицей Еленой честный крестъ Христа Спасителя... Несмѣтными толпами, изо всѣхъ окружныхъ странъ, стремится народъ поклониться тому кресту... И она, красавица, и она за народомъ... И три раза пыталась она войти во храмъ, и три раза невидимая и непреоборимая сила отталкивала ее назадъ!... Съ той минуты никто уже не видалъ ее въ этомъ мірѣ; какъ была она, въ пышной и нескромной одеждѣ своей, такъ и ушла съ порога недоступнаго ей храма — въ пустыню, въ Ливійскую степь... Сорокъ лѣтъ прожила она тамъ одна. Житіе ея говоритъ, что подъ конецъ жизни она сдѣлалась вся прозрачная, насквозь тѣла ея было видно... Умирая, она начертала имя свое на пескѣ пустыни. По этой надписи узналъ ея бренные останки святой отшельникъ Зосима, про-

ходившій по степи со львомъ, который повсюду сопутствовалъ ему... Онъ совершилъ надъ нею отпѣваніе,—а левъ вырылъ когтями для нея могилу и зарылъ подъ пескомъ...

Жадно слушала Марина; какимъ-то благоговѣйнымъ трепетомъ отзывалось въ чуткой душѣ отъ этой суровой поэзіи первыхъ христіанскихъ вѣковъ...

Она отвернулась; она почувствовала, какъ подъ рѣсницами ея задрожали нежданныя слезы...

— Счастливыя, какъ онѣ вѣрили! словно вырвалось у нея съ самаго дна души.—А теперь—что осталось? медленно, про себя, домолвила она...

Пріятели невольно переглянулись... Оба они повторили внутренно восклицаніе дѣвушки: „а теперь—,что осталось?“...

— Ишь закуковала! раздался въ эту минуту дурацкій смѣхъ Тулумбаса.

— Кукушка! какъ-то насильственно встрепенулась Марина... А погодите! Никакъ соловей заурчалъ... пробуетъ...

— Къ вечеру дѣло, во всю глотку зачнетъ заразъ! счелъ нужнымъ пояснить гребецъ, снова приподымая свои весла.

Пужбольскій со злостью взглянулъ на него: онъ возненавидѣлъ Тулумбаса за его презрѣніе къ *майкамъ*.

— А я вотъ совсѣмъ и забыла! воскликнула вдругъ Марина,—у насъ есть здѣсь своя, аларожская сказка!...

— Какая, какая? взвизгнулъ тотчасъ же Пужбольскій.

— Отчего кукушка такъ жалобно кукуетъ, не знаете?

— Не знаемъ.

— Такъ вотъ я вамъ разскажу. Отъ одной старушки здѣшней,—покойница она теперь,—слышала я эту сказку. Когда это было, покрыто мракомъ неизвѣстности,—начала Марина съ напускною насмѣшливостью, исчезавшею по мѣрѣ того, какъ подвигался впередъ ея разсказъ,—а только знаю, что ранѣе было это даже тѣхъ гетмановъ, отъ которыхъ ведутъ родъ свой знаменитые Самойленки... И было тутъ, надъ самымъ Алымъ-Рогомъ, большое село, а въ томъ селѣ, какъ водится, и парней вдосталь, и дѣвчатъ не мало... И вотъ въ одинъ жаркій воскресный день собрались тѣ дѣвчата купаться. Пришли къ рѣкѣ, вотъ на тотъ, можетъ, самый бережокъ, гдѣ,

видите, желтаго пѣвника такъ много въ очеретѣ; пришли, скинули кофты да платки съ головы и сѣли на травку-муравку, ждутъ, пока остынутъ... Сѣли и—бесѣду мудрую промежъ себя повели. А бесѣда мудрая въ томъ состояла, что какая дѣвчина какого парня любитъ, да какой парень изъ себя пригожѣе, и тому подобная чепуха... Только сидитъ одна, молчитъ, ничего не говоритъ... А была это сиротинка одна, Фросей звали, ни отца, ни матери, бѣдная, только изъ себя—заглядѣнье дѣвушка!..

— Какъ ты! чуть не вырвалось у Пужбольскаго, пожиравшаго глазами разсказчицу.

— Видная, бѣлолицая, а глаза синіе, что̀ *соколій перелетъ*,—цвѣтокъ есть здѣсь такой, пояснила Марина.—Сидитъ, губъ не раскрываетъ... А тѣ къ ней пристали: а у тебя, Фросиня, чи есть, чи нѣту милъ-сердечный другъ, да кто онъ, да гдѣ, да смазливъ-ли; да богатъ-ли? — Гдѣ мнѣ-бѣдной, говоритъ она на это,—хорошаго да богатаго! мнѣ, говоритъ,—*ужъ—такъ и тотъ мужъ!...*

—. Отъ-то глупая! отозвался на это съ носа увлеченный разсказомъ Тулумбасъ.

— Многоуважаемый гражданинъ, вскинулся на него немедля князь Пужбольскій,—вы бы больше занимались *внутреннею рефлексіею*, чѣмъ внѣшнимъ выраженіемъ вашего *міровоззрѣнія!*

— Не такая глупая, какъ вы думаете, Тулумбасъ, расхохотавшись утѣшала его Марина.—Не успѣла сказать это Фрося, какъ подруги ея, сколько ни было ихъ тутъ, вдругъ всѣ въ голосъ въ одинъ: ахъ, ужъ, ужъ! и давай Богъ ноги... Глядитъ она, озирается... А на ея платкѣ, что̀ положила она на траву, клубкомъ свернувшись, лежитъ большущій черный ужъ!.. Ахнула и она!.. А онъ съ платка о-земь хвостомъ ударился, перевернулся въ распрекраснаго молодца-красавца, стоитъ предъ ней, золота шапочка на кудряхъ волнистыхъ, полымемъ глаза горятъ, изъ устъ рѣчи медовыя льются...

— Въ тонѣ, молодая особа, хорошо, вѣрно! одобрялъ ее Завалевскій, покачивая своею кудрявою, сѣдою головой и

чувствуя опять внутри себя приливъ чего-то, давно имъ не испытаннаго, молодаго, счастливаго.

А лицо Марины подъ золотистою кожей разгоралось все замѣтнѣе: отъ свѣжаго воздуха, отъ движенія руки на рулѣ, отъ этого одобренія, быть можетъ.

— И льются медовыя рѣчи? подгонялъ тѣмъ временемъ разсказъ князь Пужбольскій.

— И говоритъ онъ ей: право-ли слово твое, что за ужа готова ты замужъ пойти? Она и сказать что не знаетъ, глядитъ только на него да думаетъ: отколѣ взялся красавецъ да умница такой? А онъ будто отгадавши: я не ужъ простой, говоритъ, а царь вольнаго воднаго царства, и царство мое тутъ близехонько, въ омутѣ глубокомъ, на пескѣ золотомъ. И увидалъ онъ по глазамъ у нея, что согласна она идти за него... Ухватилъ онъ ее сильною рукой, и погрузились они оба въ то его глубокое водное царство.

— Церковище! прервалъ ее снова глухой, сдержанный возгласъ Тулумбаса.

Изъ камышей лодка выѣзжала въ довольно пространный, округлый и со всѣхъ сторонъ обнесенный сосною и березою *виръ*. Видъ окрестности внезапно измѣнился. Какою-то зловѣщею, стальною синевою отливало теперь отъ водной глади подъ падавшею на нее сплошною тѣнью лѣса; лишь въ одномъ мѣстѣ, по самой серединѣ плеса, прорывалась сквозь чащу и бѣжала къ противоположному берегу, трепеща и горя въ струяхъ, длинная и узкая полоса солнечнаго свѣта. Вѣяло сумракомъ, тайною и тяжелымъ смолистымъ запахомъ.

Questo tristo ruscel..
Al piè delle maligne piagge... *)

проговорилъ Пужбольскій, вспоминая описаніе Стикса въ Дантовомъ *Адѣ* и натягивая свой пискливый дискантъ на діаконскій басъ.

Тулумбасъ глянулъ на него тупо встревоженными глазами и—неожиданно перекрестился...

---

*) Этотъ печальный ручей у ногъ лукавыхъ прибрежій. *Inferno*, canto VII.

— А знаете, сказала Марина,—здѣсь такъ глубоко, что до дна, сколько разъ ни мѣрили, не могли дойти,—и отъ самаго берега обрывомъ идетъ...

— Это вѣрно, подтвердилъ графъ, — въ дѣтствѣ моемъ, помню, покойный дядя самъ...

— И въ жисть нельзя! прошепталъ гребецъ и налегъ на весла: ему, видимо, хотѣлось скорѣе выбраться изъ этого мѣста.

— Погодите, погодите, просвѣщенный гражданинъ! остановилъ его князь: спѣшить намъ некуда, и на холодкѣ даже очень пріятно здѣсь... А вы намъ скажите, почему нельзя здѣсь дна *измѣрять?*

Тулумбасъ только глазами на него повелъ...

— Зачуровано? спросилъ его усмѣхаясь Завалевскій.

Гребецъ, не отвѣчая и уткнувъ себѣ обѣ ручки веселъ въ животъ, дѣлалъ Маринѣ какіе-то странные знаки головою...

— Что? спросила она, наконецъ замѣтивъ.

— На той березѣ, бачите, барышня? пробормоталъ онъ.

Она взглянула по направленію его руки.

На низко опустившейся березовой вѣтви, у самой воды, висѣлъ свитый, на подобіе *связи* ржанаго снопа, пукъ еще свѣжей, длинной травы.

— *Завивъ!* Она улыбнулась. — Въ это у насъ во всей здѣшней сторонѣ вѣрятъ, объяснила она Пужбольскому,—кто на кого злость имѣетъ, или боленъ, завьетъ вотъ и повѣситъ. Лихорадка у кого-нибудь, кивнула она на березу,—кто сыметъ или притронется, тому и перейдетъ она, а больной выздоровѣетъ.

— Не на *лихоманку!* закачалъ головою Тулумбасъ, — у вира у самого!...

Въ голосѣ его дрожала нота суевѣрнаго страха, которая окончательно помирила съ нимъ Пужбольскаго.

— А не на *лихоманку*, такъ на что же ты думаешь, пріятель? чуть не нѣжно допрашивалъ онъ его теперь.

Но отвѣта онъ не дождался: Тулумбасъ молчалъ и упорно отворачивалъ отъ него свои большіе и красивые, какъ у вола, и какъ у вола глупые глаза.

А Марина между тѣмъ, выпустивъ руль и откинувъ голову за корму, молчаливо и сосредоточенно глядѣла въ воду, будто до этого недосягаемаго дна хотѣлось добѣжать ей лучомъ своего свѣтящагося взгляда...

— А понравилось Фросѣ въ водномъ царствѣ? спросилъ ее смѣясь Пужбольскій.

Она, не оборачиваясь и глядя въ воду попрежнему, заговорила опять:

— И не вѣрила своему счастію Фрося... Онъ такой добрый былъ, умный... не видала она такихъ людей... да и нѣтъ такихъ нигдѣ... нигдѣ... какъ этотъ... какъ тотъ царь вольнаго воднаго царства... И законовъ тамъ нѣтъ тѣхъ... что на землѣ! Вольно было ей любить его!... И только бы на него глядѣть ей да слушать его рѣчи... И не умирать никогда, а все бы глядѣть на него, да слушать!...

Она говорила какъ во снѣ, какимъ-то трепетнымъ, полнымъ непонятнаго волненія голосомъ. Пужбольскій даже испугался.

— Марина Осиповна! потянулся онъ къ ней съ своего мѣста.

— Она внезапно обернулась, слабо вскрикнула — и тутъ же разсмѣялась.

— Лента моя, лента!...

Прищурившись отъ легкой боли, — лента, вплетенная въ конецъ ея косы, зацѣпилась за желѣзный стержень, на которомъ сидѣлъ руль,—она дернула головою впередъ... и, мгновенно разсыпавшись, великолѣпные темно-русые волосы, словно тяжелая шелковая мантія, скатились по плечамъ ея до самыхъ колѣнъ...

— Dio santissimo! въ неудержимомъ восторгѣ вскрикнулъ Пужбольскій.

Сидѣвшій ближе къ ней графъ закинулъ руку достать ленту, но изъ этого ничего не вышло, и онъ, заглянувъ за корму, увидѣлъ алую ткань, однимъ концомъ своимъ печально плескавшуюся въ водѣ, а другимъ приставшую къ дегтю, которымъ осмолено было *суденушко*...

— Была—и нѣтъ ея! весело сказалъ онъ полусмущенной,

полусмѣющейся Маринѣ,— миръ ея праху! И да не будетъ ей преемницы in saecula saeculorum! всплеснулъ ладонями князь.—Оставайтесь отнынѣ навсегда святою Розаліей Алаго-Рога!

— Ну ужъ святою не быть мнѣ никогда! отвѣчала она, подбирая обѣими руками волосы свои съ колѣнъ и закидывая ихъ за плечи красивымъ, безсознательно, но строго художественнымъ движеніемъ этихъ рукъ и головы, отъ чего окончательно закружилась голова у Пужбольскаго.—Развѣ въ русалки пойду.

— И полюбите водянаго? съ какою-то забавною, ревнивою тревогой въ голосѣ воскликнулъ онъ.

Не опуская еще рукъ отъ волосъ, быстро обернулась она на него—и такъ и освѣтила его горѣвшими какимъ-то страннымъ пламенемъ глазами.

— А не могу я полюбить—кого мнѣ хочется? пылко выговорила она:—запрещено развѣ мнѣ?

Растерянный Пужбольскій не нашелъ отвѣта... Языкъ у него не ворочался... Онъ только во всѣ глаза глядѣлъ на нее—и чувствовалъ, что кровь какъ молотомъ стучала ему въ виски.

Какъ въ тотъ первый день, когда неожиданно предстала предъ нимъ Марина, будто отъ чьего-то невидимаго прикосновенія, дрогнули артистическія струны въ душѣ Завалевскаго. Чѣмъ-то безмѣрно привлекающимъ показалась ему эта молодая, роскошная жизнь, требующая любви и счастія.

— Нѣтъ, молодая особа, отвѣчалъ онъ за Пужбольскаго,— нѣтъ; счастливъ будетъ тотъ, кого вы полюбите!

Руки ея упали на колѣни, и она мгновенно поблѣднѣла;— только глаза ея теперь засіяли какъ двѣ неотразимыя звѣзды, встрѣтившись съ глазами Завалевскаго.

— Счастливъ? Да? Онъ будетъ счастливъ, вы думаете?... Голосъ ея дрожалъ.

— Не сомнѣваюсь, улыбнулся онъ ей съ какою-то отеческою нѣжностью.

— Какія это все глупости! вдругъ, нежданно, покатилась она со-смѣху... Что-то невыразимо радостное слышалось въ

томъ смѣхѣ...—А все Александръ Иванычъ, все онъ!... Вѣдь выдумалъ, что я водянаго полюблю!... Ну, да, да, полюблю, замужъ за него пойду, — и какую свадьбу мы съ нимъ сыграемъ!... Всѣхъ окуней, лещей, налимовъ на балъ пригласимъ, на кухню стряпать раковъ посадимъ, *ляги* будутъ у насъ на скрыпкѣ играть.

— *Ляга*—лягушка? такъ и встрепенулся Пужбольскій.

— Ну да, продолжала она хохотать,—здѣсь другаго слова нѣтъ.

— Самый корень, прямо отъ санскрита, молвилъ онъ, преисполненный филологическаго удовольствія,—*лягать*, leg—нога по-англійски... А что же сказка, mademoiselle Marina,—что съ вашею Фросей сдѣлалось?

— А Фрося, заговорила все такъ же весело она, — жаль мнѣ вамъ въ этомъ признаться,—а большою дурой оказалась Фрося!... Семь лѣтъ жила она съ *нимъ* въ томъ омутѣ глубокомъ, въ палатахъ хрустальныхъ, и семь лѣтъ какъ одинъ день прошли, и конца бы не было счастію ея! Родились у нея за то время дѣвочка, да мальчикъ... Какъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, затосковала она, — по землѣ соскучилась, захотѣлось село свое родное повидать, подругъ тѣхъ своихъ тараторокъ!... Очень нужно! пожала плечами Марина...

— А онъ ее отпустилъ?

— А вы бы не отпустили? и Марина глянула на Пужбольскаго быстрымъ, лукавымъ, почти кокетливымъ взглядомъ,—бѣдному князю даже въ голову не приходило, что она способна такъ глядѣть:—вы бы отказали женщинѣ, которую вы любите, когда она тоскуетъ, и плачетъ, и умоляетъ васъ?

— Вамъ бы я ни въ чемъ отказать не могъ! едва слышно проговорилъ онъ.

Но Марина не разслышала, или не хотѣла слышать—и продолжала спѣша:

— Отпустилъ онъ ее и съ дѣтьми на три дня сроком, взявъ съ нея слово, что ни она, ни дѣти—ни словомъ, ни намекомъ не скажутъ, ни кто мужъ ея, ни какъ живетъ она... Обѣщала она, страшными клятвами обѣщалась... Мужъ провожалъ ее до гребли... Черезъ три дня, наставлялъ онъ ее,—

приходи на это же мѣсто и три раза „*куконъ*“ скажи: я за вами сейчасъ выплыву!...

— Ну, и не выдержалъ женскій язычекъ, выдала она тайну? съ ребяческимъ любопытствомъ допрашивалъ Пужбольскій.

— И совсѣмъ не она,—не правда ваша! передразнила его Марина.—Отъ нея самой ничего не узнали подруги... А за дѣтей ея принялись, просьбами да улащиваніями... Мальчикъ хоть и моложе былъ сестры, да поумнѣе, на всѣ эти спросы отвѣчалъ однимъ словомъ: не знаю!... А дѣвочка не выдержала—разсказала все... Только и нужно было того злымъ завистницамъ-тараторкамъ, — побѣжали онѣ къ мужьямъ, братьямъ, и передали имъ все...

— А тѣ, прервалъ, угадывая конецъ, Пужбольскій,—а тѣ сейчасъ на греблю, завѣтное слово сказали, ужъ изъ-подъ гребла вылѣзъ...

— И убили они его до смерти тѣ *злюки!* молвила печально дѣвушка.—Только предъ самымъ издыханіемъ успѣлъ онъ сказать Фросѣ: благодарю тебя, жена моя милая, что черезъ тебя и дочь нашу смерть я принимаю! Такъ лети же ты теперь за то кукушкой сѣрою, и завѣтное то слово мое „*куконъ*“ повторяй, тоскуя, онъ весны и до Петрова дня, а съ того дня пусть бьетъ тебя и гонитъ каждая большая и малая птица!... А ты, предательница—дочь моя, быть тебѣ *крапивницею*, и пусть та трава-огневица, гдѣ быть тебѣ всегдашнему житью, вѣчно жжетъ тебѣ очи, чтобы вѣчно плакала ты, вспоминаючи отцовскую смерть!... Сыну же моему вѣрному, что̀ приказа отцовскаго не позабылъ,—завѣщаю быть тою пташкой любезною, что̀ живетъ и поетъ въ садахъ и рощахъ тѣнистыхъ—счастливымъ людямъ на радость, печальнымъ въ утѣшеніе...

И не успѣла договорить Марина, какъ надъ рѣкою, въ порѣдѣвшемъ лѣсу, послышалось нѣжное, робкое пленьканье зачинающаго соловья... Какъ бы отвѣчая на вызовъ, на другомъ берегу въ очеретѣ зарокоталъ, ударилъ другой,—и за ними пѣвчею волной полились въ перекличку соловьиные роз-

сынь и свистъ изо всѣхъ концовъ уходившей въ вечернюю синь окрестности.

— Воистину людямъ на радость, тихо повторилъ Завалевскій, задумчиво благодарными глазами глядя на Марину.

— Несчастнымъ въ утѣшеніе, еще тише вздохнулъ Пужбольскій, свѣсилъ руку за бортъ лодки и, плеща ею въ водѣ, забормоталъ:

Si je vous le disais pourtant que je vous aime,
Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez!... *)

Слаще того звенѣвшаго рокота и трелей пѣло счастіе на сердцѣ у Марины. Безмолвная, съ недвижно лежавшею на кормѣ рукою, глядѣла она неотступнымъ и увлаженнымъ взоромъ въ медленно блѣднѣвшее небо. Сознаніе дѣйствительности исчезло въ ней. Сонъ-ли это, волшебная-ли блаженная жизнь, она не понимала... До боли сладостно лилась ей въ уши соловьиная пѣснь... и чувствовала она только, что плыветъ она куда-то по очарованнымъ волнамъ, и что „счастливъ будетъ тотъ, кого полюбитъ она“, и что *въ вольномъ водномъ царствѣ* любви и счастію нѣтъ конца!

И вдругъ вся застыла, вся оцѣпенѣла Марина... Раздирающій, нечеловѣческій крикъ словно остріемъ ножа пронизалъ воздухъ... Пужбольскій привскочилъ какъ ужаленный... Весло выскользнуло изъ задрожавшей руки Тулумбаса,—онъ полѣзъ всѣмъ плечомъ за бортъ ловить его... *Суденышко* страшно накренило... Графъ едва успѣлъ удержать равновѣсіе, перекинувшись на другую сторону и ухвативъ за обѣ руки растерянно закачавшуюся дѣвушку.

Изъ ближняго, тревожно зашелестѣвшаго камыша выскользнуло нѣчто нескладное, сѣроватое и длинноногое, и, вспахнувъ тяжело крылами, взмыло вверхъ, почти надъ самыми головами путниковъ...

— Ишь ты цапля проклятая, чтобъ тя розорвало! гнѣвно вскрикнулъ гребецъ, таща изъ воды пойманное весло...

И, какъ бы въ исполненіе его заклятья, надъ бѣднымъ пер-

*) Alfred de Musset. *A. Ninon.*

натымъ, виновникомъ этого переполоха, зачернѣли внезапно въ воздухѣ невѣдомо откуда взвившіяся и грозно опускавшіяся теперь крылья... Новый пронзительный крикъ огласилъ поднебесную высь,—и цапля съ ударившимъ въ нее грудью ястребомъ полетѣли внизъ, исчезая за лѣсными вершинами...

— Вы испугались? заговорилъ Завалевскій, заботливо заглядывая въ лицо Марины и не выпуская руки ея изъ своей.

— Какой вздоръ! засмѣялась она,—и стыдъ какой, *цапли* испугаться!... Но я задумалась... и меня всполошилъ этотъ нежданный крикъ...

Это была правда,—но отчего же и теперь, когда все объяснилось, когда ей *такъ хорошо* было чувствовать свою руку въ дружески пожимавшей ее рукѣ Завалевскаго,—что-то щемило въ ней и рѣзало ее по сердцу?.. Что значила эта неумолкающая тревога... и еще послѣ тѣхъ, только-что пережитыхъ ею, блаженныхъ мгновеній?..

— Можетъ назадъ прикажете? спрашивалъ тѣмъ временемъ князя Тулумбасъ: онъ глядѣлъ угрюмѣе прежняго и недозрительно оглядывалъ снова близко подступавшіе съ обѣихъ сторонъ къ лодкѣ густые ряды очерета, будто ожидая отъ нихъ новаго непріятнаго сюрприза...

— Мнѣ все равно, отвѣчалъ Пужбольскій, стараясь не глядѣть на Марину: онъ начиналъ ревновать ее къ Завалевскому.

— Слухайте! встрепенулся вдругъ Тулумбасъ,—никакъ насъ кличутъ!..

Дѣйствительно, съ праваго берега доносилось до нихъ отдаленное и протяжное *а-у*, но за высокимъ камышомъ никого видѣть было нельзя.

— Попробуй откликнуться, сказалъ князь.

— Ау! заревѣлъ въ свою очередь Тулумбасъ,—и безмолвный до этой минуты *Каро*, выскочивъ изъ-подъ скамьи, принялся вторить ему отчаяннымъ воемъ.

Испуганные соловьи смолкли въ лѣсу... Въ наставшей затѣмъ тишинѣ послышалось глухое шлепанье конскихъ копытъ по болотистой почвѣ берега,—и невидимый всадникъ крикнулъ издалека:

— Баринъ (въ Аломъ-Рогу иначе не называли Іосифа Козьмича) домой про-сятъ... Гости пріѣ-хали!..

— Какіе гости? взвизгнулъ Пужбольскій, весь съежившись отъ досады.

— Не мо-гу знать! отвѣчалъ надрываясь далекій голосъ,— не здѣш-ні-е!..

Пріятели переглянулись... Завалевскій безсознательнымъ движеніемъ насунулъ себѣ шляпу на самые глаза... У Марины внезапно похолодѣли руки...

— Пора впрочемъ,—поздно, промолвила она, насильно улыбаясь, и положила руль направо.

Тулумбасъ заработалъ веслами... Лодка быстро поплыла внизъ по теченію...

У всѣхъ у нихъ точно языкъ отнялся... Только Пужбольскій съ наморщеннымъ лбомъ и раздувавшимися ноздрями продолжалъ бормотать про себя—и такъ, что со стороны можно было подумать, что онъ бранится:

Si je vous le disais pourtant... que je vous aime...

Суденушко выѣзжало на открытое мѣсто...

— Влѣво, влѣво, ближе держите! крикнула вдругъ Марина гребцу,—тутъ къ берегу пристать можно...

И, прежде чѣмъ пріятели успѣли догадаться о ея намѣреніи, она неожиданнымъ прыжкомъ прыгнула съ мѣста на отлогій берегъ, мимо котораго скользила лодка, и, низко наклонясь всѣмъ тѣломъ, принялась чего-то искать въ росистой травѣ, слабо зеленѣвшей въ мерцаніи потухавшаго дня... Друзья оторопѣло слѣдили за ея движеніями...

— Вотъ и я! заговорила она, такъ же быстро возвращаясь и усаживаясь опять въ лодку.—Извольте каждый вдѣть себѣ въ петличку! И она подала имъ по цвѣточку своеобразной формы, со вздутыми какъ мѣшечки, красными по бокамъ и желтыми по серединѣ лепестками, похожему видомъ на какую-то лилипутскую обувь...—Хотѣла поднести вамъ *кукушкины слезы*, да не нашла, все равно, примите *кукушкинъ башмачокъ!*..

— Это, промолвилъ Пужбольскій, задрожавшею рукой принимая отъ нея цвѣтокъ и взглядываясь въ него,—это

cypropedium, *Кипридина ножка*. Les anciens, засмѣялся онъ,—étaient plus aimables que les modernes, даже для цвѣтовъ...

— А мнѣ свое больше нравится, живо возразила дѣвушка,—и дается это вамъ именно въ память *кукушки*... въ память сегодняшней прогулки!.. Можетъ-быть, никогда ужь болѣе не случится...

Голосъ ея вздрогнулъ помимо воли. Въ горлѣ сперлось... она почувствовала—скажи она еще слово, и она разрыдается какъ капризный ребенокъ...

Ни князь, ни Завалевскій не нашли слова въ отвѣтъ... Обоимъ имъ было необъяснимо тяжко...

И лодка съ замолкнувшими спутниками продолжала быстро спускаться по теченію... Все ближе и ближе надвигались кругомъ вечернія тѣни, пронзительнѣй жужжалъ въ камышахъ безконечный міръ насѣкомыхъ, и проницающимъ до одурѣнія запахомъ благоухали предъ ночью аиръ и болотная зоря...

Неожиданнымъ взрывомъ пламени сверкнуло вдругъ съ праваго берега, и горячимъ потокомъ отлило въ прозрачной рѣчной глади... Словно дрогнулъ очеретъ подъ волною внезапнаго свѣта... Надъ нимъ, будто дрожащія руки какихъ-то встревоженныхъ призраковъ, задвигались огромныя вѣтви ольхъ и дубовъ... Слышалось близкое трещаніе огня; изъ черныхъ клубовъ дыма сверкающими брызгами неслись тысячи искръ, потухая высоко надъ землей,—и шире, и ярче заливало окрестность пламенемъ и свѣтомъ...

— Ишь, костеръ якой дюжой наклали! выразилъ одобреніе свое Тулумбасъ, забывая всѣ свои страхи и весело забирая весломъ къ прачешному плоту, служившему пристанью.

— Доѣхали? проговорилъ графъ, какъ бы съ-просонья, и съ какимъ-то, невыразимо обрадовавшимъ Марину, оттѣнкомъ сожалѣнія въ голосѣ.

— Финалъ! буркнулъ Пужбольскій: онъ со злостью думалъ, что̀ *это* въ самомъ дѣлѣ, и *чортъ знаетъ для чего*, кончено, и что *вотъ теперь все вверхъ дномъ пойдетъ*...

Они еще пристать не успѣли, какъ конторскій прикащикъ, ожидавшій ихъ на плоту, по приказанію г. Самойленки,

доложилъ, что Іосифъ Козьмичъ просятъ всѣхъ въ липовую рощу, къ костру, гдѣ они „и съ гостями“ ожидаютъ ихъ...

— Кто же гости? нерѣшительно, какъ бы боясь ожидаемаго отвѣта, спросилъ графъ, выходя изъ лодки вслѣдъ за Мариною и Пужбольскимъ.

— Князь Солнцевъ и княгиня, изъ Санктъ-Петербурга, ваше сіятельство! объяснилъ съ торжественностью прикащикъ, достойный ученикъ величественнаго „потомка гетмановъ“.

Завалевскій поникъ головою и побрелъ впередъ, не говоря ни слова.

— Permettez moi de vous offrir mon bras, mademoiselle! провозгласилъ громко Пужбольскій, раздувая ноздри и предлагая Маринѣ подогнутую калачикомъ правую свою руку.

— Какъ же я это такъ, съ моими волосами?... возразила она, — но тутъ же съ негодованіемъ подумала: а какое мнѣ дѣло до этой *княгини изъ Петербурга*... — Все равно, пойдемте! рѣшила она.

Пужбольскій невольнымъ страстнымъ движеніемъ прижалъ къ боку руку Марины и повлекъ ее къ липовой рощѣ.

А у бѣдной дѣвушки билось сердце какъ у пойманной птички. — Что это со мною дѣлается? тоскливо допрашивала она себя... Она себя не узнавала...

X.

Подъ высокими, раскидистыми липами съ ихъ фантастически поблѣднѣвшею зеленью отъ свѣта ярко пылавшаго насупротивъ костра, за столомъ, уставленнымъ всякими тарелками, банками и бутылками,—сидѣли „гости“, князь и княгиня Солнцевы, и рядомъ съ ними Іосифъ Козьмичъ, надменный, любезный—и счастливый, какъ никогда еще въ жизни, быть можетъ, не бывалъ. Онъ уже цѣлый часъ провелъ въ обществѣ *настоящей, столичной княгини* и самодовольно сознавалъ, что не ударилъ предъ ней лицомъ въ грязь и даже успѣлъ внушить ей—или онъ очень ошибается,—высокое мнѣніе о себѣ, и что это несомнѣнно явствуетъ изъ той видимой *аттенціи*, какую она ему оказываетъ... Со свойственною ему проницательностію онъ съ перваго же раза смекнулъ, что эта тонкая, гибкая, тихо и сладко, *будто ручей, воркующая* женщина—*сила*, а что состоящій при ней красивый и самоувѣренный супругъ *изъ придворныхъ*—такъ себѣ, ничего, *въ родѣ подкладки женина юбки*. Въ силу такого соображенія онъ исключительно на ней сосредоточилъ всю свою любезность; Солнцеву же давалъ только отвѣты, когда тотъ обращался къ нему съ какимъ-либо вопросомъ, отвѣчалъ милостиво, снисходительно и съ извѣстнымъ оттѣнкомъ насмѣшливости, вызываемой въ немъ этими вопросами Солнцева...

— Вотъ и наши! замѣтивъ первый подходившихъ, провозгласилъ онъ, не трогаясь впрочемъ съ мѣста и даже съ намѣренною небрежностью развалясь на своемъ стулѣ.

— Владиміръ! воскликнула княгиня, поспѣшно вставая, и

пошла съ обѣими протянутыми руками на встрѣчу графа, — не ожидалъ?...

— Нѣтъ, признаюсь,—по крайней мѣрѣ такъ скоро, отвѣтилъ Завалевскій.—Тѣмъ лучше! промолвилъ онъ учтиво, протягивая руку подбѣжавшему къ нему съ какою-то заискивающею улыбкою Солнцеву...—Въ чемъ вы сюда отъ станціи желѣзной дороги добрались?...

— А мы выслали туда напередъ изъ Москвы нашъ дормезъ... Nous tenions à vous faire une surpise, cher cousin...

Онъ не успѣлъ кончить, какъ Іосифъ Козьмичъ, тяжело привставъ, двинулся впередъ и прервалъ его своимъ басомъ:

— Позвольте, княгиня, представить вамъ дочь мою, Марину Осиповну!...

Княгиня успѣла уже все замѣтить, все сообразить: и рѣдкую красоту Марины, и возбужденный видъ Пужбольскаго, готоваго видимо раскипятиться самымъ откровеннымъ образомъ, еслибы дѣвушкѣ не оказано было должное вниманіе, и безпокойно заморгавшіе глаза Завалевскаго при этомъ представленіи ей Марины господиномъ Самойленкой...

Лицо ея приняло то *очаровательное* выраженіе милоты и искренности, которымъ владѣла она до степени высшаго совершенства... Она протянула обѣ руки, почти насильно схватила ими опущенныя, холодныя руки дѣвушки и, заглядывая ей подъ рѣсницы своими загадочными египетскими глазами:

— Полюбите насъ, проговорила она какимъ-то въ душу просящимся голосомъ,—я смѣю просить васъ объ этомъ, потому что *васъ* нельзя не полюбить съ перваго же раза!... И какъ бы въ объясненіе этой необычной нѣжности перваго привѣта:

— Безукоризненно, какъ древняя нимфа, хороша! слышнымъ шопотомъ, въ полоборота повернувъ голову къ пыхтѣвшему отъ самодовольства Іосифу Козьмичу, сообщила ему княгиня...

— Alexandre! воскликнула она тутъ же, какъ-бы только-что увидавъ Пужбольскаго...—Нѣтъ, нѣтъ, не подходите ко мнѣ, я васъ знать не хочу! Вообрази, обратилась она къ

графу,—онъ, по возвращеніи изъ Рима въ этомъ году цѣлую недѣлю прожилъ въ Петербургѣ, каждый день бывалъ у Anna Zawolski, съ которой мы живемъ на одной улицѣ... а мнѣ хоть-бы карточку забросилъ!...

— На что вамъ, политической женщинѣ, такой безполезный тунеядецъ, какъ я? отшучивался Пужбольскій.

— И вмѣсто извиненія, еще грубости говоритъ! продолжала жаловаться княгиня своимъ пѣвучимъ и ровнымъ голосомъ.

— C'est un vieux-catholique mon cousin, неожиданно прыснулъ со смѣха Солнцевъ,—il ne reconnait pas votre infaillibilité, princesse!... *)

— Солнцевъ, вѣдь это не твое! засмѣялся въ свою очередь Пужбольскій:—у кого ты это подслушалъ, говори, у кого?...

— А вѣдь хорошо! Согласись, что хорошо! продолжалъ Солнцевъ заливаться смѣхомъ.

Княгиня тихо повела взоромъ на мужа, потупилась и закусила нижнюю губу своими бѣлыми и ровными зубами...

— Маринушка,—къ самовару! хозяйничалъ тѣмъ временемъ Іосифъ Козьмичъ:—княгиня никакъ не согласилась кушать чай, прежде чѣмъ вы вернетесь...

Марина молча подошла къ чайному столу. Солнцева, Завалевскій и г. Самойленко послѣдовали за нею...

— Mon cher, d'où avez vous déterré cette splendide créature? **) воскликнулъ Солнцевъ, когда они съ Пужбольскимъ остались, по театральному выраженію, одни на авансценѣ.

Пужбольскій такъ и ощетинился.

— Ты слышалъ, кто она... И совѣтую — не продолжать: предварилъ онъ рѣзко взвизгнувшимъ голосомъ всякую попытку Солнцева продолжать разговоръ на эту тему.

— А ты что же... ревнуешь? оторопѣло ухмыльнулся тотъ.

Глаза Пужбольскаго сверкнули... Онъ поднялъ ихъ на Солнцева,—разглядѣлъ при яркомъ свѣтѣ костра его свѣжее,

---

*) Онъ старо-католикъ, не признаетъ вашей непогрѣшимости, княгиня.
**) Откуда вы выкопали это великолѣпное созданіе?

гладко выбритое лицо, круглую ямочку на подбородкѣ, откладные воротнички à la Gambetta, и гвардейскіе, кверху приподнятые усы,—и безцеремонно расхохотался ему въ носъ.

— Какъ къ тебѣ не ревновать,—ты такъ опасенъ! молвилъ онъ ему сквозь этотъ смѣхъ.—Пойдемъ чай пить!...

Они усѣлись, Солнцевъ рядомъ съ Іосифомъ Козьмичемъ, насупротивъ жены и графа,—Пужбольскій съ противоположной стороны, на углу стола, откуда ему удобно было видѣть Марину и слѣдить за каждымъ ея движеніемъ.

Она, къ великой досадѣ Іосифа Козьмича, какъ воды въ ротъ набрала: поблѣднѣвшія губы ея точно склеились, искристые глаза подернулись туманною пеленой; она какъ улитка будто вся ушла въ свою раковину. Она наливала чай, накладывала сахаръ, изготовляла *сандвичи*, какъ училъ ее дѣлать ихъ Пужбольскій, и передавала, кругомъ безъ словъ, безъ улыбки, безучастная, казалось, ко всѣмъ и ко всему... А межъ тѣмъ и она все видѣла, все замѣчала... Какъ острою булавкой кололо ее каждое слово, произносимое *этою Диной*, этою *безсовѣстною женщиной*, о которой говорилъ ей *Александръ Ивановичъ*,—ее раздражалъ каждый звукъ ея ласкающаго, сдержаннаго, *свѣтскаго* голоса. — Ты лжешь, я для тебя не „нимфа“, а *дикая*, и ты меня не любишь, а презираешь,—и никого ты не любишь, ты и *его* обманула, и до сихъ поръ обманываешь! взмывало у нея на сердцѣ горячими взрывами... И негодующія слова просились у нея на языкъ, и яркими пятнами выступала молодая кровь на матовомъ лицѣ,—и также мгновенно отливала она опять подъ наплывомъ инаго, мучительнаго и неотразимаго чувства... — Да, съ глубокою тоской говорила себѣ бѣдная Марина,—до этой Дины, что сидѣла тутъ, рядомъ съ нею, невозмутимая и стройная, въ какомъ-то удивительномъ дорожномъ платьѣ gris poussière à deux tons, покроя и ткани никогда не виданныхъ Мариною, въ лондонскомъ фѣтрѣ, обвитомъ какъ облакомъ прозрачно серебристою вуалью на темныхъ волосахъ, — до этой изящной Дины ей было такъ же далеко, какъ темной букашкѣ до пестрокрылой бабочки!... Эта женщина, что по лѣтамъ могла бы быть ей матерью,—въ ней была какая-то не-

уловимая и невыразимая словами прелесть, предъ которою, сознавала дѣвушка, блѣднѣли всякая молодость и всякая красота... И она чувствовала, она знала свою силу, эта женщина! Она улыбалась, роняла слова, медленно поводила полузажмуренными глазами, словно дарила, словно благодѣтельствовала имъ окружающихъ...

Ну, и пусть, пусть они всѣ отъ этого съ ума сходятъ! Развѣ не видитъ Марина? *Онъ*, онъ весь поглощенъ *ею*... онъ молчитъ и глядитъ на нее!... онъ прислушивается къ какому-то вздору, что̀ разсказываетъ ей Іосифъ Козьмичъ,—но вѣдь не его же онъ слушаетъ! Онъ ждетъ, когда заговоритъ *она*, ждетъ этого *лукаваго* и все такъ же, какъ прежде, должно быть, сладкаго ему голоса... Ну и пусть! Она неслыханно поступила съ нимъ, разбила всю его жизнь. Что̀ за дѣло! Ему, видно, такую и нужно! Другой онъ уже не любилъ... не полюбитъ никогда!... Да и кого же послѣ *этой* женщины можетъ полюбить онъ? И могъ-ли бы онъ полюбить не *такую* женщину? Развѣ оба они не родились въ той же *тлетворной* средѣ?... Развѣ поймётъ онъ... развѣ существуютъ для него женщины внѣ этого особаго, *презрѣннаго*... и недоступнаго для Марины міра?...

Что̀-то надрывающее, метущее и злое подымалось на душѣ дѣвушки, — что̀-то *личное*, захватывающее уже ее прямо за самыя сокровенныя струны... Такого чувства она еще въ жизни не испытывала: и больно ей было, нестерпимо больно... Въ головѣ ея путалось... „Цапля проклятая“! какимъ-то неотступнымъ и нестерпимымъ звукомъ билъ ей въ ухо голосъ Тулумбаса,—и помнила она только одно: что, вотъ, еще часа не прошло, счастливѣе ея не было, не было существа на землѣ... а теперь, теперь эта безстыдная женщина...

Она опустилась на стулъ — и исчезла за огромнымъ самоваромъ-приданымъ покойной г-жи Самойленковой, по случаю пріѣзда „санктъ-петербургскихъ гостей“ вытребованнымъ Іосифомъ Козьмичемъ изъ кладовой, и который теперь, въ видѣ нѣкоего монумента, подымался надъ чайнымъ столомъ, усердно отражая пламень костра всею доброкачественностью своей красной мѣди.

Не дождавшись отъ Марины ни единаго взгляда, Пужбольскій съ досады принялся за Солнцева:

— Что новаго въ Петербургѣ? спросилъ онъ его.

Тотъ, повидимому, только и ждалъ этого вопроса. Его нѣсколько телячьи черты приняли тотчасъ же выраженіе глубокомыслія, соединеннаго съ нѣкоторымъ ехидствомъ:

— Réaction—en plein! театрально протянулъ онъ первое слово, и выпустилъ второе, какъ изъ револьвера, сопровождая это, для большей значительности, рѣзкимъ и короткимъ движеніемъ руки горизонтально по воздуху,—жестомъ Шнейдеръ въ *Belle Hélène*.

— Вотъ какъ! И Пужбольскій, пропустивъ обѣ руки въ свою огненную бороду, уставился въ лицо Солнцеву лукаво подмигивавшими глазами.—Это очень интересно, что ты разсказываешь... Изъ чего же ты заключаешь?...

Говоря съ Солнцевымъ, Пужбольскій стыдился своей собственной привычки вѣчно примѣшивать къ русской рѣчи французскія фразы и рѣзалъ безъ примѣси по-русски, какъ ни тяжело это бывало ему иногда.

— Il y a d'abord, объяснялъ, хмуря брови, Солнцевъ,— que nous allons honteusement à la remorque de la Prusse *), и что намъ на дняхъ забрѣютъ всѣмъ лбы, pour faire plaisir à monsieur de Bismark...

— Ты давно забритъ, и даже генералъ, засмѣялся Пужбольскій,—ты долженъ быть радъ этой воинственности!

— Je n'en suis plus! возразилъ тотъ.—Indépendance complète, mon cher,—chargé de cour! **) объяснилъ онъ это свое независимое положеніе.

— Жаль, Солнцевъ, жаль,—я все разсчитывалъ, что, въ случаѣ войны, ты меня въ адъютанты возьмешь. Мы бы съ тобою непремѣнно Лейпцигъ покорили!...

— Mon cher, сказалъ Солнцевъ,—on n'a jamais voulu m'employr!... Не моя вина! и онъ презрительно повелъ глазами.

---

*) Мы идемъ на уздечкѣ Пруссіи.

**) Полная независимость,—я въ придворномъ званіи.

— А про гимназіи ты слышалъ? заговорилъ онъ опять, закладывая руки за жилетъ. Очень хорошо въ какой-то газетѣ про это было сказано: систематическая кретинизація несчастныхъ дѣтей... C'est bien ça. Une crétinisation systématique...

— Не твоихъ, во всякомъ случаѣ, смѣялся Пужбольскій,— у тебя ихъ нѣтъ! Или ты, можетъ быть, прячешь?...

— О,' фыркнулъ Солнцевъ,—еслибъ у меня были свои дѣти, я бы конечно въ матушкѣ-Россіи ихъ не воспитывалъ!...

— Куда же бы ты ихъ дѣвалъ?

— Куда? и онъ съ сожалѣніемъ взглянулъ на своего собесѣдника.—En Angleterre, mon cher! Я бы сдѣлалъ comme Tata Kargopolski: она своихъ двухъ старшихъ, Sanny et Djinny, посылаетъ въ Оксфордъ...

— Въ Оксфордъ—чтобъ *избавлять* ихъ отъ ужасовъ латыни? воскликнулъ Пужбольскій, такъ и приплясывая отъ удовольствія, которое доставляла ему бесѣда съ просвѣщеннымъ кузеномъ.

— Oui, mon cher, oui,—pour en faire des hommes pratiques! торжественно возгласилъ Солнцевъ,—потому... ты только подумай,—что наша жизнь? Реализмъ!.. Вѣдь ты согласись: жизнь наша—реализмъ, tout ce qu'il y a de plus réalisme!.. И вдругъ нашихъ дѣтей, дѣтей *нашего* вѣка какимъ-то Виргиліямъ будутъ учить!.. Mais c'est donc d'une absurdité réactionnaire au dessous de toute critique!.. *) Вѣдь ты подумай,—мы, *мы*, развѣ этому насъ учили?.. И намъ уже не нужно было!.. Et songez donc que le siècle a encore marché depuis! **).

Пужбольскій какъ сидѣлъ, такъ и повалился въ спинку своего сидѣнья.

— Воинъ, педагогъ и либералъ,—Солнцевъ, будь у меня власть, я бы тебя сейчасъ поставилъ во главѣ русскаго просвѣщенія! крикнулъ онъ ему, чуть не задыхаясь отъ смѣха и посылая ему поцѣлуй рукою.

---

*) Вѣдь это ниже всякой критики, реакціонный абсурдъ.
**) И подумай, что съ тѣхъ поръ вѣкъ еще впередъ ушелъ.

— Eh bien, avec tout cela, mon cher, пресерьезно отвѣчалъ на это тотъ,—avec tout cela on n'a jamais voulu m'employer!.. Lorsque tant d'autres... промолвилъ онъ и, не докончивъ, еще разъ передернулъ плечами.

Ни единое слово этого разговора не ускользнуло отъ княгини Солнцевой. Ея словно отяжелѣвшія вѣки поднялись на графа съ выраженіемъ глубокаго страданія:

„Ты видишь,—суди же: легко-ли мнѣ?“ говорили эти глаза.

Но не понялъ, или не хотѣлъ понять Завалевскій: его глаза остались нѣмы и безучастны.

Дина тотчасъ же перевела свои на Марину.

— Какъ хороши ваши мѣста! заговорила она.—Я ѣхала и все восхищалась... Лѣсовъ такихъ прелестныхъ я не видывала никогда... И югомъ уже вѣетъ у васъ.

Марина не отвѣчала.

— Вы остались довольны вашею прогулкой? начала опять княгиня. Легкая улыбка, блуждавшая на ея губахъ, имѣла такое выраженіе, что она обратилась къ дѣвушкѣ съ первымъ попавшимся вопросомъ не съ цѣлью получить отвѣтъ, а лишь для того, чтобъ имѣть новый случай взглянуть на нее, полюбоваться ея красотой.

— Это *ихъ* надо спросить, кивнула Марина на графа и Пужбольскаго,—мнѣ не въ первый разъ!

Ей было невыносимо.

Іосифъ Козьмичъ покосился на нее—и даже покраснѣлъ слегка.

— Нашъ Алый-Рогъ по живописности пресловутому Пслу не уступитъ, крякнулъ онъ, улыбаясь княгинѣ.

— Пслу?... Пселъ?... повторила та, припоминая.—Ахъ, да, у Гоголя... въ Малороссіи, *Вечера на хуторѣ*... Владиміръ, помнишь,—чтенія наши, въ Москвѣ... тому сто лѣтъ!

Она замолкла вдругъ, словно подавленная нахлынувшими на нее воспоминаніями. Тѣнь ея опустившихся длинныхъ рѣсницъ обозначилась черточкой на ярко освѣщенномъ лицѣ... Но, какъ бы превозмогая невольное смущеніе, она приподняла ихъ и съ новою улыбкой взглянула на дѣвушку:

— Вы, я увѣрена, много читаете? сказала она.

— Почему вы увѣрены? рѣзко отвѣтила на это Марина. Она уже теряла власть надъ собою.

— Потому, объявила такъ же невозмутимо княгиня,—потому что вы здѣсь располагаете тѣмъ безцѣннымъ сокровищемъ, которое никакъ не дается намъ, горожанкамъ,—временемъ!

— Я не свѣтская и время мое отдаю болѣе *реальнымъ* занятіямъ! фыркнула на это Марина, употребляя нарочно выраженіе, отъ котораго, она знала, коробило и Пужбольскаго, и *его*, — и обводя кругомъ стола мгновенно сверкнувшимъ, вызывающимъ взглядомъ... Пропадай все! говорилъ этотъ лихорадочный взглядъ.

У Іосифа Козьмича побагровѣла лысина; круглые зрачки его вытаращились какъ у совы... Пужбольскій сжался весь, будто отъ мороза... Недоумѣвающими, тревожными глазами взглянулъ на дѣвушку графъ...

Солнцевъ всѣхъ выручилъ:

— Вы, я увѣренъ, читали, обратился онъ вдругъ къ Маринѣ,—очень интересный романъ есть по-русски, *Тайна вечерняя* называется...

— „Тайна вечерняя!“ тотчасъ же подхватилъ Пужбольскій, обрадовавшись случаю отвлечь вниманіе отъ Марины.— Что̀ это за романъ? Чей? Я понятія не имѣю...

— Attendez, attendez, я, кажется, ошибся... И Солнцевъ приложилъ себѣ палецъ ко лбу.—Не *Тайна вечерняя*, иначе какъ-то... Да, вспомнилъ: *Жертва вечерняя*—voilà le titre!...

— Заглавія не схожія, но все равно!... Кто же авторъ этой *Тайны вечерней?* съ хохотомъ допрашивалъ обожатель Марины.

— Авторъ?... Ah, voilà! Je ne suis pas fameux pour les noms, moi! Да ты долженъ знать, ты все знаешь? Un nom comme Barbarine, Варварыгинъ... quelque chose de barbare enfin, расхохотался Солнцевъ своему остроумію. — Pita Koubenski dit que c'est le Paul de Kock,—non, je me trompe,— le Paul Féval russe...

— Да въ чемъ содержаніе, *сюжетъ* романа?

— Mon cher, какъ же это тебѣ разсказать? Pita en faisait un soir la lecture chez Nany Бахтеяровъ, — il lit très-

bien, Pita, mais on riait trop. Il y avait là toutes les cocodetes, Titi et Zizi, Cocotte et Boulotte, Sandrinette Ivine, Meringuette Троекуровъ, Vava Vronski, Tata Pronski...

— Какъ интересно! своимъ тихимъ голосомъ и небрежно улыбаясь прервала его княгиня.

— Vous ne les aimez pas, princesse, mais c'est égal, elles sont bien amusantes, ces jeunesses là! *) возразилъ ей на это мужъ.—Elles rient du moins, et elles soupent, онѣ ужинаютъ, что я очень цѣню! промолвилъ Солнцевъ, устремивъ почему-то глаза на Іосифа Козьмича.

— Я... я полагалъ, что вы не привыкли такъ ра-ано ужинать, заикнулся даже господинъ Самойленко, принявшій слова Солнцева за упрекъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не для того говорю! замахалъ руками тотъ.

Пужбольскій такъ и покатывался.

— Если вы не читали, я вамъ очень рекомендую этого писателя, il est très amusant, обратился снова Солнцевъ къ потупившейся и безмолвной Маринѣ, болѣе походившей теперь на мраморный обликъ, чѣмъ на живое существо;—у насъ вѣдь прескучно пишутъ вообще, по правдѣ сказать... все какія-то размышленія и описанія... Я не говорю—Тургеневъ, напримѣръ, mais en général!... Это хорошо, la nature, et les études de moeurs, но я, признаюсь, j'aime le... le piquant moi! А это именно—il a cela, Варварыгинъ... Варварыгинъ, c'est bien le nom!... Pita Koubenski, un ami à moi, всѣ его творенія читалъ, и очень хвалитъ. Boulotte Троекуровъ, она очень злая, надо вамъ сказать, она говоритъ, что... qu'il peint le salon au point de vue des filles de chambre qu'il a connues... Но за то il paraît qu'il connaît si bien le monde des turlurettes, qu'on jurerait qu'il a été garçon dans une table d'hôte à Paris **), слегка понизивъ голосъ и подмигивая Пужбольскому, расхохотался Солнцевъ.

---

*) Вы ихъ не любите, княгиня, все равно, онѣ очень забавны, эти молодыя особы.

**) Что онъ рисуетъ гостиную съ точки зрѣнія знакомыхъ ему горничныхъ, но за то, повидимому, такъ знаетъ міръ легкихъ женщинъ, словно служилъ гарсономъ въ парижскомъ табльдотѣ какомъ-нибудь...

— И ты за эти достоинства рекомендуешь читать его дѣвушкѣ! нежданно для цѣнителя „русскаго Поль-де-Кока“, прошипѣлъ сквозь стиснутые зубы Пужбольскій, перекидываясь къ нему черезъ столъ и такъ и вонзаясь ему въ лицо разсвирѣпѣвшими глазами.

Солнцевъ въ первую минуту даже назадъ откинулся съ переполоха.

— Mais, mon Dieu, я не зналъ, я думалъ... растерянно бормоталъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, вы *думали?* съ неподражаемымъ оттѣнкомъ ироніи протянула княгиня, едва замѣтно поворачивая голову въ сторону мужа.—Eh bien vous n'êtes pas heureux pour vôtre début! еще тише примолвила она и поднялась съ мѣста.—Костеръ вашъ гаснетъ, и сыро становится, улыбнулась она Іосифу Козьмичу и, взглянувъ на Пужбольскаго:—vous me donnerez le bras, Alexandre...

— Домой пора, въ самомъ дѣлѣ! поспѣшно всталъ и Завалевскій.

Подавляющая, свинцовая тяжесть словно лежала у него на плечахъ все это время. Встать, перемѣнить мѣсто, пройтись—представлялось ему какимъ-то спасеніемъ. Къ чему *она* здѣсь? пронеслось въ его мысли. Чего ей еще нужно? И когда же наконецъ отрѣшится онъ отъ того страннаго чувства! Онъ не свободенъ, онъ до сихъ поръ точно подчиненъ ей, онъ это чувствуетъ, и сбросить не можетъ! Какая темная сила служитъ ей и даетъ ей это обаяніе?... А эта бѣдная *дѣвочка?* Что сдѣлалось съ нею вдругъ?

Недавніе образы мелькали предъ нимъ: рѣчная гладь, поросшая водяными лиліями, тѣнь камышей, и эта *дѣвочка* съ распущенными волосами... ему слышался ея молодой, проницающій голосъ, въ перерывахъ соловьиной пѣсни... Что сдѣлалось съ нею? думалъ онъ опять. Онъ безпокойно искалъ ее глазами.

Но ея уже не было,—и Пужбольскій, завоеванный княгинею Солнцевой въ ту самую минуту, когда онъ собирался подойти къ Маринѣ, одинъ успѣлъ замѣтить, къ великому своему горю, какъ, воспользовавшись общимъ движеніемъ,

вскинулась она съ мѣста и исчезла за липами, и на мгновеніе въ погасающемъ пламени костра блеснули подъ низкими вѣтвями золотыя тесьмы на ея долманѣ.

„Ее ужь не увидишь сегодня!“ говорилъ себѣ тоскливо князь, ведя подъ руку къ дому молчаливую Дину и прибирая въ головѣ всякія проклятья по ея адресу...

Нѣтъ, не увидишь!... Марина добѣжала до своей комнаты, кинулась къ окну, закрыла его на задвижки, спустила стору, заперла дверь на ключъ, и одна, въ темнотѣ, добравшись ощупью до кровати, опустилась на полъ, на подушку, на которой спалъ обыкновенно пріятель ея *Каро*, и, схватившись обѣими руками за голову, разрыдалась жгучими, бѣшеными слезами...

Черезъ часъ времени послышались въ сосѣдней комнатѣ тяжелые и спѣшные шаги,—и въ дверь ея постучалась нетерпѣливая рука.

— Марина! раздался голосъ Іосифа Козьмича.

Она не отвѣчала.

— Марина, спишь ты, что-ли? крикнулъ онъ снова, стуча замкомъ.

— Чего вамъ?

— Да ты никакъ съ ума сошла, матушка?

— Сошла! отозвалась она злобно. — Оставьте меня въ покоѣ!

— Мнѣ переговорить съ тобой нужно. Отвори, коли не спишь...

— Не отворю. Оставьте меня, говорю вамъ! кричала уже она...

Онъ зналъ, что съ нею не совладать въ часы упрямства.

— Ты меня просто срамишь, Марина, заговорилъ онъ тише.—Княгиня такъ внимательна была къ тебѣ, а ты съ чего вдругъ вздумала „реальность“ свою ей выказывать?... Княгиня и сейчасъ про тебя спрашивала, началъ онъ снова, не дождавшись отвѣта.—И *вся* тамъ безъ тебя осовѣлые какіе-то сидятъ, примолвилъ онъ уже почти ласково,—ты бы къ ужину пришла?...

— Не пойду! отрѣзала Марина.

Іосифъ Козьмичъ посопѣлъ, посопѣлъ за дверями...

— Вѣдь это же капризъ одинъ твой, пробурчалъ онъ.

— Ну, и капризъ!... Скучно имъ, пусть скучаютъ, я имъ не забавница!...

— „Гордая!... Вся въ меня!“ утѣшалъ себя господинъ Самойленко и, громко вздохнувъ,—впрочемъ уже болѣе для очистки совѣсти,—отошелъ отъ двери.

Іосифъ Козьмичъ не лгалъ впрочемъ; вслѣдствіе-ли отсутствія Марины, или, просто, устали всѣ, но собравшееся въ библіотекѣ общество глядѣло дѣйствительно „осовѣлымъ“. Сконфуженный женою Солнцевъ молчалъ какъ рыба; Пужбольскій былъ золъ и мычалъ про себя какіе-то итальянскіе стихи; княгиня перекидывалась съ Завалевскимъ не интересными ни для одного изъ нихъ рѣчами о прусской политикѣ и о безпорядкахъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Въ десять часовъ, послѣ ужина, за которымъ почти никто ничего не ѣлъ, всѣ отправились по своимъ комнатамъ.

XI.

— Ахъ, какая-жь вы нехорошая сегодня, барышня! замѣтила прислуживавшая Маринѣ дѣвочка изъ крестьянокъ, вошедшая, по обыкновенію, будить ее въ семь часовъ утра и заставшая ее въ постели, съ закинутыми за голову руками, съ устремленными въ потолокъ мутными и покраснѣвшими отъ безсонной ночи глазами.

Почти безсознательно схватила Марина стоявшее на туалетномъ ея столикѣ, подлѣ кровати, небольшое складное зеркало изъ несессера, наслѣдованнаго ею отъ покойной г-жи Самойленковой, взглянулась, покраснѣла и тутъ же кинула обратно зеркало на столъ... Ей стало вдругъ ужасно стыдно предъ собою и за *мелкое чувство, толкнувшее ея руку* къ зеркалу, и за ту *дрянность женской натуры*, о которой свидѣтельствовали ей и эти темные круги подъ ея глазами, и желтизна кожи, и сухія, растрескавшіяся губы...

Она быстро вскочила съ постели и принялась за свой туалетъ.

„Какое мнѣ до всѣхъ ихъ дѣло!“ съ внезапнымъ взрывомъ пробужденной гордости и какъ бы скидывая добровольно наваленную на себя ношу, проговорила она почти громко. „Жила я безъ нихъ, безъ нихъ и жить буду!... *Она* не отыметъ у меня ни этого свѣтлаго солнышка... ни моей молодости“,—и Марина съ судорожною нетерпѣливостію вспрыскивала холодною водой свои опухшія вѣки, — „а *она старая*, да, *старая*, и Богъ знаетъ, что бы дала, чтобы молодой быть, какъ я... Ни тебя, милый, драгоцѣнный, брилліантовый!... И

Марина, въ туфляхъ на босыхъ ногахъ, въ юбкѣ и свѣжей сорочкѣ, спадывавшей къ локтямъ съ ея полныхъ смуглыхъ плечъ, схвативъ за переднія лапы ворвавшагося къ ней въ эту минуту *Каро*, принялась, къ немалой потѣхѣ своей юной прислужницы, кружиться съ нимъ по комнатѣ въ напускномъ припадкѣ отчаянной веселости.

Она одѣлась, надѣла свою большую соломенную шляпку и вышла изъ спальни.

Въ гостиной она наткнулась на Іосифа Козьмича, допивавшаго,—очевидно въ ожиданіи ея,—свой пятый стаканъ чаю.

— Ты куда? спросилъ онъ, пытливо вглядываясь ей въ лицо.

— Куда? повторила она:—*порхать!*

Ей самой показалось забавнымъ употребленное ею на смѣхъ выраженіе: она улыбнулась.

— Умнѣе будешь вчерашняго? молвилъ Іосифъ Козьмичъ, разжимая сдвинутыя брови;—придешь къ завтраку?

— Куда?

— Ну, извѣстно,—къ намъ!

Г. Самойленко кивнулъ по направленію главнаго зданія.

— Нѣтъ, не приду!

— Что же это значитъ? Вѣдь ты же все время ходила туда чай пить?

— То было время... а теперь другое!...

Голосъ ея дрогнулъ.

Іосифъ Козьмичъ снова поглядѣлъ ей въ лицо.

— Да ты говори путно, Марина: обидѣла тебя чѣмъ княгиня, что-ли?...

— Кто же меня можетъ обидѣть? вскрикнула Марина, сверкнувъ широко раскрывшимися зрачками.

— И я такъ думаю! одобрилъ ее „потомокъ гетмановъ“,—такъ, значитъ, съ твоей стороны это больше ничего какъ... капризъ, да!... и... и неучтивость!... Вѣдь княгиня можетъ подумать, что ты... *моя дочь*... не хочешь, такъ-сказать...

Страннымъ показалась Іосифу Козьмичу выраженіе глазъ Марины, когда онъ произнесъ эти слова: „моя дочь“... Онъ невольно смутился...

— Не теперь же объясняться съ нею на счетъ *этого!* подумалъ онъ.

— А я вамъ вотъ что̀ скажу, поспѣшно промолвила она, какъ бы боясь, въ свою очередь, объясненія *на счетъ этого*,— княгиня ваша можетъ про меня думать все, что̀ ей вздумается. Она меня также интересуетъ, какъ снѣгъ прошлогодній!...

— Ну, это напрасно! наставительно молвилъ г. Самойленко:—очень могла бы ты, напротивъ, позаимствоваться отъ нея... на счетъ манеръ...

Марина какъ-то особенно повела плечами:

— А мнѣ на что̀ онѣ? Или вы изъ меня также думаете *титулованную* сдѣлать?

— А почему бы нѣтъ, почему нѣтъ, Марина? задвигался въ своемъ вольтерѣ Іосифъ Козьмичъ... Да что̀ ты стоишь?... Присядь на минутку, успѣешь со своимъ *порханіемъ*, поговоримъ-ка толкомъ!

Онъ потянулся къ ней, словилъ ея руку и привлекъ къ креслу, насупротивъ себя... Марина опустилась въ него, недоумѣвая... Не подлилъ-ли онъ себѣ коньяку въ чай? подумала она. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она съ какимъ-то ужасомъ чувствовала, что кровь приливаетъ въ ея голову, и сердце забилось учащеннымъ біеніемъ...

Іосифъ Козьмичъ торопливо глотнулъ изъ своего стакана, кашлянулъ и, близко наклонясь къ дѣвушкѣ, заговорилъ съ какою-то торжественною таинственностью:

— Я такъ полагаю, Марина Осиповна, что быть вамъ такожде княгиней совершенно отъ васъ зависитъ.

Ея заалѣвшее лицо такъ же мгновенно поблѣднѣло.

— Перестаньте глупости говорить! воскликнула она, порываясь съ мѣста.

Г. Самойленко удержалъ ее за обѣ руки.

— А ты перестань недотрогу-царевну предо мной разыгрывать! Сама лучше меня знаешь...

— Что̀ я знаю! крикнула Марина.

— А то, что онъ въ тебя посюда врѣзался! Іосифъ Козьмичъ показалъ на свое горло.

— Кто *онъ?*

— Коли быть тебѣ княгиней,—значитъ, *князю* должно быть! И широкая грудь г. Самойленки заколыхалась отъ самодовольнаго смѣха...

— Это что же вы — на счетъ Александра Ивановича *прогуливаетесь?* коротко поставила вопросъ дѣвушка.

— Ну, какъ ты тамъ ни зови его, все равно... А только что меня, стараго воробья, не проведешь,—къ тому идетъ...

— Александръ Иванычъ на такую *гадость* неспособенъ! негодующимъ тономъ проговорила Марина.

Іосифъ Козьмичъ такъ и привскочилъ на своемъ мѣстѣ:

— *Гадость*! Жениться на тебѣ—гадость?... Да ты, что же, и дѣйствительно съ реальностью своею съ ума спятила? Вѣдь это выходитъ такъ, что если человѣкъ руку-сердце предлагаетъ, такъ по-вашему значитъ,—онъ оскорбляетъ васъ?.. Смилуйтесь, Марина Осиповна, научите меня, стараго дурака, какъ это мнѣ понимать ваши *современныя воззрѣнія*?...

Она высокомѣрно улыбнулась:

— Очень просто: во-первыхъ, онъ знаетъ, что я не люблю его, а во-вторыхъ, я ему не ровня.

— Такъ-съ! проговорилъ г. Самойленко и съ торжествующею улыбкой повелъ на нее взглядомъ.—Во-первыхъ, любите вы его или не любите, того, я полагаю, вы и сами не знаете; человѣкъ онъ не старый, лѣтъ сорока не болѣе, ученый и опричь того развѣ, что голосомъ визжитъ маленько, да борода красная,—такъ вотъ, онъ же сказывалъ, въ Азіи даже нарочно въ этотъ цвѣтъ красятъ,—опричь сего, и наружностью, можно сказать, представителенъ... Значитъ, любить его можно... Во-вторыхъ, кто кому не ровня—выходитъ еще вопросъ...

Марина вопросительно взглянула на него:

— Это еще какъ?...

— А такъ это, какъ мнѣ хорошо извѣстно, князь этотъ разоренъ въ конецъ... А, *при условіяхъ нашего вѣка*, съ тѣмъ приданымъ, какимъ я намѣренъ наградить тебя...

— Никакого вашего приданаго мнѣ не нужно, пылко перебила его дѣвушка,—и вы никогда не поймете...

— Чего я не пойму? обидѣлся г. Самойленко.

— Долго разсказывать... Только объ одномъ прошу васъ:

не обижать Александра Иваныча!... ему въ голову не можетъ прійти такой вздоръ, потому что это бы значило...

— Ничего бы не значило, прервалъ ее Іосифъ Козьмичъ,— окромѣ того, что влюбленъ онъ по уши...

— Во что̀ ему влюбиться? даже топнула ногою она.

— Такъ вѣдь ты же красива на рѣдкость, Марина, объяснилъ онъ, любовно оглядывая ее,—что̀ мудренаго, что человѣкъ врѣжется...

— Въ *физическую красоту!* воскликнула она, и молодое лицо загорѣлось стыдливостью и гнѣвомъ по самые глаза.— Если бы такъ было, я бы его глубоко презирала! рѣшила дѣвушка... А затѣмъ прощайте!

Она вскочила съ кресла и выпорхнула изъ комнаты.

— Въ меня, вся въ меня нравомъ! сказалъ себѣ еще разъ господинъ Самойленко, проводивъ Марину долгимъ взглядомъ... А выраженіе у нея, глаза вылитые Машины глаза, только у той кротче у бѣдной были... Онъ вздохнулъ и, задумавшись, принялся машинально постукивать ложечкой по своему опорожненному стакану...

— А что она теперь кобенится, сказалъ себѣ послѣ нѣкотораго времени Іосифъ Козьмичъ,—такъ это пустяки! Обойдется!... Главное съ ней—поделикатнѣе... А тотъ...—онъ засмѣялся,—тотъ съ крючка не сорвется... клюнулъ, повидимому, солидно!...

„Потомокъ гетмановъ“ широко еще разъ улыбнулся, всталъ, самодовольно крякнулъ, вздѣлъ свою отставную гусарскую фуражку,—онъ не зналъ другаго головнаго убора, и, вооружившись длиннымъ манежнымъ бичомъ, отправился на конный дворъ, на проводку *своихъ арабчиковъ*.

XII.

Марина почти бѣгомъ пробѣжала садъ,—ее ужасно въ эту минуту пугала мысль, что она можетъ встрѣтиться съ Пужбольскимъ,—и вышла въ поле.

Длиннымъ лоскутомъ тянулся межъ садомъ и ближнею рощей свѣже-вспаханный подъ коноплю *клинъ*. Взворочен-ные пласты чернозема маслянистыми пятнами отливали на солнцѣ, и лакомые до червей грачи весело попрыгивали по комьямъ и стокамъ взрѣзанныхъ полосъ. Вдали на синемъ фонѣ неба отчетливо рисовался очеркъ понурой крестьянской лошадки, съ плетущеюся за нею бороной и мальчикомъ безъ шапки, со звонкимъ крикомъ взмахивающимъ длинными воз-жами... Что-то похожее на зависть промелькнуло въ душѣ Марины:

„Идетъ себѣ, не думаетъ ни о чемъ, лишь бы отборонить ему поскорѣй свою полоску, да бѣжать затѣмъ съ робятками въ бабки играть! Счастливецъ!“...

Но вотъ дубовый лѣсокъ съ давно знакомыми ей утоптан-ными тропинками, съ его молодою, узорчатою тѣнью... Нѣтъ, дальше, въ *настоящій* лѣсъ, въ боръ темный, гдѣ-бъ сплош-нѣе и мрачнѣй падали длинныя древесныя тѣни, гдѣ-бъ *че-ловѣкомъ не пахло*, какъ говорилъ вчера *Александръ Ива-нычъ*... а „пахло бы смолой и земляникой“, съ печальною улыбкой договаривала себѣ Марина, вспоминая стихотвореніе, которое *онъ*, онъ читалъ ей на-дняхъ своимъ *чуднымъ*, *захва-тывающимъ* голосомъ...

И шла она спѣшно, не оглядывалась, выбирая тропинки

поуже, продираясь сквозь дромъ и валежникъ, не зная, куда идетъ она,—и повинуясь лишь безотчетной жаждѣ уйти куда-нибудь подальше, *подальше отъ людей*...

Но и итти ужь словно некуда... Зашла она къ оврагу, въ глушь поросшую цѣпкою жимолостью, можжухой, да папоротникомъ, высокимъ и густымъ. Продора нѣтъ сквозь эти злые сучья, иглы и листву, — а гдѣ-то тамъ, на днѣ обрыва, шумитъ вода какимъ-то недобрымъ плескомъ...

Остановилась, оглянулась Марина... Никогда еще не бывала она здѣсь,—да и едва-ли заходила когда-либо сюда нога человѣческая.

— Не найти меня! проговорила она громко со страннымъ чувствомъ какой-то ѣдкой сладости... „Пустыня, Ливійская степь“, проносилось у нея въ головѣ...

Она опустилась наземь, въ мягкую муравy, у коряваго корня старой сосны, оперлась спиной о широкій стволъ и, полузакрывъ глаза, задумалась, глубоко задумалась.

Два минувшіе дня стояли предъ ея мысленными очами... Они исчезли, они не вернутся, эти дни,—она говорила себѣ это теперь безъ слезъ, безъ злобы, безъ вчерашняго *безумія*,— она это еще болѣе чувствовала, чѣмъ доказывала себѣ разсудкомъ, чувствовала внутреннимъ, неотразимымъ чутьемъ... „Какое дѣло ей до нихъ всѣхъ: жила она безъ нихъ, безъ нихъ и проживетъ!“ утѣшала она себя только-что. Нѣтъ, это не такъ, это неправда! Что-то порвалось, что-то надломилось въ ней... Уѣзжай сейчасъ *эта женщина*,—все равно, ей уже не связать порвавшейся нити! Она уже не найдетъ въ себѣ того, что вчера въ лодкѣ... она неспособна болѣе на то ребяческое, *глупое* самообольщеніе... Ей теперь совершенно ясно, ей очевидно, какая непроходимая пропасть отдѣляетъ ее отъ *него*... И она уже не призираетъ *то*, что вѣчно должно стоять стѣною между ними, — она признаетъ *это*... и безнадежно клонитъ голову, какъ спаленный солнцемъ цвѣтокъ...

Она припоминала свое прошлое дѣтство... И къ странному, къ печальному заключенію приводили ее эти воспоминанія отъ первыхъ дней и до сихъ поръ, до этой встрѣчи ея съ *нимъ*, она еще никого, *никого* не любила! Воспитывала ее сначала

мать, покойница Марѳа Ѳадѣевна Самойленкова, рожденная Богучарова... Мы обязаны познакомить съ нею читателя.

Сирота съ порядочнымъ состояніемъ, Марѳа Ѳадѣевна до двадцать девятой весны своей росла въ домѣ двоюроднаго дяди, князя Серебрянаго-Телепнева, отставнаго генерала Александровскихъ временъ, ушедшаго когда-то отъ преслѣдованій Аракчеева въ глушь родовыхъ своихъ сѣверскихъ лѣсовъ, и который, облѣнившись затѣмъ на широкомъ привольи барской жизни, предпочелъ остаться въ деревнѣ и въ ту пору, когда съ новымъ царствованіемъ палъ временщикъ, его гонитель,—а съ нимъ прекратилась и его немилость. Къ этому дядѣ, недалекому человѣку и отчаянному борзятнику, но который сіялъ въ ея глазахъ ослѣпительной звѣздой въ своемъ тройномъ качествѣ: представителя одного изъ древнѣйшихъ родовъ Россіи, опальника и героя двѣнадцатаго года, — къ семьѣ его экзальтированная и сантиментальная дѣвица Богучарова питала идолопоклонническое обожаніе. Она почитала это призрѣвшее ее семейство своими благодѣтелями и покровителями,—хотя, въ сущности, выходило, что благодѣтельствовала едва-ли не *она*, такъ какъ всѣ доходы съ ея имѣнія, состоявшаго въ управленіи князя-дяди, поступали безотчетно въ его карманъ, а преданной Марѳѣ выдавалось за сіе по два платья въ годъ,—шерстяному къ Рождеству и кисейному къ Пасхѣ, — что принималось ею каждый разъ все съ тѣмъ же взвизгиваніемъ неожиданной радости и съ тѣми же ручьями благодарныхъ слезъ... Кузины ея, княжны, повыходившія гораздо ранѣе ея замужъ за богатыхъ окрестныхъ помѣщиковъ, нещадно потѣшались ей въ глаза надъ ея сантиментальностью, преданностью и страстью къ брату ихъ Анатолю, котораго она боготворила съ ранняго дѣтства. Этотъ Анатоль, единственный сынъ, гордость и вѣчная рана своего родителя, переплачившаго за него кучи денегъ, служилъ въ лейбъ-гусарахъ и жегъ, какъ говорятъ французы, свѣчу съ обоихъ концовъ... Въ этой всю ее поглощавшей, мучительной и безнадежной любви къ безпутному кузену прошла вся молодость Марѳы Ѳадѣевны. Господинъ Самойленко, по выходѣ изъ полка, въ коемъ онъ служилъ казначеемъ, поселившійся въ сосѣднемъ

съ ея имѣніемъ довольно большомъ, но разоренномъ селѣ, доставшемся ему отъ отца, тотчасъ же уразумѣлъ съ врожденною въ немъ практичностью, какая во всѣхъ отношеніяхъ подходящая *партія* представлялась ему въ лицѣ дѣвицы Богучаровой, и, не теряя золотаго времени,—ей въ ту пору уже минуло 24 года,—приступилъ къ осадѣ ея сердца... Но это сердце, въ которомъ царственно владычествовалъ безподобный Анатоль, этотъ блистательный петербургскій Vortänzer, „водившій", какъ выражался съ горделивою улыбкой старый князь, „балы въ *Аничковскомъ*",—могло-ли это сердце откликнуться на притязаніе слонообразнаго даже и въ молодости, лысоватого и сиповатаго армейскаго штабъ-ротмистра въ отставкѣ, котораго съ первой же минуты его появленія въ домѣ ихъ отца окрестили *мовешкою* все тѣ же княжны-провинціалки?... Пять лѣтъ добивался Іосифъ Козьмичъ—и добился руки Маріи Ѳадѣевны лишь тогда, когда со смертью стараго князя настало для нея настоящее сиротство, а самъ Анатоль, прискакавшій на похороны отца, сжалившись надъ ея положеніемъ, потребовалъ отъ нея, *какъ жертвы*, какъ доказательства чувства къ нему, Анатолю, чтобъ она теперь *пристроилась наконецъ какъ всѣ люди*... Съ какими внутренними терзаніями, съ какою улыбкой покорности и смиренія на мертвенно блѣдномъ лицѣ обѣщала ему принести эту жертву злосчастная Марія!...

Когда Марина стала помнить ее, это была высокая и худая женщина, съ остатками какой-то давнишней чахоточной красоты, съ вѣчно опухшими глазами и вѣчно подвязанною щекой. Вѣчно страдала чѣмъ-нибудь Марія Ѳадѣевна, вѣчно о чемъ-то вздыхала. Несчастною ее, въ строгомъ смыслѣ слова, никакъ нельзя было назвать: Іосифъ Козьмичъ не стѣснялъ ее ни въ чемъ, терпѣливо переносилъ ея всякія болѣсти и маленькіе капризы, относился къ ней заботливо и нѣжно, съ нѣкоторымъ даже оттѣнкомъ почтительности. Она, въ свою очередь, благоволила къ нему, бесѣдовала съ нимъ со стереотипно-доброю улыбкой на изсохшихъ губахъ, и не отзывалась о немъ иначе какъ при помощи эпитета „бѣдный": господинъ Самойленко внушалъ почему-то своей супругѣ какую-

то наивно-высокомѣрную жалостливость къ себѣ, или вѣрнѣе, къ тому, что̀ она называла его „примитивностью“. Узнаетъ, напримѣръ, Марѳа Ѳадѣевна, что примитивный супругъ отдулъ кого-нибудь по скуламъ: „бѣдный!“ промолвитъ она, приподыметъ плечи и прослезится; прибѣжитъ маленькая Марина изъ дѣвичьей и, заикаясь отъ торопливости и смѣха, разскажетъ ей, что „такой смѣшной папаша — все Анютку цѣлуетъ:“ Марѳа Ѳадѣевна слабо улыбнется, поведетъ по потолку своимъ кроличьимъ взоромъ и прошепчетъ: „бѣдный!“ Отношенія ея къ Маринѣ отличались не менѣе страннымъ свойствомъ: она любила дѣвочку какими-то внезапными, истерическими взрывами; схватитъ вдругъ ее, поставитъ предъ собою и, глядя всѣми глазами въ ея свѣтлые глазенки и собираясь прыгнуть въ нихъ, начнетъ взвизгивающимъ, захлебывающимся голосомъ: „ты моя, моя, дочь моего сердца, моя избранница, не такъ-ли? Ты мнѣ скажи: я твоя мать, мать, да?... Моя душка, моя Маря, Маруся, Мариниссима!“ и зацѣлуетъ ее до слезъ, до боли. А въ иное время ворвется въ комнату живая дѣвочка, Марѳа Ѳадѣевна пискнетъ, откинется одною щекой въ подушку дивана, а другую щеку рукой прикроетъ и махать примется: „ступай, ступай, дитя, ты только тоску мою раздражаешь... тебѣ не понять ея... ступай къ сестрамъ твоимъ — бабочкамъ!“ и не видитъ ея по цѣлымъ днямъ... Столь же урывочно занималась она образованіемъ „избранницы своего сердца“; но избранница была понятлива, и ученіе шло успѣшно, а именно: дѣвочка весьма скоро выучилась бойко изъясняться на томъ своеобразномъ нарѣчіи, что̀ въ русской провинціи слыветъ за французскій языкъ и на которомъ привыкла сама Марѳа Ѳадѣевна изъясняться смолоду въ домѣ *князя-дяди*. Едва это было достигнуто, воспитательница заставила избранницу прочесть себѣ вслухъ любимѣйшія свои мѣста изъ *Индіаны* Ж. Санда, „моей настольной книги,“ выражалась госпожа Самойленкова. Изъ этихъ чтеній дѣвочка главнѣйшимъ образомъ узнала то, что ея *мамаша* и кузенъ ея, Анатоль, *когда они были еще очень молоденькіе*, тоже собирались уѣхать въ Америку и тамъ кинуться вмѣстѣ въ пропасть... Не менѣе своевременно началось для Марины зна-

комство и съ русскою литературой: двѣнадцати лѣтъ отъ роду она прочла съ *мамашей Подводный камень*, господина Авдѣева. *Подводный камень*, г. Авдѣева, и *Наканунѣ*, г. Тургенева, Марѳа Ѳадѣевна почитала величайшими произведеніями, вышедшими когда-либо изъ-подъ русскаго пера, — первое потому, что тамъ „такъ деликатно описываются страсть и долгъ въ женскомъ сердцѣ"; второе по той причинѣ, что „эта Елена, она такъ умѣла собой пожертвовать!" — причемъ интересный эпизодъ избіенія Инсаровымъ нѣмца у Царицынскаго пруда заставляютъ каждый разъ биться до обморока сердце чувствительной дамы, напоминая ей совершенно сходный съ этимъ случай избіенія нѣмца же безподобнымъ княземъ Анатолемъ въ *Красномъ Кабачкѣ*, „увеселительномъ мѣстѣ близъ Санктъ-Петербурга", объясняла она. За эту штуку безподобный Анатоль чуть не попалъ въ солдаты, но гроза какъ-то прошла мимо, и по этому поводу не разъ пришлось маленькой Маринѣ выслушивать нѣсколько фантастическій разсказъ, прерываемый вздохами и слезами, о томъ, какъ „готовы были уже солдатская фуражка и шинель, и *палачъ готовился сломать шпагу надъ этимъ благороднымъ челомъ*... Но въ то самое время, въ тотъ самый часъ, всѣ петербургскія фрейлины, собравшись во дворецъ, кинулись къ ногамъ Государя— а въ этотъ день, къ счастію, были Его именины,—и всѣ онѣ принялись плакать и молить, чтобъ Онъ въ этотъ радостный для Россіи день сдѣлалъ имъ одинъ подарокъ. — Не плачьте, фрейлины, сказалъ на это Государь,—встаньте и скажите: какой вы отъ меня подарокъ желаете получить?—Отдайте намъ, Ваше Величество, нашего перваго кавалера, князя Анатолія Сергѣевича Серебрянаго-Телепнева! въ одинъ голосъ закричали фрейлины... И Онъ усмѣхнулся и простилъ!!" заканчивала замирающимъ голосомъ Марѳа Ѳадѣевна, всхлипывая и быстро крестясь подъ толстыми складками шали, въ которую неизмѣнно куталось ея зябкое и дряблое тѣло...

Іосифъ Козьмичъ въ воспитаніе Марины не вмѣшивался, но способствовалъ ему всѣми зависѣвшими отъ него средствами: наряжалъ давать ей уроки учителей алорожскихъ школъ, причемъ строго наказывалъ имъ являться „въ *своемъ*

видъ, отложивъ хоть на это время *свойственное имъ безобразіе*",—выписалъ ей нѣмку-наставницу. Нѣмка-наставница оказалась молодою дѣвицей, съ необычайно алыми щеками и округлостью корсажа, доведенною до размѣровъ почти миѳологическихъ. Въ тайны нѣмецкой рѣчи она свою воспитанницу посвятить успѣла не вполнѣ, такъ какъ большую часть дня проводила на огородѣ, поѣдая свѣжіе стручки гороха, съ тою неустунчивою выдержкой и систематическою жадностью, которыми отличается великая германская раса, а въ интервалахъ обмѣниваясь хихиканьемъ и нѣжными взглядами съ соотечественникомъ своимъ, молодымъ винокуромъ, окна котораго, по счастливому стеченію обстоятельствъ, выходили прямо на огородъ. Достойный господинъ Самойленко, въ свою очередь, пристрастившійся за то время къ гороху, тутъ же разсчиталъ предпріимчиваго винокура, — а чувствительная Марѳа Ѳадѣевна, „pour achever l'éducation de sa fille", отдала Марину въ пансіонъ въ губернскій городъ, оставивъ наставницу ея при себѣ, въ качествѣ компаніонки...

Пансіонъ, въ который поступила Марина, основанъ былъ „съ спеціальною цѣлью образованія русскихъ женщинъ соотвѣтственно новѣйшимъ требованіямъ педагогической науки и общества",—такъ, во всякомъ случаѣ, значилось въ программѣ, отпечатанной на веленевыхъ листкахъ и въ безчисленномъ множествѣ экземпляровъ разосланной предъ открытіемъ заведенія на тысячу верстъ кругомъ. Содержательница его, нѣкая княгиня Коровай-Архалукова, рожденная Бубликова, — какъ вскорѣ стало это извѣстно во всей окружной странѣ,—разошлась съ своимъ супругомъ, почтеннымъ, но *отсталымъ* армейскимъ полковникомъ, единственно въ виду того, чтобы „посвятить себя всецѣло дѣлу общественной пользы", — что, разумѣется, не мало способствовало на первыхъ порахъ успѣху ея пансіона. Служеніе княгинею „новѣйшимъ требованіямъ педагогической науки" и пр. было дѣйствительно изумительно: кромѣ общихъ предметовъ, воспитанницамъ ея преподавались „всѣ новѣйшіе языки Европы, ботаника и химія, минералогія и зоологія, *соціологія въ общихъ чертахъ* и физіологія" (сія послѣдняя, впрочемъ „только по сихъ поръ",

объяснялъ, показывая на оконечность своего жилета и цѣломудренно опуская глаза, старикъ учитель нѣмецкаго языка, котораго „новѣйшія требованія“ приводили постоянно въ нѣкоторое смущеніе, и почитавшій поэтому необходимымъ, въ огражденіе доброй славы заведенія, увѣрять любопытствующихъ, что свѣдѣнія, сообщаемыя воспитанницамъ онаго по части физіологіи, никакъ не распространяются ниже ихъ пояса). Въ старшемъ классѣ — до котораго впрочемъ не дошла ни одна изъ питомицъ княгини Коровай-Архалуковой,—предполагались даже курсы судебной медицины, патологіи и акушерскаго искусства, но на это, къ сожалѣнію, не воспослѣдовало разрѣшенія со стороны начальства.

Марина, безъ экзамена, принята была въ одинъ изъ высшихъ классовъ пансіона и пробыла въ немъ два года; за это время она по-французски говорить отучилась, а нѣмецкій языкъ и вовсе позабыла, изъ исторіи знала хорошо только, что *Лютеръ и Дантонъ были великіе реформаторы и отцы современной свободы*, а изъ математики ничего не помнила; за то удержала въ памяти цѣлый коробъ всякихъ научныхъ и *просто современныхъ* терминовъ, прочла два тома сочиненій Бѣлинскаго и три тома Писарева и исписала мелкимъ почеркомъ четвертушекъ шестьдесятъ кругомъ собственными измышленіями на темы, заданныя ей знаменитѣйшимъ преподавателемъ и краеугольнымъ камнемъ пансіона, учителемъ литературы Левіаѳановымъ, а именно: „о политико-соціальномъ значеніи типа Катерины въ *Грозѣ* Островскаго“, и „о критическомъ отношеніи къ авторитетамъ, какъ необходимомъ условіи всякаго здороваго мозговаго развитія“.

Скоропостижная кончина Марфы Ѳадѣевны — она умерла отъ разрыва сердца,.. иначе ей словно и умереть нельзя было, бѣдной! — вернула Марину въ Алый-Рогъ. Ей едва минуло тогда семнадцать лѣтъ. Іосифа Козьмича она нашла чуть не близкимъ къ отчаянію: онъ по-своему искренно любилъ покойницу. Компаніонка ея, велегрудая дочь Германіи, обливалась по ней неизсякаемыми слезными потоками. Старушка, служившая у нея со временъ ея молодости, лежала безъ языка, сраженная этою смертію. Одна Марина предъ этимъ бѣднымъ,

длиннымъ и изсохшимъ, какъ старая метла, трупомъ стояла недвижная и невозмутимая, не ощущая ничего внутри себя, кромѣ какой-то тайной злобы на то, что вотъ всѣ они плачутъ—и о чемъ плачутъ, когда это *простой, естественный законъ!*—и только одна она не можетъ, не *чувствуетъ*...

И вспоминала она, какъ долго еще потомъ мучилась она этою мыслью и допрашивала себя: права̀ она или нѣтъ въ этомъ своемъ безчувствіи?... и какъ разрѣшила она вопросъ тѣмъ, что *развитое существо свободно отъ всякихъ условныхъ понятій*, что смерть *матери* есть такое же *обыкновенное явленіе*, какъ всякое другое, и что нѣтъ причины не относиться къ нему *трезво*. Стòитъ только обратить вниманіе на *прочіе организмы*, разсуждала Марина подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ поученій своихъ пансіонскихъ наставниковъ, — развѣ животныя, птицы убиваются и плачутъ, когда при нихъ зарѣжутъ или подстрѣлятъ ихъ мать, отца, брата? Они и не знаютъ, кто ихъ мать и отецъ!...

Но, странное дѣло, въ то самое время, когда разсуждала она такъ правильно и *естественно*, она равнодушно видѣть не могла опечаленныя лица окружавшихъ ее, и уходила изъ дому на цѣлые дни, не зная, какъ совладать съ *безтолково* томившимъ ее недовольствомъ собою. „Назадъ надо, въ пансіонъ, чтò мнѣ здѣсь дѣлать?“ говорила она себѣ порою,—и тутъ же внутренно сознавалась, что ждетъ ее тамъ та же тоска, что не оставила она тамъ ни одного существа, къ которому бы тянуло ее, съ которымъ сладко было бы свидѣться ей... Пусто и холодно, какъ въ заброшенномъ амбарѣ, было въ этой молодой душѣ!...

Однажды, роясь въ старинномъ рабочемъ столикѣ, въ числѣ другихъ вещей покойницы, переданномъ ей Іосифомъ Козьмичемъ, попался ей клочокъ разорваннаго письма, давнишняго письма, какъ можно было судить по желтизнѣ бумаги и выцвѣтшимъ почти до неразбираемости слѣдамъ чернилъ на ней. Крупный почеркъ Іосифа Козьмича—письмо было писано имъ и очевидно къ Маро̀ѣ Ѳадѣевнѣ,—помогъ Маринѣ прочесть его кое-какъ.

Вотъ чтò содержалось на этомъ оторванномъ клочкѣ:

„... и сама религія наставляетъ насъ отпущать вины другъ другу. И письмо твое говоритъ о семъ умилительно! Я отъ слезъ едва могъ оное дочитать, и нѣмѣю! Великое это слово, что̀ ты рѣшилась написать: *Марина моя дочь!* Предъ благородствомъ души безсильно все! Я конечно съ этой минуты не рѣшусь упоминать болѣе даже по имени Двугорскаго (такъ называлось имѣніе Серебряныхъ-Телепневыхъ, въ которомъ взросла Марѳа Ѳадѣевна,), ибо и по-сейчасъ отъ волненія души руки дрожатъ и слезы въ очахъ. Надѣюсь въ скорости покончить со сдачею ратниковъ и вернуться обнять тебя, какъ лучшаго друга. Все прошлое должны мы теперь предать забвенію, и пусть *твоя* (подчеркнуто было въ подлинникѣ,) дочь будетъ отнынѣ нашею дочерью, равно любимою, а когда пріѣду обратно, то устрою и съ той стороны, чтобы..."

Марина прочла разъ, и два, и еще разъ, судорожно сжала бумагу въ похолодѣвшей рукѣ—и спѣшно принялась перерывать ящикъ рабочаго стола, надѣясь найти въ немъ остальные клочки письма... Но тамъ, кромѣ старыхъ счетовъ и аптечныхъ обертокъ отъ пластырей, которыми вѣчно облѣплена была покойная г-жа Самойленкова, ничего не отыскалось...

Но, и того, что̀ прочла она, было довольно... Она не была дочерью Іосифа Козьмича,—это явствовало для нея изъ этихъ строкъ, писанныхъ имъ очевидно тотчасъ вслѣдъ за полученіемъ письма отъ покойной ея матери, въ которомъ та, какъ видно, извѣщала его о рожденіи этой *своей* дочери... *И онъ простилъ, какъ прощала и она ему всю жизнь всякихъ Анютокъ и Матрешекъ*, разсуждала Марина, простилъ за ея „*великое*", *прямое* слово!...

Марину вдругъ прошибло умиленіе. *Мать*, предъ трупомъ которой безчувственно стояла она недавно, которая вызывала въ ея памяти до сихъ поръ лишь какія-то смѣшныя представленія всякихъ сантиментальныхъ чудачествъ,—представилась ей вдругъ въ какомъ-то сіяніи... Эта слабая и больная женщина выростала въ ея воображеніи до величія „Катерины въ *Грозѣ*", ибо и она не затруднилась сказать мужу: да, я согрѣшила *предъ писаннымъ закономъ*, потому что признаю

другой, высшій законъ—*естественное влеченіе!*... Я любила и отдалась свободно тому, кого любила, и не унизила себя ложью и обманомъ, а стою предъ тобою, гордо поднявъ голову, и объявляю, что дочь моя—не твоя дочь!...

Кто былъ отецъ ея, назвать его себѣ было не трудно Маринѣ. Съ дѣтства она одно это имя привыкла слышать въ устахъ Маѳы Ѳадѣевны; этотъ обликъ, насмѣшливый, дерзкій и красивый, онъ воспроизводился тутъ же предъ ней на ея столахъ и окнахъ, во всевозможныхъ, темныхъ, свѣтлыхъ, раскрашенныхъ видахъ, въ рамахъ, рамочкахъ, медальонахъ, браслетахъ, унаслѣдованныхъ ею отъ покойной матери. Это былъ все онъ же, безподобный князь Анатоль, „водившій балы въ Аничковскомъ“ и котораго когда-то спасли отъ Сибири плѣненныя имъ фрейлины... Марина вспоминала, что именно этому времени ея рожденія соотвѣтствовало послѣднее, довольно продолжительное пребываніе Анатолія въ Двугорскомъ, о чемъ столько разъ вздыхая разсказывала ей Маѳа Ѳадѣевна, каждый разъ со слезами добавляя къ этому разсказу, что „послѣ тѣхъ послѣднихъ ихъ дней“, онъ, вернувшись въ Петербургъ, получилъ полкъ и женился вслѣдъ затѣмъ на графинѣ Осовицкой... Въ тѣ послѣдніе ихъ дни, объясняла себѣ Марина, предъ разлукою, они не въ силахъ были сдержать *охватившей ихъ страсти*... и...

Бѣдная Марина, она не знала—Маѳа Ѳадѣевна не признавалась ей въ этомъ,—что всуе произносили имя князя Анатоля ревнивыя уста Іосифа Козьмича въ бесѣдахъ его съ супругою о ея прошломъ въ Двугорскомъ, что отношенія Анатоля къ пламенѣвшей по немъ кузинѣ выразились разъ навсегда въ слѣдующемъ жестоко откровенномъ признаніи, которымъ онъ однажды, во времена еще первой ихъ молодости, отвѣчалъ на одну изъ ея нѣжныхъ выходокъ: „vois-tu, ma chère Martha, je t'aime bien, mais je dois t'avouer que si nous étions restés toi et moi seuls au monde, le monde ne recommencerait plus!“ *)

*) Вотъ видишь-ли, другъ мой Маѳа,—я тебя очень люблю, но долженъ тебѣ признаться, что еслибы въ мірѣ осталось только насъ двое,—міръ бы кончился.

Но не знала этого Марина,—и *честный подвигъ* ея матери, явствовавшій для нея изъ тѣхъ строкъ Іосифа Козьмича, исполнялъ ее какою-то внутреннею гордостью и самодовольствомъ; покойница пріобрѣтала въ ея глазахъ то обаяніе, то значеніе, какія никогда не имѣла для нея при жизни... Да, это была *высоко-уважительная личность!* рѣшила дѣвушка на своемъ *современномъ* языкѣ...

Къ господину Самойленкѣ, послѣ сдѣланнаго ею открытія, она испытывала странное смѣшеніе чувствъ: если, съ одной стороны, радовала ее мысль, что никакія *физическія связи* не обязываютъ ее болѣе относительно *этого экъ-отца ея*, что она теперь въ правѣ *выражать свободно* свое отвращеніе къ его грубости, *несовременности*, къ цинизму его нравовъ, то, съ другой, она не могла отказать ему въ извѣстномъ благоволеніи за то, что онъ умѣлъ найти въ себѣ достаточно *здоровыхъ началъ*, чтобъ *отрѣшиться отъ заскорузлыхъ предразсудковъ своей среды*, отнесся *вполнѣ гуманно къ высокой нравственной честности той, съ которою связанъ былъ путами церковнаго брака*, и теперь, послѣ смерти ея, какъ бы еще съ большею *деликатностью* исполняетъ данный ей обѣтъ: „пусть твоя дочь будетъ отнынѣ *нашею* дочерью“... Это чувство признательности къ *гуманности* Іосифа Козьмича поднялось у Марины еще на одну степень послѣ того, какъ онъ, по первому ея намеку, поспѣшилъ отпустить изъ Алаго-Рога бывшую наставницу ея, полногрудую нѣмку, хотя, въ понятіяхъ нашей героини, онъ нисколько и не былъ обязанъ къ такой жертвѣ... Она даже рѣшила внутренно, въ благодарность за этотъ его поступокъ, отложить на неопредѣленное время отъѣздъ свой въ Цюрихъ, *въ женскій университетъ*; намѣреніе это принято было ею тотчасъ вслѣдъ за открытіемъ ею тайны своего рожденія,—каковое, по ея разсужденію, прекращало всякія *обязательныя отношенія ея* къ мужу ея матери...

Такимъ образомъ осталась жить въ Аломъ-Рогѣ наша героиня, и между ею и ея „экъ-отцомъ“ установился modus vivendi, который если и не вполнѣ удовлетворялъ чадолюбію господина Самойленки, какъ могъ замѣтить это читатель изъ

разговора его съ графомъ Завалевскимъ,—то, по крайней мѣрѣ, со стороны Марины не возбуждалъ никакихъ сѣтованій. Она пользовалась полною свободой, выписывала себѣ сколько и какого-бы содержанія ей ни вздумалось книгъ и бродила по лѣсамъ, верхомъ и пѣшкомъ, съ утра и до поздняго вечера.

Это времяпровожденіе предпочитала она всѣмъ другимъ. Попытала было она *педагогической дѣятельности*, стала ходить въ сельскую школу, робятокъ учить,—да ничего изъ этого не вышло... Не легкимъ оказывалось для нея дѣломъ втолковывать ученикамъ своимъ, напримѣръ, „*о равноденствіи, о зимнемъ и лѣтнемъ солнцестояніи*, да *о двойномъ обращеніи земли вокругъ солнца и вокругъ своей оси*“, когда сама она объ этихъ премудростяхъ вынесла самыя слабыя понятія изъ лекцій своего пансіонскаго учителя географіи, который вообще больше напиралъ на счетъ „бѣдственнаго положенія пролетаріата въ Англіи...“ Побилась-побилась Марина и—кинула.

Лѣса,—дубы, сосна, да липа Аларожскихъ лѣсовъ,—тянули ее къ себѣ съ дѣтства. Въ нихъ было что-то ей родное, знакомое... знакомое и родное до того, что ей казалось иногда, что въ ней самой живетъ и дышетъ эта могучая, таинственная и *равнодушная* жизнь лѣса, что она *безчувственна къ людямъ*, потому что никакое *людское чувство* не могло итти въ сравненіе съ тѣмъ, что ощущала она въ безмолвіи и глуши своихъ лѣсовъ... По цѣлымъ часамъ могла она просиживать одна на старомъ пнѣ въ какомъ-то полуснѣ, полубдѣніи, безъ мысли въ головѣ и съ безконечною толпой образовъ, въ смутныхъ очертаніяхъ пробѣгавшихъ предъ ея внутренними очами, по цѣлымъ часамъ любила прислушиваться къ дальнему стуку топора, да повторять про себя за прохожею пѣвуньей ея задушевную и унылую пѣсню,—и въ теплыя лѣтнія ночи, набредя средь полянки на огонекъ стараго пастуха, слушать, слушать безъ конца его шамкающіе разсказы про гайдамаковъ, да вѣдьмъ, да про то время, когда еще настоящіе паны жили въ ихъ сторонѣ“.

— И никого, ничего я до сихъ поръ, кромѣ васъ, не любила, старые друзья! говорила теперь себѣ Марина, сидя у корня старой сосны и тоскливо поводя взоромъ кругомъ по

красноватымъ стволамъ великановъ, звенѣвшихъ надъ нею своими длинными свѣжими иглами...

Любила! да знала-ли она до сихъ поръ, что̀ значитъ *любить!*... и кого было ей любить... и за что̀? И тому-ли учили ее до сихъ поръ? Презирать, ненавидѣть, проклинать—въ ожиданіи *новаго строя*, когда водворится общее для всѣхъ людей счастіе — „животное счастіе“, съ горькою улыбкой вспомнила она слова Пужбольскаго,—вотъ что̀ проповѣдывали ей ея наставники, ея книги... Лишь они одни, *старые друзья* ея, никого не проклинали и не обѣщали ничего, но все, что̀ *напускали* люди злобы въ ея душу, смолкало подъ родною ихъ сѣнью, подъ „вѣчный гулъ и сладкій шопотъ ихъ...“

И вотъ она узнала... она встрѣтилась съ *нимъ*... это было воскресенье! Съ перваго дня, съ перваго слова—она *повѣрила!.. Повѣрить*—какимъ блаженнымъ ощущеніемъ исполнило ее всю тогда это чувство! Страстно, всею душой, всѣмъ существомъ своимъ *повѣрить*—вотъ оно, то негаданное счастіе, о которомъ съ дѣтства не слыхала она ни отъ кого, никогда, и къ которому безсознательно, какъ былинка къ свѣту, тянулась она въ истомѣ душевной пустоты... Знать лишь одно, знать, что онъ—*правда и добро*,—и радостно... какъ та, какъ Марія Египетская... попрать ногами весь прежній, безсмысленный хламъ, и итти за *нимъ*, за его словомъ, „въ пустыню, въ Ливійскую степь!...“ И ничего болѣе не нужно, ничего иного не требовала она отъ судьбы какъ вѣрить, *ему* вѣрить, какъ внимать *его* его тихому слову, какъ *угадывать его* по его глубокимъ и печальнымъ глазамъ!...

Но кто *она*, что̀ она для *него?*—Леденящимъ, могильнымъ холодомъ обдавало Марину при этомъ помыслѣ...—Случайная встрѣча, *дикая дѣвочка*, возбуждающая въ немъ любопытство и жалость, и которую онъ завтра — уѣдетъ и забудетъ... А онъ не знаетъ, не догадывается, что *пробудилъ онъ въ ней человѣческую душу*, и что не вправѣ кинуть ее теперь *въ ровъ звѣриный*, на жертву отчаянія!

Руки Марины въ изнеможеніи упали на ея колѣни.

А надъ нею подъ набѣжавшимъ вѣтромъ шевелились сосновыя вершины, и непривычнымъ ропотомъ печали отзывался

въ ея ушахъ знакомый ихъ лепетъ. Не убаюкать намъ, какъ прежде, твою тоску, казалось шептали они,—ту жажду, что̀ томитъ тебя теперь, утолить мы безвластны...

Но вотъ среди шелеста вѣтра до чуткаго уха доносятся другіе звуки: кто-то идетъ, близится, тяжело двигаясь, поламывая встрѣчные сучья, продираясь, слышно, сквозь жимолость и можжевеловые кусты... Мирно свернувшійся кренделемъ *Каро* мгновенно вскидываетъ вверхъ свою умную голову, глухо рычитъ—и вдругъ со всѣхъ ногъ кидается на встрѣчу идущему, оглашая лѣсъ встревоженнымъ лаемъ.

Слышится громко проклятіе, болѣзненный визгъ собаки, и новый, отчаянный лай.

— *Каро, Каро!*... Назадъ! Ici!... И Марина безстрашно кинулась къ мѣсту борьбы.

Изъ оврага поднялась голова въ мѣховой шапкѣ, съ воинственно приподнятымъ надъ нею толстымъ сукомъ... Марина узнала хромаго кузнеца. Онъ усердно выкарабкивался теперь изъ цѣпкаго кустарника, съ помощью котораго удалось ему подняться вверхъ по кручѣ, защищаясь въ то же время отъ надрывавшагося на него пуделя...

— Назадъ, назадъ, *Каро!* Не трогать его! кричала Марина, съ ужасомъ представляя себѣ, что разсвирѣпѣвшій кузнецъ убьетъ сейчасъ ея собаку своею дубиной.

Голосъ дѣвушки поразилъ его: онъ обернулся, опустилъ сукъ, между тѣмъ какъ *Каро*, отбѣжавъ отъ него и перемѣняя нападеніе на защиту, храбро уставлялся впереди госпожи своей, готовый по первому ея знаку схватить за горло дерзкаго нарушителя ея покоя...

— Пса жалѣете! съ злымъ укоромъ на лицѣ и не двигаясь съ мѣста, пробормоталъ кузнецъ:—а онъ меня, анаѳема, въ клочья порвалъ, такъ то̀ якъ мнѣ считать?...

И онъ приподнялъ дѣйствительно оторванную пуделемъ часть полы своего дыряваго кафтана.

— Я вамъ заплачу за убытокъ! поспѣшила молвить Марина.

— Коли будетъ на то милость ваша, не обидьте увѣч-

наго! проговорилъ онъ на это тотчасъ же смягчившимся голосомъ.

Но глаза его глядѣли на Марину все тѣмъ же, знакомымъ ей, угрюмымъ и недоброжелательнымъ взглядомъ.

Что-то опять похожее на страхъ предъ непонятною злобой къ ней этого человѣка шевельнулось въ душѣ дѣвушки...

— Ну, пойдемъ, *Каро* милый, пойдемъ, пора намъ! заторопилась она и, продѣвъ платокъ въ его ошейникъ, во избѣжаніе новой войны, двинулась съ нимъ впередъ по первой, едва протоптанной, тропинкѣ, кинувшейся ей въ глаза.

— А куда же вы, барышня, пошли? крикнулъ ей кузнецъ, окончательно выбравшійся тѣмъ временемъ изъ кустовъ.

— Домой, неохотно и не сейчасъ отвѣчала ему Марина.

— Такъ по той тропкѣ не дойти вамъ... по той тропкѣ никуда не дойти... мѣсто не прохожее... И сюды-то якъ прошли—дивиться надо...

Она остановилась въ недоумѣніи: въ самомъ дѣлѣ это было совершенно невѣдомое ей мѣсто; и какъ очутилась она здѣсь, съ какой стороны зашла, она сообразить не могла теперь...

— А вотъ вы же ходите? возразила она тѣмъ не менѣе кузнецу.

— Я-то? молвилъ онъ, подвигаясь къ ней. — Я завсегда тута хожу... Мнѣ сюды-то ближай... съ берега въ гору прямкомъ... Хошь хромой, а окромѣ меня никому не пройти... Потому *знать* надо, промолвилъ кузнецъ, значительно качнувъ головой.

— Вы говорите „берегъ?“ спросила Марина.—Тутъ внизу Алый-Рогъ течетъ?...

— *Церковище* тутъ самое, отвѣчалъ онъ, поглядывая на нее изъ-подъ красныхъ мѣшковъ своихъ вѣкъ.

— Откуда течетъ?

Онъ махнулъ рукой себѣ за спину.

— Благодарствуйте! кивнула она ему головой;—теперь я знаю, куда мнѣ идти.

И, повернувшись правымъ плечомъ къ оврагу, она направилась прямо, отыскивая глазами новую тропинку въ этомъ

направленіи. Она скоро нашла ее и пошла по ней не оглядываясь.

Кузнецъ заковылялъ за нею... Какъ она ни прибавляла шагу, онъ не отставалъ отъ нея, и до слуха ея то-и-дѣло доносились его тяжелое дыханіе и какія-то произносимыя имъ сердитыя междометія...

Досада взяла Марину. Она остановилась, обернулась:

— Куда же это вы за мной? спросила она, сверкнувъ по немъ глазами.

— А за вами, за вами, ваше высокородіе, отвѣчалъ онъ, скидывая шапку и кланяясь ей преувеличенно низкимъ поклономъ, — тропка-то все одна... что̀ мужику, что̀ панамъ, — все одна...

Она вся покраснѣла даже, такъ совѣстно ей сдѣлалось...

— Вы тоже въ усадьбу? пролепетала она, стараясь улыбнуться ему.

— А туда, туда, во *дворецъ*, точно, подтвердилъ кузнецъ.— Отъ *самого* (онъ разумѣлъ Іосифа Козьмича), отъ *самого* прислано... Князья тутъ ще якіе-съ понаѣхали, слыхать... такъ велѣно, чтобы на счетъ экипажевъ... Отколь же это они понаѣхали, знаете? обратился онъ уже съ прямымъ вопросомъ самъ къ Маринѣ.

— Изъ Петербурга, отрѣзала она.

— Такъ, такъ, бормоталъ за нею кузнецъ. — А что̀ же вы, барышня, не съ тѣми князьями теперича, а однѣ, въ бору... почитай и сами не знаете, какъ въ него попали?...

Странѣнымъ, и не только страннымъ, дерзко насмѣшливымъ выраженіемъ, показалось Маринѣ (въ такомъ ужь настроеніи была она), звучалъ его голосъ при этомъ...

— А если мнѣ больше нравится одной быть, чѣмъ съ ними! досадливо, подъ первымъ впечатлѣніемъ, проговорила она и тотчасъ же вслѣдъ затѣмъ подумала, что ей не только *это*, а и вовсе не слѣдовало отвѣчать.

Кузнецъ издалъ какой-то неопредѣленный звукъ, похожій на свистъ. Марина чуть не задыхалась отъ быстрой ходьбы: она въ эту минуту готова бы была, кажется, отдать свою лю-

бимую венгерскую куртку для того, чтобы хоть пятью минутами ранѣе избавиться отъ своего нахала-спутника.

Тропинка выводила ихъ снова къ обрыву; съ высокаго хребта его, сквозь частый лѣсъ, блеснули на мгновеніе предъ ними свѣтлыя струи Алаго-Рога.

— А вечоръ-то вы, заговорилъ опять кузнецъ,—далеко съ господами ѣздили... по рѣкѣ-то?...

Онъ точно зналъ, куда и чѣмъ больнѣе уколоть ее.

— А вамъ на что? негодующимъ голосомъ произнесла она, останавливаясь на мигъ перевести дыханіе.

Онъ воспользовался этимъ, чтобы шагнуть ближе къ ней, и пытливо устремилъ на нее снова свои прищуренные, злые глаза.

— А мнѣ ничего, барышня, мнѣ ничего! залепеталъ онъ тутъ же привычнымъ ему въ этихъ случаяхъ, пѣвучимъ и жалостливымъ тономъ.—Я видѣлъ, какъ вы это ѣхали... Такъ потому и спросилъ...

— *Мы* васъ не видали! рѣзко промолвила на это Марина и двинулась опять впередъ.

— Знамо, что не видали, какимъ-то нежданнымъ, таинственнымъ шопотомъ отвѣчалъ на это кузнецъ; Маринѣ даже жутко сдѣлалось;—только я завсегда коло тѣхъ мѣстовъ... Потому близко... близко мнѣ оттелева... до кузни моей, близенько, точно спохватился онъ.

Она не отвѣчала и продолжала подвигаться по узкой тропинкѣ, пробираясь съ наклоненною головой подъ нависшими вѣтвями, отстраняя руками встрѣчные сучья и давая такимъ образомъ время своему преслѣдователю нагонять ее безпрерывно.

— А хотѣлъ я васъ еще спытать, барышня.., началъ онъ еще разъ и пріостановился.—Хотѣлъ васъ спытать, повторилъ онъ спустя нѣсколько мгновеній, въ продолженіе которыхъ онъ, приподнявъ шапку, чесалъ въ раздумьи себѣ за затылкомъ,—чи не слыхали вы никогда про Марью Ѳедоровну?...

— Про какую тамъ Марью Ѳедоровну? невольно и сердито спросила дѣвушка.

— Про какую тамъ? протянулъ за нею кузнецъ... Глаза

его мгновенно вынырнули изъ-подъ вѣкъ, какъ у жабы, и устремились ей вслѣдъ. Она ихъ не видѣла, этихъ глазъ; она пришла бы въ ужасъ, встрѣтившись съ ними...

— Была одна... такая, продолжалъ онъ между тѣмъ,—въ горницахъ... у покойной барыни въ пялыцицахъ была... И никогда вамъ про нее покойница, Арина Ивановна, не баила? (Ариной Ивановной звалась та старушка, что̀ не пережила Маѳы Ѳадѣевны, бывшая ея горничная, нянчившая Марину въ дѣтствѣ)...

— Арина Ивановна не болтунья была женщина, нетерпѣливо возразила на это наша героиня; — мало-ли сколько перебывало у покойной матушки служанокъ, такъ что̀ же было мнѣ объ этомъ разсказывать!...

— Мало-ли ихъ было, мало-ли у покойницы, царствіе ей небесное! даже засмѣялся за ея спиной кузнецъ, засмѣялся глухимъ, груднымъ смѣхомъ, отъ котораго всю покоробило Марину;—дворня у насъ большая была... ядреныя все были служанки-то у нея, *у матушки у вашей*, проговорилъ онъ съ особымъ удареніемъ, — на отборъ!... А выбиралъ-то ихъ, знамо, *самъ*... намѣчалъ, погарнѣе да пофорсистѣе чтобъ была!...

— Тутъ идетъ дѣло еще о какой-то жертвѣ Іосифа Козьмича, гадливо начала догадываться Марина... Но какое ей до этого дѣла, и чего хочетъ наконецъ отъ нея этотъ неотвязный *хромой бѣсъ?*...

На ея счастіе, кончилась глушь; широкая проѣзжая дорога выглянула изъ-за ближнихъ липъ... Она стремглавъ выбѣжала на нее.

— Ну, теперь благодарствуйте—и, съ Богомъ, ступайте, куда вамъ надо! молвила она поспѣшавшему за нею *хромому бѣсу*,—а я еще погуляю...

Онъ озадаченно поглядѣлъ на нее, на прыгавшаго вокругъ нея *Каро*, которому она дала волю, скинулъ шапку, отвѣсилъ ей новый преувеличенный поклонъ и пошелъ своею дорогой.

Она дала ему скрыться изъ виду и медленно пошла по дорогѣ, по тому же направленію... Что̀-то, въ чемъ не хотѣ-

лось ей признаться самой себѣ, тянуло ее теперь ко *дворцу*... Увидѣть *его*, на мгновеніе, издали... не говорить съ нимъ, не подходить даже, а только увидѣть, взглянуть... И не поссорилась же вѣдь она съ нимъ, и вѣдь все осталось попрежнему... И она бы теперь преспокойно—вмѣсто этой недоброй встрѣчи въ лѣсу,—могла, еслибы захотѣла, сидѣть *тамъ*, на *миломъ* балконѣ, за чаемъ, *съ нимъ*... Но она не захотѣла, не хочетъ... Нѣтъ, ни за что, ни за что не хочетъ!... Она знаетъ, теперь все кончено!... Но только бы увидѣть *его*, еще разъ увидѣть!...

Медленно, опустивъ голову, подвигалась она по дорогѣ...

— Марина Осиповна! нежданно раздался впереди визгливый, полный радости и тревоги голосъ.

Она инстинктивно вздрогнула вся, вскинула глазами...

На встрѣчу ей несся со всѣхъ ногъ князь Пужбольскій, въ своей черной пуховой шляпѣ, откинутой отъ жара на затылокъ, со своею огненною бородой, горѣвшею какъ мѣдный котелъ подъ падавшимъ на нее плашмя лучомъ солнца... Его выразительное, свѣжее и мужественное лицо показалось ей въ эту минуту *невыносимо-безобразнымъ*...

А онъ подбѣгалъ къ ней между тѣмъ, едва переводя дыханіе, и, безъ спроса схвативъ ея руку, жалъ ее въ своей до боли.

— Наконецъ... наконецъ, прерывающимся отъ усталости и волненія голосомъ пропускалъ онъ сквозь горло,—я два часа ищу васъ... по всему лѣсу... заблудился... насилу *вымизнулъ*... и гдѣ это вы были... ради Бога!...

— Я сама заблудилась, сказала Марина, освобождая свою руку и стараясь не встрѣтиться взглядомъ съ его пытливо и страстно устремленными на нее глазами.

— Вотъ видите, говорилъ онъ,—вѣдь Богъ знаетъ, что можетъ случиться... dans cette foret d'Armide! И что вамъ вздумалось вдругъ?... Я... мы... мы всѣ надѣялись, что вы, какъ всегда... придете къ чаю... И вы такъ жестоко намъ измѣнили!... Et au fond pourquoi, mon Dieu!...

Она не отвѣчала.

— Я знаю, я глупъ, что спрашиваю... я знаю, почему вы

не пришли, завизжалъ опять Пужбольскій,—и хотя намъ было это очень тяжело, но я васъ понимаю... je vous approuve presque! Эта женщина, она... не для васъ!...

— Или я не для нея, тихо, съ какою-то покорною улыбкой промолвила на это Марина.

Его поразила эта улыбка: ему представилось тотчасъ же, что вчера Дина какимъ-нибудь, неуловленнымъ имъ, взглядомъ, намекомъ задѣла самолюбіе дѣвушки, но онъ уже достаточно для этого зналъ Марину: онъ понималъ, что въ гордой душѣ оскорбленіе вызвало бы чувство далеко не похожее на покорность. Что же это значило?

— Почему же вы думаете, что *вы* не для нея? повторилъ онъ ея слова на всякій случай.

— Потому, неожиданно для него отвѣчала Марина,—потому что она *женщина*, а я *дикая*...

Пужбольскій такъ и привскочилъ.

— Вы, вы! залепеталъ онъ въ негодующемъ изумленіи,—и она!... Она безсердечное, до нитки изношенное нравственно существо... une façon de Blanche de Navarre, которую мужъ ея, le roi Louis Dix, dit le Hutin, велѣлъ задушить собственными ея волосами... elle les avait très beaux!... И вы—правда, прелесть, душа!...

Марина круто обернулась—и, сверкая глазами, топнула на него ногой:

— Не смѣйте, не смѣйте мнѣ этого говорить!

И вслѣдъ за этимъ, нежданнымъ для нея самой, безсознательнымъ взрывомъ гнѣва, все, что накипѣло въ ней горя, все, до чего додумалась она въ эту тяжкую ночь, и тамъ, сейчасъ, подъ сосной,—все это неудержимо запросилось у нея наружу...

— Душа! Давно-ли у меня душа, знаете-ли вы?... И кто вамъ сказалъ, что я не такая же была безсердечная, какъ она? Я говорю вамъ, я дикая... Я была дикая... А развѣ у дикихъ есть душа? Какъ у обезьянъ,—инстинктъ, вотъ что у нихъ! И я то же, то же была! Развѣ вы сами этого не видѣли? Говорите, сейчасъ говорите... умоляю васъ, вдругъ послышалась надрывающая нота въ ея голосѣ,—развѣ въ первые дни, когда вы... и... и графъ познакомились съ мною, развѣ вы не

смѣялись между собою, развѣ могли не смѣяться, если только случалось вамъ говорить обо мнѣ,—надъ моею *нечеловѣчностью?*

И она во всѣ глаза глядѣла теперь ему въ лицо, требуя, словно дара, прямаго, безусловнаго, безпощаднаго отвѣта.

— Мы не смѣялись никогда надъ вами, клянусь вамъ! воскликнулъ Пужбольскій:—Мы... мы жалѣли о васъ, Марина Осиповна, примолвилъ онъ тише,—потому что... дѣйствительно, нѣкоторыя ваши понятія...

— Нѣкоторыя! прервала она его короткимъ и горькимъ смѣхомъ.—Все, все, *до нитки*, какъ говорите вы про *нее*, перековеркано было во мнѣ! *Ни одного* здраваго понятія не было... да и теперь такая путаница!... ни одного чувства...

— А ваша необыкновенная прямота, честность, прервалъ ее Пужбольскій,—вы забыли о ней?

Она утвердительно закивала.

— Да, это правда, это всегда было во мнѣ—честность!... Но вѣдь и *Каро* мой честенъ, ни за что ничего не стащитъ со стола, хоть не ѣшь онъ цѣлыя сутки. Значитъ, это еще не *человѣческое* качество!... А знаете-ли вы, что я вотъ здѣсь, въ нашей трущобѣ, гдѣ мы, говорила вчера эта княгиня, счастливые, что имѣемъ время читать книги,—всякія книги читала, только о Евангеліи не имѣла понятія... Да, да, я думала,—мнѣ это говорили, и я вѣрила,—что Евангеліе *пустая, несовременная книга*... и въ рукахъ его никогда не имѣла! Вотъ только недавно нашла и стала каждый день читать... И знаете—почему? Владиміръ Алексѣевичъ, графъ, помните, сказалъ разъ, что вся человѣческая свобода выросла изъ трехъ строкъ этой книги... Такъ мнѣ хотѣлось отыскать, откуда именно выросла, я и читать начала... въ девятнадцать лѣтъ—въ первый разъ!...

— Вы рано лишились матери! невольно вырвалось у Пужбольскаго.

— Матери!...

Ей вдругъ вспомнилось опять равнодушіе къ своей матери и то, что стала она *уважать* ея память лишь съ той минуты,

когда узнала она, что эта мать ея была невѣрною женой... Она улыбнулась горько, горько.

— Я такъ хорошо воспитана была, молвила она,—что гордилась тѣмъ, что̀ другую заставило бы...

— Марина Осиповна, ради Бога, еще разъ прервалъ ее Пужбольскій и опять схватилъ ее за обѣ руки,—что̀ вамъ вздумалось сегодня такъ немилосердно обличать себя? И вы такъ взволнованы, что я даже не воображалъ, чтобы вы могли... Неужели все это вслѣдствіе вашей встрѣчи съ этою женщиной...

Она замотала головой...

— Не женщина... *воспитаніе!* не умѣла она лучше выразить свою мысль.

Онъ понялъ.

— Да, изящная форма... и противное содержаніе! возразилъ онъ,—la Circé d'Homère!...

— Такъ развѣ онѣ всѣ такія? воскликнула Марина,—всѣ испорченныя, потому что воспитаны?... Вотъ вы мнѣ разъ говорили про вашу сестру одну... Хорошая вѣдь она женщина?

— Хорошая, Марина Осиповна, не могъ не сознаться нѣсколько сбитый съ позиціи князь.

— Вотъ видите! А ужь она, навѣрно, на меня не похожа?...

Эти вопросы, смѣлость ея признаній, душевная тревога, видимо всю обнимавшая ее, полны были для впечатлительнаго князя новымъ, неотразимымъ обольщеніемъ... Беатриче Ченче, Аріостовская Брадаманта, Розалинда изъ *As you like it* *), онъ ужь и не зналъ, къ которому изъ этихъ любезныхъ ему и не совсѣмъ другъ на друга похожихъ типовъ подходитъ она ближе...

— Вы сами не знаете себѣ цѣны! воскликнулъ онъ,—не знаете, какой богатый матеріалъ въ васъ содержится!... То, въ чемъ вы себя упрекаете—ну, да положимъ... je vous estime trop pour le nier... все это происходитъ отъ вашего сиротства... vous n'avez pas été guidée отъ русскаго современнаго безсмыслія, отъ безобразій нашего общественнаго воспитанія... Но при вашемъ умѣ, при этой intuition du vrai, du beau,

*) *Какъ вамъ угодно.* Ком. Шекспира.

которою вы такъ богато одарены, о, еслибы вы знали, какъ это легко *поправлять*... Какая можетъ изъ васъ выйти замѣчательная женщина!... Вы и теперь сокровище для артиста!— вылилось у него изъ самой души.

Она взглянула на него большими изумленными глазами. Словно какая-то нежданная искра блеснула въ ея потемкахъ... Губы ея шевельнулись.

— Изъ меня могло бы что-нибудь выйти только тогда...

Она до ужаса испугалась вдругъ этихъ словъ своихъ. Опять, опять безуміе! точно кольнуло ее въ сердце... И она скоро, скоро, не оглядываясь на своего собесѣдника, устремилась опять по дорожкѣ.

А онъ, онъ не понялъ на этотъ разъ: онъ уже весь утопалъ въ страсти...

— Mademoiselle Marina, заговорилъ онъ, догоняя и останавливая ее, — еслибы вы... еслибы вы рѣшились ввѣрить судьбу вашу человѣку... честному человѣку, клянусь вамъ... который всю бы жизнь свою посвятилъ...

— О чемъ это вы говорите? растерянно взглянула она на него.

— Я... я люб-лю васъ, залепеталъ растерявшійся еще болѣе ея Пужбольскій.

Въ ея памяти промелькнулъ утрешній разговоръ ея съ Іосифомъ Козьмичемъ.

— Зачѣмъ вы меня обижаете, Александръ Иванычъ? вскликнула она, закрывая глаза себѣ ладонью.

Бѣднаго князя точно водой облили...

— Я, я васъ обижаю?...

— Да... послѣ того, что̀ я вамъ сказала про себя... и вы сами знаете... За что̀ меня любить?... Вы сами сейчасъ сказали что я... какое-то сокровище *для артиста*... Для артиста только внѣшность... наружная форма... И вы...

Она невольно приподняла рѣсницы: Пужбольскій стоялъ предъ ней съ такимъ сконфуженнымъ видомъ, что ей стало страшно жаль его.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы не виноваты!... И не то совсѣмъ!...

Ради Бога, голубчикъ, Александръ Иванычъ, простите меня!... Но *этого* не можетъ быть... никогда!...

— Никогда? едва хватило у него силы переспросить.

— Никогда! проговорила она на-ходу, едва слышно.

Они пошли молча, рядомъ. Марина ничего не видѣла предъ собою и передвигала ноги, не чувствуя ихъ. Пужбольскій все силился припомнить какіе-то стихи изъ Петрарки, подходившіе къ его положенію, и выщипывалъ волосъ за волосомъ изъ своей бороды съ какимъ-то ѣдкимъ наслажденіемъ.

У садовой калитки онъ остановился.

— Это ваше послѣднее слово, Марина Осиповна? сказалъ онъ, пропуская ее.

— Къ чему спрашивать, Александръ Иванычъ?—вы знаете, со страннымъ оттѣнкомъ въ звукѣ прошептала она.

Пужбольскій поглядѣлъ ей вслѣдъ, встряхнулъ волосами отъ внезапно осѣнившей его мысли и хлопнулъ себя по лбу такъ, что шляпа слетѣла у него съ головы...

— Che bestia! чуть не громко крикнулъ онъ.

XIII.

Княгиня Солнцева сидѣла вдвоемъ съ Завалевскимъ въ кабинетѣ покойнаго графа Константина Владиміровича. Они перешли туда съ балкона, на которомъ все общество, включая сюда и господина Самойленку, пило чай. Послѣ чая Пужбольскій немедленно скрылся, а Солнцева увелъ Іосифъ Козьмичъ въ конюшни „на арабчиковъ полюбоваться". Дина, въ свою очередь, потребовала, чтобы Завалевскій показалъ ей свой домъ.

Онъ повелъ ее по комнатамъ. Войдя въ кабинетъ, она повела кругомъ долгимъ, печально-внимательнымъ взглядомъ, медленно подошла къ окну, прищурилась отъ ударившаго ей въ глаза солнца и, отойдя къ столу, устало опустилась въ кресло.

— Ты говорилъ, онъ здѣсь и умеръ? заговорила она.

Графъ подтвердилъ движеніемъ головы. Онъ сѣлъ спиной къ окну, противъ нея.

— И добровольно восемнадцать лѣтъ не выѣзжалъ изъ деревни?

— Да.

Она откинулась въ спинку своего кресла—и зажмурила глаза.

— Какіе это все люди были! тихо начала она, вздохнувъ, послѣ долгаго молчанія. — И какъ низко упало русское общество съ тѣхъ поръ, послѣ полувѣка, подумать страшно!... Я въ прошломъ году, въ Петербургѣ, присутствовала при этомъ... *политическомъ* процессѣ... Ты поймешь, что я вы-

несла оттуда. Во все время у меня въ головѣ какъ живые стояли *тѣ*, что нянчили меня тамъ, въ Сибири... А предъ глазами *эти*... и въ ушахъ все, что говорилось въ ихъ оправданіе!...

— Красиво было? съ короткою улыбкой спросилъ Завалевскій.

— C'était écoeurant! *) съ отвращеніемъ отвѣчала княгиня.—Знаешь, Владиміръ, промолвила она, помолчавъ опять,—намъ скоро жить будетъ нельзя...

— Будто? улыбнулся онъ попрежнему.

— Нельзя: захлебнемся въ болотѣ...

— Вылѣземъ какъ-нибудь, сказалъ онъ.

Она приподняла на него свои длинные, пронзительные глаза.

— Ты вѣришь въ русское будущее?

— Надо вѣрить, Дина,—коротко отвѣчалъ Завалевскій.

— Надо!... Улыбка мелькнула на ея губахъ.—A la façon de saint Augustin... Какъ бишь ты говорилъ подлинный текстъ?

— Credo quia absurdum.

— C'est cela: *это нелѣпо, а потому* вѣрю... Въ силу развѣ такой логики!...

Графъ не отвѣчалъ ей: ему было тяжело въ разговорахъ съ нею чувствовать, что она попрежнему находила возможность пролѣзать во всѣ закоулки его мысли и играть ею по-своему.

— Нѣтъ, продолжала она,—я давно отложила попеченіе! Не вылѣземъ, потому что не хотимъ, а не хотимъ потому, что хотѣть не умѣемъ. Vice de race,—фосфору у насъ что-ли менѣе, чѣмъ у другихъ народовъ, или азоту, какъ это по-нынѣшнему?

Онъ пожалъ плечами.

— Какой вздоръ! Воспитай правильно только одно поколѣніе, и мы поговоримъ тогда о расѣ... Весь вопросъ въ воспитателяхъ,—а молодаго способнаго матеріала много: его нельзя отрицать.

---

*) Тошнило.

Дина еле замѣтно моргнула бровью.

— Не знаю, что̀ удастся вамъ выработать изъ этого молодаго матеріала, а пока... очень ужь онъ первобытенъ! Это оригинально во всякомъ случаѣ, улыбнулась княгиня,—ново... для меня по крайней мѣрѣ... Вчера, напримѣръ, эта красавица, дочь твоего управляющаго,—а хороша она, хороша на рѣдкость, par parenthèse! — я просто любовалась тою откровенностью, съ которою она показывала мнѣ, что я не имѣю счастія ей нравиться..

— Да... Все же лучше, чѣмъ лгать! съ разстановкой, задумавшись сказалъ на это Завалевскій.

Быстрымъ взглядомъ скользнула по немъ Дина; но онъ не о ней въ эту минуту думалъ; онъ, по поводу Марины, задумался теперь объ этихъ, дорогихъ ему и гибнущихъ, русскихъ молодыхъ силахъ...

— Неоцѣненное качество, отвѣчала ему его собесѣдница,— которое присуще всѣмъ первобытнымъ, и котораго они тотчасъ же лишаются, какъ только начнете вы ихъ полировать...

— Это парадоксъ, Дина!

— Парадоксъ? пожала она плечами. — Или ты до сихъ поръ еще не замѣтилъ, что какъ только принимаемся мы наше сырье обдѣлывать, такъ оно и становится никуда негоднымъ?... Развѣ ты не видишь, что, кромѣ простаго мужика, все остальное у насъ ложь и призракъ!... Онъ—грубый, противный намъ своею грубостью, но положительный фактъ; его, какъ ты говоришь, нельзя отрицать. Мы же — фантазія на чужую тему, сочиненная, пожалуй, хоть и такимъ Паганини, какъ Петръ Великій, но которую завтра можно вымарать всю какъ есть, а русскій народъ и не догадается объ этомъ...

Завалевскій, въ свою очередь, поднялъ на нее глаза и улыбнулся невыразимо-печально.

— Радикальнѣйшій изъ *радикальныхъ* нашихъ журналовъ, сказалъ онъ,—не выразился бы рѣшительнѣе тебя, принадлежащей къ *сливкамъ* петербургскаго общества!... За что̀ же нападаютъ у насъ на этихъ несчастныхъ... *нигилистовъ*, — терпѣть я не могу этого глупаго слова!—которые въ оправ-

данiе себя могутъ по крайней мѣрѣ сказать, что у нихъ сапоговъ нѣтъ!...

Дина вдругъ засмѣялась, засмѣялась глухимъ, отрывчатымъ злымъ смѣхомъ.

— А! ты только теперь догадался, что настоящiе на Руси нигилисты,—les naifs, les vrais!—это мы, *сливки*, наше общество, нашъ петербургскiй *мондъ*, notre élégante société, съ какимъ-то желчнымъ наслажденiемъ нанизывала она синонимы одинъ за другимъ. Nihil, rien, ничего,—это мы, прежде всѣхъ другихъ мы!... Я счастiемъ всей моей жизни заплатила за то, что двадцать лѣтъ тому назадъ не знала этой науки такъ же твердо, какъ теперь!...

Голосъ у нея оборвался. Завалевскiй понялъ, что она страдала; онъ невольно опустилъ голову...

Да, она дѣйствительно страдала въ эту минуту: ея неудавшаяся жизнь какъ-то разомъ, яркими бликами выступила предъ нею изъ тьмы прошлаго... ей хотѣлось и терзать себя, и оправдаться, и винить другихъ...

— Мнѣ помнится, говорила она,—наша бревенчатая изба, тамъ... на границахъ Китая... затопленная печь, у которой вѣчно грѣлся больной отецъ мой... и *ихъ* бесѣды, *ихъ* признанiя... Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ. Однажды въ разговорѣ—какъ теперь слышу выраженiе его голоса, вздохъ его при этомъ,—одинъ изъ нихъ припомнилъ слова Пушкина: „не дай намъ Богъ увидѣть русскiй бунтъ, *безсмысленный* и безпощадный“. Отецъ мой, не отрывая глазъ отъ пылающихъ дровъ, сказалъ на это: „да, въ Россiи все съ *верху* и этимъ *верхомъ!...*“ Я рано, какъ ты, начала думать... Я всегда жадно слушала, соображала... Эти слова глубоко запали мнѣ въ душу; я поняла,—*ихъ* путь былъ не вѣренъ: того, что такъ горячо жаждали они для родины, *тѣмъ* путемъ никогда не достигнутъ!... И помню я, какъ, двѣнадцатилѣтняя дѣвочка, сживала я одна по цѣлымъ часамъ, глядя въ окно на этотъ занесенный снѣгомъ сибирскiй городокъ, и неотступно думала: какъ бы мнѣ повыше, поближе къ этому *верху* дойти, и что бы я говорила, какъ бы дѣйствовала, еслибы дошла, была тамъ, гдѣ бы слова мои могли быть услышаны... Силъ и вѣры

въ себя чувствовала я безъ конца; въ головѣ сидѣли у меня всѣ эти историческія женщины, рѣшавшія судьбы народовъ... Я чувствовала себя героиней, une Jeanne d'Arc, горько улыбнулась Дина,—я, дѣвчонка, однимъ моимъ женскимъ вліяніемъ думала сдѣлать для Россіи то, чего *они* не умѣли сдѣлать... Этой завѣтной мысли, не покидавшей меня ни на минуту съ тѣхъ годовъ, я пожертвовала тобою, Владиміръ... ты это знаешь?—рѣзко заключила она.

Что было правды въ ея словахъ? Пужбольскій, Марина, еслибы слышали ихъ, не колеблясь назвали бы ихъ обманомъ... Завадевскій лучше зналъ ее,—онъ не сомнѣвался въ ея искренности; онъ зналъ, что не лгала она... Но сколько въ этихъ ея молодыхъ, великодушныхъ замыслахъ было, невѣдомо для нея самой, рановременной черствости и личнаго властолюбія!

Графъ еще ниже опустилъ голову...

А она, полузакрывъ глаза, свѣсивъ голову на руку, роняла слова одно за другимъ:

— Моимъ замужствомъ открывался мнѣ доступъ au coeur de la place... Я твердою ногой заняла мѣсто въ самомъ центрѣ нашего *хитъ-лифа*, иронически коверкая на французскій ладъ англійское high life, прибавила она. — Наступала наконецъ для меня желанная минута: я могла начать *дѣйствовать*... Я прямо начала съ моего beau-père'a; онъ стоялъ такъ высоко, такъ *близко*... Помню какъ сейчасъ, это было у него, послѣ семейнаго обѣда, въ самомъ тѣсномъ кругу, рѣчь зашла о предстоящей тогда войнѣ. Я сказала, что à chances égales, у враговъ нашихъ будетъ всегда одно преимущество надъ нами: это ихъ образованіе и свободное общественное мнѣніе... Надо было видѣть ужасъ, съ какимъ онъ взглянулъ на меня совершенно круглыми глазами, какъ расплеснулъ чашку кофе, которую держалъ въ рукахъ, и, замахавъ обли-тыми пальцами, вышелъ изъ комнаты, торопливо отирая ихъ носовымъ платкомъ... Это былъ мой дебютъ!...

Княгиня разсмѣялась опять своимъ отрывчатымъ, недобрымъ смѣхомъ.

— Чѣмъ кончилась моя политическая карьера, говоритъ

тебѣ нечего,—продолжала она ронять слова насмѣшливо, печально и несвязно:—пятнадцать лѣтъ я агитировала... все ту же мысль мою преслѣдовала... И какіе случаи представлялись! Новое царствованіе... Un souverain généreux, libéral, преобразованіе всего государства! Я все мечтала, ждала каждый день: вотъ, вотъ проснутся они, поймутъ, начнутъ работать!... Въ итогѣ вышло вотъ что: друзей у меня нѣтъ, les gens en place удостоиваютъ меня чести называть меня une cyrène politique des plus dangereuses,—а мнѣ еще ни одной здравой мысли во всю мою жизнь не удалось провести своимъ вліяніемъ... и, что забавнѣе всего, величайшіе мои ненавистники—это они, тѣ, о которыхъ я радѣла, *mon parti*, пользамъ которыхъ я думала служить этою безсмысленною моею *агитаціею* въ продолженіе пятнадцати лѣтъ...

— Ты слишкомъ умна была всегда, Дина! невесело улыбнулся графъ.

Она кинула на него взглядомъ изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ.

— Да, ума у насъ никогда не любили: онъ инстинктивно противенъ намъ и грозенъ... Но вѣдь за то ужь... Кто это, не помнишь, Chamfort или Voltaire сказалъ, que „les gens d'esprit font des sottises parce qu'ils ne supposent jamais le monde aussi bête qu'il est?... Вѣдь мы... У насъ даже инстинкта нѣтъ!... Какъ тяжело странѣ, гдѣ нѣтъ руководящаго высшаго сословія, образованнаго и независимаго, это уже всякій теперь видитъ... А мы, понимали-ли мы когда-нибудь серьезно наши прямыя задачи, да хоть просто *интересы* наши?... Мы все изъ рукъ выпустили и умѣемъ только безполезно браниться по уголкамъ нашихъ гостиныхъ... Да чего лучше—вотъ тебѣ самый свѣжій примѣръ: ты слышалъ вчера моего остроумнаго супруга, l'écho de nos salons! съ невыразимымъ презрѣніемъ проговорила княгиня... Они, эти Несторы и Одиссеи *консерватизма*, эти образцовыя маменьки du grand monde, они того даже въ толкъ себѣ взять не могли, что никогда еще, съ начала царствованія, не издавалось у насъ такой разумной и *консервативной* мѣры, какъ эта реформа образованія, что противъ этого *débordement du matérialisme*, о

чемъ пищатъ они съ утра до вечера,—одинъ оплотъ, одно спасеніе для ихъ дѣтей,—это здоровое, *человѣческое* воспитаніе!... Что я крови себѣ испортила, разсуждая съ ними!... Все равно, что воду толкла... Всѣ они хоромъ, faisant le tierce à tous ces sales feuilletons radicaux, кричали au despotisme—и какъ по нотамъ разыгрывали игру отъявленнѣйшихъ враговъ своихъ.

— Они въ райскомъ, до грѣхопаденія, состояніи обрѣтаются, замѣтилъ на это со смѣхомъ графъ,—добра отъ зла отличать не умѣютъ. Блаженные!

— Ни вѣрованій у насъ, ни преданій, ни идеаловъ! какимъ-то надтреснутымъ голосомъ заговорила опять Дина,—ничего не осталось: все позабыто, порвано... Безсмысленное шатаніе за границей, безполезное прозябаніе у себя дома, жизнь au jour le jour, тотъ же грубый прозаизмъ жизни, что у вчера разжившагося жида, des vanités d'antichambre—хорошъ примѣръ, какой подаемъ мы собою русскому обществу!... У насъ даже, въ нашемъ всестороннемъ банкротствѣ, прадѣдовскихъ портретовъ не остается... да и половина изъ насъ не знаетъ, кто и что былъ его прадѣдъ... Мы не русскіе, христіане—à peine... и менѣе всего аристократы!... Мы блаженные, ты правду сказалъ: мы не умѣемъ отличить добра отъ зла, пользы отъ вреда, враговъ отъ друзей. Кого мы умѣли привлечь къ себѣ, пригрѣть, обратить, кого не оттолкнули!... Какой русскій художникъ, честный писатель могъ когда-нибудь разсчитывать на нашу поддержку, сочувствіе? Да и знаемъ-ли мы ихъ, знаемъ-ли, кто *нашъ* и кто *не нашъ*, говоря par abstraction, потому что сами мы прежде всего не знаемъ, *кто мы* такіе? Тамъ въ печати, да въ какихъ-то невѣдомыхъ намъ уголкахъ Россіи идетъ тяжелая, часто непосильная можетъ-быть борьба за Бога, за семью, за родину, за все то, что называемъ мы notre acte de foi, а мы зачитываемся *Monsieur*, *madame et bébé*, да слушаемъ зѣвая Патти—и ни о какой борьбѣ, ни о какой русской мысли знать не хотимъ!... Такъ молчите же, по крайней мѣрѣ,—неожиданно зазвенѣлъ голосъ княгини,—не жалуйтесь, не пищите, не корчите изъ себя нелѣпаго Saint-Germain russe, не вооб-

ражайте, что вы un *parti;* et que vous faites de *l'exclusivisme éclairé,* когда вы соберете у себя въ салонъ трехъ курляндскихъ бароновъ, двухъ непроходимо-глупыхъ генераловъ et Pita Koubenski, достойнаго друга князя Солнцева, mon seigneur et maître, и начнете съ этими Талейранами отчитывать Россію!...

Она замолкла, встала и, подойдя къ окну, устремилась взглядомъ въ даль, за Алый-Рогъ.

— Не легко тебѣ жить, понимаю!... какъ бы про себя проговорилъ Завалевскій.

— Не легко! повторила она, не оборачивая головы.—Ты этого хотѣлъ! промолвила Дина черезъ мгновеніе.

— Я? не могъ не воскликнуть онъ.

Она отвѣчала не сейчасъ:

— Повторять скучно: объ этомъ не разъ говорено было между нами, кажется.

Говорено было не разъ,—но никогда такъ мало, какъ теперь, не былъ расположенъ Завалевскій выносить эти знакомые упреки. Какимъ-то страннымъ раздраженіемъ отзывалось въ немъ, въ продолженіе всего этого разговора, эхо собственной его мысли въ устахъ Дины.

— Ничего нѣтъ легче посему, отвѣчалъ онъ ей, стараясь придать шутливый тонъ своимъ словамъ,—ничего нѣтъ легче, какъ не касаться уже никогда болѣе этого предмета.

Она вѣроятно разсчитывала на другое впечатлѣніе: нервное содроганіе пробѣжало у нея по щекѣ. Но она не обернулась, не двинула ни однимъ членомъ,—она продолжала пристально глядѣть въ окно.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

— Она въ самомъ дѣлѣ хороша, какъ нимфа лѣсная! воскликнула вдругъ Дина.

— Кто такая? спросилъ почему-то графъ.

Онъ зналъ, о комъ рѣчъ,—онъ видѣлъ самъ, онъ сидѣлъ тутъ же у окна и, обернувшись на слова княгини, замѣтилъ Марину, проходившую по направленію своего флигеля. Онъ ласково закивалъ ей, но она не видѣла, не замѣтила. Она видѣла только Дину, у того же окна, рядомъ съ нимъ, и, низко

опустивъ голову подъ широкою шляпой, пробѣжала въ свою дверь съ быстротою испуганнаго звѣрка.

— Что, она умна? оставляя безъ вниманія ненужный вопросъ Завалевскаго, спросила его княгиня.

— Милая дѣвушка! отвѣтилъ онъ серьезнымъ тономъ.

— D'éducation—point?

Онъ помолчалъ.

— Кто у насъ въ Россіи хорошо воспитанъ, разсѣянно проговорилъ онъ наконецъ, отвѣчая не ей, а своимъ собственнымъ размышленіямъ.

— Mercі! засмѣялась Дина, отошла отъ окна и заняла прежнее свое мѣсто въ креслѣ противъ графа.

— Ты долго думаешь пробыть здѣсь? молвила она, какъ бы лишь для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю право... вотъ какъ удастся лѣсъ продать.

— А ты лѣсъ продаешь? тѣмъ же равнодушнымъ тономъ проговорила княгиня.

— Да... деньги нужны... для моего заведенія, какъ-то неохотно объяснилъ Завалевскій.

— A!... cela tient toujours? съ тончайшимъ какъ волосъ оттѣнкомъ ироніи проговорила она.

Но онъ былъ чутокъ на эти оттѣнки ея, — онъ поднялъ вѣки и взглянулъ на нее строго и пристально.

— Что же могло бы меня заставить измѣнить моей мысли? сказалъ онъ сухо.

Она невозмутимо выдержала его взглядъ; вопроса его какъ будто и не слыхала.

— Все по тому же плану? спросила она.

— По тому же...

Онъ всталъ и заходилъ по комнатѣ.

— Я тебѣ завидую, заговорила княгиня;—ты нашелъ дѣло, занятіе... ты будешь жить себѣ въ деревнѣ, — хотя годъ проживешь—безъ скуки, безъ тоски... Безъ этой адской моей тоски! такъ и вырвалось у нея...

Никогда еще столь искреннимъ и скорбнымъ звукомъ не звучалъ для Завалевскаго этотъ знакомый ему голосъ: ему вдругъ стало ужасно больно за нее.

— Поѣзжай въ Италію, сказалъ онъ, — меня искусство спасало...

Дина приподняла голову.

— Vous oubliez mon boulet de galérien? *) язвительно прогорила она,—какое *съ нимъ* искусство спасетъ!..

Невольная улыбка скользнула по устамъ графа.

— Оставь его въ Петербургѣ,—поѣзжай одна!

— Оставить его,—одного? Княгиня плечами повела.—Чтобы онъ въ мое отсутствіе и меня ужъ самое проигралъ въ карты... если только нашлись бы еще охотники выиграть меня? съ невыразимою горечью улыбнулась она.

— Какъ, опять?... воскликнулъ Завалевскій, останавливаясь предъ ней.

— Онъ не переставалъ никогда... И знаешь — гадко!... Какъ пословица говоритъ: блудливъ какъ кошка, а трусливъ какъ заяцъ... таитъ, лжетъ, сбивается,—а затѣмъ слезы, раскаяніе, лизаніе рукъ... Odieux!...

— Долги? коротко сказалъ графъ, принимаясь опять ходить по комнатѣ.

— Само собою... На-дняхъ срокъ одному векселю,—я поручилась... и если я не найду денегъ въ деревнѣ, я и не знаю.

— Много?

— Пять тысячъ съ чѣмъ-то, пропустила она сквозь зубы— и отвернулась, какъ бы избѣгая встрѣчи съ его глазами.

Онъ походилъ, походилъ...

— Это, кажется, найдется, какимъ-то шепотомъ и еще старательнѣе, чѣмъ она, стараясь не глядѣть на нее, промолвилъ онъ,—сѣлъ къ столу и, потянувъ къ себѣ ящикъ, принялся шарить въ немъ нервно подергивавшимися пальцами.

— Пять... вотъ! не договорилъ онъ, выбрасывая на столъ пачки ассигнацій и быстро подымаясь съ мѣста, чтобы не видѣть, какъ возьметъ ихъ Дина.

Она сунула ихъ въ карманъ сухимъ, какъ бы гнѣвнымъ

*) Ты забылъ мое каторжничье ядро.

движеніемъ, отшатнулась въ спинку кресла и закрыла себѣ оба глаза рукою...

— Владиміръ, тихо промолвила она,—ты меня презирать долженъ!

— Почему же это? весь растерявшись, обернулся онъ къ ней...

— Parce que j'accepte—et que vous ne m'aimez plus!...

Она опустила руку—и такъ и впилася въ него расширенными зрачками... Онъ не отвѣчалъ... До этой минуты она еще могла сомнѣваться... Теперь—нѣтъ: въ его душѣ ничего уже болѣе не оставалось! — потухла послѣдняя, послѣдняя искра... Она поняла.

На ея посинѣвшихъ губахъ заиграла тутъ же послушная усмѣшка:

— А замѣчаешь ты, какъ подъ старость всѣ мы склонны къ сантиментальности? какъ бы глумясь надъ самой собою, сказала она, подымаясь съ мѣста... и, не давъ ему найти отвѣтъ:—Когда у тебя здѣсь на почту посылаютъ?...

— Каждый день можно,—у насъ контора въ селѣ, поспѣшилъ объяснить Завалевскій.

— И прекрасно,—я успѣю сегодня же написать воронежскому моему управляющему, чтобы ждалъ насъ въ субботу. Письмо все же раньше насъ попадетъ; мы въ Орлѣ остановимся...

И она пошла къ дверямъ. Графъ двинулся за нею.

— Et ce pauvre Alexandre! остановилась вдругъ на-ходу и засмѣялась княгиня.

— А что?

— А то, что онъ какъ котъ влюбленъ въ эту вашу красавицу здѣшнюю,—comment l'appelez vous déjà?...

— Въ Марину?

— И что онъ, продолжала княгиня, не видитъ, что эта Марина, въ свою очередь, безумно влюблена въ *тебя*.

— Въ меня! почти испуганно вскрикнулъ Завалевскій;— его такъ и ошеломило...

Дина скользнула по немъ своими египетскими глазами— и ядовито улыбнулась.

— Ça ne serait déjà pas si bête de la part de la donzelle... Берегись!...

XIV.

Глубокимъ, облегчающимъ вздохомъ вздохнула Марина, когда съ трескомъ хлопнула за нею дверь на блокѣ, что̀ вела со двора въ помѣщеніе Іосифа Козьмича, и она наконецъ очутилась дома... Кузнецъ, Пужбольскій, Дина, замѣченная ею у окна, рядомъ съ *нимъ*, разнообразныя впечатлѣнія этихъ встрѣчъ,—все это сливалось у нея въ одно скорбное и удручающее чувство... Ей жадно опять хотѣлось остаться одной, *уйти*, не думать *о людяхъ*...

Она быстро направилась въ свою комнату,—но въ нее ходъ былъ чрезъ гостиную, а въ гостиной слышались голоса и хохотъ... Табачный дымъ такъ и обдалъ ее, едва успѣла она войти...

Она остановилась на порогѣ въ нѣкоторомъ недоумѣніи.

У Іосифа Козьмича были гости: „монополистъ“ Верманъ и еще кто-то, кого Марина не узнала съ перваго раза...

Хозяинъ, развалившись въ своемъ *вольтеровскомъ*, покуривалъ сигару; гости нещадно дымили папиросками, расхаживая вдоль и поперекъ просторной комнаты.

Верманъ, Самуилъ Исааковичъ, былъ человѣкъ еще молодой, лѣтъ тридцати пяти, и представлялъ собою типъ современнаго *полированнаго* еврея. Въ Варшавѣ онъ несомнѣнно признавалъ бы себя за „поляка Моисеева закона“; призванный обстоятельствами *къ коммерціи* въ центрѣ имперіи, онъ былъ русскій патріотъ и претендовалъ на *развитость*. Выражался онъ по-русски правильно и довольно чисто; лишь при сочетаніи гортанныхъ съ трескучимъ звукомъ *р* выдавала рѣчь его семитическое происхожденіе. Наружность Самуила

Исааковича была совершенно приличная, даже красивая. Одѣтъ онъ былъ щеголемъ, въ свѣтло-сѣрые брюки и тонкій чернаго сукна сюртукъ, безукоризненно петербургскаго покроя. По бѣлому его жилету волновалась толстая золотая цѣпь о двухъ концахъ, а на указательный палецъ правой руки насаженъ былъ большой золотой перстень съ крупнымъ сіяющимъ въ немъ алмазомъ. Эта правая рука Вермана покоилась въ карманѣ его панталонъ, но указательный палецъ выставленъ былъ наружу, и онъ на-ходу, куря, разговаривая и улыбаясь, то-и-дѣло косился на него: видите-молъ какую штуку носимъ— и это намъ нипочемъ!..

Второй собесѣдникъ господина Самойленки ни благообразностью, ни щеголеватостью наружности своей не отличался: однихъ лѣтъ съ Верманомъ, небольшаго роста, угреватый, чернозубый—печка во рту, какъ говорятъ французы,—глаза его исчезали за синими стеклами стальныхъ очковъ, и все выраженіе его лица сосредоточивалось въ узкихъ и длинныхъ губахъ, постоянно складывавшихся въ саркастическую, некрасивую усмѣшку... Говорилъ онъ бойко, складно, необыкновенно самоувѣренно, и *слово-ерикомъ* заканчивалъ чуть не каждую изъ своихъ фразъ, что̀ придавало имъ какую-то особенную, желанную имъ, повидимому, ядовитость. Облеченъ онъ былъ въ просторное коричневатое пальто, изъ рукавовъ котораго выглядывало бѣлье довольно сомнительной опрятности...

Онъ обернулся на скрипъ двери, увидѣлъ входившую Марину — и остановился какъ вкопаный посередь гостиной, не кланяясь и глядя на нее во всѣ глаза изъ-за своихъ синихъ очковъ,—между тѣмъ какъ „монополистъ“ спѣшилъ къ ней, шаркая ножкой и протягивая ей еще издали свою украшенную алмазомъ руку, съ апломбомъ, имѣвшимъ свидѣтельствовать о томъ, что всю жизнь провелъ-де человѣкъ въ свѣтѣ.

— Маринѣ Осиповнѣ мое высокопочитаніе! проговорилъ онъ, пожимая ея пальцы,—привычки своей не измѣняете: все попрежнему какъ роза цвѣтете...

— Ботанику даже въ галантерейность обратилъ-съ! хихикнулъ вдругъ господинъ въ синихъ очкахъ, не измѣняя положенія и продолжая не кланяться ей.

Марина подняла на него глаза...

— Не узнала? кивнувъ на него съ замѣтнымъ пренебреженіемъ, спросилъ Іосифъ Козьмичъ.

Она узнала его по голосу: это былъ ея бывшій пансіонскій учитель, *знаменитый* Левіаѳановъ...

— Евпсихій Дороѳеичъ! пробормотала она: — я, дѣйствительно... Въ васъ какая-то перемѣна?...

— Очки-съ, и какъ баранъ остриженъ, съ новымъ хихиканьемъ объяснилъ ей эту перемѣну Левіаѳановъ, — ближайшіе люди едва узнаютъ-съ...

— Что же это вамъ вздумалось? безучастно спросила она; ее гораздо болѣе занималъ вопросъ, для чего и какимъ образомъ попалъ онъ въ Алый-Рогъ?

— На счетъ очковъ-съ, что вамъ сказать, отвѣчалъ онъ,— инструментъ хорошій-съ!... Ну-съ, а что касается до волосъ, которые вы, какъ бывшая моя ученица, помните при ихъ естественной длинѣ, то я поставленъ былъ въ необходимость возложить оные на алтарь отечества...

Марина взглянула на него недоумѣвая.

— Другими словами, продолжалъ *иронизировать* господинъ Левіаѳановъ, выставля при этомъ на свѣтъ Божій свои черные зубы во всей ихъ *естественной* прелести, — другими словами, я долженъ былъ пожертвовать волосами моими новѣйшимъ требованіямъ россійскаго просвѣщенія-съ...

Верманъ, очутившійся тѣмъ временемъ за спиною Левіаѳанова, насмѣшливо подмигнулъ Маринѣ, какъ бы приглашая ее ко вниманію.

— Все-таки не понимаю! громко сказала она.

— Еще бы! воскликнулъ *знаменитый* учитель:—здоровый мозгъ даже рѣшительно отказывается понимать эти новѣйшіе *абсурды!*... Тѣмъ не менѣе они берутъ веркъ-съ, и развитые люди, которымъ жрать все-таки требуется, принуждены поневолѣ подчиняться имъ... Замѣчаніе отъ попечителя при ревизіи получилъ-съ, ну-съ—и окарнался!... Полагаю, примолвилъ Левіаѳановъ,—вамъ не безъизвѣстно, что въ настоящую минуту въ богоспасаемомъ отечествѣ нашемъ задулъ самый рѣшительный нордъ-остъ-съ!

— Это что же по-вашему означаетъ? довольно грубо спросилъ господинъ Самойленко, пуская вверхъ тонкую струю дыма и не глядя на него.

— А тотъ самый вѣтеръ-съ это означаетъ, что дуетъ изъ „страны, гдѣ ловятъ соболей“...

Іосифъ Козьмичъ презрительно повелъ на него глазами... Но Верманъ не далъ ему слова промолвить.

— Нѣтъ, Іосифъ Козьмичъ, воскликнулъ онъ, расхохотавшись и закартавивъ уже совсѣмъ по-жидовски отъ избытка удовольствія,—это хорошо, это удаачно!... Евпсихій Дорофеичъ, они большой мастерръ на эти остхрыя словечки... Мнѣ это очень нхравится, потому очень это смѣшно!...

Марина устало опустилась въ кресло,—она тоскливо предвидѣла, что не скоро придется ей отдѣлаться отъ этой почтенной компаніи.

А *знаменитый* учитель продолжалъ объяснять ей:

— Пансіонъ княгини, какъ вамъ извѣстно, не существуетъ еще съ прошлаго года...

— Очень ужь много вы туда *прогрессу* напустили должно быть, ввернулъ опять ему Іосифъ Козьмичъ.

— При непробудной спячкѣ общества и дикомъ обскурантизмѣ учебнаго начальства, отрѣзалъ на это Левіаѳановъ,— немыслимъ болѣе прогрессъ образованія въ Россіи!...

— И слава те, Господи! безцеремонно отпустилъ, въ свою очередь, г. Самойленко.

Евпсихій Дорофеичъ язвительно поджалъ губы, какъ бы готовясь разразиться всесокрушающимъ какимъ-то словомъ... и ничего не сказалъ: онъ вспомнилъ во-время, что ему не разсчетъ враждовать съ Іосифомъ Козьмичемъ, и только плечомъ слегка повелъ.

Но „монополистъ“ еще разъ горячо вступился за него:

— Ахъ, Боже мой, я даже не вѣрю моимъ ушамъ, чтобы такой умный человѣкъ, какъ Іосифъ Козьмичъ, могъ такую идею въ своей головѣ держать!... Какъ же это можно безъ прогресса?... Мы, русскіе, должны имѣть прогрессъ, какъ вся Европа имѣетъ... И Евпсихій Дорофеичъ про начальство свое вѣрно сказалъ, повѣрьте моему честному слову, уважаемый

Іосифъ Козьмичъ, потому, за то единственно, что у него самыя новыя убѣжденія *цывилизаціи*, онъ пострадалъ въ своей службѣ,—самую должность свою въ гимназіи потерялъ, вздохнулъ даже Верманъ, въ то же время двусмысленно подмигивая опять Маринѣ.

Она вопросительно взглянула на Левіаѳанова.

— Вѣрно-съ; вынужденъ былъ распроститься съ нашею губернскою *Чехіею*, хихикнулъ тотъ въ отвѣтъ.

Марина еще съ большимъ изумленіемъ открыла глаза.

— А до васъ еще не дошло названіе? Очень удачно придумано-съ оно извѣстнымъ однимъ въ Петербургѣ остроумцемъ: не гимназія, а *Чехія*-съ, тверская чехія, тульская чехія, московская вторая чехія и такъ далѣе-съ; по преобладающему, то-есть, въ нихъ элементу — и соотвѣтственная кличка, злобно смѣялся Левіаѳановъ.

— Очень не нравятся Евпсихію Дороѳеевичу эти *братья-славяне!* подбивалъ съ громкимъ смѣхомъ видимо потѣшавшійся „монополистъ“.

— А чѣмъ они его обидѣли? спросилъ Іосифъ Козьмичъ, не почитая даже нужнымъ обратиться съ этимъ вопросомъ къ самому Левіаѳанову.

— Никогда они меня не обижали, подбирая задрожавшія губы, возразилъ учитель,—потому, во-первыхъ-съ, на то отъ меня еще никому не дано дозволенія, а затѣмъ они и обидыто нанести никому не въ состояніи... Потому это даже не люди-съ, а нѣчто въ родѣ преподавательныхъ машинъ, къ самостоятельному мышленію и критикѣ неспособныхъ-съ... Ты ему толкуешь о современной педагогіи, о реальныхъ требованіяхъ вѣка, а онъ даже, пѣшка этакая, слова тебѣ не возразитъ, а только улыбнется снисходительно, и тутъ же, по первому звонку-съ, пендеритъ въ классъ и добросовѣстнѣйшимъ образомъ душитъ своего Цицерона.

— Къ долгу своему, значитъ, усерденъ, вывелъ заключеніе Іосифъ Козьмичъ.

— Факирствуетъ даже во имя допотопнаго принципа сего-съ! пояснилъ съ своей стороны *знаменитый* учитель.

— Ну, а мѣста-то вы изъ чего лишились?

Левіаѳановъ недружелюбно глянулъ изъ-подъ очковъ на надменнаго г. Самойленку и тутъ же обернулся къ Маринѣ.

— Вы меня поймете-съ, заговорилъ онъ: — во-первыхъ, новый директоръ филологъ... и убѣжденный притомъ... то-есть, другими словами-съ, обскурантъ первѣйшаго нумера; во-вторыхъ, носъ свой совать всюду пошелъ, на уроки ходить-съ... Контроль, словомъ, надо мною завелъ-съ. Намеки пошли, замѣчанія, и ехиднѣйшимъ, знаете, образомъ: у васъ, говоритъ мнѣ разъ, въ шестомъ классѣ двѣ трети учениковъ букву *ять* правильно ставить не умѣютъ; смѣю, говоритъ, думать, что знать это было бы гораздо для нихъ полезнѣе, чѣмъ разсуждать *объ отрицательномъ элементѣ въ русскомъ народномъ эпосѣ;* это онъ-съ на одну изъ моихъ лучшихъ лекцій намекалъ... Я, знаете, даже отвѣтомъ не удостоилъ его... потому на такую пошлость и отвѣчать не стоитъ!... Обскурантъ, какъ видите-съ, однимъ этимъ замѣчаніемъ весь себя выгравировалъ... Ну-съ и, разумѣется, это молчаливое мое презрѣніе къ нему паче злѣйшей брани засѣло въ его мелкой, классической душонкѣ. Сталъ онъ меня видимо преслѣдовать-съ, а я, знаете, молчать принужденъ, потому буаръ-манже, ничего съ этимъ не подѣлаешь!... Только наконецъ такой случай вышелъ-съ: въ томъ же это шестомъ классѣ было,—долженъ я былъ имъ, знаете-съ, по программѣ, о духовномъ краснорѣчіи, о церковныхъ нашихъ якобы *ораторахъ* читать... Такъ по этому поводу-съ выразилъ я въ классѣ самую элементарную, будничную, такъ-сказать, въ наше время мысль: вѣра въ отвлеченное начало, говорю, а тѣмъ болѣе всякій внѣшнимъ образомъ выражающійся культъ его не совмѣстны, говорю-съ, съ реально-научнымъ направленіемъ современнаго человѣчества... И, можете себѣ представить-съ, за эту невиннѣйшую мою фразу онъ мнѣ вдругъ въ педагогическомъ совѣтѣ формальный выговоръ-съ!... Сдержался я и тутъ, молчу-съ,—жду, знаете,—не можетъ быть, думаю себѣ, чтобы никто изъ присутствующихъ за здравый смыслъ не вступился!.. Держи карманъ! позеленѣлъ даже отъ злости Левіаѳановъ, — сидитъ почтенное сословіе, духомъ низости обуянное-съ глаза опустили... Хоть бы одинъ рѣшился!.. Молчатъ, какъ воды въ ротъ

набрали!.. Ну-съ, тутъ я съ мѣста поднялся: я до сихъ поръ полагалъ, говорю, что прямая задача каждаго педагога-съ есть здоровое развитіе мозговъ ввѣряемаго ему юношества; если же, говорю, вамъ требуется теперь забивать это юношество въ старыя колодки умственнаго крѣпостничества и идолопоклонства, то я такому преступному дѣлу не слуга-съ, и отрясаю прахъ моихъ сандалій... Плюнулъ—и вышелъ...

— Храбрство свое показали, настоящій сынъ отечества нашъ Евпсихій Дорофеичъ! закартавилъ опять восхищенный Верманъ, Самуилъ Исааковичъ, и треснулъ одобрительно „сына отечества“ по плечу.

— А затѣмъ что же произошло? спросилъ практическій Іосифъ Козьмичъ: — сами вы подали въ отставку, или васъ *того?*..

Онъ досказалъ мысль свою движеніемъ руки...

— Сами, сами! отвѣчалъ за Левіафанова „монополистъ“,— плюнули какъ благородный человѣкъ — и вышли сами!... И такъ я удивился, скажу вамъ! Ѣду изъ Харькова—и тутъ на станціи встрѣчаю ихъ. Куда вы, говорю, отправляетесь? А они мнѣ это все разсказали: и теперь, говорятъ, ѣду въ Петербургъ, въ военную гимназію желаю поступить, потому тамъ, говорятъ они, начальство настоящее, либеральное... И это совсѣмъ правда, я слышалъ въ Петербургѣ: самая настоящая либеральная цивилизація теперь въ военномъ вѣдомствѣ... Только у меня сейчасъ эта мысль въ голову,—что вашъ графъ тутъ большое заведеніе начинаетъ, и я подумалъ, что такой ученый, какъ Евпсихій Дорофеичъ, можетъ у него самое лучшее мѣсто получить, съ большимъ жалованьемъ... Іосифъ Козьмичъ, говорю имъ, самый первый сортъ человѣкъ и мнѣ самый лучшій другъ. Онъ можетъ вамъ, говорю, очень помогать...

— А я вамъ на это вотъ что долженъ сказать, прервалъ его главноуправляющій: — помощь моя въ этомъ дѣлѣ ни причемъ, ибо я вовсе до него не касаюсь, и планы графа насчетъ его этой школы мнѣ даже вовсе незнакомы. Вы переговорите вотъ съ ней, небрежно обращаясь къ Левіафанову, кивнулъ на Марину Іосифъ Козьмичъ, — ей по этой части

болѣе извѣстно. А мы съ вами, Самуилъ Исааковичъ, пройдемъ ко мнѣ...

— Пойдемте, пойдемте, почтеннѣйшій другъ! заспѣшилъ Верманъ.

Марина и бывшій ея наставникъ остались одни.

— Что же вы мнѣ скажете „по этой части-съ?“ иронически повторяя слова Іосифа Козьмича, спросилъ дѣвушку Левіаѳановъ, взялъ стулъ и сѣлъ прямо насупротивъ ея, и такъ близко, что колѣни его чуть не касались ея платья...

Она отодвинулась съ кресломъ своимъ назадъ.

— Право, не знаю, что вамъ сказать, отвѣчала она,— кромѣ того, что и вамъ, кажется, такъ же хорошо извѣстно, какъ и мнѣ... Графъ устраиваетъ институтъ, въ которомъ будутъ воспитываться народные учителя...

Ей почуялось, что онъ ея не слушаетъ: онъ глядѣлъ не отрываясь на нее; за его темными очками она не видѣла его глазъ, но на губахъ его складывалась какая-то скверная, влажная улыбка, которая ей была очень противна.

— Организмъ вашъ замѣчательно развился съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ васъ, выговорилъ, дѣйствительно, Левіаѳановъ вслѣдъ за этою скверною улыбкой.

Марина окинула его холоднымъ взглядомъ съ ногъ до головы.

— Я полагаю, что вы пріѣхали сюда не для того, чтобы заниматься моею особой! рѣзко и коротко промолвила она.

Онъ передернулъ плечами, всталъ и заходилъ по комнатѣ.

— А въ память того, что я нѣкогда имѣлъ честь быть вашимъ преподавателемъ, видимо подавляя свою желчь, молвилъ онъ,—вы не откажете мнѣ въ отвѣтѣ-съ на нѣкоторые... необходимые для меня вопросы?

— Спрашивайте! На что могу, на то отвѣчу.

— Что за человѣкъ такой этотъ вашъ графъ?

Она предвидѣла, что онъ это непремѣнно ее спроситъ, и отвѣчала безъ замѣшательства:

— Очень хорошій человѣкъ.

— Ну это само собою-съ! хихикнулъ тутъ же Левіаѳановъ,—всѣ эти тупицы идеальныя прекрасные люди!

Этого не предвидѣла Марина,—и вся кровь кинулась ей въ голову... Съ какимъ наслажденіемъ швырнула бы она въ эту минуту въ голову *наглеца* тяжелый бронзовый колокольчикъ, стоявшій тутъ, на столѣ, въ ближайшемъ разстояніи отъ ея руки. Но она сдержалась въ свою очередь.

— А чѣмъ онъ вамъ доказалъ, что онъ „тупица идеальная?“ уронила она сквозь сжавшіяся губы.

— Какъ чѣмъ доказалъ? продолжалъ хихикать Левіаѳановъ:—да этимъ самымъ институтомъ своимъ-съ!.. Какой же реалистъ, человѣкъ съ мозгами, станетъ жертвовать своимъ капиталомъ—вѣдь онъ-съ, говорятъ, триста тысячъ ухаетъ на это дѣло!—на дѣло, въ которомъ онъ ни бельмеса не смыслитъ!...

— Вы почемъ знаете, что не смыслитъ? вскрикнула Марина,—онъ въ Америкѣ спеціально изучалъ народныя школы!...

Слово „Америка“ въ первую минуту какъ бы озадачило *знаменитаго* Евпсихія Дороѳеича: „На кой чортъ этакимъ аристократамъ пустѣйшимъ въ Америку ѣздить?“ пронеслось у него въ головѣ.

— Америка-съ въ этомъ вопросѣ не указъ! возразилъ онъ громко,—тамъ-съ давно *люди*, граждане свободные... А у насъ прежде всего надобно знать-съ... ту дурацкую штуку надобно знать-съ, что̀ зовутъ *русскимъ народомъ!*

— А вы его знаете, народъ?

Руку Марины такъ и тянуло къ колокольчику...

— Я, по крайней мѣрѣ, знаю то-съ... *куда* его вести слѣдуетъ! прошипѣлъ Левіаѳановъ, и безобразною, судорожною складкой скривились его уста...

Онъ обернулся на Марину—и почуялъ на этотъ разъ, что не сочувственъ былъ онъ ей со всѣхъ сторонъ, и что далеко стояла теперь отъ него эта бывшая его ученица-воструха, когда-то, такъ бойко и рабски ему вторя, разсуждавшая „о политико-соціальномъ значеніи типа Катерины въ *Грозѣ*...“

„Вляпался маленько“, сознался онъ внутренно. И тутъ же въ цѣломудренномъ соображеніи объяснилъ себѣ, откуда могла произойти въ ней эта перемѣна: „аристократъ, разсудилъ онъ,

клубничникъ, пріударяетъ за нею всенепремѣнно, а ей, дурѣ, лестно!..."

— Нѣтъ спора, заговорилъ онъ вслухъ, довольно ловко заворачивая оглобли, — что люди способные на такія, прямо надо сказать, безкорыстныя жертвы-съ, во всякомъ случаѣ люди почтенные, всякое поощреніе себѣ заслуживающіе... Но все же-съ, стою на томъ, вѣдь это люди не реальные-съ!... Отсюда вижу-съ: витаетъ почтенный человѣкъ въ воздусяхъ, все человѣчество на перси себѣ принять готовъ-съ, любовь эдакая всеобъемлющая, анъ гранъ... Типъ сороковыхъ годовъ, извѣстно. Эстетикъ-съ!...

— А вамъ какихъ еще нужно? съ вызывающею улыбкой спросила Марина.

— И такіе нужны-съ, и такіе! засмѣялся Левіаѳановъ.— Только за этими, за благодѣтелями-то, изволите видѣть-съ, должны стоять настоящіе, реальные люди... которые все вести должны-съ... И это даже гораздо удобнѣе... и безопаснѣе, потому эти эстетики, аристократы эти-съ, они тамъ, наверху, довѣріе внушаютъ... и за ними человѣку, что говорится, какъ у Христа за пазушкой. Теперь не мало такихъ примѣровъ на Руси: аристократъ, знаете, благонамѣренный, вывѣскою, размалеваннымъ этимъ орломъ, что пучитъ грудь на воротахъ-съ... ну-съ, а тамъ, внутри зданія, реалисты настоящее дѣло дѣлаютъ-съ! уже захлебывался и облизывался Левіаѳановъ, рисуя предъ Мариной эту соблазнительную для него картину.

— А кто же лучше по-вашему, гнѣвно задрожалъ голосъ дѣвушки,—эти-ли честные люди на воротахъ, или тѣ, которые ихъ „тамъ, внутри," обманываютъ?

— Да кто же вамъ говоритъ про обманъ! словно даже и обидѣлся тотъ: — никакого обмана тутъ нѣтъ-съ, потому что естественнымъ теченіемъ, непобѣдимою силою вещей, эстетикъ-съ всегда, въ каждомъ данномъ случаѣ долженъ подчиняться реалисту, ибо самая великодушная фантазія безсильна предъ фактомъ-съ. А съ фактомъ эстетикъ справиться не въ состояніи-съ, и съ перваго же разу мизернѣйшимъ образомъ пасуетъ предъ нимъ-съ, потому что онъ, извѣстно, орелъ-съ, свысока, анъ гранъ!... А реалистъ—кротъ, руки себѣ марать

онъ не боится, всякіе входы и выходы знаетъ-съ, терпѣніемъ, голодомъ да холодомъ повитъ и вскормленъ, такъ-сказать... Такъ какъ же ему не осѣдлать почтеннаго верхогляда-съ, воздыхающаго о пользѣ народа на тысячномъ матрацѣ и не разумѣющаго даже того, въ чемъ именно эта польза народа состоитъ-съ! Вѣдь вы подумайте только о томъ: вѣдь благодѣтель этотъ съ мужикомъ и говорить-то не умѣетъ-съ, вѣдь, какъ онъ тамъ себѣ ни распинайся и ни гуманничай, вѣдь онъ крестьянскому-то своему воспитаннику во-вѣки-вѣковъ чуждъ останется, и будетъ въ немъ видѣть этотъ сынъ народа все то же *начальство*-съ, которое онъ съ пеленъ пріученъ ненавидѣть!...

— Неправда, пылко заступилась Марина,—онъ этого мальчика, воспитанника своего, любить будетъ, а любовь... это всякій чувствуетъ!...

— Любовь! захихикалъ опять Левіаѳановъ, — любовь во Христѣ?... Ну-съ, эта штука стара, ее бросить пора! На нее босому сапоговъ не сошьешь!... На этой-то штукѣ-съ всѣ они проваливаются, благодѣтели-то!... Какая тутъ христіянская любовь-съ, когда весь общественный порядокъ ни черта не стоитъ, и...

— И вы бы хотѣли мальчикамъ разрушеніе его проповѣдывать! не сдерживаясь болѣе, не дала ему кончить Марина.

„Эге, да какъ она прямо хватаетъ!“ подумалъ нѣсколько озадаченный „сынъ отечества“.

— Я вижу, барышня, сказалъ онъ громко, — что вы не даромъ изволите проводить ваше время въ обществѣ сіятельныхъ лицъ, слишкомъ вы консервативны стали-съ... Только къ чему вы эти жалкія слова говорите: „разрушеніе“ и прочее? Какое тутъ *разрушеніе?* Коли вещь цѣла и здорова, такъ она отъ слова прахомъ не разсыплется... Ну, а если прогнила она вся насквозь, вѣдь вы ее отъ самогибели ничѣмъ не спасете-съ! Я полагаю, что вашъ графъ, какъ умный человѣкъ, самъ за гниль стоять не станетъ-съ...

— Я все это слышала, знаю! еще разъ прервала его дѣвушка.

Глаза ея горѣли какъ въ лихорадкѣ; она едва совладѣвала съ нервною дрожью, пронимавшею всѣ ея члены.

— Я знаю, я сама испытала... все, чему вы насъ учили тамъ, въ пансіонѣ... и они, эти, — Марина кивнула на столъ съ журналами,—*это* гниль.... и смерть... да, гниль и смерть!... Я неумѣлая, ничего не знаю, ни за что̀ приняться не умѣю,— такъ хорошо воспитали меня! Но я чувствую, всѣмъ существомъ моимъ чувствую, не *этому* слѣдуетъ учить народъ... что *вы* не учители его, а *презиратели!*... Они, эти „эстетики", надъ которыми вы смѣетесь... такіе люди, какъ графъ,— они тысячу разъ ближе къ бѣдному народу... онъ ихъ всегда въ тысячу разъ будетъ болѣе уважать, любить, чѣмъ васъ, *злюковъ*, ненавистниковъ!...

Левіаѳановъ опѣшилъ... Этотъ горячій, прерывающійся голосъ, эти сверкающіе глаза, негодующія яркія губы,—ему еще и не случалось натыкаться на что-либо столь искреннее, сильное и красивое. Но, главное, онъ понималъ, что она, эта красавица, гораздо глубже проникала въ *суть вещей*, чѣмъ онъ это могъ предполагать, и что это подымалось теперь серьезною преградой къ достиженію имъ тѣхъ *политическихъ* и матеріальныхъ цѣлей, для которыхъ онъ, по иниціативѣ Вермана, пріѣхалъ въ Алый-Рогъ.

— Многоуважаемая эксъ-ученица моя, началъ онъ послѣ довольно продолжительнаго размышленія, стараясь придать теперь какъ можно болѣе игривости своимъ словамъ,—я никакъ не думалъ, чтобы мы съ вами когда-нибудь встрѣтились врагами на пути жизни... А еще менѣе, чтобы вы рѣчамъ моимъ могли придавать *неблагонамѣренное* значеніе-съ. Такія бесѣды-съ, какъ сейчасъ наша съ вами, повторяются теперь ежедневно во всѣхъ пунктахъ пространнаго нашего отечества. Это еще Тургеневымъ въ *Дымѣ* замѣчено-съ очень вѣрно: сойдутся вмѣстѣ два русскихъ человѣка, и тотчасъ же начнутъ о *судьбахъ Россіи*... И высказываются большею частію при этомъ мнѣнія... самыя крайнія-съ, нелѣпыя иногда... Однако это нормальному теченію жизни нисколько не мѣшаетъ-съ, и отъ этихъ разговоровъ никакого *разрушенія*, ниже бунта не происходитъ-съ... Такъ и теперь между нами...

Все, что̀ вы мнѣ выразили о графѣ, — а я не могу не принять въ серьезъ убѣжденія такой умной личности, какъ вы,— доказываетъ мнѣ то, что онъ человѣкъ съ мозгами.... И я увѣренъ, что еслибы мы теперь разсуждали съ нимъ, отправляясь отъ понятій самыхъ противоположныхъ, мы бы непремѣнно сошлись и подали другъ другу руку на одной, равно намъ дорогой идеѣ—на желаніи общей пользы.

— Никогда, никогда бы не сошлись! закачала головой Марина.

— Позвольте однако!... перебилъ ее Левіаѳановъ и—пріостановился.—Вѣдь я васъ настолько знаю... и уважаю, заговорилъ онъ опять, какъ-то насильственно и тревожно усмѣхаясь,—что увѣренъ... вы на доносъ и наушничество не способны...

— Какое наушничество? открыла она большіе глаза.

— Вы не стали бы предостерегать графа... что вотъ это *опасный*, молъ, человѣкъ... агитаторъ, что-ли?...

— Нѣтъ, нѣтъ! поняла Марина и презрительно усмѣхнулась въ свою очередь,—ничего бы я его не предостерегала... потому что онъ самъ...

Она не договорила. Левіаѳановъ съ ненавистью покосился на нее.

— Вы большое вліяніе на него имѣете-съ? пропустилъ онъ, поджимая свои длинныя губы.

Она глянула на него во всѣ зрачки.

— На такого человѣка вліянія я имѣть не могу,—но уважаетъ онъ меня, въ этомъ я убѣждена...

Онъ не выдержалъ этого взгляда и, пробормотавъ: „я увѣренъ, увѣренъ“, пошелъ опять ходить по комнатѣ.

Настало молчаніе... Левіаѳановъ стоялъ у открытаго окна гостиной и глядѣлъ въ садъ.

— Графъ сѣдой? спросилъ онъ. — И голову нѣсколько внизъ держитъ?...

— Д-да...

— Такъ это онъ!... И съ нимъ дама?... Вѣдь онъ не женатъ?

— Н-нѣтъ...

— Такъ позвольте полюбопытствовать: кто же это съ нимъ? обернулся къ Маринѣ Евпсихій Дороѳеичъ.

— Одна его родственница,—княгиня Солнцева.

— Родственница! протянулъ за нею Левіаѳановъ, принимаясь опять глядѣть въ окно.—Ловко одѣта, шельма! выразилъ онъ свое одобреніе, и примолвилъ: — собаку на этомъ съѣли аристократки эти!

Покачиваясь, какъ бы въ раздумьи, съ одной ноги на другую, онъ постоялъ, постоялъ у окна—и вдругъ разомъ повернулъ къ Маринѣ.

— Можете-ли вы мнѣ дать одно ваше честное слово?

— Не дамъ, съ нѣкоторымъ удивленіемъ отвѣчала она:— пока не узнаю, въ чемъ оно должно состоять.

— Не выражать графу вашего мнѣнія обо мнѣ, ни за, ни противъ?

— Я вамъ сказала: ему не нужно моего мнѣнія.

— Ну, и прекрасно! Такъ я пойду-съ.

— Куда? невольно спросила Марина.

— Отрекомендуюсь ему...

И Левіаѳановъ исчезъ за дверями, открывавшимися изъ гостиной Іосифа Козьмича прямо въ садъ.

— И вотъ кто насъ воспитываетъ! прошептала Марина, въ какомъ-то изнеможеніи опуская голову на грудь.

Между тѣмъ, въ наступившей теперь тишинѣ, до нея довольно явственно стали доноситься изъ-за невплоть притворенной двери кабинета Іосифа Козьмича голоса хозяина и Вермана. Увлеченные интересомъ своей бесѣды, они говорили уже совершенно громко, очевидно не помышляя о томъ, что разговоръ этотъ могъ дойти до постороннихъ ушей...

— Еслибы вы всѣмъ количествомъ, и въ сроки, лѣтъ на шесть! говорилъ „монополистъ“.

— Ловокъ ты, братъ, Самуилъ Исааковичъ! басилъ смѣясь Іосифъ Козьмичъ:—по сорока рублей десятину, чтобъ я тебѣ лучшій мой, береженный лѣсъ отдалъ, когда, какъ только дана будетъ концессія на линію, такъ я за всю дачу кругомъ по сту рублей возьму...

— Не пойдетъ сюда ни за что линія! перебилъ Верманъ:—

я отъ самаго вѣрнаго человѣка въ Петербургѣ знаю: желѣзная дорога на Трущобскъ пойдетъ...

— На Трущобскъ! передразнилъ его г. Самойленко:—въ самомъ дѣлѣ? — Ну, а если я тебѣ сейчасъ письмо принесу къ графу отъ самого управляющаго министерствомъ, что наша линія уже высочайше утверждена?..

Послѣдовало молчаніе: Верманъ очевидно былъ сбитъ съ позиціи.

— Такъ это-жь еще когда концессія, многоуважаемый, заговорилъ онъ опять: — а вы говорите, графу сейчасъ деньги нужны?

— Такъ и не по сту же рублей прошу у тебя, а половину...

— Шестьдесять рублей сказали?...

— Ну, конечно, съ моими коммиссіонными—и всѣ шестьдесять выйдутъ... Такъ вѣдь какой же клинъ продаю тебѣ: Сотникову пустошь!...

— Коммиссіонерскій процентъ гдѣ угодно — два, а не двадцать, многоуважаемый! тономъ шутливаго упрека сказалъ на это Верманъ.

— А мнѣ наплевать на ваше „гдѣ угодно!“ грубо возразилъ „потомокъ гетмановъ“:—какъ сказалъ, такъ и живетъ!...

— Дорого, почтенный другъ! послышался вздохъ „монополиста.“

— А дорого, такъ я съ клинцовскихъ старовѣровъ по семидесяти пяти возьму! Самъ знаешь, не вру... Только не хочется мараться съ ними!...

Верманъ опять отвѣчалъ не сейчасъ:

— Ну, извольте, Іосифъ Козьмичъ,—мы, какъ образованные люди и старые друзья, не будемъ торговаться!... Извольте,—беру все количество, двадцать тысячъ десятинъ, по той же цѣнѣ, платежъ по срокамъ, въ пять лѣтъ!...

— Сказалъ — нѣтъ! отрѣзалъ тотъ, и голосъ его такъ и зазвучалъ чувствомъ глубокаго уваженія къ собственному своему благородству: — интересовъ моего довѣрителя я не продаю!... Ему требуется триста тысячъ: я сбываю тебѣ изъ дачи шесть тысячъ десятинъ по пятидесяти рублей кругомъ, вношу

ему полную сумму, беру свои коммиссіонныя—и баста!... Ни березки лишней не позволю вырубить!... Захочетъ графъ черезъ два года остальное по сту рублей продать,—покупщика ему найду...

— Сами купите! хохоталъ уже Верманъ:—и затѣмъ раздалось громкое чмоканье;—это повершали друзья свою сдѣлку лобызаньемъ...

— И на что̀ вамъ столько денегъ, многоуважаемый? продолжалъ заливаться „монополистъ“ на самыхъ высокихъ нотахъ своего голоса.

— А ты забылъ, что у меня дочь невѣста? весело отвѣчалъ на это Іосифъ Козьмичъ:—на приданое ей нужно!..

Словно волною грязи обдало Марину... Она вскочила съ мѣста не помня себя, кинулась къ двери кабинета...

— Не нужно мнѣ вашихъ краденыхъ денегъ! крикнула она и, хлопнувъ за собою этою дверью, такъ что зазвенѣли всѣ окна гостиной, пробѣжала въ свою комнату—и заперлась въ ней двойнымъ замкомъ.

XV.

Левіаѳановъ, застегнувъ пальто на всѣ пуговицы, подвязавъ распустившійся галстукъ и отряхивая пыль съ рукавовъ своихъ, направлялся по саду искать графа.

— Ишь ты великолѣпіе какое! вскликнулъ онъ про себя, очутившись въ главной широкой аллеѣ, въ глубинѣ которой подымался легкій, изящный, растрелліевскаго стиля фасадъ Алорожскаго дворца:—поселиться бы тутъ, кажется... и умирать не надо!...

Графъ и графиня Солнцева выходили въ это время изъ боковой аллеи.

Левіаѳановъ пріостановился, далъ имъ подойти и, не спѣша, съ приличною учтивостью, снялъ передъ ними шляпу.

— Извините меня за нескромность, обратился онъ къ Завалевскому: — заѣхавъ сюда случайно съ однимъ моимъ знакомымъ, имѣющимъ дѣло до вашего главноуправляющаго,— я самовольно дерзнулъ выйти на прогулку въ вашъ прекрасный садъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость! поспѣшилъ отвѣчать Завалевскій,—на то и сдѣланъ садъ, чтобы въ немъ гуляли... И это удовольствіе не часто ему достается, къ сожалѣнію, шутливо примолвилъ онъ—и, слегка двинувшись впередъ, взглянулъ на Левіаѳанова, какъ бы приглашая его этимъ взглядомъ продолжать прогулку вмѣстѣ...

Учитель еще разъ приподнялъ шляпу и повелъ глазами на княгиню... Она, въ свою очередь, поощрительно улыбнулась...

Левіаѳановъ и не подозрѣвалъ, какъ благопріятна была

для него эта избранная имъ для „отрекомендованія себя“ минута... Послѣ приведеннаго нами разговора въ кабинетѣ, Дина и Завалевскій вышли вмѣстѣ въ садъ, машинально: она—потому, что ей нечего было уже дѣлать, нечего сказать въ кабинетѣ; онъ—по простому долгу хозяина, чтобы не оставить ее одну... И уже цѣлый часъ ходили они теперь подъ тѣнью аллей, отъ времени до времени обмѣниваясь вопросами и замѣчаніями, на которые не требовалось отвѣта, тщательно избѣгая взгляда и слова, которые могли бы выдать то, что думалось каждымъ изъ нихъ, и чуть не проклиная другъ друга за это взаимное стѣсненіе, за этотъ свой невыносимый, безсмысленный tête-a-tête... Третье, новое, незнакомое лицо—это былъ для обоихъ ихъ нежданный и вожделѣнный избавитель!...

— Какое это мѣсто прекрасное для вашего будущаго заведенія! началъ прямо избавитель, шагая рядомъ съ графомъ.

— А вы уже слышали про мои затѣи? ласково спросилъ тотъ.

— Какъ не слыхать-съ!.. И какъ русскій—и притомъ самъ вышедшій изъ народа человѣкъ, и педагогъ къ тому жь,—обрадовался имъ несказанно!.. Мѣсто, главное, отлично выбрано... вдали отъ тлетворнаго вліянія городовъ... дающее возможность полнаго сосредоточенія, ближайшаго руководства... Да-съ, даже вздохнулъ Левіаѳановъ,—здѣсь дѣйствительно можетъ, по рецепту нашихъ вѣчныхъ учителей, древнихъ, воспитаться mens sana in corpore sano *).

— А вы были педагогомъ? спросилъ графъ.

— Нѣсколько лѣтъ преподавалъ въ здѣшней губернской гимназіи... и бросилъ!..

— Бросили?

— Да-съ; грудь у меня слабая, чахоткой врачи пугали... Впрочемъ, промолвилъ онъ, стараясь улыбнуться какъ можно добродушнѣе,—самого-то меня пугала не физическая, а такъ-сказать, *духовная* смерть...

— Что же такъ? участливо обернулся на него Завалевскій.

---

*) Здравый умъ въ здравомъ тѣлѣ.

— Да изволите видѣть-съ, заговорилъ опять Левіаѳановъ, придавая тону своихъ словъ оттѣнокъ наивности и добродушія,—у насъ въ Россіи, Богъ уже знаетъ какъ это дѣлается, но какое бы занятіе ни выпало на долю человѣку,—будь онъ ученый или сапожникъ,—онъ непремѣнно, по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, обращается въ чиновника... Ну-съ, такъ вотъ мнѣ сапожникомъ подолѣе хотѣлось оставаться!.. Я и удалился.

Графъ и Дина засмѣялись оба: очень не глупымъ человѣкомъ показался имъ обоимъ этотъ невѣдомый господинъ.

— И вы *навсегда* отказались отъ учебной дѣятельности? какъ бы удивился Завалевскій.

„Клюетъ! самодовольно сказалъ себѣ Левіаѳановъ:—страхъ не любитъ чиновниковъ все это аристократство, я зналъ!“...

— Ничего про себя не могу сказать въ эту минуту, отвѣчалъ онъ громко: — потому я весь еще подъ впечатлѣніемъ счастливаго для меня помышленія, что я изъ казенной колеи выбился...

— И что же вы думаете дѣлать? спросила его въ свою очередь Дина.

— Я-съ... въ Одессу пробираюсь... оттуда хотѣлось бы моремъ — ко Святымъ мѣстамъ... На востокъ вообще! поспѣшилъ онъ примолвить, поймавъ на-лету быстрый, проницательный взглядъ, кинутый ему княгинею... „Не ханжа!“ принялъ онъ тотчасъ же къ свѣдѣнію.

— Отчего же именно на востокъ? улыбалась она между тѣмъ.

— Какъ это вамъ сказать-съ! началъ педагогъ ощупью, ловя попеременно на лицѣ графа и Дины впечатлѣніе, какое производили его слова:—я выраженіе *востокъ* понимаю очень широко... хотѣлось бы познакомиться съ единокровными намъ племенами... къ славянству поближе присмотрѣться...

— Для педагогическихъ цѣлей? продолжала усмѣхаться княгиня.

— Ну, конечно! поддакнулъ онъ и разсмѣялся ей подстать:—тамъ, разумѣется, учиться нечему, но...

— Едва-ли такъ! сказалъ неожиданно для него графъ:—

у чеховъ, напримѣръ, мы многому, пожалуй, могли бы научиться.

— „Съ придурью этой московскою, значитъ, баринъ!“ тотчасъ же рѣшилъ про себя Левіаѳановъ. — Дда-съ, съ важностью возгласилъ онъ громко, — серьезное образованіе-съ... Это уже никакъ отнять у нихъ нельзя-съ!... И затѣмъ,—что для нашего брата, россіянина, особенно поучительно,—цивилизація, такъ-сказать, сплошная-съ; не съ верху, а отъ корня идетъ-съ,—о чемъ хлопочутъ такъ наши почтенные славянофилы... которые, конечно,—онъ жалостливою гримасой объяснилъ княгинѣ невысокое мнѣніе свое о славянофилахъ, — и немедленно затѣмъ обернувшись къ Завалевскому:—но Хомяковъ, напримѣръ, сказалъ онъ... и пріостановился на мигъ:— „а чортъ ихъ молъ впрочемъ знаетъ, не почитается-ли у нихъ Хомяковъ *краснымъ!*“—нельзя игнорировать-съ такую капитальную, все-таки штуку, какъ Хомяковъ! договорилъ онъ наконецъ.

— „Сплошная цивилизація!“ повторилъ тѣмъ временемъ слова его графъ:—это вами вѣрно замѣчено... Проваловъ нѣтъ между общественными слоями, — слѣдовательно, розни мѣста нѣтъ, коллективность политическихъ, соціальныхъ интересовъ.

— А у насъ, подхватывая на-лету его мысль и начиная развивать ее по-своему, залопоталъ Левіаѳановъ, — у насъ явленіе противоположнаго свойства. У насъ внизу безграмотная, темная масса, сверху искусственная, такъ-сказать, интеллигенція.

— Умственный пролетаріатъ! проронила княгиня.

— Именно такъ-съ, именно! Умственный пролетаріатъ... Элементъ опасный! примолвилъ онъ съ рѣшительностью, съ слишкомъ большою рѣшительностью!

Дина закусила слегка свою нижнюю губу, повела на него избока взглядомъ и спросила только:

— Вы находите?

Онъ тревожно взглянулъ на нее, — чѣмъ-то подозрительнымъ отдался въ его ухѣ этотъ простой, короткій вопросъ.

— Бьетъ-съ въ глаза! какъ бы очень сожалѣя объ этомъ, умильно взглянулъ онъ на нее:—у насъ *среднихъ* людей во-

все нѣтъ, обратился онъ къ графу,—и вслѣдствіе сего страшнѣйшій *провалъ*, какъ вы отлично изволили выразиться, между стихійною народною массой и высшеобразованными людьми, которые, въ свою очередь, вслѣдствіе избытка предложенія и бѣдности спроса, не находятъ соотвѣтствующихъ своему образованію занятій-съ.

— А вы находите, что у насъ слишкомъ много образованныхъ людей? прервалъ его вдругъ чей-то, раздавшійся за ними, рѣзкій по звуку и по выраженію голосъ.

Всѣ обернулись.

— Это пріятель мой, князь Пужбольскій, не могъ не засмѣяться графъ, и вопросительно вмѣстѣ съ тѣмъ взглянулъ на „педагога“: а тебя, же, молъ какъ назвать?

— Левіаѳановъ, Евпсихій Дороѳеичъ, представился тотъ:— имя не совсѣмъ обычное, началъ было онъ съ нѣсколько кислою усмѣшкой...

— Вотъ вы сейчасъ про *провалъ* говорили, не далъ ему досказать Пужбольскій, обращаясь къ нему, словно они вѣкъ были знакомы и сто разъ уже спорили объ этомъ предметѣ,— а чѣмъ вы, позвольте васъ спросить... comment le comblerez-vous... какъ вы его *закидать* будете, этотъ оврагъ?

— Да вотъ-съ уже одно изъ ближайшихъ къ тому средствъ, — образовательное заведеніе, какое предполагаетъ графъ, отвѣчалъ учитель, спрашивая себя въ то же время: это еще что̀ за новое чучело?

— Въ самомъ дѣлѣ! завизжалъ пламенный и раздраженный въ эту минуту противъ всего свѣта князь: — а вотъ въ его мысли — онъ кивнулъ на Завалевскаго, — его заведеніе должно готовить энтузіастовъ, борцовъ за *русскую* правду, за *русскій* идеалъ... И если это должно осуществиться, знаете ли противъ кого итти, кто Юліаны Отступники, съ кѣмъ придется воевать на смерть этимъ его будущимъ борцамъ?... Это вотъ тотъ самый „избытокъ“ soi-disant образованныхъ у насъ людей.

Княгиня Солнцева какимъ-то мимолетнымъ ироническимъ взглядомъ покосилась на Пужбольскаго.

— Вы совершенно правы, замѣтилъ ему, подлаживаясь

подъ этотъ взглядъ, Левіаѳановъ,—если мы подъ „образованными нашими людьми“ будемъ разумѣть исключительно какихъ-то отъявленныхъ Базаровыхъ.

— Отъявленныхъ! повторилъ князь:—mais je vous demande mille pardons, почтеннѣйшій Левіаѳанъ Дороѳеичъ! немилосердно коверкалъ онъ въ пылу негодованія... Наши Базаровы давно перестали лягушекъ рѣзать и на половину сидятъ теперь въ звѣздахъ и толстыхъ эполетахъ... Такъ какіе же у насъ „отъявленные“,—у насъ теперь одни *благонамѣренные* Базаровы остались, mon très-cher Дороѳей Левіаѳановичъ!... И вы себѣ представьте теперь, какъ легко независимому мнѣнію выступать съ ними въ-бой, на публичную арену!... Съ одной стороны—Базаровъ въ звѣздахъ, который, если посмѣешь сомнѣваться въ его благонадежности, потребуетъ, чтобы тебѣ административнымъ порядкомъ глотку *зажимали;* съ другой—вся орда Базаровыхъ безъ звѣздъ, которая во всѣ водосточныя трубы свои начинаетъ *поливать гражданскія слезы* и во всѣ свои вороньи горла каркать, что ты мерзостнѣйшій *„обскурантъ, врагъ реформъ,* газета *„Вѣсть“*, доносчикъ и шпіонъ,—excusez du peu!... А судьею надъ тобой сидитъ полишинель qu'on nomme le „русское общественное мнѣніе“, и чешетъ себѣ въ затылкѣ: ишь ты, говоритъ, я было думалъ того... что оно ничего, хорошо даже, а по либеральному-то выходитъ, что это *доносъ*... Ну, такъ *распинай!*...

Пужбольскій на этомъ словѣ поперхнулся и раскашлялся на весь садъ. Завалевскій разсмѣялся. Княгиня усмѣхалась прежнею, загадочною своею улыбкой. Левіаѳанову начинало какъ-то казаться, что относительно чаемаго имъ успѣха *бабушка еще на-двое сказала*, что онъ до сихъ поръ даже не видѣлъ ясно, за что можно было бы ему крѣпко уцѣпиться.

Онъ пустилъ на ва-банкъ:

— Я это главнымъ образомъ отношу-съ, сказалъ онъ,—къ тому прискорбному обстоятельству, что, при совершившемся у насъ общемъ переустройствѣ, высшее, независимое сословіе лишилось, вмѣстѣ съ главенствомъ своимъ и прямымъ вліяніемъ на народныя массы, и подобающаго ему значенія въ государственныхъ сферахъ.

— А-а! протянула вдругъ княгиня,—вы за аристократическій принципъ?...

Левіаѳановa даже передернуло.

— Да что же съ этимъ прикажете дѣлать, поворотилъ онъ на шутливый тонъ, — когда фактъ таковъ, что овцы видимо безъ пастырей остались!

— И имъ вотчинная полиція нужна? огорошилъ его вопросомъ Пужбольскій.

— Да... хоть бы такъ?...

— А пастырямъ право розогъ?

Левіаѳановъ усиленно захихикалъ:

— Что же-съ... въ Англіи сѣкутъ вѣдь...

— И больно! подтвердилъ князь.—А вамъ англійское государственное устройство и исторія его извѣстны?

— Ну, конечно!...

— Вы въ Англіи бывали?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ...

— Гнейста читали?

— Имѣлъ въ рукахъ, не смѣлъ окончательно солгать Левіаѳановъ, который, разумѣется, какъ *передовой* россійскій мыслитель, и понятія не имѣлъ о подобныхъ книгахъ.—„Да что онъ, въ самомъ дѣлѣ, экзаменовать меня хочетъ, этотъ козелъ рыжій?“ злобно спрашивалъ онъ себя между тѣмъ.

— А какъ вы думаете, допекалъ его между тѣмъ Пужбольскій, которому нужно было сорвать на комъ-нибудь сердце за неудачу свою у Марины,—если бы высшее наше сословіе въ томъ или другомъ видѣ получило дѣйствительно „главенство и вліяніе на народныя массы“, какъ вы изволите выражаться, мы такъ бы вотъ всѣ тотчасъ и обратились въ country gentlemen'овъ?... Вы вотъ первый, напримѣръ, какъ помѣщикъ...

— Я не помѣщикъ-съ, я скромный педагогъ, прервалъ его тотъ—и осклабился.

— Пе-да-гогъ! повторилъ озадаченный князь, который до этой минуты искреннѣйше убѣжденъ былъ, что собесѣдникъ его какой-то *уѣздный ретроградъ*, сосѣдъ Завалевскаго...

— Или даже вѣрнѣе того-съ, эксъ-педагогъ! счелъ нужнымъ, на свою бѣду, ближе объяснить Левіаѳановъ.

— Безъ мѣста! тотчасъ же и перевелъ себѣ это Пужбольскій, окинулъ быстрымъ взглядомъ педагога и тихо улыбавшагося подлѣ него Завалевскаго и вдругъ громко расхохотался...—Mais vous vous fichez de nous, mon cher monsieur! пробормоталъ онъ сквозь этотъ смѣхъ.

— Что-съ? спросилъ, не понявъ, Левіаѳановъ.

— А то-съ, что если вы не помѣщикъ, то какой можетъ быть для васъ интересъ жаждать вотчинной полиціи!

Левіаѳановъ не нашелъ отвѣта—и покраснѣлъ, въ первый разъ отъ рожденія...

— А впрочемъ, заговорилъ опять князь Пужбольскій,— если вы желаете укрѣпить себя въ иллюзіяхъ на счетъ того, какъ мы способны „вліять на народныя массы“, то я могу вамъ представить образчикъ...

Онъ не досказалъ и, снова расхохотавшись:

— Cousine, наклонился онъ къ княгинѣ, — je vais lui amener votre mari?...

Она взглянула на него, сдвинувъ брови... и не выдержала, разсмѣялась сама.

— Vous êtes un insolent, Alexandre!... Et pour vous punir—vous alles me donner le bras... и кромѣ того, вы мнѣ отыщете моего мужа. Мы сегодня уѣзжаемъ, надо отдать приказанія... Когда отходитъ поѣздъ? обернулась она къ Завалевскому.

— Въ девять часовъ десять минутъ вечера, отвѣчалъ онъ,—если отсюда выѣхать въ семь...

— Нѣтъ, нѣтъ, я смертельно всегда боюсь опоздать... Отпусти ужь насъ въ шесть, пожалуйста! проговорила она такимъ тономъ, — что „я знаю, конечно, какъ трудно тебѣ съ нами разстаться, но вѣдь что же дѣлать!...“

— Надобно предварить Іосифа Козьмича въ такомъ случаѣ, чтобъ онъ приказалъ къ этому времени лошадей...

— Хорошо, хорошо, я скажу ему! заторопился Пужбольскій подать руку княгинѣ: онъ ласкалъ себя мыслью увидѣть тамъ, у Іосифа Козьмича, Марину... Марину, которая не лю-

битъ его и любитъ другаго... и видъ которой, онъ зналъ, еще больнѣе разберединъ ему душу... Но *Рыбакъ*, у Гёте, тѣшилъ онъ себя, зналъ также, что̀ его ожидаетъ... и не могъ, не могъ, — полѣзъ въ воду... parcequ'on ne résiste pas à tant d'attraits...

И съ жалобнымъ вздохомъ проговоривъ про себя:

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn,

злополучный князь повлекъ за собою княгиню Солнцеву ко *двору*...

Они исчезли изъ виду прежде, чѣмъ Завалевскій успѣлъ внутренно рѣшить вопросъ: лучше-ли ему итти за Диной или оставаться съ Левіаѳановымъ...

А Левіаѳановъ, читая его недоумѣніе въ чертахъ его лица, рѣшилъ тутъ же, что окончательное объясненіе съ нимъ не изъ чего откладывать въ долгій ящикъ, — и приступилъ къ дѣлу немедленно:

— Скоро вы думаете открыть ваше заведеніе? обернулся онъ къ графу.

— Я ничего вамъ объ этомъ не могу сказать, отвѣчалъ ему тотъ не сейчасъ.

— Я осмѣлюсь васъ просить, развязно проговорилъ Евпсихій Дороѳеичъ,—имѣть меня въ виду для этого дѣла..! Это такое полезное, *реальное* дѣло, вырвалось у него безсознательно, — которому я готовъ посвятить всѣ силы и способности... И я смѣю надѣяться, примолвилъ онъ съ заискивающею, плоскою какою-то улыбкой,—что въ *убѣжденіяхъ* мы вполнѣ сойдемся...

— Не думаю! тихо сказалъ на это графъ.

Левіаѳановъ ушамъ своимъ не совсѣмъ повѣрилъ; онъ въ крайнемъ даже случаѣ такой откровенности не ожидалъ...

— Что̀ вы изволили сказать? переспросилъ онъ.

— Я сказалъ: не думаю! повторилъ такъ же спокойно Завалевскій.

— Вы не полагаете... чтобы наши убѣжденія могли...

— Не полагаю...

— Это однако довольно странно, пробормоталъ „педагогъ“:—и что же могло вамъ подать поводъ?...

— Нашъ разговоръ... сейчасъ... Завалевскій еле замѣтно усмѣхнулся.

— Нашъ разговоръ?... Левіаѳановъ начиналъ теряться. — Что же именно заключили вы изъ него?...

— Что ваши *убѣжденія* недостаточно *реальны!* услышалъ онъ неожиданный отвѣтъ.

Онъ поднялъ глаза и встрѣтилъ глаза Завалевскаго, строго остановившіеся на немъ... Онъ прочелъ въ нихъ себѣ, своему безстыдству, безповоротный приговоръ... Нижнюю губу его такъ и повело отъ злости...

— Позвольте полюбопытствовать, прошипѣлъ онъ сквозь стиснутые зубы,—въ чемъ же состоитъ *реальность* убѣжденій вашей *касты?*

Завалевскій усмѣхнулся невольно.

— Если вамъ подъ „кастой“ угодно разумѣть здравомыслящихъ у насъ людей извѣстнаго общества, то я, кажется, не ошибусь отвѣтить вамъ, что въ понятіяхъ этихъ людей, русскій народъ—не западный пролетарій и не польское *быдло.* Ни опасаться его, ни презирать наши высшія сословія основанія не имѣютъ; исторической розни между нимъ и ими никогда не было; „главенство“ надъ нимъ возлежитъ на нихъ не какъ право, а какъ обязанность, — какъ долгъ старшаго брата учить младшаго... А потому не права розогъ, а образованія, — *здороваго,* органически правильнаго образованія этимъ высшимъ нашимъ сословіямъ желаютъ *прежде всего* благомыслящіе у насъ люди... Безъ этого же такъ-называемое образованіе „народныхъ массъ“ есть колоссальный пуфъ или ядовитое оружіе, данное въ руки всякимъ политическимъ безумцамъ и интриганамъ... Согласны вы со мной? закончилъ графъ все съ тою же безпощадною улыбкою.

Левіаѳановъ поблѣднѣлъ, открылъ широко ротъ для возраженія... и ничего не сказалъ.

— Извините, что обезпокоилъ, круто повернулъ онъ на каблукахъ, и толстыя подошвы его сердито заскрипѣли по свѣженакиданному крупному песку аллеи...

Онъ остановился лишь у дверей Іосифа Козьмича, поглядѣлъ назадъ и въ раздумьи сталъ обгладывать свои ногти.

— Неужто-жь, въ самомъ дѣлѣ, стали они вдругъ такъ умны? промычалъ онъ про себя, покосился еще разъ на *дворецъ* Алаго-Рога, бѣлѣвшій сквозь темную зелень кленовъ и липъ, и улыбнулся своею желчною, безобразною улыбкой. — Петербургъ, военная гимназія, — не пропадемъ! рѣшилъ Левіаѳановъ и твердыми стопами вошелъ въ покинутую имъ за часъ назадъ гостиную...

XVI.

Онъ нашелъ тамъ хозяина, Вермана и незнакомаго ему щеголеватаго господина за ломбернымъ столомъ, разставленнымъ въ самой срединѣ комнаты; они играли въ *табельку*. Незнакомый Левіаѳанову господинъ былъ князь Солнцевъ. Онъ былъ очень веселъ, — ему только-что удалось выиграть очень сомнительный *мизеръ-увертъ*, и онъ повѣствовалъ по этому случаю своимъ партнерамъ, какъ выигралъ онъ однажды подобный же мизеръ съ королемъ и десяткою *бланкъ*.

— *Форсе* игра была? съ достоинствомъ спрашивалъ Верманъ, чувствовавшій себя чрезвычайно счастливымъ въ княжеской компаніи.

— Naturellement! смѣялся Солнцевъ, сдавая: — было это, во дворцѣ, un bal de mille personnes... Музыка, понимаете, дамы, de belles épaules... ну, Государь проходитъ... j'étais distrait... Хотя я всегда рискованно играю—это страсть моя!... но тутъ, дѣйствительно: un roi et dix, songez donc!... Играли мы вчетверомъ: князь Павелъ Павлычъ, баронъ Волкенштейнъ, я и... кто-же четвертый былъ?... Да, да, Печенѣговъ, le fameux Печенѣговъ! добродушно закивалъ онъ Верману, какъ бы въ полномъ убѣжденіи, что Верманъ непремѣнно долженъ знать „le fameux Печенѣгова".

Верманъ, въ свою очередь, сдержанно улыбнулся и слегка прищурилъ глаза, что въ его намѣреніи должно было изобразить, что „я, молъ, какъ теперь съ тобой играю въ карты, такъ завсегда могу играть и съ le fameux Печенѣговымъ, и съ барономъ, и съ самимъ княземъ Павелъ Павлычемъ, и никогда себя не уроню!..."

— Въ первой рукѣ, надо вамъ сказать, продолжалъ между тѣмъ Солнцевъ,—былъ баронъ Волкенштейнъ. Покупаю, говоритъ онъ, въ...

Но въ чемъ покупалъ баронъ Волкенштейнъ, осталось навсегда недосказаннымъ для партнеровъ князя Солнцева. Дверь изъ передней быстро отворилась, и въ нее вошелъ Пужбольскій. Вошелъ—и тутъ же и накинулся на злополучнаго разскащика.

— Скажите, пожалуйста! Я его по всѣмъ угламъ ищу, а онъ здѣсь, съ утра, картежничаетъ!... И для чего вы его балуете? обратился онъ къ Іосифу Козьмичу, который казался очень не въ духѣ и, наморщась, молча перебиралъ свои карты.

— Что же-съ, отвѣчалъ за него „монополистъ“, пріятно улыбаясь князю,—занятіе не предосудительное и правительствомъ дозволенное, коммерческая игра!...

— Коммерческая, не коммерческая, онъ во всѣ! И во всѣ проигрываетъ! дернулъ плечами на это Пужбольскій.

— Не твои проигрываю, свои! не совсѣмъ откровенно засмѣялся Солнцевъ.

— Ты бы и мои проигралъ, да трудно: у меня ихъ нѣтъ никогда!..

Это „острое словечко“ ужасно понравилось Верману.

— А вѣдь это хорошо, это удачно! закартавилъ онъ полушепотомъ, наклоняясь къ сидѣвшему по лѣвой его рукѣ Іосифу Козьмичу и подмигивая ему смѣющимися глазами.

Іосифъ Козьмичъ словно не слышалъ...

— Тебя жена ждетъ, сообщалъ тѣмъ временемъ Пужбольскій кузену.

— Que diable me veut-elle? досадливо пробурчалъ тотъ, подымая на него встревоженные глаза.

— Вы сегодня уѣзжаете...

— Вотъ-те на! вскликнулъ Солнцевъ.

— Вѣдь, кажется, утромъ, за чаемъ, еще ничего положительнаго на счетъ этого княгиня не рѣшила? заговорилъ въ первый разъ господинъ Самойленко, взглянувъ, въ свою очередь, на Пужбольскаго.

— Да,—но вотъ она мнѣ сейчасъ сказала... Она бы желала выѣхать отсюда ровно въ шесть часовъ...

Іосифъ Козьмичъ взглянулъ на часы, стоявшіе на каминѣ.

— А теперь третій въ началѣ... Надо подставу выслать...

Онъ съ лѣнивою важностью шевельнулся въ своемъ креслѣ, повелъ глазами и увидѣлъ Левіаѳанова, который, усѣвшись на стулѣ у окна и ухватившись руками за колѣно, саркастически поглядывалъ на всю эту незамѣчавшую его компанію.

— Позвоните, пожалуйста, сказалъ ему главноуправляющій,—на столѣ тутъ, на большомъ, колокольчикъ... И что же это такъ заторопилась княгиня? обратился онъ снова къ Пужбольскому.

— Est-ce qu'on sait jamais ce qu'elle veut! фыркнулъ, не давъ тому отвѣтить, Солнцевъ. — Вы женаты? спросилъ онъ неожиданно Вермана.

— Вдовый, улыбнулся и вздохнулъ заразъ „монополистъ".

— И не жалѣйте! La liberté, vous savez!..

— Ты милъ, Солнцевъ, я всегда говорилъ, что ты *милъ!*.. C'est votre tact inoui que j'admire toujours! проговорилъ Пужбольскій, стоя противъ него и глядя въ упоръ ему въ лицо.

Солнцевъ немедленно же сконфузился, опустилъ глаза и принялся тасовать свободную колоду.

— У васъ, кажется, поврежденіе какое-то въ экипажѣ? спросилъ его Іосифъ Козьмичъ.

— Да, гайка какая-то...

— За кузнецомъ съ утра послано,—должно быть, давно здѣсь... Вы позвонили? обернулся на Левіаѳанова „потомокъ гетмановъ".

Но тотъ, не удостоивъ его даже взгляда, поднялся съ мѣста и, подойдя къ Верману:

— А вы когда же думаете на чугунку? рѣзкимъ тономъ спросилъ онъ его.

— Не знаю, отвѣчалъ небрежно и не глядя на него „монополистъ":—*при двухъ князьяхъ* онъ почиталъ неприличнымъ допустить фамиліярныя съ собою отношенія такого *незначительнаго человѣка*, какимъ, по его мнѣнію, должны были эти

князья почитать Левіаѳанова;—меня просилъ заѣхать къ нему въ Орѣхово генералъ Суходольскій... такъ я еще, думаю, къ нему сегодня обѣдать поѣду,—а ужь развѣ завтра...

— Ну, и поѣзжайте къ своему генералу, отрѣзалъ ему на это „сынъ отечества“,—а я ужь доберусь до города своими средствами!

— Все равно, завтра я бы васъ довезъ, сказалъ Верманъ.— „Не выгорѣло у тебя, видно, братъ“, подумалъ онъ,—и даже подмигнулъ самому себѣ.

— Нѣтъ, ждать мнѣ некогда! коротко отвѣтилъ Левіаѳановъ—и, никому не поклонившись, вышелъ изъ комнаты, еще тутъ же, въ комнатѣ, напяливъ себѣ шляпу на голову.

— Эка шушера! пробасилъ господинъ Самойленко, не успѣла затвориться за нимъ дверь.

— D'où sort-il ce Rocambole là? удивился въ свою очередь Солнцевъ.

— Изъ милости, скажите, привезъ ихъ, изображая лицомъ своимъ обиду, а плечами презрѣніе, промолвилъ „монополистъ“,—и они же на меня въ претензіи!... Совсѣмъ необразованные люди, можно сказать!...

Пужбольскій даже и не замѣтилъ ничего,—онъ прохаживался по комнатѣ, тревожно заглядывая во всѣ углы и открытыя двери, въ чаяніи увидѣть гдѣ-нибудь свою *очаровательницу*...

— Марины Осиповны нѣтъ дома? рѣшился спросить онъ наконецъ Іосифа Козьмича.

— Не знаю! словно отрубилъ тотъ.

— Я ее видѣлъ... она домой шла, проговорилъ несвязно князь.

— Видѣлись съ ней? И господинъ Самойленко пристально взглянулъ на него.

Пужбольскій безотчетно потупился.

Еще мрачнѣе насупились густыя брови надъ круглыми глазами „потомка гетмановъ“...

— По случаю ихъ отъѣзда, мы обѣдаемъ сегодня въ четыре часа, сообщилъ ему князь:—вы будете?... А ты, что же, обратился онъ къ Солнцеву,—пойдешь къ женѣ?...

— Сейчасъ, вотъ сейчасъ кончимъ... Кому сдавать? заторопился злополучный супругъ.

Игра началась снова.

Пужбольскій продолжалъ свою прогулку по гостиной. Онъ успѣлъ сообразить въ головѣ расположеніе квартиры Самойленко—до этого дня онъ никогда не бывалъ въ ней:—онъ уже зналъ навѣрное, что эта, прямо противъ двери ведущей въ кабинетъ Іосифа Козьмича, запертая дверь вела въ комнату Марины, или ближайшую къ той комнату,—и онъ норовилъ все къ этой двери, наставляя ухо, не послышится-ли чего тамъ, за этою дверью, осторожно, какъ воръ, притрогиваясь рукою къ ней, къ замку... и тутъ же принимаясь опять шагать въ противоположную сторону, боясь, какъ воръ, быть пойманнымъ на мѣстѣ преступленія... Но, кромѣ владѣвшаго аргусовыми глазами Іосифа Козьмича, никто изъ играющихъ не замѣчалъ его невинныхъ продѣлокъ,—а Іосифъ Козьмичъ, что̀ говорится, и виду не казалъ... Пужбольскому удалось наконецъ ухватиться всею рукою за замокъ, повернуть его, потянуть къ себѣ... Дверь не подалась,—она очевидно была заперта на ключъ... Для князя не оставалось сомнѣнія: Марина заперлась у себя въ комнатѣ... послѣ *сцены* съ отцомъ,—недаромъ онъ глядѣлъ такимъ свирѣпымъ,—и всего вѣроятнѣе изъ-за него, Пужбольскаго, изъ-за того, что она отказала ему...

Ему стало невыносимо совѣстно—и онъ съ яростью, въ наказаніе себя, принялся выщипывать волосы изъ своей огненной бороды...

— До свиданья! торопливо проговорилъ онъ по адресу хозяина и выбѣжалъ въ садъ.

Онъ обогнулъ флигель и очутился на дворѣ, на который, онъ зналъ, выходило окно комнаты Марины... Окно это было закрыто, и стора съ разрисованнымъ по бѣлому ея фону большимъ, аляповатымъ букетомъ распущена была во всю ея длину... Пужбольскій прошелся раза два предъ этимъ окномъ, сорвалъ съ куста росшаго подъ нимъ *Иванъ-чая* цвѣтокъ и, тутъ же кинувъ этотъ цвѣтокъ въ тотъ же кустъ, отправился къ себѣ въ комнату, гдѣ, повалившись на постель, принялся, съ досады, за чтеніе.

XVII.

Къ обѣду собрались всѣ обитатели Алаго-Рога, за исключеніемъ Марины... Она сидѣла, попрежнему запершись въ своей комнатѣ, и не отозвалась даже на голосъ своей молодой прислужницы, постучавшейся къ ней въ дверь съ вопросомъ: будетъ-ли она обѣдать дома или во *дворцѣ?*... Ей не хотѣлось ѣсть, ей ничего не хотѣлось;—ни о чемъ не думать, ничего не чувствовать, *уничтожиться*, о, какъ сладко было бы это ей въ эту минуту!... Уснуть? Но сонъ не приходилъ, нервы ея были слишкомъ натянуты, слишкомъ чутки...

Іосифъ Козьмичъ не справился о ней, а когда въ столовой, предъ закускою, княгиня Солнцева обратилась къ нему съ любезнымъ вопросомъ: не будетъ-ли она имѣть случая увидѣть еще разъ предъ своимъ отъѣздомъ его *прелестную дочь?* онъ не имѣлъ силы сдержаться и, весь побагровѣвъ, отрѣзалъ": не стоитъ она этой чести, ваше сіятельство!"...

Княгиня съ любопытствомъ повела на него глазами... „Ужь не заперъ-ли онъ ее?" промелькнуло у ней въ мысли, но она тотчасъ же разсудила, что, въ случаѣ чего-либо подобнаго, такія существа какъ Марина въ окошко выскакиваютъ, разбивъ это окно предварительно собственною рукой, не боясь порѣзать ее о стекла, — и что слѣдовательно ни о какомъ насиліи со стороны господина Самойленки нечего думать, и что гнѣвная вспышка его вызвана была тѣмъ, напротивъ, сознаніемъ, что *ничего съ нею не подѣлаешь*...

Изъ-за чего могла произойти размолвка между отцомъ и дочерью, съ первой минуты отгадала это проницательная

Дина. Ей стоило только взглянуть на мрачнаго, раздувавшаго ноздри и отдувавшагося словно въ водѣ Пужбольскаго, который, ни съ кѣмъ не говоря, шагалъ вдоль и поперекъ столовой, въ ожиданіи запоздавшаго супа... *Неудача* прописными буквами начертана была для нея на его лицѣ...

Она значительно взглянула на Іосифа Козьмича—и еле замѣтно моргнула въ сторону князя...

Онъ гнѣвнымъ движеніемъ приподнялъ въ отвѣтъ свои слонообразныя плечи... Они поняли другъ друга.

— Это очень жаль, онъ отличный человѣкъ! сказала ему уже прямо Дина...—И вы не знаете отчего?...

Онъ промычалъ что-то сердитое, чего не разобрала она, и снова пожалъ плечами.

— Нѣтъ-ли тутъ *другаго*, вы не замѣчали? медленно роняя слова, почти шепотомъ проговорила на это княгиня.

Онъ растерянно глянулъ въ ея загадочные, коварные глаза...

— Большое было бы несчастіе! съ тою же выразительною медлительностью пронизала она его какъ иглою и тутъ же, отойдя отъ него, обратилась къ Завалевскому съ какимъ-то ничего не значившимъ вопросомъ.

За обѣдомъ Дина рѣшилась, повидимому, окончательно очаровать господина Самойленку. Она повела рѣчь объ *умныхъ людяхъ* и повела такъ, что каждое ея слово кадило сладостнѣйшимъ ѳиміамомъ прямо въ носъ Іосифа Козьмича; она доказывала, что *умный* человѣкъ есть по преимуществу человѣкъ *практическаго дѣла*, что въ настоящую минуту Россіи нужны даже *исключительно* только эти, практическіе люди; что, къ сожалѣнію, наше *такъ-называемое высшее сословіе* практичнымъ быть никогда не умѣло, а еще менѣе отличается этимъ качествомъ то, что̀ называетъ себя *русскою интеллигенціею*... „Весь этотъ *противный споръ*, говорила княгиня, который ведется въ газетахъ между *консерваторами* и *прогрессистами*, все это безсмысленно, все это *Дымъ* Тургенева, потому что спорятъ люди все того же закала, такіе же все *идеалисты*, съ тою только разницею, что одни преслѣдуютъ призракъ какой-то *уже совсѣмъ не земной чистоты*, а другіе

прозрѣваютъ впереди идола такого же грубаго и неумытаго, какъ они сами... Вся надежда на тѣхъ, немногихъ, *дѣйствительно умныхъ* людей, которые просто занимаются толково своимъ личнымъ, ближайшимъ дѣломъ... Они одни, своимъ трудомъ, опытностью, энергіею, приносятъ пользу, поддерживаютъ другихъ своимъ примѣромъ, одни они спасители и благодѣтели...."

Сладки были такія рѣчи Іосифу Козьмичу: этотъ „дѣйствительно полезный человѣкъ, спаситель и благодѣтель" — это былъ *онъ:* такой авторитетъ, какъ эта *умнѣйшая столичная дама,* освѣщалъ, такъ сказать, избранный имъ *практическій путь жизни,* оправдывалъ и закрѣплялъ въ его сознаніи то чувство уваженія къ собственной особѣ, которое онъ лелѣялъ въ себѣ съ юныхъ лѣтъ, и не оставлялъ уже въ немъ ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ его превосходства надъ этими, сидѣвшими съ нимъ теперь за столомъ, безполезными „идеалистами..."

И Іосифъ Козьмичъ, скромно поддакивая „умнѣйшей дамѣ" то одобрительнымъ кивкомъ, то неопредѣленнымъ, но явно сочувственнымъ мычаньемъ, поглядывалъ избока на своего патрона и Пужбольскаго, стараясь угадать по выраженію ихъ лицъ то впечатлѣніе, какое могли производить на нихъ слова княгини. Но если въ этихъ словахъ ея заключалось тайное желаніе вызвать друзей нашихъ на споръ, или просто уколоть, задѣть ихъ,—то цѣль ея не была достигнута. Оба они едва-ли понимали, слышали, о чемъ говорилось... Далеко бродили мысли Завалевскаго... Предъ Пужбольскимъ неотступно рисовалось окно, завѣшенное бѣлою сторой, съ большимъ на немъ букетомъ розъ, а за нею угадывался слишкомъ хорошо ему вѣдомый, прелестный женскій образъ съ распущенными волосами и неотразимымъ взглядомъ лучезарныхъ голубыхъ очей...

Ничего они оба не слышали, не понимали... За то Іосифъ Козьмичъ апробовалъ безусловно, а Солнцевъ въ подтвержденіе того, что говорилось его женою о пользѣ приносимой практическими людьми, принимался нѣсколько разъ, отъ полноты благодарнаго сердца, приводить въ примѣръ новаго

знакомца своего Вермана, — „монополистъ“ изловчился проиграть ему по грошевой игрѣ сто пятьдесятъ рублей съ полтиной, — но въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ благодарныхъ своихъ отзывовъ былъ каждый разъ останавливаемъ безпощаднымъ взглядомъ своей супруги:—„не интересно и безтактно“, говорилъ ему этотъ взглядъ... Онъ, *въ пику ей*, заговорилъ о томъ, какъ жалѣетъ онъ о предстоящемъ имъ отъѣздѣ,—что такъ мало *дозволено было* ему воспользоваться обществомъ *du cher cousin*, то-есть Завалевскаго, et du cousin *Alexandre*, что не успѣлъ онъ познакомиться ближе *со всѣми прелестями* Алаго-Рога, и такъ далѣе...

— Ты бы хоть проводилъ насъ, обратился онъ къ „cousin Alexandre'у,“ вотъ они—и онъ указалъ на Іосифа Козьмича,—ѣдутъ съ нами до подставы,—всего десять верстъ...

— Непремѣнно! неожиданно поспѣшилъ отвѣчать ему Пужбольскій.

— Мы всѣ поѣдемъ, сказалъ и Завалевскій.

Пужбольскій нахмурился: ни оставаться вдвоемъ, ни ѣхать вмѣстѣ съ Завалевскимъ не желательно было ему въ эту минуту.

— Ни за что, ни за что! вскликнула княгиня,—я не хочу, не позволяю тебѣ трогаться съ мѣста, Владиміръ!...

— За что же такая немилость? шутливо возразилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, умоляю тебя!.. Дальніе проводы—лишнія слезы! примолвила она, какъ бы съ невольнымъ оттѣнкомъ нѣжности, затаенная иронія которой была понятна лишь ему одному...

— Да будетъ воля твоя! безъ улыбки отвѣчалъ онъ ей на это...

Къ назначенному часу выѣзда, запряженная щегольски подобраннымъ воронымъ шестерикомъ, карета Солнцевыхъ и тройка саврасыхъ подъ тарантасомъ Іосифа Козьмича поданы были къ крыльцу. Мужчины, за исключеніемъ графа, тотчасъ же вышли къ экипажамъ на дворъ... На нѣсколько минутъ Дина и графъ остались одни...

Она сидѣла въ дорожномъ платьѣ и шляпкѣ, съ полу-

опущенною на лицо вуалью, натягивая перчатку на тонкую, длинную руку...

— Мы надолго разстаемся, по всѣмъ вѣроятіямъ, заговорила она, не подымая глазъ:—чего же ты мнѣ предъ разставаньемъ пожелаешь?..

Завалевскій невыразимо печально поглядѣлъ на нее,—подошелъ и протянулъ ей руку:

— Дина, тихо улыбнулся онъ,—я могу тебѣ пожелать лишь одного: да возвратится миръ...

Онъ пріостановился—и еще тише довончилъ:

— Въ твою *смущенную и страждущую* душу...

— У Пушкина въ „*озлобленную* душу" сказано,—у меня память хорошая! прервала она, оттолкнувъ слегка эту его протянутую руку... Vous avez cru devoir me ménager,—и за то спасибо!...

Она засмѣялась короткимъ, сухимъ смѣхомъ...

— *Тебѣ* этого желать не нужно! продолжала она тутъ же намѣренно безстрастнымъ, ледянымъ голосомъ; — ты и злоба, вы другъ друга не знали никогда... Ты *хотѣлъ*, боролся и страдалъ можетъ-быть очень много,—но, кромѣ тебя самого, никто ни крыльевъ, ни оружія твоего не видалъ... Изъ битвы жизни ты вышелъ *чистъ* и не изломанъ—и кончишь полнымъ смиреніемъ... И слава Богу!

— *Умякнуша словеса ихъ паче елеа, и та суть стрѣлы!* пришелъ на память Завалевскому стихъ псалмопѣвца....

Онъ все также тихо, грустно улыбнулся, закивалъ головой—и опуская ее:

— Дай Богъ, Дина, молвилъ онъ,—дай Богъ! Смиреніе—сила!...

Изъ-за опущенной своей вуали она метнула на него исполненнымъ презрѣнія и ненависти взглядомъ... и не выдержала,—не выдержала безконечной жалости къ ней, съ которою встрѣчали его глаза эту ненависть и презрѣніе... Она отвернулась, встала:

— Одинъ въ полѣ не воинъ, говорятъ... Надѣюсь, графъ Владиміръ Алексѣичъ, что вы по старой дружбѣ не забудете

извѣстить меня, когда вы примитесь за эту вашу „силу смиренія“ *вдвоемъ?*

И, горше слезъ горючихъ, болѣзненно откликнулся въ душѣ Завалевскаго внезапно зазвенѣвшій, безнадежный, проклинающій смѣхъ Дины...

Она направилась къ крыльцу, не оборачивая головы.

Карета съ открытою дверцей и ожидавшимъ ее у этой дверцы камердинеромъ Солнцева стояла у подъѣзда. Она быстро вспорхнула въ нее и тотчасъ же заставила сѣсть подлѣ себя Пужбольскаго, отправивъ мужа въ тарантасъ къ Іосифу Козьмичу.

— Bonne chance! послала она рукою изъ кареты поцѣлуй Завалевскому, подавая въ то же время слугѣ знакъ къ отъѣзду.

— Пошелъ! крикнулъ тотъ, ловко вскакивая на козлы и задѣвая за крючокъ ремень залоснившагося на солнцѣ кожанаго фартука..!

Экипажи тронулись...

Безъ шляпы, съ поникшею головой, какъ стоялъ на крыльцѣ, спустился со ступенекъ его Завалевскій — и прошелъ въ садъ боковою калиткой...

XVIII.

Стукъ колесъ, лошадиное ржанье, громкій говоръ людей на дворѣ пробудили Марину отъ ея оцѣпенѣнія. Она подошла къ окну, подняла стору:—со двора, огибая уголъ дома, выѣзжалъ дормезъ съ привинченными поверхъ и сзади его сундуками... Это экипажъ Солнцевыхъ—подобнаго этому нѣтъ другаго въ Аломъ-Рогѣ, Марина это знаетъ... Что же это значитъ?... Неужели уѣзжаетъ *эта женщина?* Такъ скоро? Сегодня... сейчасъ!... И для чего и какъ же это такъ скоро?... А вотъ и тарантасъ Іосифа Козьмича... Нѣтъ сомнѣнія,—она уѣзжаетъ,—онъ ѣдетъ провожать ее... А можетъ-быть и не одинъ Іосифъ Козьмичъ,—а и *онъ*... всѣ они навѣрное ѣдутъ *ее* провожать!...

„Она уѣзжаетъ... уѣзжаетъ?“ повторяла громко дѣвушка съ какимъ-то недовѣрчивымъ, боязливымъ чувствомъ смутной радости... Да, она боялась радоваться, — да и чему? Какую перемѣну принесетъ за собою для Марины этотъ отъѣздъ? И самый этотъ *фактъ отъѣзда*—онъ вызывалъ въ ней какое-то скорбное ощущеніе. Она и не знала о немъ, онъ произошелъ помимо ея, — она чувствовала себя какъ бы внезапно отрѣзанною отъ этой *общей жизни,* въ которой такъ недавно она была, казалось, необходимымъ звеномъ... Начнется-ли снова *та* жизнь?... Да и самое положеніе ея въ *этомъ домѣ* останется-ли тѣмъ, чѣмъ оно было? То, что сказала она сегодня Іосифу Козьмичу, въ присутствіи Вермана, — это не можетъ пройти безслѣдно... она это чувствуетъ, и она все-таки скажетъ ему опять то же, если вздумается ему объясниться съ нею по этому поводу... Но что тогда?... Тогда...

Но Марина не хотѣла загадывать впередъ... да и не способна была она къ тому теперь,—всѣ опасенія, догадки, соображенія ея стушевывались, исчезали предъ убѣжденіемъ, предъ этимъ все сильнѣе и сильнѣе охватывавшимъ ее чувствомъ радости: „*она* уѣзжаетъ, *она* уѣхала“...

И чутко, всѣмъ слухомъ прислушивалась дѣвушка къ гулкому ходу быстро удалявшагося дормеза Солнцевыхъ, за которымъ, скрыпя слегка свѣжими осями, поспѣшалъ доморощенный тарантасъ господина Самойленки.

Долго еще сидѣла она, прислушиваясь — и все еще не вѣря... Что же могло такое случиться, что побудило эту женщину уѣхать такъ скоро? допрашивала себя Марина — и не находила отвѣта. Звонъ часовъ въ гостинной донесся до нея сквозь запертую дверь... Она машинально считала за боемъ: разъ, два, три, пять, семь...—Какъ поздно! удивилась она.

Она поднялась, подошла къ своей двери, отщелкнула замокъ, прошла въ гостиную... заглянула въ кабинетъ Іосифа Козьмича, — никого нигдѣ, люди побѣжали всѣ на крыльцо *господъ провожать* и не возвращались, — домъ пустъ, двери въ садъ открыты настежь...

Не шелохнется тамъ,—въ саду; сквозь недвижную листву льются стройно косые лучи солнца; искорками горятъ на стволахъ сосенъ длинныя смоляныя капли; иволга выпѣваетъ вдали свое тоскливое колѣнце... Миръ и уединеніе кругомъ,— только воробьи торопливо щебечутъ по липамъ, словно передавая другъ другу только-что выпущенную сплетню.

Марина сошла въ садъ—и глубоко вздохнула; ее въ эту минуту можно было сравнить съ пташкою, только-что попавшею на волю, но у которой сильно еще болятъ крылья отъ спутывавшей ихъ за мигъ предъ этимъ нитки.

Медленно, какъ ходятъ больные, двинулась она по дорожкѣ, улыбаясь, какъ послѣ долгой разлуки, любимымъ своимъ кленамъ, и со страхомъ, чуть не съ отчаяніемъ противясь наплывавшему противъ воли ея въ ея душу какому-то блаженному, *безумному* чувству надежды.

Она вышла въ большую аллею, прошла ее всю вдоль, вплоть до балкона, до *милаго* балкона, остановилась у по-

слѣдней его ступеньки,—вздохнула—и пошла назадъ, уныло понурясь... На первомъ поворотѣ она машинально повернула вправо...

Въ глазахъ у нея потемнѣло... чуть не упала она... На деревянной зеленой скамьѣ, въ трехъ шагахъ отъ нея, сидитъ *онъ*, низко опустивъ голову, съ выраженіемъ какой-то безконечной, безъисходной печали...

Она кинулась къ нему, громко вскликнувъ, и опустилась, безсильная, рядомъ съ нимъ на скамью...

— Что съ вами? что, ради Бога? схватила она его за руку:—вы плакали?

— Я?... Нѣтъ... отчего вы думаете!... Какъ я радъ васъ видѣть! смущенно и ласково моргая вѣками глядѣлъ онъ на нее, силясь улыбнуться.

— Вы о *ней* думали... *которая сейчасъ уѣхала?*

— Да, отвѣчалъ застигнутый врасплохъ Завалевскій.

— Вы ее любите? пылко вскрикнула она.

— Не люблю—нѣтъ! молвилъ онъ качая головой,—изумленный, самъ не понимая, что заставляетъ отвѣчать его этому странному существу, такъ дерзко своими вопросами врывающемуся къ нему прямо въ душу.

— Не любите, замирающимъ отъ волненія голосомъ повторила она, наклонясь къ нему плечомъ къ плечу и заглядывая ему прямо въ глаза своими сверкавшими глазами:—не любите,—а думали о ней!...

— Да, думалъ... о судьбѣ ея думалъ, прошепталъ Завалевскій.

Марина слегка отодвинулась...

— Вамъ жаль ее? Почему? Чѣмъ заслужила она, чтобы вы жалѣли о ней? съ горечью кидала она ему свои слова:—*она* вамъ всю жизнь отравила, эта женщина! Я знаю!...

— Вы знаете? безсознательно повторилъ онъ,—даже не удивился...—Да, словно рѣшившись, примолвилъ Завалевскій,—я любилъ ее—и не любилъ никого больше... вся жизнь моя прошла такъ... Она меня отвергла...

— Безстыдница! вскрикнула Марина.

— Нѣтъ! тоскливо замоталъ онъ головой,—вы не знаете...

не знаете, сколько силъ было въ ней... чего хотѣла она!... Она права была!...

— Права! съ негодующимъ взглядомъ повторила дѣвушка,—и вы за это ее облагодѣтельствовали...

— Я дурно поступилъ, можетъ-быть, скорбно сжались брови Завалевскаго,—но спасти я ее не могъ... ни тогда, ни послѣ. Нѣтъ, не могъ! говорилъ онъ, не глядя на Марину, отвѣчая не ей, а все той долгой, грустной собственной думѣ, что уже давно клонила къ долу его рано посѣдѣвшую голову:—такихъ, какъ она, не спасаютъ...

Недоумѣвая слушала его Марина.

— Не плыть большому кораблю по мелководью, обернулся онъ къ ней улыбкой, — а *она* большой корабль, молодая особа!...

— И Богъ съ нимъ! отозвалась дѣвушка,—не нужно такихъ!

Онъ странно взглянулъ на нее:

— Видно, не нужно, еле слышно проговорилъ онъ,—если судьба ихъ—пропадать въ тинѣ... Не тѣмъ, видно, путемъ нужно, не тѣмъ большимъ ходомъ... На малое, не яркое дѣло отдай себя—смирись, жди... Смирись!...

Она слушала, едва переводя дыханіе...

Онъ всталъ со скамьи, прошелся,—и опять сѣлъ.

— Помните вы, обратился онъ къ ней,—какъ я васъ благодарилъ за ваше пѣніе, послѣ того какъ—ночью...

— Помню;—что же? не дала она ему кончить.

— Я вамъ сказалъ „спасибо“ тогда... И теперь—спасибо! Вашъ голосъ въ ту минуту, то, что вы пѣли,—долго вамъ разсказывать,—двумя словами скажу: огонь потухалъ... вы раздули его опять... да, вы! сказалъ онъ,—и свѣтлая улыбка освѣтила на мигъ его черты,—бываютъ такія минуты... что-то внезапное, будто свыше!... И я объ этомъ сейчасъ думалъ: *она* погибла,—я уцѣлѣлъ! Кругомъ ея могильная тьма и гниль...

— Вы все о ней, все о ней! вырвалось у Марины отчаяннымъ кликомъ:—а я... я, чтобы вы только не печалились, чтобъ были вы счастливы... я отдала бы всю себя сжечь, всю...

по кускамъ... Потому, что вы дороже мнѣ чѣмъ сто жизней... и жизни нѣтъ для меня безъ васъ!...

И, скользнувъ со скамьи, она безумнымъ движеніемъ пала къ ногамъ Завалевскаго—и уронила голову ему въ колѣни...

Онъ страшно смутился... Онъ не вѣрилъ, презрѣлъ, забылъ то, о чемъ предваряла его Дина,—это теперь оказывалось правдою, ошеломляющею правдою!...

Онъ приподнялъ ее за плечи, низко наклоняясь къ ея лицу и самъ весь дрожа нервною дрожью:

— Ради Бога, встаньте... встаньте, что̀ съ вами!

А она, всѣмъ охватывающимъ пламенемъ широко раскрывшихся зѣницъ своихъ погружаясь въ его растерянные глаза, говорила ему въ то же время:

— Мнѣ не нужно ничего... я не *она*... ни богатства вашего, на графства!... Берите меня *какъ есть!*

Цѣлый блаженный міръ пронесся на мгновеніе въ мысли Завалевскаго: восторги, счастіе, любовь, — все, что̀ измѣнило ему, чѣмъ обдѣленъ онъ былъ въ молодые дни, все это обольстительнымъ призракомъ, какъ бы въ насмѣшку, звало его къ себѣ теперь, на закатѣ жизни, устами чистаго и страстнаго созданія, распростертаго у его ногъ...

Онъ пересилилъ себя, отшатнулся, — съ какимъ-то испугомъ отдернулъ отъ нея свои руки.

— Подумайте, что̀ вы дѣлаете! Я старикъ! могъ только проговорить онъ...

Онъ боялся за самаго себя, — и непривычная ему, суровая нота зазвучала въ его голосѣ...

Она вскочила разомъ на ноги, вся выпрямилась, схватила себя обѣими руками за голову—и побѣжала отъ него прочь, словно ужаленная змѣею.

Онъ остался на скамьѣ, безъ словъ, безъ движенія...

— Марина Осиповна, куда вы? въ одно и то же время послышался ему въ большой аллеѣ голосъ Пужбольскаго и тяжелый скрипъ приближавшихся къ нему шаговъ...

Это былъ господинъ Самойленко. Онъ былъ важенъ и сумраченъ—и Завалевскій съ невольною тревогой заглянулъ ему въ лицо: онъ, очевидно, вмѣстѣ съ Пужбольскимъ. долженъ

былъ наткнуться сейчасъ на Марину... Не подозрѣваетъ-ли онъ?...

Но непроницаемо было лицо Іосифа Козьмича... Только въ голосѣ его почудилась графу какая-то несвойственная ему офиціальность, когда онъ, подойдя къ скамьѣ и не садясь,—какъ сдѣлалъ бы онъ по всей вѣроятности въ другое время,—остановился предъ своимъ патрономъ и доложилъ ему, что „княгиня съ супругомъ изволили благополучно доѣхать до *Вьюновъ* и оттуда поспѣшили проѣздомъ дальше, поручивъ ему, Самойленкѣ, передать свой сердечный поклонъ графу Владиміру Алексѣевичу“.

— Что вы не присядете? сказалъ ему Завалевскій, подвигаясь, чтобы дать ему мѣсто.

— Нѣтъ-съ, я ужь такъ... дома дѣло есть, отвѣчалъ довольно сухо главноуправляющій;—а я собственно хотѣлъ сообщить вамъ два слова насчетъ предполагаемой вами продажи лѣса...

— А что именно? спросилъ графъ, какъ бы непріятно пораженный этимъ извѣстіемъ.

— Верманъ, о коемъ я имѣлъ случай уже говорить вамъ, предлагаетъ очень хорошую, даже небывалую, можно сказать, въ сторонахъ нашихъ цѣну,—по пятидесяти рублей за десятину, и хоть весь лѣсъ кругомъ... Но я не совѣтую вамъ, такъ какъ цѣнность лѣсовъ съ каждымъ годомъ идетъ вверхъ, такъ-сказать баснословно; а потому, если вамъ угодно будетъ, можно было бы теперь тысячъ шесть десятинъ...

Завалевскій безпокойно задвигался на мѣстѣ.

— Нельзя-ли съ этимъ дѣломъ погодить, Іосифъ Козьмичъ?

— То-есть, какъ-же это „погодить“? изумленно и медленно переспросилъ тотъ,—и кровь замѣтно поднялась у него къ лицу.

— Мы всегда успѣемъ продать... а я въ настоящее время... — Завалевскому очевидно не хотѣлось объяснять своему „губернатору“ причину такой внезапной перемѣны въ своихъ намѣреніяхъ, — мнѣ теперь большихъ денегъ не нужно... я хочу попробовать въ меньшемъ масштабѣ...

„Врешь ты!“ съ невыразимою злостью сказалъ себѣ г. Самойленко.—Вы, можетъ быть, молвилъ онъ громко:—желали бы сами переговорить съ покупщикомъ,—или даже поручить кому-нибудь, помимо меня, устроить вамъ это дѣло?

— Ни говорить самому, ни поручить что-либо другимъ я не желаю, Іосифъ Козьмичъ, отвѣчалъ тихо, но твердо графъ:—повторяю, мнѣ теперь большія деньги не нужны.

— Ваша воля! отрѣзалъ на это „потомокъ гетмановъ“:—но вы мнѣ позвольте, по крайней мѣрѣ, примолвилъ онъ, едва сдерживаясь,—послать сказать Самуилу Исааковичу,—онъ въ настоящее время у генерала Суходольскаго,—чтобъ онъ уже не безпокоился пріѣзжать сюда опять... Напрасно обезпокоили только человѣка!...

— Сдѣлайте милость... мнѣ очень жаль! извинялся Завалевскій.

Іосифъ Козьмичъ дотронулся слегка до своей фуражки и, повернувшись налѣво кругомъ, отправился во-свояси аки левъ рыкаяй...

Завалевскій поднялся вслѣдъ за нимъ съ мѣста и задумчиво направился къ дому.

XIX.

Ужь давно стемнѣло... Онъ сидѣлъ, одинъ, въ кабинетѣ, и думалъ,—думалъ объ этомъ уходящемъ днѣ. Тяжелъ и знаменателенъ былъ для него этотъ день. Утромъ Дина... *Послѣдняя* бесѣда его съ нею — онъ понималъ, что это былъ окончательный, безповоротный разрывъ,—глубоко залегла ему въ душу... Куда, на что̀ ушли ея великія душевныя силы? Какъ въ этой безплодной борьбѣ съ мертвецами, которыхъ мечтала воскресить она, притупилось ея собственное нравственное чутье!... Она колола его „непрактичностью, „идеальничаніемъ", тѣмъ, что̀ „изъ битвы жизни онъ вышелъ чистъ"... А сама она, цѣною нравственной чистоты своей, — чего она достигла?... Нѣтъ, думалъ Завалевскій,—безплодны тѣ гордые замыслы... не ждать вамъ отъ нихъ воскресенія... *Иже убо смирится яко отроча сіе, той есть болій во царствіи небеснѣмъ.* Съ дѣтскою вѣрой и смиреніемъ примись за свое малое дѣло — и не смущайся призракомъ, что могъ бы ты большое дѣло дѣлать... Нѣтъ большаго дѣла!...

Безполезно прошла вся его жизнь, но онъ не жалѣлъ объ этомъ: — мы уже знаемъ, — онъ не вѣрилъ въ *пользу*... Онъ вѣрилъ въ другое что-то, высшее, само въ себѣ сущее, — въ *духъ* человѣческій онъ вѣрилъ... и тосковалъ онъ теперь о томъ, что такъ много жизни потрачено было имъ на безплодныя исканія... Онъ пріѣхалъ сюда, въ Алый-Рогъ, съ широкою затѣею—и самъ не вѣрилъ въ нее, и нуженъ былъ этотъ молодой, женскій голосъ... „Не пахана, не бороненная", вспомнились ему слова ея пѣсни... „Запрягись *самъ* въ плугъ",

говорилъ онъ себѣ теперь съ какимъ-то невольнымъ внутреннимъ паѳосомъ, — въ молодыхъ, непочатыхъ душахъ прорѣзывай неизгладимыя борозды любви и святыхъ упованій, и не ищи ничего инаго,—„ты на землѣ совершилъ все земное“... О, если-бы это всѣ понимали, какъ понимаю это я,—еслибы по всѣмъ уголкамъ бѣдной моей родины такіе же *безполезные* люди какъ я принялись за это *дѣло души*, за это *малое*—и безконечно великое дѣло!“ Институтъ, затѣянный Завалевскимъ, представлялся ему теперь *нестерпимою казенщиной*, рано или поздно обѣтованнымъ удѣломъ *благонамѣренныхъ* Левіаѳановыхъ... Нѣтъ, онъ не предастъ своей мысли на поруганіе, не подготовитъ почвы для враговъ! Онъ самъ приготовитъ бойцовъ... „за Бога, за семью, за родину“, какъ выражалась Дина,—за все то, чему сама она перестала вѣрить! Онъ найдетъ тутъ же, въ бывшей своей вотчинѣ, пять, шесть сиротъ, онъ будетъ самъ ихъ воспитателемъ, учителемъ, онъ отдастъ имъ душу свою... онъ еще не старецъ,—ему сорокъ шесть лѣтъ,—онъ еще можетъ дождаться жатвы! Онъ чувствуетъ — онъ способенъ вліять, благотворно дѣйствовать на чужую душу... Юноши, имъ воспитанные, во всеоружіи пойдутъ, въ свою очередь, на это дѣло жизни, въ свою очередь станутъ готовить крѣпкихъ, доблестныхъ руководителей, учителей народа... Не его деньгами, его духомъ созиждется нерушимое гнѣздо!..

Да, онъ способенъ вліять, онъ не можетъ этого не видѣть... Марина, это странное и прелестное созданіе,—ея обаятельный образъ, колѣнопреклоненный предъ нимъ, возставалъ неустанно въ его памяти и неодолимымъ смущеніемъ наполнялъ его душу,—какъ слѣдуетъ понимать тотъ едва вѣроятный порывъ, что̀ привелъ, что̀ кинулъ ее сейчасъ къ его ногамъ?... Нѣтъ, онъ не повѣритъ, не можетъ, не *долженъ* вѣрить... пора любви прошла для него навсегда... ему-ли, съ его сѣдою головой, съ этими печальными морщинами на усталомъ челѣ,—ему-ли вызывать любовь... любовь, такъ безжалостно посмѣявшуюся надъ нимъ въ лучшіе дни его юности?... То, что̀ говорила она ему,—тѣ слова, что̀ палили ему теперь сердце,—это обманъ одинъ,—обманъ пылкой молодой души,

алчущей *слова* и *свѣта* и въ невѣдѣніи страстнаго стремленія не умѣющей отличить сосудъ отъ хранящагося въ немъ содержанія... Онъ увидится съ нею, объяснитъ... онъ безтолково оттолкнулъ ее сейчасъ, онъ испугался... Чего испугался онъ? И онъ чувствовалъ, какъ блѣдныя его ланиты горѣли отъ приливавшей къ нимъ крови... Онъ чувствовалъ, какъ жадно—и боязливо какъ—хотѣлось бы ему увидѣть ее скорѣе, и что бы онъ далъ, чтобы пережить опять то страшное и блаженное мгновеніе, когда, вся пламень и жизнь, сжимала она его холодныя руки и говорила ему: „Мнѣ ничего не нужно... возьмите меня *какъ есть!*...“

Онъ заходилъ по кабинету, силясь отстранить соблазнъ этихъ представленій и снова приковать смущенную мысль къ тому „гнѣзду“, къ той *смиренной* школѣ, въ которой видѣлъ онъ теперь для себя и лучшую задачу, и спасеніе... Но успокоиться не суждено ему, видно, было.

— Ты здѣсь, Завалевскій? донесся до него изъ другой комнаты громкій голосъ Пужбольскаго.

— Здѣсь.

Князь переступилъ черезъ порогъ, отыскалъ пріятеля глазами въ полутьмѣ покоя и повалился въ первое попавшееся ему кресло, съ видомъ человѣка, который отъ усталости ногъ подъ собою не чувствуетъ.

— Я исходилъ садъ, не останавливаясь, четырнадцать разъ кругомъ, началъ онъ ex abrupto съ видимо напускною развязностію:—садъ имѣетъ въ окружности три тысячи четыреста восемьдесятъ восемь шаговъ; помноживъ это число на четырнадцать...

— Очень много выходитъ, прервалъ его разсчеты графъ,— и ты...

— J'avais besoin de cet exercice pour me calmer *), не далъ ему кончить тотъ,—хотѣлъ получить возможность переговорить съ тобою хладнокровно, промолвилъ онъ, закуривая сигару о зажженную имъ спичку, и, пользуясь мгновен-

*) Мнѣ нужно было это движеніе, чтобъ успокоиться.

нымъ огнемъ этой спички, безпокойно глянулъ въ лицо Завалевскаго.

Графъ тотчасъ же догадался, о чемъ это нужно было Пужбольскому переговорить съ нимъ; сердце у него ёкнуло.

— Говори! сухо проговорилъ онъ.

— Сегодня утромъ, повиновался немедленно князь,—между двѣнадцатью и часомъ, въ томъ большомъ лѣсу, гдѣ, ты помнишь, мы такой необыкновенно огромный бѣлый грибъ нашли, я предложилъ дочери твоего управляющаго, mademoiselle Samoïlenko, сердце мое, особу и все, что̀ соблаговолили оставить мнѣ на пропитаніе Толкачевъ, Горбачевъ, et toute la satanée kyrielle que vous savez. Я просилъ ея руки...

— Ты! невольно воскликнулъ Завалевскій!

— Я! пыхнулъ сигарою Пужбольскій, — потому что я глупъ, какъ пробка, что̀ нынѣшнее утро и доказало мнѣ еще разъ до осязаемости.

— И она?... голосъ дрогнулъ у графа.

— Она?... Elle m'a envoyé paître *), что̀ мнѣ слѣдовало предвидѣть, и что̀ я въ сущности и предвидѣлъ... и все-таки полѣзъ, потому что, какъ говоритъ Байронъ: who, alas, can love and then be wise! **) или какъ въ русской пословицѣ: *что у каждой старухи есть своя прорва...*

Какъ ни мало былъ расположенъ къ веселости Завалевскій, онъ не могъ не засмѣяться.

— Vous auriez du être plus généreux! воскликну́лъ не безъ горечи князь:—не годится Цезарю глумиться надъ Помпеемъ!...

— Это ты меня Цезаремъ называешь? воскликнулъ, въ свою очередь, графъ.

— Тебя!... И ты отрицать это даже права не имѣешь, потому тебѣ въ этомъ признались прямо, въ лицо!...

Завалевскій, не отвѣчая, склонилъ голову, словно пойманный въ преступленіи.

---

*) Она отказала мнѣ.

**) Кто, увы, можетъ любить и въ то же время быть мудрымъ.

А пріятель его пояснилъ съ какимъ-то злорадствомъ, наслаждаясь его растерянным видомъ:

— Сегодня, между семью и восемью, въ саду, за пять минутъ предъ нашимъ съ отцомъ ея возвращеніемъ сюда!

— Ты видѣлся съ нею? быстро подошелъ къ нему графъ.

— Видѣлся!

— И она тебѣ сказала?...

— Не сказала ничего, я самъ угадалъ... Угадать было не трудно,—elle n'avait pas figure humaine! *)

— Боже мой, вѣдь это безуміе! вырвалось отчаянно у Завалевскаго.

— Безуміе, подтвердилъ съ ироніей князь:—и я говорилъ ей, что это безуміе, и она лучше обоихъ насъ знаетъ, что это безуміе... И поэтому мнѣ безконечно жаль ее! завизжалъ онъ внезапно на самыхъ верхнихъ нотахъ своего голоса, — потому что она прелестнѣйшее существо на свѣтѣ... et que je l'aimerai, quoiqu'elle m'aie envoyé paître, jusqu'à la fin de mes jours!...

И Пужбольскій, безсильный сдерживаться болѣе, пустилъ сигарою своею въ стѣну. Ударъ попалъ въ большую гравюру съ Рафаэлевскаго *Преображенія*... Треснувшее стекло слабо зазвенѣло...

— Не вели вставлять новаго! воскликнулъ онъ, вскакивая съ мѣста:—пусть это останется на вѣки у тебя памятью того дня, когда ты безжалостно оттолкнулъ восхитительное Божіе созданіе... pour l'amour de laquelle я готовъ былъ, кажется, me faire capucin и всю жизнь глотать деревянное масло!... Теперь bonsoir, потому что весь мой запасъ хладнокровія выдохся и мнѣ опять надо четырнадцать разъ обѣжать садъ.

Онъ быстрыми шагами направился къ двери.

Завалевскій кинулся за нимъ, схватилъ его за руку.

— Не до буфонствъ, Пужбольскій!... Ты мнѣ скажи,—ты ее видѣлъ,—какъ нашелъ ты ее?

— А такую я ее нашелъ, отвѣчалъ князь послѣ минут-

*) На ней человѣческаго лица не было.

наго молчанія,—что на первый даже взглядъ недобрымъ чѣмъ-то на меня повѣяло... On ne sait pas, que diable! Особенно теперь, когда они со своимъ „прогрессомъ“ такъ устроили, что жизни человѣческой три гроша цѣна!... Я ей прямо далъ почувствовать, что она... что это... А она подняла на меня свои божественные глаза и говоритъ мнѣ: „смириться надо, не роптать...“

Подъ рѣсницами Завалевскаго набѣжали слезы. Это были *его* слова!... Не одну себя, всю свою гордость повергала она къ его ногамъ...

Онъ зашагалъ опять по комнатѣ въ невыразимомъ волненіи.

— Вѣдь это же невозможно, Пужбольскій, это было бы преступленіемъ... Вѣдь я чуть не тридцатью годами ея старѣе, вѣдь она мнѣ во внучки годится!... Что общаго между этою молодою жизнью и мною?

— Что общаго? крикнулъ на него князь.—А то именно, что она тебѣ не *дочь*, а *внучка* выходитъ!... *Дѣти* объявили насъ трутнями и болванами, которые иного дѣлать не умѣли какъ in's Blaue къ звѣздамъ парить, и похѣрили они заодно и звѣзды, и насъ... А *внукамъ* въ отцовскомъ болотѣ нестерпимо темно стало... Звѣздъ опять проситъ молодая жизнь,—довольно ей блудящихъ огней... свѣтилъ проситъ, de vrais astres au ciel!... И ты *ее* не понялъ... не понялъ! завизжалъ онъ, схватываясь за волосы:—куда же *ей*, къ кому, гдѣ свѣтъ, гдѣ тепло? Развѣ ты не видишь qu'elle a l'étincelle divine! А кругомъ ея что, что?... Nous les savons par coeur les продукты современнаго огорода, le передовой акцизный чиновникъ, et le либералъ-офицеръ генеральнаго штаба!... Развѣ того душа ея проситъ? Вѣдь она же не меня, *тебя* она избрала,—чуть не рыданіе послышалось въ горлѣ бѣднаго Пужбольскаго,—умѣла же она понять!... А онъ не можетъ, не хочетъ!...

И Пужбольскій, внѣ себя, цѣпляясь дорогой за стулья и столы, побѣжалъ въ свою комнату, расположенную въ противоположномъ концѣ дома.

Черезъ четверть часа пришелъ къ нему Завалевскій... Бесѣда друзей на этотъ разъ продолжалась далеко за полночь... Имъ въ голову не могло прійти, что въ это самое время происходило во флигелѣ, занимаемомъ господиномъ Самойленко...

XX.

Какъ туча грозный вернулся изъ сада Іосифъ Козьмичъ... Къ немалому своему удивленію, онъ засталъ у себя въ столовой, чрезъ которую проходилъ онъ въ кабинетъ, Вермана, котораго ожидалъ никакъ не ранѣе завтрашняго дня. „Монополистъ“ сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ и жадно доѣдалъ какую-то поданную ему половину холодной индѣйки...

— Извините, что безъ васъ распорядился, многоуважаемый, объяснилъ онъ хозяину, — чуть съ голоду не умеръ просто...

— Не застали генерала? коротко спросилъ тотъ.

— Утромъ въ городъ уѣхалъ, какъ нарочно,—и со всѣмъ семействомъ... Хлѣба куска тамъ достать не могъ, повѣрите!... Вернулся къ вамъ и...

— Неудачный для васъ день! отрѣзалъ господинъ Самойленко.

— А что? поднялъ на него глаза Верманъ, встревоженный его тономъ.

— Что!—Пошелъ вонъ! обернулся главноуправляющій къ прислуживавшему гостю слугѣ.—Мимо проѣхало,—вотъ что! объяснилъ онъ Верману, едва остались они вдвоемъ.

„Монополистъ“ только глазами заморгалъ,—онъ не совсѣмъ сообразилъ еще.

— Не продаетъ, — понялъ ты? крикнулъ ему Іосифъ Козьмичъ.

— Какъ не продаетъ? даже поблѣднѣлъ слегка Верманъ.

— А вотъ такъ, что ему большія деньги не нужны теперь...

— Да вѣдь онъ самъ же, говорили вы, въ шею гналъ васъ, чтобы деньги ему скорѣе?...

— Ну, а теперь не нужно!... Въ маломъ, говоритъ, масштабѣ думаю... Да вретъ онъ,—не то совсѣмъ, вретъ! захлебывался г. Самойленко, расхаживая по комнатѣ, какъ въ клѣткѣ разъяренный левъ.

— *Сомнѣвается*—полагаете? смекнулъ „монополистъ“— и выронилъ вилку изъ рукъ.

Іосифъ Козьмичъ внезапнымъ оборотомъ сталъ стоймя предъ нимъ, весь багровый.

— Змѣю за пазухой выростилъ я, пропустилъ онъ сквозь спиравшееся отъ гнѣва горло, — оттуда идетъ, понимаешь?...

Верманъ не на шутку перепугался.

— Выпейте, выпейте, многоуважаемый! захлопоталъ онъ, наскоро наливая полный стаканъ воды и подавая ее пріятелю...

Тотъ выпилъ ее залпомъ и—судорожнымъ движеніемъ рванулъ съ себя галстукъ.

— Змѣю выростилъ! повторилъ онъ глухо.

— Никогда того быть не можетъ, не повѣрю, великодушно вступился „монополистъ“, — чтобы такая благородная и образованная дѣвица какъ...

— А сегодня утромъ, перебилъ его господинъ Самойленко, — не слышалъ ты самъ, какъ она... Кто тамъ? крикнулъ онъ вдругъ на скрипъ осторожно отворявшейся изъ передней двери.

— Я... Осипъ, отвѣчалъ надтреснувшій голосъ — и въ дверь бочкомъ, сгорбясь, пролѣзла жабообразная фигура хромаго кузнеца:—приходить, сказывалъ Лаврентій, приказывали...

— Приходить! такъ и накинулся на него главноуправляющій,—драть тебя, такъ и то мало!...

— Что-жь драть-то! пробормоталъ кузнецъ, перебирая между пальцами свою неизбѣжную мѣховую шапку,—напрасно, за что драть-то!...

— Напрасно! подбѣжалъ къ нему съ поднятыми кулаками „потомокъ гетмановъ“: — а колеса въ тарантасѣ моемъ ты смотрѣлъ?...

— Смотрѣлъ...

— Смотрѣлъ, подлецъ, а что хлябаютъ кругомъ шины, не видалъ?

— Новыя, извѣстно, — ссохлись, объяснялъ Осипъ, конфузливо опуская мѣшки своихъ вѣкъ на глаза.

Іосифъ Козьмичъ такъ и затопалъ на мѣстѣ.

— Такъ на это, распротоканалья ты эдакая, держу я тебя кузнецомъ, чтобы ты, ерепей мерзопакостный...

Голосъ Вермана прервалъ ругательства его на половинѣ.

— Гдѣ у васъ сигары, многоуважаемый? говорилъ онъ,— мои всѣ вышли...

— А вотъ сейчасъ... Погоди меня здѣсь, я съ тобой не кончилъ! крикнулъ кузнецу господинъ Самойленко и направился вслѣдъ за Верманомъ въ кабинетъ.

Дверь за ними затворилась; „хромой бѣсъ“ остался одинъ...

Быстро наступалъ вечеръ. Кузнецъ все ждалъ... но дверь кабинета все такъ же оставалась затворенною... никто не звалъ его. Отмороженная нога его затекла,—онъ осторожно опустился на кончикъ ближайшаго къ передней стула, прикорнулъ головой къ притолкѣ и—тутъ же задремалъ...

Часы въ освѣщенной гостиной Іосифа Козьмича только-что отзвонили одиннадцать ударовъ, когда онъ съ Верманомъ вышли туда изъ полутемнаго кабинета, въ которомъ они до того времени переговаривались о неожиданномъ оборотѣ, принятомъ *ихъ дѣломъ*, и о средствахъ его поправить... Остаться ночевать въ Аломъ-Рогѣ „монополистъ“ не согласился: ему, увѣрялъ онъ, необходимо было захватить въ городѣ одного пріятеля, который съ первымъ утреннимъ поѣздомъ собирался въ Харьковъ ѣхать, такъ что онъ его едва застать успѣетъ... Іосифъ Козьмичъ не настаивалъ...

Онъ проводилъ гостя до крыльца.

— Прощайте, до скораго свиданья, почтеннѣйшій другъ! говорилъ „монополистъ“, усаживаясь въ свой экипажъ: — я увѣренъ, что, при вашемъ умѣ, все устроится къ лучшему по вашей фантазіи... Маринѣ Осиповнѣ мое почтеніе прошу засвидѣтельствовать, заключилъ онъ подъ звонъ бубенцевъ и грохотъ задвигавшихся колесъ...

— Я вотъ ей засвидѣтельствую! пробурчалъ господинъ

Самойленко, оставшись одинъ на крыльцѣ, — и медленными шагами поворотилъ назадъ.

Не успѣлъ онъ войти въ гостиную, какъ на порогѣ дверей, выходившихъ въ садъ, вырисовалась предъ нимъ стройная фигура Марины, вся свѣтлая на темномъ фонѣ сада...

Она увидѣла его, на мигъ остановилась въ дверяхъ и— вошла въ комнату, блѣдная и спокойная.

У Іосифа Козьмича даже губы задрожали...

— Откуда, сударыня? началъ онъ, едва сдерживаясь.

— Изъ саду, какъ видите...

Она опустилась въ кресло и сложила руки на колѣняхъ, какъ бы готовясь слушать... Лицо ея приняло выраженіе чего-то преднамѣреннаго и рѣшительнаго...

Онъ быстро прошелся по комнатѣ—и вдругъ остановился предъ ней.

— Что же вы цѣловались тамъ съ нимъ въ саду?...

Какъ отъ прикосновенія горячаго желѣза, вся вздрогнула Марина.

— Про кого это вы говорите?

— Про кого-жь, какъ не про графа вашего! злобно отрѣзалъ онъ ей въ отвѣтъ.

Она улыбнулась,—чего стоило ей эта улыбка!..

— Вы знаете, что это не можетъ быть;—къ чему же вы говорите? тихо вымолвила она, и руки ея упали снова на ея колѣни.

Господинъ Самойленко никакъ не ожидалъ этого спокойствія,—оно его еще болѣе раздражило.

— Я всего въ правѣ ожидать послѣ вашего *пассажа!* крикнулъ онъ на нее:—дерзости я еще могъ бы простить,— подлости никогда!..

Марина подняла на него свои потускнѣвшіе и изумленные глаза: онъ упрекалъ ее въ *подлости!*..

— Вы осмѣлились передать *ему*, захлебывался межъ тѣмъ Іосифъ Козьмичъ, — передать подслушанное... перевранное вами...

Она только плечами пожала.

Онъ наклонился къ ея креслу, сжимая кулаки...

— Ты меня, сквернавка ты эдакая, захрипѣлъ онъ, забывая уже всякую удержь, — ты меня предъ жидомъ смѣла воромъ назвать... меня, Самойленку!.. Да мало того, шпіонничать пошла, нашептывать на меня своему... чортъ васъ знаетъ, чѣмъ онъ тебѣ приходится!..

Она молчала, недвижимая какъ мраморная глыба... Только пальцы до боли стиснутыхъ ею рукъ хрустѣли въ отвѣтъ его бѣшенымъ ругательствамъ.

— Да говори же, отвѣчай!—его все сильнѣе приводила въ ярость неожиданная ея невозмутимость:—не ты развѣ отсовѣтовала графу лѣсъ продавать?..

— Я ничего не совѣтовала, все такъ же тихо промолвила она.

— Врешь ты, врешь! затопалъ онъ на нее ногами.

Она вскинула на него взглядомъ.

— Солгала-ли я вамъ хотя разъ въ жизни? сказала она только.

— Такъ кто-жь его научилъ! уставился на нее Іосифъ Козьмичъ:—не святымъ же духомъ осѣнило его, чтобъ онъ съ утра на вечеръ съѣхалъ, съ *хочу* на *не хочу*?..

— Развѣ такъ трудно ему самому догадаться... что вы его обманываете? отвѣчала на это Марина.

Искры запрыгали въ зрачкахъ „потомка гетмановъ“... Онъ схватился за стулъ...

— Да какъ ты смѣешь... въ глаза... мнѣ... еще разъ... Знаешь ли ты... что я тебя могу...

Она еще разъ глянула ему въ лицо.

— Что вы можете? спросила она.

— Въ ничтожество, въ холопство обратить тебя могу! заревѣлъ онъ,—и стулъ затрещалъ подъ его сильною рукой...

— Вы можете оскорблять меня, сказала Марина,—я все снесу... *добровольно*... Но права надо мною вы не имѣете... вы мнѣ не отецъ!..

— Я тебѣ не отецъ? озадаченно повторилъ Іосифъ Козьмичъ:—такъ кто же я тебѣ?..

— Мужъ моей покойной матери.

— Мужъ твоей... А твой... твой отецъ кто же, по-твоему?..

— Вы знаете, избѣгая встрѣтиться съ нимъ глазами, отвѣчала она:—отецъ мой князь Анатолій Сергѣичъ Серебряный...

— Анато-лій Серг... Князь Анатолій Сергѣ... Ха, ха, ха! Княжна! Сіятельная!.. Княжна! хохоталъ какъ въ истерическомъ припадкѣ Іосифъ Козьмичъ...

— Моя мать вамъ сама въ этомъ призналась, прервала его Марина,—и вы... вы простили ей... вы хорошо тогда поступили!..

— Твоя мать мнѣ призналась? повторилъ онъ, почти испуганно тараща на нее свои воспламененные круглые глаза:—да ты обезумѣла что-ли совсѣмъ?..

Она, вся блѣдная, недоумѣвающая, воззрилась на него:

— У меня доказательство есть! пробормотала она и кинулась въ свою комнату.

— Ваша рука,—не помните? быстро возвращаясь и протягивая Іосифу Козьмичу бережно хранившійся у нея клочокъ его письма къ Маріѣ Ѳадѣевнѣ, промолвила Марина.

Онъ вырвалъ у нея листокъ, подошелъ къ лампѣ, пробѣжалъ его... Еще злѣе забѣгали его зрачки... Безобразенъ былъ въ эту минуту Іосифъ Козьмичъ!

— И вы изъ этого,—вы изъ этого вывели, что жена моя... *моя* жена... рога мнѣ наставила... и что ты княжной родилась! Княжной!.. Холопкой родилась ты! зашипѣлъ, зашамкалъ онъ отъ злости,—изъ милости своей безконечной сжалилась покойница надъ тобою... за дочь свою приняла... А ты надъ памятью ея ругаешься... Княжна!..

Марина схватилась за спинку кресла... ноги ея подкашивались... что-то безсвязное, острое и невыносимо-мучительное давило ей голову, ныло до тошноты въ ея груди...

— Кто же они—мать моя... отецъ?.. Гдѣ?.. Кто у меня остался? спрашивала она отрывистымъ, надрывающимъ голосомъ...

Но безжалостенъ былъ господинъ Самойленко... Князь Анатолій,—это былъ послѣдній, невыносимый ударъ для его самолюбія, съ утра, во всѣ больныя мѣста его исколотаго Маріною съ какою-то слѣпою безпощадностью,—князь Анато-

лій, человѣкъ ненавистнѣе котораго не существовало для него никого на свѣтѣ, которому онъ и понынѣ не могъ забыть высокомѣрно-насмѣшливаго обращенія съ нимъ, „потомкомъ гетмановъ“, когда онъ, бѣдный армеецъ въ отставкѣ, искалъ руки Марѳы, пренебреженной этимъ блестящимъ гвардейцемъ,—нѣтъ, не въ состояніи былъ Іосифъ Козьмичъ простить Маринѣ это имя, это заблужденіе ея... онъ ненавидѣлъ ее теперь,—ненавидѣлъ наравнѣ съ тѣмъ, котораго она посмѣла почитать своимъ отцомъ!..

— Кто остался у васъ, захихикалъ онъ ей въ отвѣтъ:—а вотъ я вамъ сейчасъ... сейчасъ покажу, кто у васъ остался!.. Не угодно-ли?

Онъ пригласилъ ее рукой слѣдовать за нимъ и направился въ кабинетъ.

Она тупо, безотчетно пошла за нимъ...

Въ кабинетѣ одиноко горѣла свѣча... Онъ сильно дрожавшею рукою зажегъ о нее другую свѣчу и прошелъ съ нею въ столовую.

— Эй ты, сопунъ! Ступай сюда, послышался дѣвушкѣ оттуда его голосъ, и затѣмъ чей-то хриплый, будто испуганный, возгласъ, шумъ упавшаго стула... чьи-то тяжелые шаги близились къ дверямъ...

Вошелъ Іосифъ Козьмичъ—и за нимъ...

Все ясно стало для Марины: та *Марья Ѳедоровна*, на которую намекалъ ей утромъ этотъ ужасный человѣкъ, это была мать ея... А онъ...

— Вотъ онъ, — *мужъ вашей матери*... отецъ вашъ *по закону!* объяснилъ Іосифъ Козьмичъ, поднося свѣчу подъ самые глаза кузнеца и, выронивъ ее изъ рукъ, всѣмъ грузнымъ тѣломъ своимъ упалъ на близъ стоявшій диванъ, какъ бы раздавленный самъ этимъ безжалостнымъ торжествомъ своимъ...

Она шатнулась всѣмъ тѣломъ назадъ, словно въ грудь ее кто ударилъ... И тутъ же, неимовѣрнымъ усиліемъ надъ собой, выпрямилась вся, провела рукой по лицу и прямо направилась къ кузнецу:

— Пойдемте! коротко сказала она ему.

Съ просонковъ, моргая своими красными вѣками отъ вне-

запнаго свѣта, онъ, какъ звѣрь лѣсной, оглядывался во всѣ стороны, не понимая еще, не успѣвъ сообразить...

— Пойдемте! повторила Марина, притрогиваясь къ его плечу.

— Куда? какъ бы невольно проронилъ Іосифъ Козьмичъ.

Она обернулась къ нему:

— Благодарю васъ, твердо проговорила она, и словно сталью блеснули устремившіеся на него глаза ея,—благодарю за прошедшее... И за сегодняшнее благодарю васъ, примолвила она почти ласково,—за то, что гордость мою покарали... Прощайте!...

— Куда? растерянно спросилъ еще разъ господинъ Самойленко.

— Куда мнѣ слѣдуетъ! такъ же рѣшительно отвѣчала Марина, и ухватившись за рукавъ „хромаго бѣса“: — идемте же... вы отецъ мой... я за вами!...

Безмолвно, оторопѣло повиновался онъ ей... Они вышли изъ комнаты... Іосифъ Козьмичъ хотѣлъ вскрикнуть, приподняться, и снова, безъ словъ, упалъ на спинку дивана. Онъ былъ, дѣйствительно, раздавленъ.

XXI.

Безлунная ночь мрачно глядѣла съ неба; накрапывалъ дождикъ. Кузнецъ и Марина выходили за ограду села, въ поле... Впереди какимъ-то страшнымъ чернымъ пятномъ темнѣла предъ ними ближняя онушка лѣса.

— Такъ яжъ же то... вы со мною пойдете? недоумѣвающимъ голосомъ словно рѣшился спросить дѣвушку ея спутникъ: до этой минуты они еще словомъ не обмѣнялись.

— Съ вами, тихо отвѣчала она.

— А куда же мы пойдемъ? остановился онъ вдругъ находу.

— Куда хотите...

— *До меня* пойдете? проговорилъ кузнецъ, какъ бы совсѣмъ не вѣря.

— Вы отецъ мой,—куда прикажете, я туда пойду, сказала она въ свою очередь.

Онъ потянулся головой ближе къ ней, будто пытаясь въ темнотѣ разглядѣть выраженіе ея лица.

— Отецъ! повторилъ онъ сквозь зубы и—вдругъ заковылялъ впередъ такъ быстро, что Марина едва поспѣвала за нимъ. Онъ что-то мычалъ про себя непонятное и сердитое.

Они дошли до лѣса.

— Довелъ-таки до того! неожиданно захихикалъ „хромой бѣсъ“, снова останавливаясь: якъ же то вышло съ нимъ у васъ, кажите?

— Не спрашивайте, прошу васъ, не мучьте меня! вырвалось невольно у Марины.

— Не мучьте! протянулъ онъ страннымъ голосомъ—и примолвилъ:—а якъ онъ меня отцомъ вашимъ назвалъ... за что вы ему спасибо казали?

Она не отвѣчала,—что могла она отвѣчать *ему* на это?

— Отецъ! пробормоталъ онъ еще разъ, и уже безъ слова, безъ остановокъ продолжалъ держать свой путь въ почти непроглядной теми лѣса, не оборачиваясь, какъ бы позабывъ о неотставшей отъ него дѣвушкѣ.

Она упрекала себя въ томъ, что только-что сказала ему: не мучьте меня!... Нѣтъ, именно мученій, мученій алкала ея душа теперь... настоящихъ, грозныхъ... мученій *мучениковъ*, внѣшнихъ, ощутительныхъ болей... И съ любовью приняла бы ихъ она, съ восторгомъ... Среди этихъ пришлыхъ мученій она быть-можетъ позабыла бы хоть на мигъ эту горчайшую снѣдающую ее муку — *его презрѣніе!*... Но она смирится, *смирится, какъ желаетъ онъ*,—она это свое теперѣшнее униженіе возведетъ себѣ въ утѣшеніе, въ радость!... Она искупитъ имъ все свое прежнее: безобразіе своего воспитанія, свое *фуфырство*, свои безумныя надежды... Она крестьянкой будетъ, *чумичкой*, послѣднею изъ послѣднихъ, — она хлѣбы будетъ печь, борщъ варить этому увѣчному, уродливому, ненавидимому всѣми отцу своему!

Все темнѣй становилось въ лѣсу. Частый дождикъ слышно дробилъ по листамъ,—холодныя капли, скатываясь съ нихъ, капали на голову, за воротъ Марины... Она вздрагивала и жалась, стискивая зубы, чтобы не стучали они, — лихорадка пронимала ее. А кузнецъ все такъ же торопливо шелъ впередъ,—она за нимъ... Онъ неожиданно повернулъ влѣво, въ чащу... Куда же это?... Но не все-ли равно ей?

— Низомъ не пройти вамъ ни за что! счелъ онъ какъ бы нужнымъ объяснить, — трава скользкая... съ горы въ *церковище* свалитесь.

— Ой! вскрикнула Марина: она въ темнотѣ наткнулась лбомъ на какой-то острый сучекъ.

Онъ остановился... Въ чащѣ уже рѣшительно ничего разглядѣть было нельзя.

— За кушакъ держитесь, тутъ недалечко, на дорогу за-

разъ выйдемъ... только на дерева надсадиться можно, потому узко тутъ будетъ.

Онъ развязалъ свой кушакъ и протянулъ конецъ его Маринѣ. Ея рука встрѣтилась съ его грубою какъ сапогъ, мокрою отъ дождя рукою. Она превозмогла себя — и ухватилась не за кушакъ, а за эту отвратительную, мокрую руку.

— Такъ лучше, тихо промолвила она.

— Ну и такъ можно... и такъ!... И такъ можно, повторилъ еще разъ кузнецъ, и какой-то мимолетный мягкій звукъ послышался ей въ его надтреснутомъ голосѣ.

Онъ осторожно сталъ пробираться впередъ по узкой тропѣ между деревьевъ, крѣпко держа ее за руку и бормоча опять про себя что-то несвязное и непонятное. „Дочка“—могла только разслышать Марина: онъ о ней разсуждалъ самъ съ собою.

Тропинка между тѣмъ становилась шире, и впереди, какъ яркая звѣзда, блеснула прямо въ глаза Марины недалекая огненная точка.

— Акуратъ до нея вышли! засмѣялся вдругъ кузнецъ, выпуская сразу руку дѣвушки.

Они вышли къ хаткѣ, одиноко стоявшей на большой дорогѣ, противъ самой опушки лѣса.

— А вотъ я зàразъ, зàразъ, забормоталъ „хромой бѣсъ“, торопливо перебираясь черезъ дорогу.

Марина не отставала отъ него. Онъ подошелъ къ двери избушки и осторожно стукнулъ въ нее своими костлявыми пальцами.

— А кто тамъ? раздался чрезъ мгновеніе за дверью заспанный старушечій голосъ.

— Я, Горпино, я, отмыкай скоро!

Дверь распахнулась. Онъ, не входя, прошепталъ нѣсколько словъ отворившей. Звяканье мѣдныхъ монетъ донеслось до слуха Марины.

Она стояла посередь дороги. Пламя ночника чрезъ окно избушки прямо било на нее, освѣщая ея распустившіеся спутанные волосы, ея порванное о сучья, прилипшее къ тѣлу

отъ дождя кисейное платье. Кузнецъ съ порога повелъ на нее глазами.

— Слухай ты, Горпино, обратился онъ опять къ невидимой старухѣ съ какими-то опять неслышными словами.

— Матерь Божія, барышня! послышался въ отвѣтъ изумленный возгласъ.

— Ну, ну, давай! заговорилъ хромой, загораживая собою дверь, съ очевиднымъ намѣреніемъ не допустить ее выйти изъ хаты.

Онъ взялъ у нея что-то изъ рукъ, поднесъ ко рту, закинувъ голову назадъ, крякнулъ и бережно уложилъ себѣ это за пазуху.

— А вотъ вамъ... чтобъ не мокли! молвилъ онъ, вынося Маринѣ добытую имъ отъ старухи какую-то дырявую свитку.

— Спасибо вамъ! сказала она не поморщась, накидывая себѣ на плечи эти грязныя лохмотья.

Они пошли опять по дорогѣ.

Марина хорошо знала мѣстность: отъ этой „келейки“ Горпины, до которой не разъ—и каждый разъ тщетно—добирался Марининъ обожатель, акцизный чиновникъ, подозрѣвавшій старуху въ тайной продажѣ водки,—отъ этого ея жилища до кузницы оставалось не далѣе версты. Но кузнецъ, повидимому, не спѣшилъ домой; онъ такъ же медленно теперь подвигался впередъ, какъ спѣшилъ за четверть часа предъ этимъ добраться до Горпины, и то-и-дѣло останавливался на ходу, чтобы поднести къ губамъ тотъ завѣтный сосудъ, что хранился у него за пазухой. Сосудъ вскорѣ оказался пустъ. Онъ поднялъ его надъ головой съ намѣреніемъ швырнуть о земь—и вдругъ пріудержался.

— Дочка, держи! съ сиплымъ, пьянымъ хохотомъ крикнулъ онъ нежданно Маринѣ, заходившею во всѣ стороны рукою протягивая ей штофъ.

Марина подошла къ нему. Онъ уцѣпился за ея плечо: онъ еле на ногахъ держался.

Она взяла его подъ руку и повела.

Дождь пересталъ тѣмъ временемъ; становилось свѣтлѣе, кое-гдѣ на расчищенномъ небѣ замигали звѣзды.

Въ лощинкѣ, подъ ракитами, стояла довольно длинная мазанка, крытая соломой и землей, съ пристроенною къ одному изъ бововъ ея на четырехъ деревянныхъ столбахъ стойкою для ковки лошадей: это была *кузня*,—обиталище „хромаго бѣса".

— *Мой дворецъ* теперь! сказала себѣ Марина, бодрясь и силясь улыбнуться, межь тѣмъ какъ вся она изнемогала подъ тяжестью навалившаго на нее пьянаго.

Они добрели кое-какъ до входа.

— От-мыкай!... Пе-трусь! безсмысленно замахалъ рукой кузнецъ, опускаясь какъ мѣшокъ на *припетокъ* *) мазанки.

Оконце рядомъ съ дверью быстро отворилось; кто-то выглянулъ изъ него и, замѣтивъ Марину, слетка вскрикнулъ... Послышался звонкій ребяческій голосокъ:

— А я зàразъ свичу зàпалю, зàразъ!

Дверь отворилась; на порогѣ ея появился мальчикъ лѣтъ четырнадцати, съ сальнымъ огаркомъ, воткнутымъ въ бутылку въ рукѣ, и съ полусонными, полуиспуганными глазами, устремленными на *барышню*.

Она улыбнулась ему—она знала его въ лицо: онъ когда-то былъ ученикомъ ея въ волостной школѣ,—и, указывая на *отца:*

— Помоги свести его, Петрусь! сказала она тихо мальчику.

Но хромой самъ, безъ помощи ихъ, приподнялся и, держась о стѣнку, вошелъ въ кузню. Онъ оглядѣлся кругомъ мутными глазами и поплелся прямо къ стоявшей за мѣхами большой кадкѣ съ водой, въ которой остуживалось у него при ковкѣ раскаленное желѣзо. Опустившись предъ ней наземь, онъ принялся обливать себѣ водою голову, громко охая, фыркая и икая.

— Веди въ горницу! крикнулъ онъ посреди всего этого мальчику.

Петрусь, свѣтя своимъ огаркомъ, отворилъ едва замѣтную, обтянутую рогожей дверь, что̀ вела во внутренній апартаментъ кузнеца.

---

*) Заваленка.

Марина вошла, низко наклонивъ голову...

Ее такъ и прошибло тройнымъ запахомъ дыма, дубленой кожи и полыни... Какъ и въ кузнѣ, потолка не было въ этой *горницѣ;* ночное небо проглядывало кое-гдѣ сквозь ветхую крышу, подъ которою, встревоженные внезапнымъ свѣтомъ, зарѣяли, при появленіи Марины, пріютившіеся тамъ воробьи и ласточки. На низко опустившіяся тонкія балки навѣшаны были для просушки пучки лѣкарственныхъ и *настоечныхъ* травъ; окна, лавки кругомъ стѣнъ, полуразвалившаяся печь, занимавшая чуть не половину помѣщенія,—все это было загромождено всякою рухлядью, кучами гвоздей, болтовъ, гаекъ, обрѣзками шинъ, неотянутыми колесами, ведрами и грудами угля. Въ углу на гвоздяхъ висѣла цѣлая коллекція смушковыхъ шапокъ, кожуховъ, женскихъ платковъ и понявъ, подъ залогъ которыхъ ссужалъ бѣдный людъ грошами ростовщикъ-кузнецъ... Въ этомъ углу и спалъ онъ на старой попонѣ, разостланной на голомъ полу... Рядомъ съ дверью настланъ былъ ворохъ полусгнившей вонючей соломы, служившей Петрусю ложемъ.

Марина въ изнеможеніи опустилась на это ложе, — она ногъ болѣе подъ собой не чувствовала... Петрусь стоялъ у притолки и глядѣлъ на нее все тѣми же испуганно-изумленными глазами...

— Чаво смотришь, мерзунъ, гнѣвно толкнулъ его кузнецъ, вваливаясь за ними въ *горницу:* — бери, о, свитку, неси до Горпины, *ейная*,—и чтобъ не приходилъ ты до утра,—слухаешь!...

Мальчикъ повиновался. Кузнецъ проводилъ его до входной двери, заперъ ее болтомъ и вернулся къ Маринѣ.

Опьянѣніе какъ бы на половину прошло у него: онъ двигался довольно твердо, и языкъ его не путался какъ за нѣсколько минутъ предъ этимъ... Но при мерцаніи свѣчнаго огарка, который онъ изъ рукъ Петруся принесъ на печь, скинувъ съ него предварительно нагаръ своими корявыми пальцами, Марина могла замѣтить, что губы его судорожно подергивало и что недобрымъ выраженіемъ сверкали глаза его

изъ-подъ приподымавшихся красныхъ вѣкъ... Ей опять становилось страшно съ этимъ... съ этимъ *отцомъ* своимъ...

Онъ смахнулъ съ одного размаха съ лавки все, что было навалено на нее всякаго желѣза, сѣлъ и, уткнувъ себѣ локти въ колѣни, положилъ голову на руки и принялся молча глядѣть на Марину:

— Якъ же мы теперь будемъ жить съ тобою, дочка? спросилъ онъ наконецъ, съ какимъ-то ехидным торжествомъ.

— Я... я не знаю, прошептала она,—какъ хотите...

— Якъ хочу! повторилъ онъ, хихикнувъ...—А якъ захочу я надъ тобою покуражиться,—что тоди? спросилъ онъ, грозно покачивая косматою головой своею.

— Куражьтесь!... Я снесу, отвѣчала покорно Марина... „Княжна!“ сказала она себѣ съ невольно горькою улыбкой.

Онъ опять уставился на нее:

— И не можетъ *онъ* ничего со мною подѣлать,—самъ казалъ... „отецъ твой“, казалъ: „по закону!...“ Жинка мнѣ была... вѣнчанная—Марья Ѳедоровна. Не слыхали,—про мать свою... про Марью Ѳедоровну?... Нѣ, не слыхали, утромъ казали мнѣ—не слыхали!... Ой грѣхъ, грѣхъ... большой грѣхъ!..

Онъ вдругъ закрылъ себѣ глаза руками...

— А таки моя, *моя дочка!* На мое вышло, продолжалъ онъ какъ въ бреду...—Отнялъ, двадцать годовъ не отдавалъ... а на мое-жь вышло!... Потому—*знаю!* какимъ-то таинственно зловѣщимъ шопотомъ проговорилъ онъ:—двѣнадцать зорь по ту траву ходилъ... поки нашелъ... Завивъ тотъ мой вчирась на *виру* бачили?... казалъ Тулумбасъ—бачили... Нѣту на завивъ тотъ отговора... Нѣту!... Отдалъ дочку, отдалъ! захохоталъ вдругъ дикимъ хохотомъ хромой...

Ужасъ все сильнѣе овладѣвалъ Мариной...

— Въ Сибирь хотѣлъ меня... убогимъ на вѣки сдѣлалъ... дьяволъ лысый!... Онъ приподнялся и опять упалъ на лавку,—винные пары снова подымались ему въ голову, глаза его наливались кровью и блуждали свирѣпо кругомъ, какъ бы отыскивая предметъ ненависти его... А за что?.. Простилъ я ей... все простилъ... Богъ съ тобою! сказалъ ей,—только ты на-

предки не подумай... смѣть не подумай съ нимъ возжатись... А онъ, *гадюка* *), чтобъ ему, проклятому...

Въ эту минуту подъ самою кузней слышно раздался жалобный визгъ собаки, и въ оставшееся открытымъ, не высоко надъ землею прорѣзанное оконце однимъ прыжкомъ вскочилъ *Каро*—и съ неистовымъ лаемъ радости и тревоги кинулся къ госпожѣ своей. Онъ, видимо, давно, долго, отчаянно отыскивалъ ее повсюду...

— А чтобъ тебя, песъ анаѳемскій! заревѣлъ кузнецъ, подымая надъ головой тяжелую желѣзную полосу, попавшуюся ему, къ несчастію, подъ руку...

Каро, оскаливъ зубы, неустрашимо кинулся на него...

Не успѣла вскрикнуть Марина, какъ бѣдная собака, съ размозженнымъ черепомъ, лежала истекая кровью у ея ногъ.

— *Каро, Каро*... за что, за что убили вы его! съ безумнымъ рыданіемъ упала она наземь, охватывая руками содрогавшееся еще тѣло вѣрнаго друга...

— Убью!... И тебя... убью!... Кровь барскую изъ жилъ выпущу! не помня себя ринулся на нее пьяный...

— Убейте! приподымаясь на колѣняхъ, вскрикнула Марина, простирая къ нему молящія руки. Смерть,—о, какое блаженство было бы это для нея!...

Полоса съ хрохотомъ шлепнулась изъ рукъ его оземь... Онъ зашатался и растерянно ухватился за стѣну...

— Не буду... не буду! вдругъ зарыдалъ онъ истерическимъ страшнымъ воплемъ,—тоди хотѣлъ... якъ въ люлькѣ лежала... съ Марьею... съ Марьей хотѣлъ,—обоимъ одна смерть!... Царство ей небесное, барыня покойница... съ рукъ вырвала... Чуръ его... синій, о-о, чортъ рогатый!... Огнемъ меня... огнемъ...

Онъ повалился на лавку въ судорожномъ припадкѣ.

Марина схватила съ печи бутылку съ огаркомъ—и выбѣжала въ кузню... Зачерпнувъ изъ кадки воды въ жбанъ, она принялась обливать ею голову кузнеца... Она не слыхала, какъ въ это самое время грохотали колеса подъѣзжавшаго экипажа,

*) Змѣя.

какъ вслѣдъ за тѣмъ нетерпѣливая и сильная рука застучала что есть мочи въ дверь кузни...

— Отворяй, отворяй сейчасъ! кричалъ въ окно, уже почти подъ самымъ ея ухомъ, чей-то—она въ первую минуту даже не была въ состояніи признать, чей это былъ угрожающій голосъ:—двери выломаю!..

Она выбѣжала, отомкнула...

— Гдѣ Марина? крикнулъ входя Іосифъ Козьмичъ,—онъ не замѣтилъ ее въ темнотѣ... Первымъ движеніемъ ея было кинуться отъ него прочь, въ *горницу*, къ *отцу* своему...

Этотъ ненавистный голосъ словно привелъ того въ чувство. Онъ сидѣлъ теперь на лавкѣ, низко опустивъ косматую голову, дико поводя кругомъ мутными глазами.

— Марина! крикнулъ съ порога, завидя ее, г. Самойленко,—ѣдемъ!..

— Куда? спросила она, не понимая.

— Со мной!... Не можешь же ты здѣсь оставаться... Онъ шагнулъ впередъ и чуть не упалъ, запнувшись за бездыханное тѣло бѣднаго *Каро*...

Онъ наклонился, узналъ:

— Это твоя работа? крикнулъ онъ бѣшенымъ голосомъ кузнецу.

— Моя, замоталъ тотъ головою:—и дочку хотѣлъ... и дочку!... Въ Сибирь посылай!...

— Онъ пьянъ? испуганно глянулъ на Марину Іосифъ Козьмичъ.

— Пьянъ! вызывающимъ тономъ повторилъ хромой: — пьянъ, посылай въ Сибирь!...

— Марина, заговорилъ опять г. Самойленко,—ты виновата предо мной... Я... я простить тебѣ готовъ... Но не здѣсь объ этомъ разсуждать намъ... Ѣдемъ скорѣе!...

— Куда я отъ отца уѣду? сказала она.

— Онъ, онъ! возгласилъ Іосифъ Козьмичъ, насильно схватывая ее за руки,—не отецъ онъ, а убійца!... Онъ жену свою... твою мать, вотъ какъ эту собаку несчастную...

— Помилуй мя, помилуй, Господи! застоналъ вдругъ хромой.

— Я, съ глубоко захватывавшимъ его волненіемъ говорилъ между тѣмъ Іосифъ Козьмичъ,—я... ты должна это знать, я любилъ твою мать бѣдную...

— На сносяхъ ее за меня отдалъ! прошипѣлъ кузнецъ.

— Врешь ты, мерзавецъ, врешь! кинулся на него со сжатыми кулаками г. Самойленко: — не отдалъ бы я ее тебѣ на вѣрную смерть!... Сама она, сама... въ мое отсутствіе... Растерялась... скрыть... предъ барыней, предъ покойницей захотѣла... А онъ тутъ, жаба подлая, приставалъ къ ней давно... Она и пошла за него...

— Пошла... На то шла, чтобъ вѣрною быть...

— И была бъ она тебѣ вѣрная, аспидъ ты эдакой, потому душа у нея была ангельская!... Безъ меня все это было, Марина, безъ меня!... Жилъ я всю тогда зиму въ городѣ, ратниковъ сдавалъ... Не зналъ даже, что она замужъ вышла... побоялась она что-ли извѣстить меня... Только за меня покойница жена, по ея просьбѣ, попу обвѣнчать ихъ скорѣй приказала... Какъ вернулся я, да узналъ,—она ужь и родила давно... Захотѣлъ я на младенца... *на тебя* поглядѣть! И всего-то я разъ, разъ одинъ, зашелъ къ ней, предъ самымъ отъѣздомъ опять въ городъ, — всего на три дня пріѣзжалъ я тогда домой... Зашелъ... когда его, мерзавца, дома не было, потому видѣть я его не могъ!... Зашелъ... благословить тебя хотѣлъ, двухмѣсячная была ты тогда, примолвилъ Іосифъ Козьмичъ какимъ-то сконфуженнымъ тономъ... Не успѣлъ я вернуться въ городъ, какъ получаю письмо отъ жены, что злодѣй этотъ въ тотъ самый день, какъ только выѣхалъ я, убилъ Машу до смерти...

— А будь вы всѣ прокляты! промычалъ, прерывая его, кузнецъ и свалился съ лавки на солому, уже совершенно лишенный сознанія.

Раздавленная, уничтоженная стояла Марина предъ этими *двумя отцами* своими, изъ которыхъ одинъ погубилъ, другой убилъ ея мать! Тошно, отвратительно ей было! Оба они равно внушали ей къ себѣ ужасъ и отвращеніе. Ничего у нея теперь не оставалось, ни одной не задѣтой, не помятой струны въ ея душѣ! Она бы все перенесла—нищету, грубость,

униженіе, она отдавала всю себя на жертву своему дочернему долгу. Но предъ кѣмъ теперь этотъ ея *долгъ*, кому изъ этихъ убійцъ нужна ея жертва?...

— Марина, говорилъ ей тѣмъ временемъ Іосифъ Козьмичъ, — позабудемъ все! Побранились съ тобой — и баста! Квитъ... Вспомни: кто жь тебя взлелѣялъ, воспиталъ... Вспомни покойницу жену,—она жь тебѣ за мать была!... А я—я ничего не хотѣлъ до времени говорить тебѣ,—я просилъ правительство, чтобы тебѣ права законной дочери моей предоставить... На дняхъ графъ получилъ письмо изъ Санктъ-Петербурга, что тамъ на это согласны... Поняла ты, — ты теперь моя, моя *законная дочь*, Марина Осиповна Самойленкова.

Она пристально глядѣла на него лихорадочно-сіявшими глазами—и ничего не отвѣчала.

Не того ждалъ господинъ Самойленко; онъ видѣлъ, что далеко не все кончено, что не обрадовалась, не кинулась ему на шею эта „его теперь *законная дочь*“, что недобрымъ пламенемъ горѣли ея устремленные на него глаза, казавшіеся огромными отъ страшно-осунувшагося, потемнѣвшаго за эти два дня лица ея... Безпокойство не на шутку заговорило въ немъ.

— Время намъ нечего терять, Марина, уговаривалъ онъ ее,—ѣдемъ скорѣе домой!... Подумай, — вѣдь это скандалъ!... Что могутъ подумать... что скажутъ обо мнѣ... о тебѣ наконецъ... Ты только размысли хорошенько: первый, *графъ*... Ну, что онъ можетъ подумать?...

Она еще разъ взглянула на него, потомъ на *другаго*... на кузнеца. Онъ лежалъ на соломѣ, какой-то скорченный, безпомощный и жалкій,—и стоналъ во снѣ,—въ томъ мучительномъ снѣ пьянаго, исполненномъ грозныхъ, давящихъ представленій.

Марина кивнула на него и опустилась на лавку.

— Нѣтъ, молвила она Іосифу Козьмичу и улыбнулась невыразимо-презрительною улыбкой,—я съ вами не поѣду... Все же *онъ* лучше васъ!

Онъ даже покачнулся на толстыхъ ногахъ своихъ... Это было слишкомъ, перенести это былъ онъ уже не въ состояніи.

Едва сдержался „потомокъ гетмановъ“.

— Помни же, прерывавшимся отъ бѣшенства голосомъ проговорилъ онъ, — помни: придешь... въ ногахъ будешь валяться... вонъ выгоню!

Онъ плюнулъ всѣмъ ртомъ въ распростертаго на соломѣ, предпочтеннаго ему *соперника*, — и кинулся вонъ изъ кузни въ таратайку, которая привезла его сюда.

Долго не могъ онъ опомниться—и въ неостывавшемъ гнѣвѣ своемъ плевалъ въ воздухъ въ продолженіи всего пути до дому. А думы его въ то же время становились все мрачнѣе, все безотраднѣе...

Подъѣзжая ко *дворцу*, онъ не безъ удивленія увидѣлъ свѣтъ въ покоѣ, занимаемомъ княземъ Пужбольскимъ.—Не спитъ еще! сказалъ онъ себѣ, судорожно сжимая брови отъ невольной опять мысли о томъ, „что *они* скажутъ...“ И вдругъ, какъ бы осѣненный какимъ-то вдохновеніемъ:

— Стой! крикнулъ онъ своему кучеру, вылѣзъ изъ экипажа и, приказавъ не откладывать, самъ прошелъ на большое крыльцо.

Въ передней встрѣтился ему камердинеръ Пужбольскаго, со свѣчею въ одной рукѣ и только-что скинутымъ барскимъ платьемъ въ другой.

— Что, князь ужь легъ? спросилъ Іосифъ Козьмичъ.

— Книжку въ постели читаютъ, отвѣчалъ слуга съ любопытствомъ глядя ему въ глаза; — графъ сейчасъ отъ нихъ вышли... Прикажете доложить о васъ?..

— Ступай въ свое мѣсто! величественно отрѣзалъ ему на это главноуправляющій;—я самъ о себѣ доложу...

И, отворивъ дверь, онъ направился въ спальню князя.

XXII.

Стукъ таратайки Іосифа Козьмича давно смолкъ на песчанистомъ пригоркѣ; давно погасъ на печи, нестерпимо чадя, сальный огарокъ Петруся, и блѣдный свѣтъ зари уже брежжилъ въ оконца кузни, а Марина все такъ же упорно и безсознательно не отрывала глазъ отъ бездыханнаго *Каро*, отъ рядомъ съ нимъ лежавшаго, въ безчувственный сонъ погруженнаго теперь кузнеца... Способность мыслить словно покинула ее теперь, въ головѣ было пусто, точно что-то вдругъ насѣло, прихлопнуло, вышвырнуло все, что тамъ сейчасъ мучительно сознавало, судило и металось... Я *умерла... могила*, проносилось у нея быстрыми, смутными ощущеніями... Но нѣтъ, *она жива*, говорила ей опять ноющая, тягучая боль, что скребла будто кошачьми когтями у нея въ груди, подъ сердцемъ...

Послышались шаги, скрипъ двери... кто-то вошелъ, остановился на порогѣ... Она не подымала головы...

Это былъ Петрусь. Она видѣла, какъ онъ шагнулъ ближе, низко наклонился, протянулъ руку, провелъ ею по волнистой шерсти безжизненнаго *Каро*—и какъ затѣмъ поднялъ на нее перепуганно-вопрошавшіе глаза, и изъ этихъ глазъ двѣ крупныя слезинки выкатились и потекли по загорѣвшимъ щекамъ мальчика.

Нежданными, горючими слезами залилась въ отвѣтъ имъ Марина. Сознаніе вернулось къ ней вмѣстѣ съ ними.

— Петрусь, ты добрый... помоги, — надо похоронить его, — могла она выговорить.

Мальчикъ, безъ дальнихъ словъ, приподнялъ трупъ собаки и поволочилъ его, ухвативъ обѣими руками, къ двери.

— Онъ тяжелъ, ты не снесешь одинъ.

Они вынесли его вдвоемъ на дорогу.

— А гдѣ же *заховать* его? поднялъ Петрусь на Марину свои темные, сострадательные глаза.

— Куда-нибудь подальше, въ лѣсъ пойдемъ, отвѣчала она.

— Свезти можно... на тачкѣ свезти, сказалъ мальчикъ,— только бы хозяинъ...

Онъ живо кинулся въ кузню, заглянулъ въ *горницу*—и такъ же быстро возвратился.

— Долго спать теперь будетъ! успокоительно закивалъ онъ Маринѣ, выкатилъ на дорогу тачку, служившую для возки угля изъ *ямы* въ топку—и, съ помощью дѣвушки, уложилъ въ нее тѣло пуделя.

— Понятный якой песъ былъ! помянулъ его вздохомъ Петрусь, ухватываясь за ручки и тихо двигая тачку впередъ.

— Онъ всегда такой злой... твой хозяинъ? спросила черезъ мгновеніе Марина, идя за нимъ вслѣдъ.

— Бѣда! прошепталъ въ отвѣтъ мальчикъ.

— Ты его боишься?

— Бо-ю-ся... потому — знахарь! еще тише, осторожнѣе промолвилъ онъ.

— Ты сирота, Петрусь? спросила она опять, помолчавъ.

— Сирота, отвѣчалъ онъ, ни батька не маю, ни матери...

— Какъ и я! сказала Марина.

Мальчикъ пріостановился и обернулся на нее съ выраженіемъ величайшаго изумленія... но допрашивать все же не рѣшался...

— Никого у меня, Петрусь, подтвердила она,—никого на свѣтѣ!

Онъ растерянно глянулъ въ ея блѣдное, больное лицо, стиснулъ сильнѣе пальцами ручки тачки и безмолвно двинулъ ее опять впередъ.

Они перебрались чрезъ закинутое поле, поросшее полынью и дикою ромашкой, къ опушкѣ дремучаго вѣковаго лѣса, раскидывавшагося отсюда вправо и влѣво на необозримое

пространство. Никто, казалось, никогда не проникалъ въ эту грозную лѣсную пустыню... Ни просѣки, ни порубки, ни телѣжнаго слѣда... Только одна, едва замѣтная, узенькая тропка вилась и пропадала межь тѣсно насаженными деревьями; густая темь еще чернѣла подъ ихъ низко-свѣсившимися вѣтвями.

Мальчикъ разомъ остановился.

— *Онъ* завсегда тутъ ходитъ, какимъ-то боязливымъ голосомъ проговорилъ онъ.

Марина отыскивала мѣсто глазами.

— Вонъ тутъ можно, подъ сосною, сказала она.

Петрусь подвезъ туда тачку, вытащилъ изъ-подъ трупа припасенную имъ лопату и принялся копать яму для *Каро*.

Земля послѣ дождя была мягка, и мальчикъ скоро кончилъ свою работу. Марина между тѣмъ нарвала ольховыхъ вѣтокъ и уложила ими яму, тѣми же вѣтками покрыла она опущенное туда Петрусемъ тѣло ея друга и сама закидала его землей.

Мальчикъ принялся утаптывать поднявшійся бугорокъ, „чтобы волки не отрыли“... Слезы вновь такъ и душили Марину...

— Петрусь, сказала она, — не знаю, чѣмъ благодарить тебя,—ничего у меня нѣту... Дай хоть поцѣлую тебя!

Она обняла его за шею и крѣпко поцѣловала въ щеку.

— Вези-жь теперь скорѣе тачку назадъ... чтобъ не проснулся *онъ* пока...

— А вы куда-жь теперь, барышня? съ замѣтнымъ безпокойствомъ спросилъ мальчикъ.

— Барышня! повторила она—и уныло улыбнулась;—я не барышня, Петрусь, я такая-жь какъ ты сирота безродная, безпріютная... И куда мнѣ итти—того сама не знаю...

— Я съ вами останусь! весь вспыхнувъ, предложилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что! *Онъ* проснется, хватится тебя... Кто тебя защититъ?.. Я ничего не могу... безсильна теперь я!..

Мальчикъ отвернулся, махнулъ себѣ рукавомъ по глазамъ—и покатилъ тачку по направленію къ кузнѣ.

А Марина, отыскавъ замѣченную ею тропинку, пошла по ней не оборачиваясь...

Чѣмъ далѣе подвигалась она, тѣмъ круче становился склонъ, по которому расположенъ былъ лѣсъ... Скользко было такъ, что она то-и-дѣло принуждена была ухватываться за искалывавшіе ей руки сосновые и можжевеловые сучья, не то опускаться на земь, чтобы не расшибить себѣ на скатѣ лобъ о встрѣчное дерево... Она вспомнила вчерашнія слова кузнеца,—это былъ ближайшій отъ его жилища ко *двору*, имъ однимъ *знаемый*, путь, по которому одинъ „онъ и ходилъ завсегда“, какъ говорилъ Петрусь... Она знала: внизу, подъ этою кручей течетъ Алый-Рогъ,—она затѣмъ и пошла по этой тропинкѣ... Ей хотѣлось еще разъ взглянуть на тѣ свѣтлыя струи, по которымъ плыла она недавно съ *нимъ*, гордая и счастливая,—на которыхъ небесные сны снились ей наяву...

Лѣсъ кончался у самаго *вира;* тропинка выводила къ *церковищу*...

Марина остановилась, тяжело переводя дыханіе...

Въ прозрачномъ свѣтѣ зачинающагося утра тонула окрестность. Надъ водами, надъ боромъ, тихо волнуясь, неслись вверхъ бѣломлечные клубы тумана... Съ противоположнаго берега, блестящими змѣйками вiясь между деревъ, добѣгали до *вира* первые, робкіе лучи еще невидимаго солнца... Сладко пѣли въ вѣтвяхъ просыпавшіяся пташки во срѣтеніе идущему свѣтлому дню...

Нѣтъ болѣе свѣтлыхъ дней для Марины... А давно-ли, думала она, не было пташки беззаботнѣй ея!..

Онъ тутъ еще, тутъ—качается на березѣ, чуть не надъ самою головой ея,—зловѣщій *завивъ* таинственной травы, по которую „двѣнадцать зорь сряду“ ходилъ тотъ *ужасный человѣкъ*... Онъ „довелъ до своего“,—онъ побѣдилъ... *все началось* для нея съ той минуты, когда указалъ ей на эту березу Тулумбасъ!..

Она протянула руку и—съ тѣмъ ощущеніемъ, съ какимъ притронулась бы къ пылающему углю,—сорвала *завивъ* съ вѣтви и бросила его въ воду.

Онъ исчезъ на мигъ въ струяхъ... Прилежно слѣдила за

нимъ дѣвушка: вотъ выплылъ онъ, вотъ понесло его теченіе, вотъ онъ натолкнулся на длинный стебель кувшинки и, описавъ новый кругъ кругомъ себя, застрялъ перехваченный на пути иглами выбѣгавшаго со дна шильника...

Марина опустилась на полусгнившій стволъ сосны, вершиною своей обрушенной въ глубину *вира* .. Ее мучила жажда;—она зачерпнула воды рукой, напилась, обмыла опухшія вѣки, лицо... Ее освѣжило... „Вольное водное царство", припомнились ей слова ея сказки... Она подвинулась ближе, ближе по стволу — и принялась глядѣть въ бездонное *церковище*.

Какъ въ зеркалѣ видитъ она себя—и едва узнаетъ... Какъ измѣнилась она, какъ впали глаза!.. Темная волна ея волосъ скатилась съ плечъ, и плещутся въ струяхъ ихъ длинные концы... Смутилась на мигъ водная гладь... Она закидываетъ волосы назадъ—и опять глядитъ туда: узорною сѣтью опутываютъ ее тамъ склоняющіяся надъ нею древесныя вѣтви,—и подъ нею скользятъ облака безконечною цѣпью...

Она все глядитъ,—глядитъ не отрываясь... все дальше, все глубже проникаетъ взоръ ея въ прозрачное водное лоно... Синѣетъ краше небесной лазури въ глубинѣ,—что-то чудное, тайное совершается тамъ... переливаютъ невиданные цвѣта... тянутся лучи... сыплются алмазные брызги... Опаломъ блещутъ хрустальныя стѣны; замелькали сквозь нихъ чьи-то странные лики... Узнаетъ себя она,—увѣнчаны пѣвникомъ и лиліями ея зеленые волосы... Манитъ ее кто-то изъ подводнаго чертога... и чей-то знакомый, волшебный голосъ ее зоветъ: слышишь, слышишь,—звонятъ мои колокола, зовутъ, зовутъ тебя... Иди, иди,—здѣсь любовь... и забвеніе...

И сладкою волной льется въ уши Марины чудный гулъ подводнаго колокола... Ослѣпительными огнями горитъ глубина... Все настойчивѣе, все неотразимѣй зоветъ ее волшебный голосъ... „Забвеніе, забвеніе!..." шепчетъ она, и ноги ея скользятъ уже съ берега въ воду... вздрогнула она вся отъ холоднаго прикосновенія влаги... Забвеніе! молвитъ она еще разъ.

Рука ея отдѣляется отъ сучка, за который держалась она

до сихъ поръ... Покачнулась Марина... и всѣмъ тѣломъ повисла надъ бездной...

— Марина... Ма-ри-на Оси-повна! донеслось вдругъ до нея, точно съ неба.

Боже мой, это тотъ же опять... Это *его*, это *его* голосъ!...

Она вскрикнула отъ счастія, отъ ужаса... Отчаяннымъ движеніемъ откидывается она назадъ, ловитъ руками спасительный сучекъ...

— Барышня!... слышитъ она подлѣ себя пронзительный крикъ... Кто-то схватилъ ее за плечи и тащитъ къ себѣ, стискивая въ перепугѣ тѣло ея до острой боли...

Это Петрусь. Онъ самъ еле дышетъ отъ волненія... Помертвѣлая, сидитъ она на берегу, не чувствуя подъ собою ногъ, не смѣя повернуться.

— Господа... за вами... пріѣхали, перерывающимся языкомъ говорилъ мальчикъ Маринѣ.

„Они, да!“... Первый, весь изорванный и расцарапанный, десять разъ на скользкомъ скатѣ чуть не свернувшій себѣ шеи, добѣгаетъ до нея Пужбольскій. Въ одной рукѣ у него толстый пледъ, въ другой дорожная фляжка съ виномъ.

— Выпейте... сейчасъ, сейчасъ пейте! суетъ онъ ее въ руку дѣвушки, окутывая въ то же время пледомъ плечи ея, станъ... Руки дрожатъ у него какъ въ сильнѣйшемъ ознобѣ.— Je m'en doutais! какъ бы противъ воли вылетаетъ у него изъ устъ,—слава Богу, поспѣли во-время!...

— Нѣтъ, нѣтъ, клянусь вамъ, воскликнула, понявъ, Марина, — я не хотѣла, не думала!... Я смирилась... смирюсь... до конца! говоритъ она блѣдному какъ смерть Завалевскому, опускающемуся въ изнеможеніи рядомъ съ ней на траву.

Онъ взялъ ея руку и закрылъ себѣ ею глаза.

— Это сонъ опять, говоритъ она себѣ,—блаженный, небесный сонъ!...

И сквозь этотъ сонъ слышитъ она: онъ называетъ ее по имени.—Марина, шепчетъ онъ,—хотите-ли вы быть моею... Онъ не находилъ словъ...

— Да говори же, наконецъ, говори прямо! гнѣвно прервалъ его Пужбольскій.—Вѣдь онъ чуть съ ума не сошелъ

захлебываясь объяснялъ Маринѣ князь, — когда узналъ, что было съ вами... Monsieur Самойленко... Іосифъ Козьмичъ... Вы можете себѣ представить, что было со мною... входитъ онъ ко мнѣ,—я уже былъ въ постели,—и говоритъ: у меня нѣтъ дочери!... Вы одни можете спасти несчастную... И разсказалъ все... Къ счастію, мы могли сейчасъ, не *теряя* ни минуты, поскакать. Par bonheur, не доѣзжая до кузни, nous avons rencontré ce brave garçon,—онъ указалъ на Петруся и тутъ же кивнулъ на Завалевскаго:—а онъ всю дорогу, какъ ребенокъ, лопоталъ Пужбольскій, — все увѣряетъ, что онъ не смѣетъ... что онъ старъ. J'avais beau l'assurer, lui citer des exemples... Вспомни, говорю, Артаксеркса или, вѣрнѣе, Агасѳера, и Астаръ, improprement nommée Esther, Эсѳирь, car le nom est persan и значитъ *звѣзда*, a star по-англійски; вспомни прелестную Догарессу, молодую жену восьмидесятилѣтняго Фаліеро... Ну, наконецъ, Марія Кочубей, „краса черкасскихъ дочерей“,—вы помните у Пушкина, въ *Полтавѣ:*

Не только первый пухъ ланитъ
. . . . . .
Порою и власы сѣдые etc.

Но онъ все сомнѣвается, боится... Онъ трусъ, да, трусъ!... Онъ себѣ не вѣритъ... Скажите же ему une bonne fois, что вы не промѣняете его на весь легіонъ современныхъ молодцовъ, что любить вы можете его, только его!...

Марина ухватилась за его руку, приподнялась:

— Зачѣмъ, зачѣмъ вы говорите объ этомъ! прошептала она съ упрекомъ.

— Какъ зачѣмъ? воскликнулъ Пужбольскій: — или вы до сихъ поръ не поняли? Ужь это не я, Марина Осиповна, задрожавшимъ невольно голосомъ молвилъ князь,—не я... это онъ, Завалевскій, проситъ васъ быть его женой!

— Женою! проговорила она какъ въ бреду.

— Слово сказано, заговорилъ въ свою очередь графъ, взглянувъ на нее мгновенно запламенѣвшими глазами,—и мы живемъ въ такое странное время, что я начинаю даже вѣрить, что это съ моей стороны не безумство.

— Не безумство, нѣтъ, je proteste! вскипятился Пужбольскій, — старые, вѣчные идеалы, и молодая сила, — это такой союзъ...

Онъ не договорилъ...

Марина растерянно взглянула на него, на солнце, лучезарно выплывшее въ эту минуту изъ-за лѣса, осѣнила себя большимъ крестнымъ знаменіемъ и упала безъ чувствъ на руки Завалевскаго.

КОНЕЦЪ.

КНЯЖНА ТАТА.

КНЯЖНА ТА-ТА *).

Онъ былъ лѣтъ на восемнадцать слишкомъ старѣе ея, а ей уже шелъ двадцать девятый годъ. Онъ былъ давно женатъ, отецъ семейства...

Какъ это чувство, эта бѣда, какъ оно стряслось, захватило, унесло его, онъ не могъ бы сказать: онъ этого самъ себѣ объяснить не могъ.

Онъ ее зналъ дѣвочкой, ребенкомъ. Онъ былъ другомъ, совѣтникомъ, управляющимъ брата ея, князя Анатолія Васильевича Можайскаго. Она съ дѣтства привыкла видѣть въ немъ довѣренное лицо ея семьи, преданнаго человѣка, который вѣчно, письменно и устно, бранился съ ея братомъ за излишнюю трату денегъ, терпѣливо выслушивалъ воздыханія ея матери и выѣзжалъ ей, княжнѣ Натальѣ Васильевнѣ, подъ верхъ надежныхъ скакуновъ, на которыхъ любила она мчаться по полямъ и лѣсамъ, провожая лѣто въ деревнѣ.

Въ дни молодости онъ чаялъ, онъ имѣлъ право ожидать болѣе блестящей доли. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ офицеровъ одного изъ первыхъ полковъ гвардіи. Въ памяти его современниковъ еще не исчезла память о лихомъ ротмистрѣ Скавронцевѣ, служакѣ, щеголѣ и отчаянномъ театралѣ. У него былъ лучшій *парадёръ* во всей кирасирской дивизіи; не было болѣе его любимаго товарища и „дорогаго собутыльника„ для всей *золотой молодежи* Петербурга; весь

*) Впервые напечатано въ Іюльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1879 годъ, подписано псевдонимомъ „Мери Бемъ“ и перепечатано здѣсь съ подлинника, исправленнаго карандашемъ самимъ Б. М. Маркевичемъ.

балетъ зналъ его по имени и отчеству; „ужь извѣстно, этотъ Александръ Андреичъ“, съ тою же многозначительною усмѣшкой говорила про него и первая танцовщица, и послѣдняя изъ черненькихъ, прыгающихъ *у воды*,—обѣ разумѣя все то же нѣчто лестное и сочувственное ему этою усмѣшкой и этимъ недоговариваемымъ „ужь извѣстно“...

Онъ ожидалъ, а съ нимъ весь полкъ, аксельбантовъ ко дню полковаго ихъ праздника. Аксельбанты *улыбнулись* ему; они даны были негаданно-нежданно молодому поручику, исправлявшему временно должность заболѣвшаго полковаго адъютанта. А онъ, Скавронцевъ, уже третій годъ командовалъ лейбъ-эскадрономъ!... Полковые комментаторы приписывали этотъ неожиданный случай его излишней популярности и успѣхамъ въ очаровательномъ мірѣ антраша и пируетовъ. Комментаторы могли и ошибаться... А впрочемъ не даромъ говорится: какъ знать, чего не знаешь!

Какъ бы ни было, Скавронцевъ не перенесъ такого удара. Онъ на другой же день отрапортовался больнымъ, черезъ мѣсяцъ подалъ въ безсрочный отпускъ и, получивъ его, уѣхалъ въ деревню, захвативъ себѣ кстати въ спутницы Вѣрочку Миловзорову, быстроокую корифейку, „точеныя“ ноги и рѣзко очерченные контуры которой вызывали неистовыя рукоплесканія *завсегдашнихъ* первыхъ двухъ рядовъ креселъ, когда она, одѣтая мальчикомъ, вылетала во второй парѣ, въ *pas de manteaux*, въ любимомъ въ тѣ дни балетѣ *Пахита*.

Въ деревнѣ Скавронцевъ прежде всего утѣшенъ былъ тѣмъ, что, за надѣломъ крестьянъ своихъ землею (онъ пріѣхалъ какъ разъ вслѣдъ за объявленіемъ воли,) и за уплатой казенныхъ и частныхъ долговъ, сдѣланныхъ имъ во время блестящаго своего гвардейскаго служенія, ему приходилось сказать себѣ какъ древній философъ: *omnia mecum porto*, или нѣчто въ томъ же родѣ: изъ громкаго состоянія въ 800 душъ, завѣщаннаго ему отцомъ, ему оставались какія-то 500 десятинъ кустарника и песку, на которыхъ предоставлялось ему затѣмъ право хоть ананасы разводить. Во-вторыхъ, привезенная имъ съ собою жрица Терпсихоры скучала по Петербургу и лила нескончаемыя, хотя и безмолвныя слезы, сидя по цѣ-

лымъ днямъ у окна, изъ котораго, единственнымъ развлеченіемъ, могла любоваться на драку пѣтуховъ на дворѣ.

Чтобы какъ-нибудь устроиться, Скавронцевъ поступилъ въ должность мироваго посредника. Чтобъ утѣшить Вѣрочку Миловзорову, такъ какъ на отправку ея обратно въ Петербургъ не хватало у него нужныхъ денегъ, онъ рѣшился на ней жениться.

Мировой посредникъ вышелъ изъ Скавронцева отличный. Вѣрочка Миловзорова, обратившись въ госпожу Скавронцеву, тотчасъ же перестала плакать и начала приносить мужу по ребенку каждый годъ. Къ горю или къ счастью нѣжныхъ, но стѣсненныхъ въ средствахъ родителей, ребята эти были не живучи и отходили, по обыкновенію, въ вѣчность до зубковъ. Но не успѣетъ, бывало, похоронить одного Вѣрочка, какъ ужь, глядишь, ходитъ тяжелая другимъ. Въ прокъ, видно, пошла ей танцовальная гимнастика...

Въ участкѣ Скавронцева было большое, въ три тысячи душъ, имѣніе, принадлежавшее князю Можайскому. Имѣніемъ этимъ вѣдалъ управляющій изъ дворовыхъ, пьяница и пройдоха, мутившій крестьянъ подъ предлогомъ „сохранить барскую выгоду“. Уставной грамоты по добровольному соглашенію, какія до тѣхъ поръ удавалось вводить Скавронцеву во всѣхъ почти подлежавшихъ посредничеству его имѣніяхъ,— онъ настойчиво хлопоталъ всегда именно о такого рода грамотахъ, — онъ здѣсь, какъ ни старался, добиться не могъ. Неумѣренныя притязанія, безсмысленное упорство возгаралась съ новою силой, то съ одной, то съ другой стороны, въ ту минуту, когда, казалось ему, все было имъ вдосталь разъяснено и улажено и оставалось приложить руки къ бумагѣ... Въ одинъ прекрасный день онъ вдругъ вспомнилъ, что владѣлецъ имѣнія былъ тотъ самый князь Анатоль Можайскій, который поступилъ къ нему юнкеромъ въ эскадронъ во время оно и котораго онъ особенно отличалъ за лихость въ верховой ѣздѣ, а также „и по остальнымъ частямъ гвардейской науки“, въ оныхъ же самъ онъ состоялъ извѣстнымъ докою въ ту пору. Онъ тотчасъ же присѣлъ къ столу и написалъ слѣдующее:

„Любезный князь, не знаю, извѣстно-ли тебѣ, что я нахожусь посредникомъ въ томъ самомъ мировомъ участкѣ, въ коемъ имѣніе твое Большіе Дворы. По случаю введенія въ ономъ уставной грамоты, я, по долгу службы, а также по товариществу, считаю нужнымъ тебя предварить, что ни чорта тутъ подѣлать нельзя, главное потому, что сидитъ у тебя управляющій горькопійца и мошенникъ не хуже питерскаго ростовщика Коха. Прогони его взашей, сдѣлай ты милость, и возьми кого-нибудь другаго, а я, пожалуй, могу и надсмотрѣть за нимъ, такъ какъ, по теперешнимъ моимъ занятіямъ, приглядѣлся къ этому дѣлу достаточно.

„Всему полку мой сердечный поклонъ. Придется-ли опять увидаться съ камрадами, и самъ не знаю. Дѣла мои, братецъ ты мой, совсѣмъ дрянь вышли. Я даже женился и потомство имѣю; семью вижу впрочемъ рѣдко, потому постоянно въ разъѣздахъ и оттого и писать тебѣ пространнѣе не имѣю времени. Будь здоровъ, душа моя.

„Твой А. Скавронцевъ.“

Р. С. Все-ли у тебя *Рѣзвый*, или продалъ Топорову? Эхъ, конь былъ!“

Черезъ двѣ недѣли полученъ былъ отвѣтъ такого содержанія:

„Любезнѣйшій Александръ Андреевичъ!

Съ симъ вмѣстѣ препровождаю полную на твое имя довѣренность на распоряженіе Большими Дворами, съ правомъ смѣнить нынѣшняго моего управителя, назначить новаго и вообще дѣлать тамъ все, что тебѣ заблагоразсудится и что ты найдешь нужнымъ и полезнымъ. Кланяюсь тебѣ въ ножки за предложеніе о *присмотрѣ*. Ради Бога, только не откажись отъ него. Я знаю, что я за тобой буду какъ у Христа за пазушкой. Ты понимаешь, что я никакъ не могу оставить теперь полкъ, службу и похорониться въ деревнѣ, а ужь если мы, дѣйствительно, должны лишиться тебя и ты рѣшилъ остаться тамъ, то кого же какъ не тебя могу я избрать, такъ-сказать, попечителемъ надъ моимъ достояніемъ? Дядя мой Хохолковъ, пріѣхавшій сюда изъ твоихъ странъ, говоритъ, что

тебя тамъ просто боготворятъ какъ помѣщики, такъ равно и крестьяне. Да и можетъ-ли быть иначе для каждаго, кто тебя знаетъ?

„Всѣ товарищи en corps поручаютъ мнѣ...“

Слѣдовали двѣ страницы всякихъ пожеланій, полковыхъ новостей и сплетень. Въ другую минуту Скавронцевъ жадно дочиталъ бы ихъ до конца. Но первая часть письма его покоробила. Онъ бросилъ его на столъ, сжалъ брови и фыркнулъ про себя, покраснѣвъ даже при этомъ: „да что онъ, чортъ его дери, вообразилъ въ самомъ дѣлѣ, что я себя въ управляющіе ему предлагаю!...“

Кончилось тѣмъ однако, что онъ, смѣнивъ въ Большихъ Дворахъ, въ силу данной ему довѣренности, съ полдюжины управляющихъ, оказывавшихся одинъ глупѣе или вороватѣе другаго, переѣхалъ туда самъ на воеводство; трехлѣтіе его истекло; онъ вышелъ *въ чистую* и, скинувъ мундиръ, страстно предался сельскому хозяйству, хотя каждый день проклиналъ его и обзывалъ „каторжнымъ дѣломъ“.

Шелъ уже пятнадцатый годъ, какъ онъ занимался имъ. Обстоятельства его перемѣнились тѣмъ временемъ: какая-то старая тетка оставила ему по завѣщанію тысячъ девяносто денегъ. Получивъ эти средства, онъ поспѣшилъ отправить двухъ остававшихся у него въ живыхъ отъ многочисленной семьи мальчиковъ на воспитаніе въ ближайшій университетскій городъ, убѣдивъ и свою непомѣрно расплывшуюся Вѣрочку переселиться туда „для надзора за ребятами.“ Самъ онъ остался управлять Большими Дворами. „Каторжное“ дѣло было уже для него неотразимою потребностью. Онъ велъ его съ непоколебимою настойчивостью и какою-то необыкновенною смѣтливостью. Для рабочаго, для окрестныхъ крестьянъ, онъ былъ именно тотъ „простой“ и справедливый баринъ, котораго любитъ, которому вѣритъ русскій мужикъ. Онъ этимъ довѣріемъ и любовью достигалъ многаго, недостижимаго для другихъ. Патронъ его, князь Можайскій, давно полковникъ и фригель-адъютантъ, побаивался его въ душѣ точно такъ же, какъ въ тѣ дни, когда его, юнкера, строгій эскадронный

командиръ Скавронцевъ посылалъ дежурить съ метлой въ конюшнѣ. Старая княгиня, маленькая, слезливая и недалекая, каждый годъ пріѣзжавшая на лѣто съ дочерью въ Большіе Дворы, молилась на него какъ на Провидѣніе, спеціально назначенное для спасенія сына отъ разоренія. Княжна дразнила ее этимъ обожаніемъ и, въ воспоминаніе одного Диккенсова романа, называла Скавронцева: „нашъ взаимный—и грозный другъ", прибавляла она съ чуть-чуть презрительнымъ движеніемъ губъ.

Онъ звалъ ее, какъ звали ее въ семьѣ, Ташей или Тата, со временъ перваго знакомства съ ней, когда она длинною, худою, двѣнадцатилѣтнею довочкой пріѣхала въ Большіе Дворы съ матерью изъ-за границы, гдѣ онѣ предъ тѣмъ прожили года четыре сряду, и гдѣ она въ продолженіе этого времени „перезабыла свой русскій языкъ". Онъ очень плѣнился тогда этимъ ея галлицизмомъ и забавными оборотами рѣчи и подбивалъ ее постоянно на разговоры, которые лукавая дѣвочка, замѣтивъ это, вела уже нарочно на самомъ изломанномъ русскомъ языкѣ. Позднѣе сталъ онъ учить ее верховой ѣздѣ и доводилъ до слезъ своимъ „педантствомъ", по выраженію ея. Онъ съ своей стороны называлъ ее „бѣшеною" и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ никуда не пускалъ ѣздить безъ себя. А такъ какъ ни единая душа въ Большихъ Дворахъ не рѣшилась бы осѣдлать ей лошади безъ приказанія Александра Андреевича, а самому ему часто некогда было ѣхать съ нею въ то именно время, когда ей вздумывалось, Таша дулась и по цѣлымъ часамъ не говорила съ нимъ, сидя подлѣ матери за какою-нибудь ручною работой, не поднимая глазъ и съ продольною морщинкой между каштановыми, тонко очерченными бровями. Онъ очень любилъ эту морщинку и ея нѣмой гнѣвъ и, въ свою очередь, притворялся обиженнымъ. Робкая, маленькая княгиня-мать испуганно тогда переводила вопрошающіе взгляды съ дочери на Скавронцева и обратно и начинала вздыхать... Кончалось обыкновенно тѣмъ, что Александръ Андреевичъ выпрямится вдругъ во всю длину свою и возгласитъ веселымъ басомъ: „ну, капризница, пожалуйте, лошади поданы, извольте амазонку надѣвать!"

Настало время вывозить ее въ свѣтъ. Въ эту счастливую пору ея первыхъ выѣздовъ, когда послѣ блестящей петербургской зимы онѣ пріѣзжали на лѣто въ Большіе Дворы, Тата очень подружилась со Скавронцевымъ. Голова ея вся полна была молодаго чада, живыми впечатлѣніями едва пережитыхъ петербургскихъ радостей. Ей нуженъ былъ слушатель, наперсникъ, которому могла бъ она говорить о балахъ въ Концертной, о Кавалергардскомъ манежѣ, о каткѣ въ Таврическомъ Саду, и который „не спрашивалъ бы, что это все такое“, кто эти люди, чьи имена постоянно срывались съ ея языка, въ чемъ прелесть того волшебнаго міра, что улыбался ей на зарѣ ея восемнадцати лѣтъ. Неистощимы въ тѣ дни были ея разсказы, ея восторги въ продолженіе безконечныхъ прогулокъ верхомъ, на которые попрежнему отправлялась она каждое послѣ-обѣда въ сопровожденіи своего бывшаго учителя-„педанта“. Скавронцевъ слушалъ ее жадно, съ тайною тоской въ сердцѣ. Да, онъ зналъ этотъ міръ, въ которомъ и ему когда-то отведено было мѣсто,—этихъ людей, сверстниковъ своихъ, или бывшихъ подчиненныхъ, теперь такъ далеко ушедшихъ по пути, съ котораго сошелъ онъ навсегда. Отъ разсказовъ этой „дѣвочки“ вѣяло на него и горечью безплодныхъ сожалѣній, и проницающимъ запахомъ его собственной молодости съ ея золотыми обольщеніями и страстными грезами; онъ переживалъ ихъ опять ощущеніями этой молодой жизни, довѣрчиво раскрывавшейся предъ нимъ...

— Ну, Тата, такъ какъ же? спрашивалъ онъ ее, подавляя вздохъ и принимаясь улыбаться:—ферлакуровъ много?

— Довольно съ меня! хохотомъ отвѣчала она на это,— Гриницынъ, Воротынскій, Функенбергъ...

— Смотрите же, отечески наставлялъ онъ ее, — держите ухо востро, не раскидывайтесь! Выйти *умно* замужъ въ Петербургѣ—штука тонкая!

Но время бѣжало; быстро миновали дни юныхъ обольщеній. Съ каждымъ годомъ все короче становились ихъ верховыя прогулки, все обрывистѣе ихъ бесѣды. Александръ Андреевичъ уже не допрашивалъ, не дѣлалъ отеческихъ наставленій: княжна Тата, чуялъ онъ, сама хорошо знала теперь,

что выйти замужъ въ петербургскомъ свѣтѣ — „штука тонкая“.

Ей, по завѣщанію отца, назначалось при замужствѣ полтораста тысячъ, которыя грошъ ко грошу и накоплены были Скавронцовымъ въ теченіе его управленія изъ доходовъ Большихъ Дворовъ, наслѣдованныхъ ея братомъ. По размѣрамъ жизни того общества, къ которому принадлежала она, для тѣхъ избранныхъ, на кого она мѣтила, это было, конечно, далеко не большое состояніе. Но все же она была не безприданница, носила одну изъ громкихъ фамилій Россіи, была притомъ хороша собой, *элегантна*, особенно отличаема и любима въ высшихъ сферахъ, пользовалась репутаціей ума и образованности, сложившеюся (къ ея несчастію) какъ-то съ перваго появленія ея въ свѣтѣ. Она имѣла право высоко мѣтить... А между тѣмъ... Одинъ изъ большихъ петербургскихъ тузовъ, старикъ наблюдательный и остроумный, глядя на нее однажды сквозь золотые очки на какомъ-то балѣ, сказалъ, обращаясь къ своему сосѣду: „charmante en touts points, mais pas de chance!“ и это слово, тутъ же подхваченное, пристегнуто было съ тѣхъ поръ какимъ-то злымъ девизомъ къ ея имени. Дѣйствительно, княжнѣ Тата не выходило линіи, какъ выражаются купцы въ нашихъ комедіяхъ, не давалась „доля“, какъ поетъ украинская пѣсня. Цвѣты ея свѣтскихъ успѣховъ никакъ не дозрѣвали до ягодъ. У нея много было поклонниковъ, „ферлакуровъ“, были и дѣйствительно влюбленные въ нее; отъ полунасмѣшливаго, полунѣжнаго, салоннаго flirtation и до трепетныхъ звуковъ искренняго чувства ей довелось прослушать всю эту гамму лести и вкрадчивыхъ соблазновъ, что всегда такъ сладко звенитъ женскому уху. Но свѣтская поэзія не переходила для нея въ желанное прозаическое предложеніе „руки и сердца“. Кругомъ ея то-и-дѣло завоевывали завидныхъ жениховъ сверстницы ея, далеко уступавшія ей и рожденіемъ, и прелестью, и даже состояніемъ, а она, все такая же прекрасная и отличаемая, сидѣла пока все у того же берега и ждала погоды. Бываютъ такія судьбы!

Баронесса Крюднеръ въ своемъ знаменитомъ въ оно время

романѣ *Valérie* очень вѣрно замѣтила, что „люди, исключительно отдавшіеся свѣту, кончаютъ тѣмъ обыкновенно, что дѣлаются человѣконенавистниками и умираютъ, клевеща на жизнь“. Тата находились теперь на грани этой ненависти и клеветы. Она уже десятый годъ ѣздила въ свѣтъ и каждымъ нервомъ своего существа болѣзненно ощущала теперь, что она приглядѣлась до оскомины всей это праздно-толкущейся, скучающей и скучной, бездушной и обезличенной толпѣ, среди коей продолжала вращаться она, что она уже представляла собою нѣчто въ родѣ фамильной мебели, старинной, всѣмъ надоѣвшей картины. Она переходила на степень общественнаго авторитета, въ отдѣлѣ „почтенныхъ“. Молоденькія свѣтскія дебютанки спѣшили представляться ей и присѣдали при этомъ низко, низко, будто предъ семидесятилѣтнею статсъ-дамой... О, какъ часто, блѣднѣя и закусывая губу, должна была сдерживать себя наша княжна, чтобы не отвѣчать дерзостью на заискивающія улыбки этихъ свѣжихъ молодыхъ лицъ, на эти глубоко оскорбительныя въ почтительности своей присѣданія!

А растерянные взгляды, а сдержанные вздохи матери,—ея маленькой, чувствительной, вѣчно болѣвшей мигренью матери, отправлявшейся еженедѣльно тайкомъ отъ нея ко „Спасителю“, въ домикъ Петра Великаго, ставить свѣчку, „чтобы Тата нашла un parti convenable“,—а сжатыя брови и безмолвно потягиваемый усъ братца, князя Анатолія Васильевича, послѣ каждаго новаго недочета, когда еще разъ ускользалъ намѣченный „parti convenable“ изъ, далеко, тонко и умно закинутой подъ него сѣти! О, это „положеніе товара“, какъ выражалась она, — „котораго никакъ не удается сбыть съ рукъ“,—какъ его было не ненавидѣть, какъ не ненавидѣть эту „завидную, блестящую жизнь, по горло въ сливкахъ петербургскаго high life“! Она припоминала: утренніе визиты, „Англійскій магазинъ“, обѣдъ у дяди министра, Патти, балъ въ Концертной, платье отъ Ворта, пріемный день дома по средамъ, спектакль у princesse Irène, платье отъ Ворта, утренніе визиты, обѣдъ въ австрійскомъ посольствѣ, балъ въ Эрмитажѣ, платье отъ Ворта, „Англійскій магазинъ“, Патти, просто балъ, утренніе визиты, обѣдъ у... И девять лѣтъ,

девять лѣтъ сряду все то же безмысленное колесо, тѣ же плоскія лица, тѣ же „ходы и выходы“, тотъ же книжный французскій языкъ, съ остротами, прочтенными утромъ въ *Figaro*, тѣ же витіеватые по-старинному государственные сановники и натянутые, молчаливые по-новому ихъ будущіе преемники! Лучшіе годы,—„и ни одного свѣжаго, здороваго воспоминанія“ говорила она себѣ, „и ничего во всѣхъ этихъ людяхъ, ничего, кромѣ змѣиной зависти и лакейскаго тщеславія!“...

Другая жизнь?... Но гдѣ-жь она? Тата, презиравшая общество, къ которому принадлежала, была въ душѣ скептикомъ, какъ всѣ почти люди, выросшіе въ этомъ обществѣ. Она не вѣрила ни въ филантропію, ни въ лорда Редстока, ни въ Георгіевскую Общину, ни въ *новыхъ людей*, ни въ *женщинъ науки*, ни въ *соціальныя задачи*, о которыхъ случалось читать ей въ русскихъ газетахъ. На ея глаза все это было „шутовское переодѣванье, гдѣ подъ каждымъ платьемъ узнавалось опять то же: дурацкое или лицемѣрящее тщеславіе, или зависть людей, хуже одѣтыхъ, чѣмъ мы“. Но еслибы кто-нибудь даже и успѣлъ переубѣдить ее въ этомъ, она уже ни въ какомъ случаѣ не была въ состояніи обманываться на счетъ себя самой. Она сознавала себя совершенно неспособною обмывать раны нищихъ или пѣть серьезно англійскіе псалмы, равно какъ надѣть синія очки и закатывать глаза въ потолокъ при словѣ „прогрессъ“. *Другой* жизни для нея не было; она, „какъ устрица“, говорила себѣ наша княжна, „должна была жить и умереть у той скалы, къ которой была прикована, и проклинать эту скалу!“...

Она забывала или, вѣрнѣе, не хотѣла вспомнить, что и въ ея прошломъ промелькнула одна свѣтлая полоса, и сама она не дала ей охватить пожаромъ своего сердца; среди всей этой людской пошлости ей дано было натолкнуться однажды на одно „свѣжее и здоровое“ существо, и сама она испугалась себя и отошла отъ своего счастья. Ей было двадцать лѣтъ, когда она встрѣтилась съ нимъ. Онъ по рожденію и воспи-

танію принадлежалъ къ одному съ нею кругу, носилъ старинную фамилію, но остался послѣ смерти отца и матери безъ гроша за душой и ни въ грошъ не ставилъ оставленныя ему въ наслѣдство вмѣсто денегъ большое вліятельное родство и связи. Бахтеяровъ былъ, дѣйствительно, *новымъ* человѣкомъ среди всего этого общества по гордости своего характера и независимости сужденій, по жаждѣ знанія, по своей энергіи. Онъ блистательно учился въ университетѣ, поступилъ затѣмъ въ гвардейскій полкъ и, также блистательно окончивъ курсъ въ академіи генеральнаго штаба, готовился ѣхать на Кавказъ, гдѣ ему предложено было уже довольно видное мѣсто, когда увидалъ въ первый разъ Тата у какой-то своей тетки. Онъ не поѣхалъ на Кавказъ и принялъ первое попавшееся назначеніе въ Петербургѣ, который ненавидѣлъ всею душой; онъ былъ охваченъ съ перваго раза огнемъ молодой, неудержимой страсти... Онъ нравился княжнѣ,—онъ не могъ не нравиться своимъ оригинальнымъ, цыганскаго типа лицомъ, съ его нѣсколько высокомѣрнымъ выраженіемъ, изящною неловкостью высокаго, нѣсколько сутуловатаго тѣла и своею горячею, иногда черезчуръ рѣзкою, всегда искреннею рѣчью, что̀ такъ мало походило на то, что̀ приходилось ей слышать кругомъ... Онъ ей нравился, она искала встрѣчъ съ нимъ, она пожертвовала тремя балами, не изъ важныхъ — удовольствію просидѣть эти вечера съ нимъ, en petit comité, въ домахъ, куда онъ ѣздилъ. Онъ сгаралъ, блаженствовалъ, строилъ воздушные замки. Это продолжалось почти три мѣсяца. Въ свѣтѣ начали говорить объ этой страсти; Тата упрекали за то, что она поощряетъ ее... Братъ Анатолій начиналъ морщиться, княгиня-мать усиленно вздыхала. Но княжна Тата была сама умна: „онъ, этотъ Бахтеяровъ, avec sa figure sauvage, онъ могъ забавлять ее, она могла имъ *заняться* нѣкоторое время“; еслибъ она была замужемъ, „она любила бы такого *совсѣмъ* съума свести;“ но выйти замужъ за двадцатитипятилѣтняго офицера, безъ положенія, живущаго жалованьемъ, — какой вздоръ! Она поняла, что пора было покончить ей съ этою забавой... Она сама испугалась тому, что̀ сдѣлала, когда сказала ему, чтобъ онъ болѣе о ней не думалъ,

что „*этого* никогда не можетъ быть“. Онъ стоялъ въ углу, у камина, въ минуту этого объясненія; она видѣла, какъ лицо его вдругъ стало бѣлѣе полотна; онъ поднялъ руку и схватился за мраморъ какъ бы для того чтобы не упасть. Онъ ни словомъ не отвѣтилъ ей, но только взглянулъ на нее, взглянулъ такимъ взглядомъ, что ей стало холодно. Она хотѣла найти нѣсколько „дружескихъ словъ“ для его утѣшенія, но онъ не далъ ей времени сказать ихъ, поклонился и тутъ-же исчезъ. Она всю ночь не спала: ей представилось, что онъ застрѣлится. Онъ не застрѣлился, но черезъ нѣсколько дней она узнала, что онъ отпросился въ Ташкентъ и уѣхалъ, ни съ кѣмъ не простясь.

Онъ вернулся черезъ четыре года, въ полковничьихъ эполетахъ и съ блестящею военною репутаціей, пріобрѣтенною имъ въ Хивинскомъ походѣ. Въ продолженіе двухъ недѣль его разрывали по петербургскимъ гостинымъ. Свѣтскія *кокодетки* чуть не дрались изъ-за него, поили и кормили его обѣдами и ужинами и находили, что онъ, какъ двѣ капли воды, напоминаетъ графа Андраши, „mais en jeune et en beau“... Тата нечаянно, на какомъ-то вечерѣ, увидала его и его черные пронзительные глаза подъ боромъ кудрявыхъ волосъ, въ упоръ устремленные на нее. Она чуть-чуть дрогнула и, озаренная горячимъ блескомъ ихъ, невольно опустила рѣсницы. Она все прочла въ этомъ взглядѣ: онъ вернулся тѣмъ же, она не сомнѣвалась въ этомъ. На мгновеніе сперлось у нея дыханіе, и сердце учащенно забилось: она чувствовала себя безконечно любимою этимъ человѣкомъ, и ея собственное чувство, какъ птица изъ клѣтки, рвалося ему на встрѣчу. Оно захватывало ее теперь, это чувство. Ея заискрившіеся глаза, полные отвѣта, готовы были подняться на него... „J'ai l'honneur de vous saluer, princesse“, раздался въ эту минуту чей-то голосъ. Предъ нею стоялъ съ поклономъ и восхищенною улыбкой молоденькій графъ Аваловъ, одинъ изъ богатѣйшихъ жениховъ въ Россіи. Онъ съ самаго начала этой зимы ухаживалъ за нею, и опытная уже Тата влюбляла его въ себя съ каждымъ днемъ все сильнѣе. Дѣло, повидимому, совсѣмъ налаживалось. Мать и братъ княжны ходили съ сіяющими

лицами и чуть не цѣловали ей руки. Препятствія предвидѣлись со стороны матери Авалова, которая говорила громко, что сынъ ея еще слишкомъ молодъ, чтобы думать о женитьбѣ. (Можайскіе знали, что она желала женить его черезъ нѣсколько времени на дочери одной своей двоюродной сестры, которой въ эту минуту едва минуло шестнадцать лѣтъ.) Но препятствіе это не было неодолимо: Аваловъ былъ совершеннолѣтній и состояніе было все его; онъ могъ совершенно обойтись безъ согласія матери. Надо было только довести его до той степени влюбленности, когда человѣкъ уже не видитъ, не признаетъ ничего, кромѣ любимой женщины, кромѣ *ея* воли.

И вотъ, въ это самое время, когда для княжны Тата чуть уже не загорались вѣнчальные огни (свѣтскіе вѣстовщики говорили о ея помолвкѣ какъ о дѣлѣ рѣшенномъ),—опять, опять этотъ Бахтеяровъ, отверженный ею, со своими огненными глазами „et son air plus sauvage que jamais“, Бахтеяровъ, теперь герой дня, изъ-за котораго на дняхъ, разсказывали ей, у Nadine Краснохолмской чуть не вцѣпилась въ шиньонъ Sandrine Беренбергъ маленькая графиня Ваханская. И онъ все тотъ же, все также страстно любитъ ее, а она... Но нѣтъ, нѣтъ, неужели дастъ она себѣ волю, позволитъ себѣ „увлечься романическимъ чувствомъ“?

Ей скоро представился случай „покончить съ этимъ“.

Однажды за интимнымъ обѣдомъ у Léonie Тепловой (это была одна изъ современницъ ея по дебютамъ въ свѣтѣ, давно впрочемъ успѣвшая опередить ее по части матримоніальной карьеры, такъ какъ третій уже годъ состояла замужемъ за своимъ богатымъ и пьяненькимъ „Дини“,) кто-то предложилъ ѣхать вечеромъ на тройкахъ. Предложеніе было принято съ восторгомъ. Маленькая и вездѣсущая графиня Ваханская вскочила съ мѣста и забарабанила ножомъ по тарелкѣ.

— Attention, mes gaillardes! крикнула она на всю столовую:

Всѣ обернулись со смѣхомъ въ ея сторону. Ея „откровенная“ (во всякомъ другомъ кругу ее бы назвали циническою,) рѣчь очень цѣнилась въ мірѣ нашихъ кокодетокъ.

— Насъ здѣсь сколько? начала она: quatre femmes et trois hommes? Nombre impur!

— Impair, счелъ нужнымъ поправить Анатоль Можайскій, одинъ изъ троихъ мужчинъ.

— Je dis *impur*, sacrée bombe! И она ударила ножомъ уже такъ, что тарелка раскололась на куски;—la pureté veut que chacune ait son chacun... pour le moins! прибавила она съ жестомъ Schneider, оттягивая пальцемъ вѣку праваго глаза и прижмуриваясь другимъ.

— Approuvé! крикнулъ подъ общій хохотъ хозяинъ дома Дини, наполовину уже *готовый*.

— Pitou, обратилась черезъ столъ маленькая графиня къ своему, такому же маленькому, съ китайскимъ лицомъ, супругу,—vous allez vous flanquer dans un tape—quelque chose, et vous nous amenerez Бахтеяровъ et Аваловъ.

Она сѣла и ущипнула за локоть сидѣвшую подлѣ нея Тата.

— Ты становишься совершенно невозможною, Lizzy, сказала ей недовольнымъ голосомъ княжна.

— Vous n'êtes qu'une bégueule, ma chère! C'est très chien ce que je viens de dire, dites donc vous autres, отвѣтила та, обѣгая кругомъ глазами и самымъ искреннимъ образомъ удивляясь, что кто-нибудь могъ находить неприличнымъ ея чистѣйшій жаргонъ парижскаго демимонда.

Кромѣ Тата никто и не нашелъ его неприличнымъ: у Lizzy Ваханской было полтораста тысячъ дохода и лучшій поваръ во всемъ Петербургѣ.

Изъ-за стола поднялись часу въ девятомъ. Въ одиннадцатомъ явились Бахтеяровъ, Аваловъ и товарищъ его, кавалергардъ Пронскій, которыхъ Pitou нашелъ въ Яхтъ-клубѣ. Самъ онъ остался тамъ играть въ quindici съ Гадивоновымъ, Половецкимъ и Зубатовымъ, а молодыхъ людей послалъ къ Тепловымъ и наказалъ имъ нанять и привести туда двѣ тройки.

Разсѣлись по рецепту Lizzy Ваханской, „каждая съ каждымъ“: въ первыхъ саняхъ хозяйка дома и напротивъ ея уже второй годъ сильно приволакивавшійся за нею Анатоль Можайскій, а рядомъ съ нею Зина Троекурова, четвертая дама

нашей веселой компаніи, бывшая уже не первой молодости, а потому очень любившая кокетничать „avec les innocents“, къ числу которыхъ причисляла она своего vis-à-vis, только что произведеннаго въ офицеры, еще безусаго и хорошенькаго Пронскаго; во вторыхъ—Lizzy съ Тата, съ которыми поѣхали Бахтеяровъ и Аваловъ. Маленькая графиня, имѣвшая самыя серьезныя претензіи на сердце „дикаго Хивинца“ и знавшая, что Тата съ своей стороны преслѣдуетъ „серьезную цѣль“ относительно Авалова, разсчитывала на прелестнѣйшую partie carrée, въ которой „никто другому мѣшать не будетъ“, на основаніи извѣстнаго правила, что „quand on est quatre on est deux“. Но едва тронулись и поскакали тройки, оказалось, что она ошиблась въ разсчетѣ. „Дикій Хивинецъ“, какъ нарочно, завелъ сразу общій разговоръ и по его оживленному, горячо веселому тону она тотчасъ же поняла, что онъ никакъ не намѣренъ свести его на одну изъ тѣхъ интимныхъ бесѣдъ, которыя такъ удобны въ саняхъ, ночью, когда едва различаешь лицо сосѣда и въ то же время чувствуешь всю его близость къ себѣ, и подъ визгъ полозьевъ и свистъ вѣтра все какъ бы можно сказать, все дать понять и все выслушать безъ смущенія, благодаря этой ночи и визгу, и возбудительному зимнему воздуху, отъ котораго такъ пріятно щиплетъ кожу сквозь вуаль и захватываетъ дыханіе, и такъ хорошо, такъ упоительно весело!.. Ничѣмъ этимъ, она видѣла, не хотѣлъ воспользоваться Бахтеяровъ, тщательно даже поджимавшій назадъ ноги при малѣйшемъ толчкѣ, чтобы не коснуться ими маленькихъ ножекъ Lizzy, противъ которой сидѣлъ онъ. Онъ разсказывалъ какія-то уморительныя вещи, которыя заставляли хохотать невольно и ее, и Тата, но она опять-таки чувствовала, что онъ былъ такъ остеръ и блестящъ не для нея одной... а, можетъ-быть хуже, даже вовсе не для нея. Lizzy начинала сердиться на него и вмѣстѣ съ тѣмъ ревновать Тата. Но наша княжна, съ своей стороны, вовсе не поощряла frais d'esprit „Хивинца“: ее гораздо болѣе занимало угрюмое настроеніе vis-à-vis ея, Авалова. Онъ сидѣлъ, приподнявъ до глазъ бобровый воротникъ шинели и не разжимая губъ, взглядывалъ оттуда на нее изъ-подъ своей бѣлой

фуражки прямо и печально (она это ясно замѣтила, проѣзжая по Дворцовой Набережной, когда падалъ на него свѣтъ фонарей). Она нѣсколько разъ пыталась *завести* его, обращалась къ нему съ вопросами тою тихою, почти шепотливою, проницающею интонаціей голоса, которая была одною изъ тайнъ ея очарованія и которою владѣла она въ совершенствѣ: на лицѣ холодное, небрежное, чуть не презрительное выраженіе, а чуть слышный голосъ такъ и вьется, такъ и льнетъ, такъ и захватываетъ... Она знала, какъ электрически дѣйствовалъ этотъ голосъ на Авалова, какъ загорался онъ весь отъ его бархатныхъ звуковъ и, забывая свою задумчивость, умѣлъ въ свою очередь находить слова, полныя горячаго молодаго чувства... Но на этотъ разъ и этотъ обаяющій голосъ какъ бы потерялъ силу вызвать его изъ его страннаго оцѣпенѣнія. „Баяхтеровъ est trop brillant; le pauvre garçon и робѣетъ предъ нимъ, и ревнуетъ его", объяснила себѣ мысленно Тата, и тутъ же рѣшила, что слѣдуетъ успокоить и открыто поощрить „бѣднаго мальчика".

Сани въ это время подскочили, пролетая чрезъ какой-то ухабъ.

— Ouf la-la! воскликнула со смѣхомъ Lizzy.

— Извините, графиня! послышался вслѣдъ за этимъ голосъ Бухтеярова.

— За что?

— Я, кажется, толкнулъ васъ ногою...

— Или я васъ моею... C'est bien heureux! уже совсѣмъ расхохоталась маленькая графиня:—а то вы прячете ваши ноги отъ моихъ avec tant de pudeur, будто увѣрены que j'irai vous faire du pied comme ou fait de l'oeil... C'est la quintessence de l'impertinence, mon cher, savez vous!.. Но вы это, повидимому, не считаете нужнымъ знать, en votre qualité de héros... Тата, любишь ты героевъ? обратилась она, не останавливаясь, къ княжнѣ нашей съ тѣмъ неисчерпаемымъ brio и неожиданностью переходовъ, которые отличали ее.

— Героевъ? небрежно протянула, повторяя, Тата, какъ бы не слыхавъ предыдущаго:—да, сказала она,—люблю... издали, на разстояніи ложи отъ сцены...

Еслибы не безлунная ночь, она ужаснулась бы можетъ-быть отъ выраженія, мгновенно запылавшаго и также быстро покрывшагося смертельною блѣдностью лица Бахтеярова... Но онъ сдержался, отвѣчалъ все тѣмъ же своимъ тономъ безпечной веселости:

— И прелестно дѣлаете, княжна: въ ложѣ гораздо удобнѣе сидѣть въ компаніи Молчалиныхъ, чѣмъ Чацкихъ:—ни смотрѣть, ни слушать не мѣшаютъ и съ мнѣніемъ пристегнувшей ихъ къ себѣ хозяйки неизмѣнно согласны.

Это было зло, и зло вдвойнѣ, поняла Тата, зло и для нея, и для Авалова, который, кромѣ того, еще могъ понять при этомъ все неудобство быть „пристегнутымъ...“

— Молчалины не нашего общества, проговорила она свысока и отчеканивая,—я ихъ не знаю по крайней мѣрѣ... Но Чацкихъ, признаюсь вамъ, я никогда не могла принять au sérieux. Трескъ, блеснетъ, дымъ,—и ничего больше!..

— Mais c'est tout ce que j'adore, ma chère, такъ и вспрыгнула на эти слова маленькая графиня:—дымъ, трескъ et tout le tremblement; для меня только это и жизнь... Tenez, видите эту скверную, черную, старую дачу (они проѣзжали мимо Новой Деревни,) avec son air de vieille sorcière dans le genre de ma tante Софья Сергѣевна? Я бы ее сейчасъ подожгла съ четырехъ сторонъ, чтобы посмотрѣть, какъ наши герои (она кивнула на сидѣвшихъ противъ нихъ молодыхъ людей,) станутъ скакать въ пламя l'un après l'autre и вытащатъ оттуда толстую, претолстую прачку,—mon suisse Ѳедоръ a une belle dans ces proportions... Аваловъ, la прачка, que vous aurez sauvée des flammes, jugera nécessaire par reconnaissance de vous offrir les siennes. Que lui répondrez vous, fleur d'innocence?

— Я ее кину тутъ же тушить себя въ Малую Невку! отвѣтилъ съ какою-то забавною досадой молодой человѣкъ.

Lizzy покатилась такъ сообщительно, что такимъ же смѣхомъ отвѣтили ей и ея спутники, хотя никому ихъ нихъ троихъ далеко весело не было... Довольна была она одна: „Tata l'a aplati avec son Чацкій“, думала съ торжествомъ Lizzy про Бахтеярова,—„онъ этого ей ни, ни, ни, не проститъ никогда!“ И, успокоенная съ этой стороны, она затрещала съ

радости пуще прежняго, увлекая всѣхъ ихъ невольно въ сверкающій водоворотъ своей искристой, своеобразной, никого не щадившей и ни предъ чѣмъ не останавливавшейся болтовни. „Хивинецъ“ ей вторилъ съ лихорадочною злостью въ голосѣ, съ тою безпощадною, „убивающею человѣка однимъ словомъ“ мѣткостью эпиграммы, въ недостаткѣ которой упрекалъ блаженной памяти Печоринъ своего злополучнаго соперника Грушницкаго. Тата испытывала какое-то жуткое чувство отъ этой жгучей страстности злословія, возбудительницею и конечною цѣлью которой была она, она это знала; какое-то смутное чувство страха охватывало ее предъ этимъ „нажитымъ ею себѣ навѣки врагомъ“, который... который, быть можетъ, никогда еще такъ, какъ въ эту самую минуту, когда онъ былъ такъ золъ, а она такъ виновата предъ нимъ, не занималъ, не волновалъ ея воображенія, ея сердца... Но она настойчиво повторяла себѣ внутренно, что ей „*надо* было такъ поступить“, надо было „отрѣзать разъ навсегда съ *нимъ*“, что она этимъ дала теперь совершенно ясно понять Авалову, что она принесла ему въ жертву Бахтеярова, и что онъ слѣдовательно...

Это *слѣдовательно*—она его ожидала въ этотъ же вечеръ, сейчасъ, вотъ когда они вернутся къ Тепловымъ; она его, казалось ей, читала заранѣе въ горячемъ, благодарномъ выраженіи жадно вперившихся въ нее теперь глазъ юнаго офицера (они скакали опять въ это время на обратномъ пути по Набережной, и свѣтъ фонарей снова освѣщалъ его свѣжее миловидное лицо). „Онъ ждетъ не дождется минуты сказать мнѣ все, *что надо*“, объясняла себѣ наша княжна. И она съ кокетливою стыдливостью опускала отъ времени до времени вѣки, какъ бы робѣя предъ этими его слишкомъ жгучими для ея душевнаго спокойствія взглядами...

У Тепловыхъ ждалъ ихъ одинъ изъ тѣхъ petits soupers fins, заказывать которые былъ большой мастеръ хозяинъ дома, „Дини“. Онъ вернулся нарочно къ нему изъ клуба, куда отправился послѣ обѣда съ Pitou и отвуда притащилъ съ собою теперь еще съ полдюжины пріятелей. Гамъ и смѣхъ загремѣли съ перваго же блюда. Тата, сидѣвшая рядомъ съ Ава-

ловымъ, повела подъ общій говоръ рѣчь къ желанному объясненію:

— Вы разгулялись наконецъ? спросила она его, улыбаясь, своимъ льнущимъ голосомъ.

— Ахъ, княжна, отвѣчалъ онъ, понявъ и вздыхая,—какія тучи вы не въ состояніи разогнать, пока вы тутъ!

— Et il y en a dans votre ciel? продолжала она шутливо,—много?

Онъ еще разъ вздохнулъ.

— Одна пока, но ужасная!...

— Не съ востока, надѣюсь? сказала она, напирая и обернувшись къ нему.

Онъ опять понялъ, и молодыя черты его освѣтились невольною радостью:

— Нѣтъ, нѣтъ, благодаря вамъ, *эта*, кажется, уйдетъ теперь опять туда, откуда пришла, и не вернется... Нѣтъ, другое...

Онъ не докончилъ.

— Что же такое? У нея слегка забилось сердце...

— Совсѣмъ въ противоположную сторону гонятъ, сказалъ онъ, взглянувъ на нее, и весь поблѣднѣлъ даже.

У Тата дрогнули брови:

— Кто? куда? могла только выговорить она.

— Maman... Меня посылаютъ помощникомъ военнаго агента въ Парижъ,—заговорилъ вдругъ торопливо, съ ребяческимъ гнѣвомъ въ голосѣ Аваловъ; — я ничего, ничего не зналъ, за мною вдругъ послали, и объявляютъ... Это maman, ничего мнѣ не сказавъ, устроила en haut lieu... Она, вы знаете, всю зиму провозилась со своею bronchite, и теперь и Боткинъ, и Эйхвальдъ, и всѣ они говорятъ, что ей надо непремѣнно перемѣнить воздухъ, за границу. А у нея sa cousine, la comtesse de Brahe, qui a une propriété en Touraine, первый ея другъ, и она очень приглашаетъ maman пріѣхать къ ней туда на цѣлый годъ... И вотъ, чтобъ имѣть меня подъ рукой, она вздумала устроить мнѣ это мѣсто въ Парижѣ, когда... когда мнѣ такъ хорошо въ Петербургѣ, когда тутъ вы!... говорилъ онъ чуть не плача.

Для Тата все было ясно: графиня Браге была именно мать той дѣвушки, на которой графиня Авалова намѣрена была женить сына, и она увозила его теперь съ этою цѣлью отъ нея, отъ Тата, которую почитала слишкомъ старою или слишкомъ самостоятельною для него...

Она медленно, безъ кровинки въ лицѣ, подняла свои глубокіе сѣро-зеленые глаза и остановила ихъ на молодомъ человѣкѣ:

— И вы... поѣдете? протянула она.

Онъ мгновенно покраснѣлъ до самаго лба; судорога передернула его смутившееся лицо:

— Que puis-je faire, назначеніе свыше!... Но я вернусь, какъ только можно будетъ! пробормоталъ онъ заикаясь.

У Тата сердце упало. Она поняла: онъ былъ для нея навсегда потерянъ; онъ изъ-подъ этой своевольной материнской „руки“ не въ состояніи будетъ уйти никогда... Съ выраженіемъ желчнаго презрѣнія въ углахъ нервно сомкнувшихся губъ отвернулась она отъ этого жалкаго „baby въ офицерскихъ эполетахъ“, глянула безцѣльно впередъ и вздрогнула вдругъ, вздрогнула такъ, что едва была въ силахъ это скрыть. Бахтеяровъ сидѣлъ почти напротивъ ея, около Lizzy Ваханской, и прожигалъ ее насквозь своими цыганскими глазами, какъ бы нечаянно упавшими на нее въ этотъ мигъ. Она чутьемъ почуяла, что онъ, занятый свиду разговоромъ съ сосѣдкой, все время слѣдилъ за нею, что онъ угадалъ все, все происшедшее между ею и Аваловымъ, и ликовалъ, „радовался адскою радостью“, сказала она себѣ мысленно... Она была застигнута врасплохъ и, не совладѣвъ съ собою въ первую минуту, отвѣтила ему растерянным взглядомъ, въ которомъ онъ прочелъ отчаянную мольбу о пощадѣ, о прощеніи...

Онъ, въ свою очередь, приподнялъ до высоты лица стоявшій предъ нимъ широкодонный бокалъ тончайшаго хрусталя, сквозь который подъ огнями яркоосвѣщенной столовой сверкала золотая влага шампанскаго, и съ безпощадною ироніей (язвительнаго звука его голоса въ эту минуту не могла уже потомъ никогда забыть она,) проговорилъ громко:

— Пью отъ души за все то, что для васъ не *дымъ*, княжна!

У нея задвоилось въ глазахъ... Но она осилила себя, усмѣхнулась, протянула руку къ своему бокалу...

— Не пей, Тата, не пей! крикнула ей неожиданно съ комическимъ ужасомъ, пораженная выраженіемъ лица „Хивинца“, впечатлительная Lizzy:—il sortirait du feu de votre verre!

Всѣ расхохотались кругомъ. Она схватила со скатерти два золоченные десертные ножа и, сложивъ ихъ крестомъ, простерла вооруженныя ими руки въ сторону Бахтеярова:

— Comme dans le second acte de *Faust*, визгнула она еще разъ:—gare à Mephisto!...

Съ того дня въ жизни княжны Тата, какъ говорится, *заколодило*... Аваловъ съ тѣхъ поръ успѣлъ вернуться въ Петербургъ съ молодою женой, графиней Нелли, безукоризненно воспитанною особой, попавшею тотчасъ же въ число неоспоримыхъ *моделей* свѣтской добродѣтели, и которая на первыхъ же порахъ, познакомившись съ нашею княжной, воспылала къ ней дружбой, исполненною самой изысканной экзальтаціи и суперфинной тонкости въ выраженіи своихъ чувствъ. Бахтеяровъ тогда же (она съ нимъ не встрѣчалась съ того вечера,) уѣхалъ въ свой Туркестанъ и не давалъ о себѣ знать никому. Въ мірѣ кокодетокъ о немъ давно и говорить перестали, а венгерскій графъ Шегединъ, хромавшій какъ лордъ Байронъ и удивительно свиставшій вѣнскія польки подъ аккомпаниментъ цитры, вытѣснилъ и послѣднюю память о „Хивинцѣ“ изъ пылкаго, но зыбкаго сердца Lizzy Ваханской...

Четвертый уже годъ исходилъ съ тѣхъ поръ, и все это теченіе времени, вносившее столько измѣненій въ судьбы знакомыхъ ей людей и сверстницъ ея, проносилось безслѣдно и безцѣльно лишь для одной Тата. Она оставалась все такою же „устрицей, проклинающею скалу, къ которой она была прикована“, и надежда на избавленіе, на счастье, на счастье, жажда котораго все неотступнѣе сказывалась въ ея существѣ, отлетала въ то же время съ каждымъ годомъ, съ каж-

дымъ мѣсяцемъ, все далѣе отъ ея изъязвленной и возмущенной души.

Она старалась теперь сокращать по возможности и время пребыванія своего въ Петербургѣ, и случаи выѣздовъ въ свѣтъ, которому, говорила она мысленно со злою ироніей по собственному адресу, „всѣ ея моральныя и физическія прелести были знакомы до мерзости“. Изъ недочетовъ своихъ матримоніальныхъ комбинацій, Тата вынесла то убѣжденіе, что въ возрастѣ, до котораго дожила теперь она, у нея оставался одинъ только шансъ, что на ней можетъ жениться единственно „un homme sérieux“, человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ и притомъ честолюбивый, который прежде всего будетъ искать въ женѣ „une femme qui sache le servir dans son ambition, женщину въ родѣ Вава Лавинской“, договаривала себѣ она, находя тутъ же и живой образецъ того, что̀ именно требуется такому „homme sérieux“, и намѣчая въ головѣ въ то же время и тѣ два-три холостые экземпляра этой особой петербургской породы людей, которые съ своей стороны могли бы быть расположены искать въ ней, княжнѣ Натальѣ Можайской, вторую Вава Лавинскую. Но такъ какъ ихъ, этихъ „hommes sérieux“, можно встрѣчать въ петербургскихъ салонахъ и подолгу пользоваться удовольствіемъ назидательныхъ бесѣдъ съ ними лишь въ самый разгаръ тамошней зимы, то-есть въ то самое время, когда эти серьезные люди наиболѣе заняты по своимъ должностямъ и озабочены ввѣреннымъ ихъ мудрости благоденствіемъ Россіи, то Тата и положила, что ей съ матерью всего удобнѣе проживать какъ можно долѣе въ деревнѣ, а въ Петербургѣ проводить лишь сезонъ отъ Рождества до вскрытія Невы. Кромѣ получаемой отъ этого значительной экономіи въ расходахъ, въ этой country life имѣлся, по ея мнѣнію, тотъ респектабельный англійскій запахъ, который именно подходилъ къ избранной ею теперь *линіи* серьезности. Маленькая княгиня-мать, само собою, приложила обѣ руки подъ такое рѣшеніе дочери: для нея въ Петербургѣ только и было любезнаго, что Домикъ Петра Великаго, гдѣ ставила она свѣчи „pour que Tata fasse un parti convenable“. Братъ Анатоль, съ своей стороны давно покончившій съ

Léonie Тепловой и самъ теперь помышлявшій о выгодной партіи, успѣлъ за это время такъ разочароваться въ способности сестры „пристроиться“, что охотно согласился бы *сократить* и вовсе пріѣзды ея съ маменькой въ Петербургъ, а потому заведеннымъ ею порядкамъ жизни выражалъ полнѣйшую аппробацію.

Болѣе всѣхъ былъ ими доволенъ Александръ Андреевичъ Скавронцевъ. Восемь мѣсяцевъ въ году проводилъ онъ теперь въ обществѣ этихъ двухъ женщинъ, къ которымъ привязанъ былъ самымъ искреннимъ, родственнымъ чувствомъ. Собственная семья его была едва-ли болѣе, гораздо скорѣй менѣе, дорога ему. Вообще говоря, къ семьѣ своей онъ былъ довольно равнодушенъ. Онъ съ нею и видался только урывками. Его обратившаяся теперь въ сороковую бочку сорокалѣтняя уже Вѣрочка жила по зимамъ въ городѣ, гдѣ сыновья ея ходили учиться въ гимназію, а на каникулы переселялась съ ними въ прекрасное, отстоявшее лишь верстъ на десять отъ этого города имѣніе, которое мужъ ея имѣлъ случай пріобрѣсти весьма выгодно вскорѣ по полученіи завѣщанныхъ ему теткою денегъ, и весь доходъ котораго назначенъ былъ имъ исключительно на ея съ дѣтьми потребы. Самъ онъ *напѣзжалъ* къ нимъ въ городъ и въ деревню по нѣскольку разъ въ годъ, но рѣдко когда въ состояніи былъ выжить съ ними долѣе недѣли. Онъ въ обществѣ ихъ испытывалъ и скуку, и какую-то неловкость. Съ женой, проводившею всю жизнь въ распашной блузѣ за кофе и гаданьемъ на картахъ, у него давно изсякли всякіе предметы разговора. Сыновья его, изъ которыхъ старшему шелъ уже восемнадцатый годъ, были добрые, трудолюбивые ребята, не отличавшіеся особымъ изяществомъ манеръ, ни еще менѣе какимъ-либо аристократическимъ оттѣнкомъ въ складѣ понятій своихъ и рѣчей. Слушая ихъ разговоры, глядя, какъ они ходятъ въ развалку, ѣдятъ съ ножа, кланяются бочкомъ, Скавронцевъ, взросшій въ преданіяхъ благовоспитаннаго щегольства стараго гвардейства, только поморщивался и набиралъ дыму въ ротъ изъ папироски въ удвоенномъ количествѣ, но считалъ безполезнымъ или не умѣлъ вступать съ ними въ словопренія на эту тему. „Нечего грѣха таить, ха-

мовать", говорилъ онъ себѣ со вздохомъ, думая о нихъ,—„но, по нынѣшнему времени, пожалуй, другаго и не нужно..."

Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ возвращался онъ послѣ каждой такой „побывки у своихъ" подъ любезныя ему сѣни стараго дома Большихъ Дворовъ. Тутъ только, въ этихъ высокихъ, обширныхъ покояхъ, съ ихъ закоптѣлыми расписными плафонами, картинами въ почернѣлыхъ рамахъ и выцвѣтшими, когда-то цѣнными коврами, чувствовалъ онъ себя *дома*. Александръ Андреевичъ дорожилъ всѣми этими остатками минувшаго, которые удалось ему сохранить здѣсь нетронутыми среди повсемѣстнаго разгрома, внесеннаго новымъ временемъ на Руси въ строй ея стародавняго дворянскаго житья. Въ Большихъ Дворахъ этотъ навѣки исчезнувшій барскій міръ будто снова воскресалъ предъ вами. Изстари заведенные порядки жизни блюлись здѣсь какъ святыня. Тѣ же старые дворовые слуги, въ бѣлыхъ галстукахъ, съ угрюмою почтительностью на лицахъ, безшумно ступая по вылощеннымъ какъ зеркало паркетамъ, таинственно вводили посѣтителя въ пріемные „аппартаменты"; съ тою же роскошью стараго массивнаго серебра и свѣжаго столоваго бѣлья неизмѣнно сервировались завтраки, обѣды и ужины, сидѣла-ли за ними въ праздникъ толпа съѣхавшихся сосѣдей, или „*кушали*" въ будній день однѣ лишь княгиня съ княжной. Подобранный шестерикъ все также стоялъ на конюшнѣ на случай „парадная выѣзда"; съ наступленіемъ темныхъ ночей зажигались, какъ въ старину, *кенкеты* на всемъ протяженіи комнатъ, отдѣлявшихъ внутренніе покои хозяекъ отъ большой гостиной, съ балкономъ и видомъ на рѣку, въ которой собирались онѣ со Скавронцевымъ по вечерамъ... Эти вечера втроемъ Скавронцевъ называлъ своимъ „бенефисомъ". Соснувъ часика полтора послѣ обѣда, онъ являлся часу въ восьмомъ бодрый и веселый, въ эту ярко освѣщенную гостиную съ ея мягкими и глубокими креслами, крытыми темнымъ трипомъ, въ которыхъ такъ покойно сидѣлось ему, такъ *вкусно* пился чай, налитый рукой Тата, такъ удобно было пробѣгать листы свѣжеполученныхъ газетъ, или читать вслухъ своимъ собесѣдницамъ какую-нибудь новую повѣсть, дѣйствующими ли-

цами которой были „порядочные люди“. Произведеній съ иными героями Александръ Андреевичъ не признавалъ и, не дочтя въ нихъ иной разъ и двухъ страницъ, швырялъ съ мѣста журналъ на ближайшій столъ:—„не могу, такъ и разитъ кутейникомъ“, отвѣчалъ онъ обыкновенно при этомъ княжнѣ, выражавшей желаніе узнать: „Какой тутъ однако сюжетъ“?... Маленькая старая княгиня въ это время нашивала молча кресты изъ галуна на свои старыя юпки, передѣлывала ихъ на ризы отцу Ефиму, ихъ сельскому священнику, и вздыхала отъ времени до времени не то отъ душевнаго смиренія, не то отъ нѣсколько обремененнаго съ обѣда желудка. Тата, за большимъ круглымъ столомъ, освѣщеннымъ четырьмя свѣчами подъ общимъ большимъ зеленымъ абажуромъ, рисовала акварелью цвѣты на большихъ листахъ шероховатой бумаги (рисовала она отлично,) съ букета, погруженнаго въ тутъ же стоявшую японскую вазу. Когда что-либо изъ читаемаго Скавронцевымъ начинало интересовать ее, она, не выпуская кисти изъ руки, отрывала голову отъ работы и медленно поворачивала ее въ его сторону, потомъ также медленно и неслышно опускалась въ спинку своего кресла и, съ упавшею на складки платья рукой, полузакрывъ глаза, слушала недвижно, безмолвно и внимательно. Это всегда очень льстило Скавронцеву и подстрекало его; голосъ его старался находить, и находилъ зачастую, надлежащіе звуки для передачи нѣжности, страсти, всего, что въ этихъ лежавшихъ передъ нимъ страницахъ могло, по его мнѣнію, вызывать сочувствіе и одобреніе дѣвушки... Но она слушала,—и только. То, что изъ этихъ страницъ могло и въ самомъ дѣлѣ отвѣчать тайнымъ голосамъ ея души, что могло вызывать въ ней новую жажду жизни или подымать горечь ядовитыхъ воспоминаній, не находило у нея внѣшняго выраженія. „Отлично схвачено, не правда-ли, отлично?“ вскликнетъ бывало прерывая себя Скавронцевъ, отдаваясь увлеченію иною талантливою сценой, удачно подмѣченною и переданною чертой интереснаго характера... „Да“, чуть процѣдитъ Тата, или даже того не скажетъ: поведетъ развѣ чуть-чуть головой, или улыбнется загадочною улыбкой. Скавронцевъ пробовалъ было вначалѣ вызывать ее

на сужденіе, на споръ, но весьма скоро отказался отъ этого. Онъ понялъ, что ей говорить не хотѣлось, а что не хотѣлось ей говорить потому, что она была горда и бережно хранила отъ самыхъ близкихъ ей людей заповѣдные помыслы свои, чувства и впечатлѣнія. „А тутъ о чемъ-нибудь *подходящемъ* въ романѣ заговоришь, такъ невольно вырвется иной разъ, въ душу себѣ заглянуть дашь: она и молчитъ,—понятно!“ объяснялъ себѣ очень толково Александръ Андреевичъ.

Изъ пространныхъ исповѣдей, которыми каждый разъ награждала его маленькая княгиня, когда они оставались вдвоемъ, онъ зналъ въ подробности всю прошлую петербургскую эпопею Тата и скорбѣлъ о ея недочетахъ, если и не такъ слезливо, то конечно не менѣе искренно, чѣмъ ея мать. Со своимъ былымъ петербургскимъ опытомъ старый гвардеецъ понималъ, что дѣлу помочь трудно, что Тата „отъ фронта отбилась“, что „еще, еще, да и въ *бракъ*, пожалуй, совсѣмъ ее отмѣтятъ“...

„А тутъ ей самая какъ есть пора,“ разсуждалъ онъ самъ съ собою, думая о ней,—„какъ роза, можно сказать, всѣ лепестки свои теперь распустила... Дурачье, глазъ нѣтъ, цѣнить не умѣютъ...“ И онъ глазами уже истаго цѣнителя и знатока женской прелести, пополамъ съ тѣмъ чувствомъ почти отеческой нѣжности, которое она внушала ему съ дѣтства, глядѣлъ теперь на нашу княжну... и самъ, не давая себѣ въ этомъ отчета, заглядывался на нее все чаще и чаще.

Тата, дѣйствительно, достигла теперь полнаго разцвѣта своей красоты. Нѣсколько жидкое въ годы дебютовъ въ свѣтѣ сложеніе ея окрѣпло въ условіяхъ здороваго деревенскаго воздуха, движенія и правильной жизни; очертанія тѣла сложились, округлѣли, между тѣмъ какъ лицо, потерявъ румяную пухлость первой молодости, какъ бы удлиннилось, глаза упали глубже подъ полукруги бровей... И страненъ былъ иногда мгновенный блескъ, загоравшійся въ этихъ холодно и тоскливо глядѣвшихъ обыкновенно глазахъ; презрительно скучающее выраженіе, привычное этому красивому лицу, смѣнялось порой нежданно чѣмъ-то вызывающимъ и манящимъ, будто вся ея неудовлетворенная молодая женская сила насильственно выры-

валась наружу на вызовъ враждебной судьбѣ, на встрѣчу блеснувшему снова на мигъ призраку счастія... Каждый разъ, какъ случалось Скавронцеву подмѣтить у Тата *такое* лицо, онъ, чуть-чуть покачивая головой и наматывая длинный усъ свой на указательный палецъ, повторялъ себѣ подъ носъ: „самая, то-есть, настоящая, пора ей приспѣла, а тутъ, какъ на смѣхъ, и въ виду нѣтъ никого... да и какіе теперь женихи, когда все это на войнѣ и конца ей не видно!“

Все было на войнѣ, и въ эту минуту ей, дѣйствительно, „конца не было видно“. Анатоль Можайскій стоялъ со своею бригадой подъ Плевной, и маленькая княгиня чуть не каждый день теперь заставляла отца Ефима служить о немъ заздравные молебны, за которыми проливала каждый разъ несчетные потоки горячихъ материнскихъ слезъ. Тата устроила въ Большихъ Дворахъ цѣлую мастерскую на дѣло Краснаго Креста. Она было думала стать во главѣ и всего этого дѣла въ уѣздѣ, но встрѣтила сильный отпоръ со стороны жены уѣзднаго предводителя, баронессы Этингенъ, рожденной Ваханской, невѣстки извѣстной намъ Lizzy, женщины характера властолюбиваго и заносчиваго, которая никакъ не намѣрена была уступить нашей княжнѣ принадлежавшей ей по праву главной роли въ завѣдываніи госпиталемъ для раненыхъ, устроеннымъ въ *ея* городѣ, на средства *ея* земства. Обмѣнявшись съ нею на первыхъ же порахъ довольно крупными колкостями, Тата положила себѣ не имѣть никакого дѣла „avec cette femme remuante et mal élevée“, и въ пику ей не отпускала ни единой фуфайки, ни одного чулка изъ работъ своей мастерской на мѣстный госпиталь, отправляя все изготовляемое у нея оптовыми партіями въ главный Петербургскій складъ, съ которымъ вошла въ дѣятельную переписку, хотя Петербургъ отстоялъ отъ Большихъ Дворовъ тысячи на полторы верстъ, а городъ всего на десять...

Занятія по Красному Кресту, „пики“ съ баронессой Этингенъ, тревожные интересы войны, въ продолженіе цѣлыхъ шести мѣсяцевъ поглощали внутреннюю жизнь княжны. Сознаніе своей полезности очень подымало ее въ собственныхъ глазахъ, а главное ей при этомъ некогда было думать о себѣ,

думать свою обычную, невеселую *личную* думу. Это было для нея хорошее, но, къ сожалѣнію, недостаточно продолжительное время. Ея филантропическая дѣятельность изъ первоначально горячечной естественнымъ теченіемъ вещей должна была постепенно перейти въ хроническую, а всякое хроническое состояніе приводитъ людей по большей части къ равнодушному подъ конецъ отношенію къ нему. Устроенная нашею княжной мастерская шла теперь какъ заведенное колесо часовъ, не требуя никакихъ новыхъ спеціальныхъ придумываній и соображеній; баронесса Этингенъ, вздумавшая было, въ свою очередь, устроить нѣчто подобное въ *своемъ* городѣ, подъ названіемъ „артели добровольныхъ труженицъ на пользу русскихъ воиновъ", сочла нужнымъ тутъ же закрыть ее, такъ какъ Тата успѣла цѣпко удержать кругомъ себя всѣ аристократическія женскія руки уѣзда, и властолюбивой предводительшѣ оставались на долю однѣ городскія мѣщанки и мелкія чиновницы, „возиться" съ которыми, по ея мнѣнію, „не стоило труда". Вслѣдствіе этого вышелъ однажды такой случай, что у баронессы не хватило табачныхъ кисетовъ для цѣлой партіи „слабосильныхъ" ея госпиталя, которыхъ эвакуировали черезъ сутки въ другую мѣстность, и она, не желая отпустить ихъ отъ себя безъ этого, рѣшилась обратиться съ письмомъ къ Тата, прося ее „дать взаймы" на нѣсколько дней нужное ей количество „de sacs à tabac pour mes pauvres héros". Княжна на другой же день, въ сопровожденіи Скавронцева, пріѣхала въ городской госпиталь, застала тамъ свою конкуррентку, отнеслась къ ней съ самою изысканною любезностію и, при всемъ персоналѣ бывшихъ тутъ сестеръ и фельдшеровъ, смиренно, съ опущенными глазами, испросивъ у нея на это предварительно дозволеніе, раздала раненымъ отъ себя въ даръ по великолѣпному кисету съ цѣлымъ фунтомъ мѣстнаго табаку и новою трубкой въ каждомъ изъ нихъ, послѣ чего, все тѣмъ же смиреннымъ голосомъ и глубоко вздохнувъ, поблагодарила баронессу за дарованный ей, Тата, „единственный" случай послужить *ея*, баронессы, „героямъ", и поклонившись тутъ же вышла, не давъ той времени придумать ни единой колкости ей въ отвѣтъ...

Послѣ такой рѣшительной побѣды исчезалъ уже всякій интересъ борьбы, составляющій такой важный ингредіентъ въ каждой человѣческой дѣятельности. Тата стала затѣмъ окончательно остывать и утомляться...

Осень шла уже на исходъ, но дни стояли прелестные; что-то мягкое, разнѣженное, любовное струилось въ воздухѣ, лилось съ кроткоулыбавшихся небесъ. Пожелтѣвшіе листья лѣниво, какъ бы нехотя, опадали съ древесныхъ вѣтвей, еще блаженно трепетавшихъ подъ послѣднимъ тепломъ удалявшагося солнца... Тата, отбывъ, какъ выражалась она, свои „служебныя дѣла“ до обѣда, любила проводить остававшіеся ей свободными часы до вечерняго чая на широкомъ, крытомъ балконѣ своего покоя въ нижнемъ этажѣ дома. Балконъ этотъ, обращенный на западъ и обвитый до крыши густою листвой дикаго виноградника, весь горѣлъ въ эти часы въ багряномъ свѣтѣ заката...

Въ одинъ изъ такихъ теплыхъ осеннихъ вечеровъ Скавронцевъ, съ кипой только что полученныхъ изъ города газетъ въ рукѣ, проходилъ черезъ садъ мимо этого балкона, по пути изъ своего отдѣльнаго флигеля, въ большой домъ къ княгинѣ.

На шумъ его шаговъ Тата, лежавшая растянувшись во всю длину свою въ откидномъ креслѣ у самой балюстрады, приподняла голову и выпрямила станъ.

— Александръ Андреевичъ?...

Онъ остановился.

— А, вотъ вы!... И, предупреждая ея вопросъ:—хорошія извѣстія сегодня, сказалъ онъ радостно улыбаясь, — славное дѣло подъ... И опять этотъ Бахтеяровъ. Настоящій генералъ виденъ въ этомъ молодомъ человѣкѣ!...

Какая-то искра блеснула въ глазахъ княжны:

— Дайте пожалуста. Она протянула руку къ газетамъ.

Имя Бахтеярова выдвинулось съ самаго начала военныхъ дѣйствій. Съ какимъ-то страннымъ чувствомъ тоски, досады и невольной, глубокозатаенной нѣжности читала это имя Тата, слушала о немъ толки. Этотъ дважды отверженный страстный поклонникъ ея становился знаменитостью; будущ-

ности его, „если только не убьютъ его на этой глупой войнѣ“, говорила она себѣ, и границъ ужь не видать, — и тутъ же, какъ бы смиряясь предъ невозвратнымъ, повторяла мысленно: „онъ меня ненавидитъ теперь, онъ мнѣ не проститъ никогда...“

Она взяла изъ рукъ Скавронцева нумеръ газеты и, перекинувъ листъ черезъ перила, принялась читать телеграмму, сообщавшую о значительномъ успѣхѣ предводимаго генераломъ Бахтеяровымъ отряда, успѣвшаго оттѣснить вчетверо сильнѣйшаго непріятеля и прочно утвердиться въ отбитомъ у него болгарскомъ городѣ. Блестящее это дѣло свидѣтельствовало подробностями своими столько же о неуклонной храбрости, сколько о находчивости и боевыхъ способностяхъ молодаго военачальника.

Тата читала жадно, низко наклонясь надъ строками; пальцы ея, придерживавшіе газетный листъ, шелестившій подъ струями предвечерняго вѣтра, еле замѣтно перебирала легкая нервная дрожь... Скавронцевъ, стоя предъ нею за перилами, любовался ея тонкою маленькою головкой съ подрѣзанными надо лбомъ и кудрявившимися прядями темнорусыхъ волосъ, по которымъ сквозь прогалины раскидывавшейся надъ нею сѣти виноградныхъ листовъ перебѣгали словно въ догонку другъ другу ослѣпительныя искры свѣта...

— Да, хорошо, медленно проговорила она дочитавъ, отняла руки и опустилась снова въ свое кресло, закинувъ затылокъ назадъ,—но что же это доказываетъ?

— Какъ „что доказываетъ“? вскликнулъ Скавронцевъ.

— *Отбили, заняли, укрѣпились*, съ оттѣнкомъ насмѣшки проговорила она,—а Плевна все также стоитъ и смѣется надъ нами и, когда все это кончится, никто не знаетъ.

Александръ Андреевичъ загорячился и пустился въ толкованія,—его не на шутку сердилъ „петербургскій скептицизмъ“ и „не русскія чувства“ Тата, съ которою онъ и велъ каждый вечеръ за чаемъ безконечные споры по этому поводу.

Тата закрыла глаза и приняла скучающее выраженіе.

— Вы даже и слушать не хотите! досадливо прервалъ онъ себя вдругъ.

Она слегка усмѣхнулась и, не открывая глазъ, отвѣчала ему:

— Слушаю—и нахожу, что вы очень хорошо доказываете. А все-таки вы должны согласиться со мною, что эта война большая гадость!

— Ну, нѣ-ѣ-тсъ! протянулъ Скавронцевъ также досадливо.

Она приподняла вѣки... Онъ стоялъ предъ нею съ загорѣвшимися глазами и выраженіемъ мужественной рѣшимости на чертахъ... „Какъ онъ сохранился однако“, промелькнуло нежданно въ головѣ Тата, будто въ первый разъ въ жизни видѣла она теперь предъ собою эти большіе, живые глаза Скавронцева, его мужественное, красивое и еще свѣжее, не смотря на сорокавосьмилѣтній возрастъ, лицо.

Голосъ ея зазвучалъ вдругъ тѣми бархатными нотами, на неотразимость которыхъ она всегда такъ разсчитывала:

— Вы бы теперь поэтому съ радостью, вмѣстѣ съ этимъ *героемъ*, что-то бы тамъ *отбивали, занимали* и покоряли?...

Невольная улыбка скользнула подъ его большими усами. Онъ повелъ на нее взглядомъ изъ-подъ нахмуренныхъ еще бровей:

— И, конечно, „съ радостью“, подтвердилъ онъ тономъ убѣжденія.

— И вы, „конечно“, въ эту минуту, продолжала она все тою же шепотливою, кошачьею интонаціей:—вы ужасно злы на maman и на меня, повторила она упирая, за то, что мы васъ уговорили, умолили чуть не на колѣняхъ, не дѣлать этой глупости ѣхать на войну, гдѣ и безъ васъ много охотниковъ жертвовать жизнью, а оставаться съ нами, съ друзьями, которые безъ васъ, вы это очень хорошо знаете, просто всѣ пропали бы?...

Она не ошиблась въ разсчетѣ: Скавронцевъ растаялъ.

— Ну, и скажите мнѣ пожалуйста, весело говорилъ онъ въ отвѣтъ, укладываясь обоими локтями на перила и прижимаясь къ нимъ своею широкою грудью,—какая мнѣ за это награда? За то, что я люблю васъ всѣхъ, привыкъ, знаю, что, дѣйствительно, полезенъ вамъ, и потому имѣлъ слабость послушаться васъ съ княгиней... и все-таки, признаюсь вамъ откровенно, каждый день мучаюсь мыслью, что мнѣ слѣдо-

вало быть бы не здѣсь, а тамъ, за Дунаемъ... за это вы меня шпигуете и выводите изъ терпѣнія каждый день... Такъ я говорю, а?

Она засмѣялась:

— Вы „любите“, сказали вы.—Въ томъ числѣ и вашу покорную слугу, надѣюсь?

— И даже въ особенности! вырвалось у него какъ-то невольно.

Она вдругъ замолкла, какъ бы охваченная какою-то внезапно налетѣвшею на нее мыслью, и остановила на немъ долгій, лучистый и трепетный взглядъ.

— Развѣ это еще можно? промолвила она наконецъ.

— Что „можно“? повторилъ онъ не понимая.

— Любить меня „особенно“?... Знаете-ли вы, что я уже давно въ этомъ отчаялась!... Александръ Андреевичъ, нѣтъ, безъ шутокъ, скажите мнѣ, положа руку на сердце, можно ли меня *теперь*, такою, какова я и какою вы меня видите и знаете въ настоящую пору, можно-ли меня еще любить... вы понимаете, что называется *любить?*...

— Васъ?... Безъ ума!... вскрикнулъ онъ, въ порывѣ нежданной для него самого страстности, налегая на рѣзное дерево балюстрады такъ, что оно крякнуло подъ его напоромъ.

— Не ломайте моего балкона! ласково улыбаясь ему, проговорила Тата.—А вы это хорошо сказали, промолвила она;— значитъ, на вашъ глазъ отпѣвать мнѣ себя заживо пока еще не нужно?

— Что вамъ въ моемъ глазѣ! внезапно отвѣчалъ онъ: мнѣ, по-настоящему, и глядѣть-то на васъ не слѣдовало бы!

И онъ слегка покраснѣлъ даже. Она расхохоталась.

— Это почему?

— А потому что не въ мои годы... и не вамъ... Я вамъ въ отцы гожусь, а не...

— Ваши годы? прервала Тата;—да еслибъ я разсчитывала еще выйти замужъ, то ужь, конечно, только за человѣка вашихъ лѣтъ... Вы только старите себя напрасно, милый Александръ Андреевичъ, опускаетесь, не обращаете вниманія на вашъ туалетъ; это совсѣмъ ужь не похвально.

Старый гвардеецъ торопливо и растерянно повелъ глазами на свое поношенное пальто, висѣвшее мѣшкомъ кругомъ его высокаго и еще не тучнаго стана, на пыльные, потерявшіе всякую форму сапоги свои, и покраснѣлъ еще разъ, но уже изъ иного побужденія, менѣе похвальнаго пожалуй, по своему мотиву.

— Пойдемте однако, молвила княжна вставая, — maman, я думаю, ждетъ не дождется почты... Объ Анатолѣ ничего нѣтъ сегодня?...

Скавронцевъ на другой же день отправился по желѣзной дорогѣ въ одинъ изъ большихъ городовъ южной Россіи и вернулся оттуда черезъ двое сутокъ съ огромнымъ чемоданомъ, набитымъ съ верху до низу всякимъ зимнимъ и лѣтнимъ платьемъ, бѣльемъ самыхъ модныхъ фасоновъ и обувью всякаго вида. Очень ужь чувствителенъ былъ для него упрекъ княжны въ томъ, что онъ „опускается“. „Тамъ, въ полку, никто рѣшительно лучше меня не одѣвался“, говорилъ онъ себѣ, морщась при этой мысли во все продолженіе своей поѣздки, — „а тутъ дѣйствительно сапожникъ-сапожникомъ сталъ, чортъ меня дери!...“ И вмѣстѣ съ тѣмъ слова дѣвушки, что онъ „напрасно старится“, что еслибъ она еще думала выйти замужъ („да еще какъ думаетъ“, прибавлялъ мысленно Александръ Андреевичъ), то не иначе какъ за „человѣка его лѣтъ“,—не выходило у него изъ головы. „И что я за старикъ и въ самомъ дѣлѣ“, разсуждалъ онъ, „любаго жеребца степнаго подъ собой укрощу, здоровъ, и аппетитъ, и все; *тамъ* („тамъ“ у него неизмѣнно означало Петербургъ,) показали бы мы еще себя, потому вся жизнь кругомъ бодритъ тебя, толкаетъ... а тутъ, конечно, поневолѣ раскиснешь, *опустишься*... Этотъ, какъ бишь его, посланникъ нашъ“, вспоминалъ онъ случай, разсказанный ему тою же Татой нѣсколько лѣтъ предъ этимъ, — „вѣдь тотъ, напримѣръ, на седьмомъ ужь десяткѣ взялъ да и отбилъ жену-красавицу у молоденькаго секретаря; такъ что тутъ считать года!... А удивительная эта Тата, удивительная, и гдѣ у нихъ глаза, у всѣхъ этихъ дураковъ теперешнихъ!“ являлось неизбѣжнымъ вѣнцомъ всѣхъ его такихъ бесѣдъ съ самимъ собою.

Когда послѣ его возвращенія въ Большіе Дворы онъ встрѣтился съ нашею княжной, она съ первой же минуты заключила о вліяніи своемъ на него и по метаморфозѣ въ его наружности, и по чему-то странному, непривычному, оказавшемуся вдругъ въ его отношеніяхъ къ ней. Вмѣстѣ съ замѣной его покойнаго пальто-мѣшка моднымъ пиджакомъ съ таліей, его безцеремонная интимность съ нею перешла какъ-то внезапно въ тотъ дружескій, но нѣсколько холодный тонъ, съ какимъ благовоспитанный свѣтскій человѣкъ обращается съ дѣвушкой близко ему знакомою, но на которой онъ не намѣренъ или не можетъ жениться. Тонъ этотъ какъ-то безсознательно принятъ былъ Скавронцевымъ подъ впечатлѣніемъ воспоминанія о страстномъ его отвѣтѣ на вопросъ Тата, „можно-ли еще любить ее“, въ чемъ онъ очень каялся предъ самимъ собой. „И глупо, и не годится“, говорилъ онъ себѣ; онъ такъ долго почиталъ себя относительно ея чѣмъ-то въ родѣ роднаго дяди, чуть не отца, и вдругъ „ферлакуромъ“ себя поставить, „Сердечкинымъ“, добавлялъ онъ, преувеличивая съ какимъ-то тайнымъ удовольствіемъ значеніе вырвавшагося у него въ ту пору восклицанія и степень проистекавшей оттого въ его глазахъ вины предъ нею... Все это само собою тотчасъ же угадано было Тата—и показалось ей очень забавнымъ. Она сама вызвала его тогда на тотъ отвѣтъ и очень была рада ему, какъ искреннему образчику впечатлѣнія, какое она „вообще“ способна еще внушать мужчинамъ даже такихъ лѣтъ какъ Скавронцевъ,—вызвала потому, что думала тогда о Бахтеяровѣ, думала съ мучительною тоской обо всей этой ея невозвратной „исторіи“ съ нимъ... А онъ, этотъ строгій ворчунъ ея юныхъ лѣтъ, этотъ авторитетъ всей ея семьи, онъ принялъ это по собственному адресу, увлекся, ѣздилъ нарочно „se rendre beau pour elle“, и вмѣстѣ съ тѣмъ боится себя выдать и вздумалъ играть въ сдержанность и холодность... „Погоди же, я тобой займусь!“ рѣшила Тата, обѣщая себѣ отъ этого нѣкоторое веселое развлеченіе въ однообразіи успѣвшихъ уже порядочно опостылѣть ей филантропическихъ своихъ заботъ.

Она начала съ того, что сама заиграла съ нимъ въ сдер-

жанное чувство. Она перестала дразнить его въ спорахъ, не прерывала его рѣчей насмѣшливыми замѣчаніями, какъ въ недавнее время, давала ему договариваться и слушала его внимательно, съ полуопущенными глазами, вскидывая ихъ на него, когда вырывалось у него иной разъ горячее, хорошее слово, и тотчасъ же поникая ими какъ бы для того, чтобы не слишкомъ явно показать ему свое сочувствіе. Какой-то ему одному замѣтный оттѣнокъ робости слышался теперь въ ея голосѣ, когда говорила она съ нимъ. Когда случалось ему при ней завести рѣчь съ ея матерью о дѣлахъ имѣнія, о хозяйскихъ разчетахъ, всегда прежде интересовавшихъ ее, на лицѣ ея теперь изображались затаенное нетерпѣніе и досада. Скавронцевъ видѣлъ это и спѣшилъ тутъ же перейти на тему какого-нибудь только что прочитаннаго имъ въ газетѣ интереснаго факта, или заговорить объ *Аннѣ Карениной*. Тата чуть-чуть взглядывала на него тогда и улыбалась улыбкой, въ которой онъ ясно читалъ благодарность ему за то, что ему вздумалось наконецъ перестать говорить о скучныхъ вещахъ и заняться ею. Эта нѣмая благодарность ему за малѣйшій его знакъ вниманія къ ней, которое, бывало, принималось ею какъ нѣчто совершенно естественное и ей должное, какъ бы невольно вырывалась у нея теперь при всякомъ случаѣ. Скавронцевъ издавна имѣлъ привычку приносить ей къ вечернему чаю букетъ изъ сада или оранжереи, съ котораго рисовала она свои цвѣты: принесетъ, бывало, поставитъ въ вазу, она и не замѣтитъ, не взглянетъ иной разъ даже. Теперь она его ждала съ этимъ букетомъ, молча принимала его изъ рукъ Скавронцева, улыбаясь ему все также, одними глазами, бережно и долго укладывала букетъ въ воду и, выбравъ изъ него цвѣтокъ, втыкала его въ волосы или прикладывала къ груди. „Хорошо такъ?“ спроситъ она только иной разъ, какъ бы во мгновенномъ порывѣ, вся обернувшись къ нему, и тутъ же нахмурится и примолкнетъ, наклоняя голову надъ своимъ рисункомъ, будто въ досадѣ на себя за этотъ порывъ. Она словно ничѣмъ инымъ не занята была, какъ мыслью о немъ, и будто страшно боялась вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ онъ этого не замѣтилъ...

Недоумѣло, но съ сильно бившимся каждый разъ сердцемъ относился Скавронцевъ къ этимъ продѣлкамъ. Онъ не былъ ни фатомъ, ни новичкомъ; но эта женская игра переносила его невольно въ кипень отжитой молодости, воскрешала въ въ немъ весь былой задоръ воображенія и страсти... „Надуваетъ, тѣшится!“ увѣрялъ онъ себя каждый день при каждомъ новомъ случаѣ и злился, и краснѣлъ, сознавая внутренно, что „это“ составляло для него уже блаженство. Его такъ и подмывало объясниться съ нею, „вывести дѣло на чистоту“, но ему для этого, во-первыхъ, не представлялось никакого случая,—Тата умудрялась теперь такъ, чтобы никогда не бывать вдвоемъ съ нимъ; она даже подъ предлогомъ усталости отказалась на извѣстное время отъ верховыхъ прогулокъ, которыя очень любила и въ которыхъ онъ сопутствовалъ ей обыкновенно,—а кромѣ того, съ чего бы онъ началъ, о чемъ сталъ спрашивать? Да и отвѣтъ ея развѣ не могъ онъ предвидѣть заранѣе? „Я не понимаю, о чемъ вы говорите“... Онъ такъ бы и остался тогда „дуракъ-дуракомъ...“

Какъ-то разъ, за чаемъ, маленькая княгиня-мать заговорила объ одной „большой фавориткѣ“ ея, прелестной женщинѣ, которую всѣ въ Петербургѣ звали уменьшительнымъ именемъ Зизѝна, и отзывалась съ восторгомъ о ея любезности, неотразимыхъ черныхъ глазахъ и остроуміи.

— Я люблю особенно въ ней, сказала къ этому Тата нѣсколько язвительно,—простодушіе и откровенность ея кокетства: для нея не существуетъ ни старыхъ, ни молодыхъ, ни глупыхъ, ни умныхъ, ни безобразныхъ, ни красивыхъ,—существуютъ только неухаживающіе за нею и ухаживающіе. На первыхъ она смотритъ съ глубокимъ презрѣніемъ; съ послѣдними кокетничаетъ равно со всѣми, sans vergogne ni nuances.

— И прекрасно! вскликнула княгиня,—elle s'amuse et ne fait aucun mal.

— Ей-то весело, пожалуй, а вотъ имъ каково? вмѣшался въ разговоръ Скавронцевъ.

Княгиня засмѣялась:

— Что̀ вамъ, мужчинамъ, когда-нибудь дѣлается!..

— Я этой барыни не знаю, а знаю другихъ, сказалъ онъ,

подчеркивая свои слова, — онѣ свои средства очарованія готовы примѣривать на первомъ попавшемся имъ подъ руку человѣкѣ такъ же просто, какъ, вотъ, модистки ваши примѣриваютъ чепцы на картонномъ болванѣ. Годится, чепецъ идетъ, куда ему дѣйствительно слѣдуетъ, а ненужную болѣе картонную голову подъ столъ. Только тутъ разница: отъ такой примѣрки иная человѣческая голова и совсѣмъ разлетѣться готова.

— Вѣдь нашелъ же сравненіе! замѣтила княгиня, покачивая со смѣхомъ головой.

Тата, налившая въ это время чай въ его стаканъ, быстро подняла голову и, опустивъ чайникъ, обернулась на Скавронцева:

— И вы знаете такихъ женщинъ, Александръ Андреевичъ? спросила она какъ бы задрожавшимъ голосомъ.

— Зналъ, Наталья Васильевна, зналъ, отвѣтилъ онъ тономъ шутки, развязность котораго не была однако въ состояніи затаить отъ чуткаго слуха дѣвушки прорывавшуюся изъ-подъ него ноту глубокаго внутренняго смущенія.

— Вашъ чай готовъ, сухо вымолвила она послѣ долгой паузы, слѣдовавшей за этимъ отвѣтомъ его, встала, перешла къ своему рисовальному столу и—ни единаго слова затѣмъ не проронила уже въ теченіе вечера.

На другой, на третій день то же. Она не говорила съ нимъ, да и ни съ кѣмъ не говорила: ее будто всю разомъ одолѣло какое-то гнетущее горе.

Маленькая княгиня даже это замѣтила:

— Что ты такая скучная, Тата, молчишь все, не здоровится тебѣ?

— Я вообще не говорливая, maman, вы знаете, отвѣчала она какъ бы разбитымъ голосомъ,—да и веселиться особенно не изъ чего, договорила она ужь чуть слышно, и глаза ея, полные печали и словно упрека, скользнули на мигъ въ сторону Александра Андреевича.

— Ah, oui, cette guerre, cette malheureuse guerre! Et mon pauvre Anatole!... немедленно завздыхала на это княгиня, причемъ слезы ея такъ и закапали на синій муаръ юпки, изъ

которой выкраивала она эпитрахиль отцу Ефиму. Она поспѣшно принялась обтирать ихъ платкомъ...

„Сущее навожденіе, чортъ его бери!“ повторялъ себѣ въ двадцатый разъ Скавронцевъ, лихорадочно шагая среди ночной тиши вдоль и поперекъ комнатъ своего флигеля. Онъ отбился ото сна, отъ ѣды. „Неужели, неужели?“ стоялъ у него неотступно въ головѣ вопросъ, который онъ не рѣшался даже никакъ выговорить до конца. Онъ не вѣрилъ... и вѣрилъ въ какомъ-то затаенномъ уголкѣ своего существа,— вѣрилъ со страхомъ, мукой и стыдомъ... „Ну и что жь если-бы даже она... развѣ это возможно... развѣ бы я, поддавшись, подлецомъ поступилъ“, энергично выговаривалъ онъ себѣ... А вмѣстѣ съ тѣмъ кровь закипѣла и бурлила въ немъ какъ въ двадцать лѣтъ. Онъ пылалъ тѣмъ же романически плотоядным пламенемъ, какой въ оные дни зажигала въ немъ Вѣрочка Миловзорова, когда, исправно выдѣлывая свои chassé, battu въ pas de cinq втораго дѣйствія *Наяды и рыбака*, стала она „отвѣчать“ ему въ первый разъ со сцены. Но насколько тоньше, изящнѣе, обаятельнѣе былъ теперь предметъ, вызывавшій въ немъ эти давно замолкшія ощущенія! Стройный станъ, аристократическая поступь и движенія Тата, прелестное очертаніе ея плечъ, угадываемое подъ легкими тканями ея лѣтнихъ платьевъ, ея зеленые, русалочьи глаза и этотъ неотразимый шепотъ ея голоса... Голова, дѣйствительно, готова была „разлетѣться“ у него. Это пламя изжитой молодости, придушенное восемнадцатью годами деревенской глуши и житейскихъ заботъ, прорывалось теперь изъ-подъ пепла съ неудержимою, горячечною силой...

„Провѣтриться надо, уѣхать на время!“ рѣшилъ онъ въ концѣ концовъ. И извѣстивъ объ этомъ коротенькою запиской княгиню, не простившись ни съ нею, ни съ Тата, уѣхалъ раннимъ утромъ „на побывку“ къ семьѣ.

Онъ разсчитывалъ пробыть съ нею недѣли двѣ, а не прожилъ и одной. Двойной подбородокъ, жидкія косицы и распашныя блузы госпожи Скавронцевой возбуждали въ немъ чув-

гво близкое къ остервѣненію; сыновья его несли между со-ою въ разговорѣ такую ахинею объ „антагонизмѣ стараго ульта индивидуализма съ современною формулой коллекти-изма массъ“, что у него то-и-дѣло чесались руки взять ихъ боихъ за шиворотъ и спустить съ лѣстницы головою внизъ. оличество папиросокъ, выкуренныхъ имъ за это время въ идѣ антидота противъ бушевавшей въ немъ злости, достигло ифры совершенно баснословной...

Онъ вернулся въ Большіе Дворы въ воскресный день, когда астерская княжны была пуста. Мать ея была у обѣдни. Она уляла въ саду и первымъ предметомъ попалась ему на встрѣ-у въ аллеѣ, по пути къ его флигелю. Онъ этого не ожидалъ вспыхнулъ отъ радости и смущенія.

— Честь имѣю кланяться! сказалъ онъ съ улыбкой, оси-ивая себя и скидавая шляпу съ головы.

Она остановилась, пристально взглянула на него, опустила онтикъ, который держала надъ головой, на высоту своего лица , послѣ довольно долгаго и томительнаго для него молчанія, роговорила медленно и строго:

— Почему вы уѣхали?

— Нужно было! нѣсколько оторопѣло отвѣчалъ онъ.

— Говорите откровенно, продолжала она, также настой-иво глядя на него во всѣ глаза:—потому что вы вообразили, то на васъ „примѣриваютъ чепчикъ“ и что вы не хотите тать въ положеніе „картонной головы?“ Такъ это, я отга-ала?

— А хотя бы и такъ! молвилъ онъ послѣ минутнаго ко-ебанія.

— И вы въ этомъ убѣждены?

— Въ чемъ?...

— Что вы годны только для „примѣриванія?“

Онъ уже не владѣлъ собой; эти глаза жгли его...

— Послушайте... Наталья Васильевна (онъ никакъ не ылъ въ состояніи назвать ее въ эту минуту попрежнему Тата“), что жь это такое?... Я, дѣйствительно, изъ-за того... уѣхалъ. Я полагалъ... Положимъ, что это не такъ, выгово-илъ онъ вдругъ со внезапною рѣшимостью, положимъ, что

напротивъ, вы... Такъ скажите мнѣ, ради Бога, къ чему... къ чему это повести можетъ?..

Тата усмѣхнулась однимъ угломъ губъ:

— А, такъ и вы тоже! Вы также имѣете претензію опредѣлить себѣ совершенно *реально*, что, какъ, для чего, и куда вы идете? Я думала, что это недостатокъ только нынѣшняго поколѣнія; о людахъ вашего времени я была лучшаго мнѣнія,—вы мнѣ такъ искренно, казалось, отвѣтили въ тотъ разъ, ввернула она какъ бы вскользь, скороговоркой,—я думала, что они способны чувствовать безъ разсужденій...

— Иныя чувства себѣ дозволять не слѣдуетъ, пробормоталъ Скавронцевъ.

— Это почему?

— Потому что, кромѣ несчастія, отъ нихъ нечего другаго ждать.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросила она загадочнымъ тономъ.

— А вы полагаете нѣтъ? сказалъ онъ, силясь принять шуточный тонъ, между тѣмъ какъ сердце такъ и колотилось въ его груди.

— Я полагаю, что чувство живетъ само по себѣ и для себя, отвѣчала она, — что оно въ самомъ себѣ находитъ и цѣль, и удовлетвореніе, и муку, и счастіе, не спрашивая и не заботясь, почему это и какъ, и что изъ этого можетъ выйти... Вѣдь это азбука, милый Александръ Андреевичъ, или вы ее успѣли забыть?

Она повела на него ласково-упрекающимъ взглядомъ и тутъ же громко засмѣялась:

— И вы серьезно того мнѣнія, что любить кого-нибудь *безъ памяти*, подчеркнула она,—большое несчастіе?

— Вы меня и въ самомъ дѣлѣ съ ума сведете подъ старость лѣтъ! вскликнулъ онъ, весь загораясь.

— Этого отъ васъ вовсе не требуется, — и она холодно покачала своею красивою головой;—а поглядите вонъ на эту большую липу: съ нея не мало опало уже листьевъ, а она все также всѣмъ тѣмъ, что у нея осталось зеленаго, живаго, трепещетъ и нѣжится спокойно и радостно подъ солнцемъ... Совѣтую вамъ взять съ нея примѣръ въ точности.

— Изнывать подъ этимъ солнцемъ, пока и весь облетишь, молвилъ онъ съ комически-горькимъ оттѣнкомъ въ выраженіи,—да и то, прибавилъ онъ, — если ему не вздумается въ тучу спрятаться.

Тата капризнымъ движеніемъ пожала плечами:

— За погоду никогда отвѣчать нельзя, mais cela ne change rien à l'ordre du jour...

Она кивнула ему весело улыбаясь и ушла въ свои комнаты.

Разговоръ этотъ, казалось бы, не могъ оставить въ немъ на малѣйшей иллюзіи. Она „тѣшилась“ и только...

Но онъ былъ уже охваченъ, и трезвое сознаніе того, *чѣмъ* служилъ онъ ей теперь, не было уже въ состояніи удержать его на безумномъ теченіи, которое уносило его невѣдомо куда.

Авторитетное его значеніе въ домѣ, сознаніе своего достоинства, уваженіе къ себѣ, все это какъ-то разомъ рухнуло для него; изъ ментора онъ превратился въ раба и послушника безъ воли, безъ силы противодѣйствія. Старческая страсть прививаетъ что-то женственное самымъ сильнымъ мужскимъ натурамъ; къ ея незаконному пламени примѣшивается всегда какая-то робость, что-то похожее на сознаніе преступности... Скавронцевъ испытывалъ это: онъ каялся въ своей „блажи“, робѣлъ предъ Тата, пытался „порвать“, уйти изъ-подъ ея власти... и не могъ, и чувствовалъ, какъ каждый день все глубже уходитъ въ „этотъ омутъ“. Онъ ей принадлежалъ уже весь; внѣ ея не оставалось ни единаго помысла, ни единаго соображенія въ его мозгу. Онъ вставалъ и ложился съ мыслію о ней; въ головѣ его неотступно стояло послѣднее сказанное ею слово, улыбка, движеніе, поворотъ шеи ея въ данную минуту, съ цѣлымъ роемъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изо всего этого... Тонкій запахъ духовъ, вѣявшій отъ нея, отъ ея бѣлья, приводилъ его въ какое-то экстатическое состояніе. Онъ мальчишествовалъ, кралъ ея старыя перчатки и укладывался на нихъ головою,—засыпая, цѣловалъ ладонь свою, о которую опирала она предъ тѣмъ свою ножку, чтобы сѣсть на лошадь,—прогуливался ночью по цѣлымъ часамъ подъ ея

окнами... Въ тѣ рѣдкія минуты, когда онъ приходилъ въ себя его проникалъ какой-то суевѣрный ужасъ. „Я ее *запоемъ пью*, и противъ этого никакого снадобья, никакого заговора нѣтъ!“ говорилъ онъ себѣ съ отчаяніемъ...

Тата съ своей стороны очень была довольна своею побѣдой. Бѣдный Скавронцевъ былъ дѣйствительно для нея „картонною головой“, на которой примѣряла она силу своихъ чаръ. „Блажь“ его оказалась для нея лучшимъ реактивнымъ средствомъ противъ того близкаго къ отчаянію душевнаго состоянія, въ которое долго повержена была она неудачами своего прошлаго. Теперь надежды снова начинали свивать гнѣзда въ головѣ ея. „Не все же еще потеряно“, основательно разсуждала она, „если можно довести зрѣлаго человѣка до такой степени влюбленности...“ И она искренно благодарна была за это Скавронцеву и платила ему за его обожаніе всею тою высшею школой утонченнаго кокетства, дешевыя нѣжности и лукавые пріемы котораго имѣютъ по большей части на мужчинъ обаяющую силу, далеко не всегда, увы! обладаемую истинною страстью. Она взглядывала на него, улыбалась, хмурилась, поводила головой, закусывала губы, перегиналась съ мѣста въ его сторону съ какимъ-нибудь вопросомъ—все это извѣстнымъ, разсчитаннымъ на неотразимое на него впечатлѣніе образомъ, и никогда, какъ говорятъ французы, не манкировала своего эффекта. Она его постоянно держала въ какой-то любовной проголоди, если можно такъ выразиться, между надеждой и страхомъ, между горячкой желанія и рыцарствомъ самоотверженія... Доведя его иной разъ до полнѣйшаго отчаянія ею же самой придуманною и созданною ссорой, она неожиданно, оставшись съ нимъ вдвоемъ, подходила къ нему, сама прижимала къ его пересохшимъ отъ волненія губамъ свою блѣдную длинную руку и, тихо затѣмъ высвободивъ ее изъ-подъ его нескончаемыхъ поцѣлуевъ, уходила изъ комнаты, какъ бы для того, чтобы не отдаться самой волнѣ неудержимаго увлеченія... За такія мгновенія Скавронцевъ готовъ былъ бы отдать сто жизней, еслибы были онѣ въ его распоряженіи...

Такъ продолжалось до отъѣзда матери и дочери на зимній сезонъ въ Петербургѣ. Скавронцевъ съ ужасомъ думалъ объ этой минутѣ. Мысль о близкой разлукѣ съ Тата подтачивала ему жизнь; ему представлялось, что онъ не будетъ въ состояніи ее вынести, исчахнетъ, умретъ съ горя. Онъ сталъ придумывать поводы, началъ убѣждать себя въ необходимости ѣхать съ своей стороны въ Петербургъ „по дѣламъ“, по самымъ „неотложнымъ“ будто бы дѣламъ Можайскихъ... Но въ первый разъ, какъ онъ заикнулся было объ этомъ предъ нашею княжной, она взглянула на него такимъ недовольнымъ и высокомѣрнымъ взглядомъ, что у него защемило на сердцѣ. Взглядъ этотъ оскорблялъ и страсть, и самолюбіе его.

— Я бы для васъ тамъ никакою помѣхой не былъ, Наталья Васильевна, сказалъ онъ ей съ горечью подъ этимъ впечатлѣніемъ:—и не показывался бы въ вашемъ обществѣ, и въ домѣ бы у васъ бывалъ рѣдко... Развѣ когда-нибудь, добавилъ онъ дрогнувшимъ отъ волненія голосомъ,—изъ партера въ театрѣ далъ бы волю „ненасытному взгляду“, какъ сказалъ Лермонтовъ, полюбовался бы незамѣченный вами вечерокъ одинъ, и будетъ, на недѣлю хватило бы радости?...

— Excusez du peu! засмѣялась Тата, сочтя нужнымъ наружно положить, какъ говорится, гнѣвъ на милость.—Да вашихъ *взглядовъ* достаточно было бы, чтобъ обо мнѣ съ вами заговорилъ на другой же день весь Петербургъ. Предваряю васъ, mon cher Александръ Андреевичъ, что глаза у васъ откровеннѣе, и слѣдовательно *ком-про-метантнѣе*, отчеканила она,—чѣмъ у двадцатилѣтняго офицерика.

Волей или неволей Скавронцевъ долженъ былъ и принять это объясненіе, и склониться предъ истекающимъ изъ него рѣшеніемъ. Въ видѣ вознагражденія за его покорство, ему дозволено было сопутствовать отъѣзжавшихъ до Москвы и проводить ихъ затѣмъ на поѣздъ въ Петербургъ.

Такъ и было исполнено. Онъ ихъ довезъ до Москвы, усадилъ въ вагонъ Николаевской желѣзной дороги... Наклоняясь поцѣловать въ минуту прощанія руку Тата, все кругомъ у него завертѣлось, зазеленѣло; онъ едва удержался на ногахъ въ то время, какъ она холодными губами прикасалась къ его лбу...

Онѣ уѣхали. Онъ на другой же день, послѣ мучительной ночи, проведенной имъ всю напролетъ безъ сна, отправился обратно въ Большіе Дворы, заѣхавъ предварительно къ одному знакомому доктору, и упросилъ его прописать ему опіуму противъ безсонницы. Онъ принялъ разомъ чуть не все количество отпущенныхъ ему порошковъ и, благодаря этому, доѣхалъ до дому въ блаженномъ состояніи полнаго безчувствія: онъ спалъ безъ просыпа ровно двадцать два часа кряду.

Княжна оставила ему на рукахъ свою мастерскую, съ которою предстояла ему большая возня, такъ какъ зима лишила ее большаго числа рукъ, владѣлицы которыхъ разъѣхались изъ своихъ деревень, а дѣла набрано было много, и накупленный матеріалъ не кидать же было даромъ. Но самыя эти затрудненія представлялись для Скавронцева якоремъ спасенія отъ невыносимой тоски, владѣвшей имъ. Онъ принялся за дѣло съ какою-то бѣшеною энергіей. Кромѣ поглощающаго занятія, дѣло это давало ему законное основаніе писать Тата каждую недѣлю, и случай въ этихъ письмахъ, среди дѣловыхъ извѣщеній, ввернуть фразу, слово, въ которыхъ выливалась вся его, исполненная ею, томящаяся и алчущая по ней душа.

Она отвѣчала на все, строго требовавшее отвѣта, не забывала каждый разъ благодарить „любезнаго Александра Андреевича за его заботы и старанія“ и регулярно, съ точностью докторскаго бюллетеня, сообщала при этомъ о состояніи здоровья княгини и своего. Какъ ни жаждалъ бѣдный Скавронцевъ, какъ ни напрягалъ своего воображенія отыскать между этихъ безупречно-приличныхъ строкъ какой-либо хотя бы малѣйшій намекъ на то нѣчто, что было для него теперь первенствующимъ вопросомъ его жизни,—ничего похожаго на это въ нихъ не находилось. Письма къ нему Тата были изъ разряда тѣхъ, которыя вмѣстѣ съ бумагами „за нумеромъ“ *подшиваютъ къ дѣлу*...

Военныя событія между тѣмъ неслись съ неожиданною быстротой. Полтора мѣсяца послѣ сдачи Плевны, русскія войска стояли у воротъ Константинополя... Вмѣстѣ съ газетами, извѣщавшими о заключеніи Санъ-Стефанскаго договора, Скав-

ронцевъ получилъ коротенькое письмо отъ княжны, въ которомъ она говорила ему, что она съ матерью въ половинѣ марта выѣзжаютъ изъ Петербурга, что братъ ея Anatole, „котораго Богъ сохранилъ отъ всякихъ увѣчій въ сраженіяхъ", заболѣлъ лихорадкою въ Санъ-Стефано и надѣется, при первой возможности, вернуться на излѣченіе въ Россію, и что онѣ пріѣдутъ ждать его въ Большихъ Дворахъ.

Скавронцевъ обезумѣлъ отъ восторга. Онъ никакъ не ждалъ ихъ такъ рано. Какъ благословлялъ онъ эту такъ кстати уложившую друга его Анатоля лихорадку!

Онъ прождалъ ихъ однако лишнія двѣ недѣли, благодаря распутицѣ, боязнь которой удержала княгиню отъ отъѣзда въ назначенный срокъ. Онъ исхудалъ весь за это время отъ томленія.

Южная весна вѣяла съ синихъ небесъ уже во всей неотразимой своей прелести, когда пыхтящій локомотивъ подвезъ къ желѣзнодорожной станціи, ближайшей къ имѣнію Можайскихъ, длинный рядъ вагоновъ ожидаемаго Скавронцевымъ поѣзда. Онъ побѣжалъ на встрѣчу имъ вдоль платформы, не чувствуя ногъ подъ собою. Звенѣвшая кругомъ весна пѣла и въ душѣ его свою волшебную соловьиную пѣснь...

Пѣла она и въ душѣ Тата, показалось ему въ первую минуту встрѣчи. Она такъ и освѣтила его блескомъ своихъ глазъ, счастливымъ выраженіемъ своей улыбки:

— Здравствуйте, Александръ Андреевичъ, какъ я рада васъ видѣть! говорила она, протягивая ему руку въ перчаткѣ, и крѣпко, по-мужски, пожавъ его руку, поспѣшно отняла свою, какъ бы съ тѣмъ, чтобы скорѣе сдѣлать ему вопросъ:

— Письма есть?

— Почта съ вами пришла,—отвѣтилъ онъ, глядя на нее восхищеннымъ взглядомъ и едва находя силу говорить,—сейчасъ разберутъ...

— Нѣтъ, изъ арміи? нетерпѣливо проговорила она на это.

— De mon pauvre Anatole? тутъ же завздыхала въ объясненіе маленькая княгиня, вся шатавшаяся и безпомощно мотавшая головой отъ усталости и тряски желѣзнаго пути.

— Я ничего не получалъ, сказалъ Скавронцевъ, предлагая ей руку, за которую тотчасъ же и уцѣпилась она жестомъ утопающаго, хватающагося за прибережный кустъ;—а вы развѣ ждете?..

— Да, сказала Тата,—я ему писала еще въ мартѣ, когда мы думали выѣхать, чтобъ адресовать впредь письма въ Большіе Дворы...

— Ему лучше, по послѣднимъ нашимъ извѣстіямъ, grâce à Dieu, завздыхала опять княгиня,—но въ этомъ Санъ-Стефано климатъ, говорятъ, такой ужасный! Только и буду спокойна, когда увижу его здѣсь... Отецъ Ефимъ здоровъ? спросила она безъ передышки.

— Здоровъ, княгиня, что ему дѣлается! засмѣялся Александръ Андреевичъ.

— Пожалуйста, cher ami, молвила она уже шепотомъ,— когда пріѣдемъ домой, пошлите ему сейчасъ сказать, что я желала бы сегодня же отслужить молебенъ...

— Пойдемте, однако, maman, притрогиваясь къ локтю матери, сказала княжна,—вотъ и сундуки наши несутъ; пора ѣхать!

Скавронцевъ сѣлъ на передней скамьѣ ихъ просторной четвероместной коляски, и въ продолженіе всего пути (отъ станціи до Большихъ Дворовъ было верстъ пятнадцать,) не отводилъ „ненасытнаго взгляда“ отъ Тата, благо маленькая княгиня тутъ же и заснула, подъ убаюкивающее качаніе рессоръ прочнаго стараго экипажа. Княжна не избѣгала его глазъ, изрѣдка улыбалась имъ даже въ отвѣтъ... Но влюбленный старый гвардеецъ, упоенный счастіемъ ея возвращенія, ея близостью, вѣявшимъ отъ нея знакомымъ и сладкимъ ему тонкимъ запахомъ ириса, не могъ не замѣтить однако съ тайною горечью, что въ улыбкѣ этой было нѣчто гораздо болѣе похожее на какую-то благосклонную снисходительность, чѣмъ на ту манящую загадачность, отъ которой такъ блаженно и такъ мучительно билось сердце его три мѣсяца назадъ. Въ разговорѣ съ нею онъ не нашелъ ни единаго случая намекнуть на это недавнее прошлое, на свое, все также, еще болѣе, казалось ему, горячее чувство къ ней. Она все время

держала этотъ разговоръ на дѣловыхъ мотивахъ, говорила про Красный Крестъ, разспрашивала его про мастерскую, про баронессу Этингенъ, „полезною“ дѣятельностью которой, говорила она Скавронцеву, къ нѣкоторому его удивленію, очень довольны были въ Петербургѣ...

Жизнь въ Большихъ Дворахъ потекла опять по обычному своему руслу, но это было теперь то прежнее, „прозаическое“ теченіе жизни, „безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви“, по которому плылъ Скавронцевъ о бокъ съ этими барынями цѣлыя пятнадцать лѣтъ, и съ котораго вдругъ соскочилъ онъ въ одинъ осенній вечеръ, захваченный и унесенный коварнымъ женскимъ словомъ, обманчивымъ призракомъ невозможной взаимности... Онъ одинъ теперь вспоминалъ объ этомъ, упорствовалъ въ этомъ обманѣ. Для Тата какъ бы никогда не существовали тѣ божественные для него три мѣсяца. Онъ былъ для нея прежній Александръ Андреевичъ, почтенный человѣкъ, другъ ея семьи, на которомъ лежала забота о благосостояніи ихъ всѣхъ, за что она съ своей стороны обязана была быть съ нимъ внимательною и любезною и оказывать ему нѣкоторые petits soins, какъ выраженіе должной ему благодарности, и—ничего, ровно ничего болѣе... Когда онъ смущенно и пытливо искалъ въ глазахъ ея тѣхъ мгновенныхъ лучей, которыми освѣщала она его въ прошлыя блаженныя минуты, глаза эти теперь отвѣчали ему выраженіемъ какого-то наивнаго, чуть не дѣтскаго удивленія. „Чего ты хочешь“? словно спрашивали они...

— Вы все забыли въ Петербургѣ, Наталья Васильевна! вырвалось у него однажды подъ напоромъ невыносимой тоски.

Она чуть-чуть сморщила брови и подняла голову, какъ бы стараясь припомнить:

— Что забыла?.. Я кажется все привезла, что нужно...

Скавронцевъ засмѣялся горестно и желчно:

— Не то совсѣмъ, не то-съ!.. Вы только понять не желаете...

Она уставилась на него невиннѣйшимъ, недоумѣвающимъ взоромъ:

— И не понимаю совсѣмъ. Что такое? Скажите пожалуй-

ста, cher Александръ Андреевичъ, скажите скорѣй, вы знаете, какъ я любопытна!..

Онъ схватился рукой за голову и выбѣжалъ изъ комнаты „дуракъ-дуракомъ", какъ выражался онъ про себя мысленно...

Скавронцевъ не могъ не замѣтить вмѣстѣ съ тѣмъ, что Тата вернулась изъ Петербурга въ настроеніи какого-то необыкновеннаго благодушія. Никогда еще не зналъ онъ ее такою кроткою, мягкою, благоволящею ко всѣмъ и ко вся. „Ни злаго слова съ языка, ни прежнихъ вспышекъ тайной досады", говорилъ онъ себѣ, „райскія чувства какія-то на этомъ лицѣ теперь. Съ Этингеншей даже такую дружбу свела, что та ее до небесъ восхвалять стала"...

„Не даромъ это"! Онъ ее слишкомъ давно зналъ, чтобы не догадываться о чемъ-то, изъ чего должны были истекать это благодушіе и мягкость. „Не нашелся-ли желаемый сановникъ"? иронизовалъ онъ со внутреннею мукой, вспоминая извѣстные ему разсчеты княжны въ послѣднее время. Но кто же именно? И отчего это скрываютъ отъ него? Бывало, если не сама Тата, то старая маленькая княгиня сообщитъ ему непремѣнно, и что̀, и какъ, до малѣйшей подробности. А теперь старушка, вотъ уже вторая недѣля какъ изъ Петербурга, и ему нигугу, и даже какъ будто конфузится и видимо избѣгаетъ прежнихъ „конфиденціальныхъ" разговоровъ съ нимъ... И Скавронцевъ, думая объ этомъ, невольно морщился и набиралъ усиленно табачнаго дыму въ ротъ; ему представлялось иногда, что Тата разсказала про него „все" матери, и что та лишила его теперь всякаго довѣрія. „Ну тогда что̀ же", говорилъ онъ себѣ въ эти минуты, вскакивая съ мѣста и принимаясь быстро ходить по комнатѣ: „кину и—поѣду на Кавказъ служить"...

Пришло наконецъ давно ожидаемое письмо отъ Анатоля изъ Санъ-Стефано (о чемъ отецъ Ефимъ, по заказу княгини, служилъ уже четвертый молебенъ, облекаясь каждый разъ въ новую ризу). Почта приходила въ Большіе Дворы обыкновенно къ концу обѣда, и ее приносили въ столовую. Узнавъ почеркъ сына, княгиня вскрикнула, схватила письмо, поспѣшно сорвала обложку...

— Погодите, maman, остановила ее вдругъ Тата,—сейчасъ кончимъ... пойдемъ прочесть вмѣстѣ.

И онѣ, не притронувшись къ дессерту, торопливо ушли въ комнату княгини.

Очень обидно это показалось Скавронцеву. Онъ былъ такой интимный человѣкъ въ домѣ, что при немъ постоянно читались или даже просто давали ему читать вслухъ письма Анатоля, да и не одного его... А тутъ вдругъ совсѣмъ уже оскорбительныя для него „cachoteries“, шушуканье и тайна...

„Отыскалъ *ей* этотъ Анатоль кого-нибудь въ арміи!“ озарила его внезапно мысль, и чернѣе тучи онъ вышелъ изъ столовой въ садъ, позабывъ даже закурить вынутую имъ машинально изъ портсигара папироску.

Черезъ часъ времени прибѣжалъ къ нему туда слуга звать его ко княгинѣ.

Онъ отправился все также мрачный и взволнованный.

Княгиня была одна и въ самомъ счастливомъ, казалось, состояніи духа.

— Anatole будетъ здѣсь въ концѣ мѣсяца, возгласила она съ перваго слова, sa fièvre l'a quittè, и только слабость осталась. Завтра, по разсчету, онъ долженъ сѣсть на пароходъ, который повезетъ его въ Одессу...

— Очень радъ вашей радости, проговорилъ сквозь зубы Александръ Андреевичъ.

Старушка глянула ему въ лицо и тотчасъ же догадалась объ его *обидѣ* и о поводахъ къ тому.

— Мы сейчасъ съ Тата такъ скоро ушли, заторопилась сказать она;—вы, я думаю, удивились даже, cher Александръ Андреевичъ? Vous êtes un si vieil et fidèle ami, отъ васъ, конечно, не можетъ быть секретовъ...

— Я такъ думалъ, по крайней мѣрѣ, до этихъ поръ, отвѣчалъ онъ все также холодно на это,—особенно когда и весь секретъ, кажется, состоитъ въ томъ, что Анатоль отправляется сюда такого-то числа.

Она вся сконфузилась вдругъ и покраснѣла.

— Конечно, залепетала она,—есть иногда вещи, которыя...

ну, просто, знаете, не смѣешь сказать... просто, по суевѣрію даже, боишься, что отъ этого не сбудется...

— А вы желаете, чтобъ *это* сбылось? пытливо, съ худо скрываемою тревогой, спросилъ Скавронцевъ.

Маленькое лицо княгини все сморщилось въ выраженіи како-то крайней озабоченности:

— Ecoutez, cher ami, я вамъ все скажу, хотя Тата почему-то все секретничать хочетъ. Но я знаю, что вы ей не скажете... а только порадуетесь отъ души вмѣстѣ со мною... Слава Богу, кажется, на этотъ разъ устраивается для нея уже совершенно серьезное, quelque chose de très bien...

— И объ этомъ вамъ теперь пишетъ Анатоль? прервалъ онъ ее. „Я угадалъ“, думалъ онъ, чувствуя, какъ сердце ходуномъ ходило подъ его рубашкой.

Она оглянулась кругомъ и, наклонившись къ нему, зашептала:

— Онъ намъ объ этомъ еще въ Петербургъ писалъ. Они очень подружились во время кампаніи, и Богу угодно было en outre, чтобъ они въ Санъ-Стефано жили въ одномъ домѣ, оба больные, потому что тотъ былъ раненъ въ руку и лѣчился, а Anatole—въ этой лихорадкѣ...

— Да кто этотъ „онъ“, „тотъ?“ вскрикнулъ чуть не грубо Скавронцевъ въ своемъ волненіи.

— Mais lui, Бахтеяровъ! воскликнула въ свою очередь съ жаромъ княгиня, какъ бы удивляясь, что онъ этого не знаетъ.

— Бахтеяровъ, вотъ этотъ самый, котораго на дняхъ произвели въ генералъ-лейтенанты?

— Ну да, ну да! Вѣдь это старая исторія, я вамъ давно разсказывала! онъ десять лѣтъ влюбленъ въ Тата, она ему два раза отказывала, потому что тогда il n'avait ni position, ni fortune...

— Да, я знаю, пробормоталъ Александръ Андреевичъ,—а теперь...

У княгини нежданно выступили слезы на глазахъ; она подняла ихъ къ потолку, утерла платкомъ и перекрестилась:

— Богъ, cher ami, лучше насъ знаетъ, какъ устраивать нашу судьбу. Видно Его святой милости такъ угодно было!

Кто бы повѣрилъ à des sentiments aussi romanesques въ наше время... въ наше время, когда только однѣ деньги и проза, проза!... Вообразите, что онъ первый заговорилъ съ Анатолемъ о Тата, разспрашивалъ про нее,—я вамъ говорю: они жили въ одномъ домѣ и вмѣстѣ съ утра до вечера,—разспрашивалъ все въ подробности, признался ему, что красивѣе дѣвушки какъ Тата не встрѣчалъ и что никакая женщина не имѣла въ его жизни такое значеніе какъ она, tout ce que dit un amoureux enfin... И наконецъ сказалъ Анатолю, что ничего бы такъ не желалъ какъ увидѣть его сестру хоть на одно мгновеніе, что цѣлые годы только объ этомъ мечтаетъ...

— Ну, а Анатоль что же на это? едва имѣлъ силу пропустить сквозь стиснутые зубы Скавронцевъ.

— Anatole, повторила княгиня,—вы знаете, какъ онъ любитъ сестру и всегда старался qu'elle fasse un parti convenable... А тутъ чего же лучше? Такая карьера—вѣдь онъ еще такъ молодъ!—и скоро, можетъ-быть на дняхъ, огромное состояніе...

Скавронцевъ открылъ большіе глаза:

— Откуда же *это?* Вѣдь изъ-за того самаго, что у него ни назади, ни впереди гроша не было, и отказывали вы ему съ княжной!

Маленькая княгиня торопливо замахала ему обѣими руками:

— Je vous dis, tous les bonheurs à la fois! Когда онъ такъ отличился на войнѣ, дядя его, старикъ Соковнинъ, нашъ здѣшній богачъ...

— Кащей этотъ, скряга? добавилъ, злясь и мучась Скавронцевъ.

— Ну да, сосѣдъ нашъ... Вѣдь ему подъ восемьдесятъ, и онъ бездѣтный... Онъ вдругъ пришелъ въ восторгъ de son héroïsme, и выбралъ Бахтеярова своимъ наслѣдникомъ и написалъ въ его пользу завѣщаніе съ тѣмъ условіемъ, чтобъ онъ присоединилъ его фамилію къ своей, назывался бы „Бахтеяровъ-Соковнинъ“.

Скавронцевъ всталъ съ мѣста.

— Чего же лучше, княгиня: и герой, и богатъ, и сосѣдъ,

и двойная фамилія; могу васъ только поздравить съ такимъ рѣдкостнымъ зятемъ!

Но мать Тата чувствовала себя въ эту минуту въ такомъ раю, что и замѣтить была не въ состояніи той желчной иронiи, что̀ говорила въ этихъ словахъ.

— Oui, cher ami, простодушно проговорила она,—Господь услышалъ наконецъ мои молитвы... И за такую милость Его ко мнѣ (она при этомъ весело и даже какъ бы лукаво моргнула своему собесѣднику,) я положила себѣ изъ собственныхъ моихъ грошей весь иконостасъ у насъ въ церкви вызолотить вновь...

— Само собою! промычалъ на это не вѣсть къ чему Александръ Андреевичъ.—Ну, и когда же это должно у васъ окончательно рѣшиться?..

Маленькую особу нежданно обуялъ вдругъ опять суевѣрный страхъ.

— Ахъ, не будемъ такъ говорить ради Бога! Я ничего не знаю, формальнаго предложенія онъ не дѣлалъ, да и кому же?... Дайте имъ еще свидѣться и...

— И свидятся, и вѣроятно скоро? перебилъ онъ.

Она повела на него увлажнившимися снова глазами и утвердительно закачала головой:

— Anatole пишетъ, они уѣзжаютъ на томъ же пароходѣ завтра... Только тотъ по какимъ-то дѣламъ въ Одессѣ дня два остаться долженъ, а Anatole проѣдетъ въ Кіевъ, а потомъ они гдѣ-то съѣдутся и пріѣдутъ сюда вмѣстѣ. Бахтеярову надо къ дядѣ, а въ Соковнино мимо насъ дорога...

— Къ золотому мѣшку на поклонъ...

— Ah oui, cher ami, что̀ же дѣлать, деньги въ нашъ вѣкъ выше славы и почестей! заключила нравоучительно маленькая княгиня, все также не догадываясь о злобѣ и мукѣ, снѣдавшихъ въ эту минуту душу ея бѣднаго „cher ami“.

Скавронцевъ въ тотъ же вечеръ уѣхалъ за тридцать верстъ въ другое имѣніе Можайскихъ подъ предлогомъ какого-то экстреннаго тамъ дѣла.

Но ему нельзя было не вернуться къ пріѣзду Анатоля, своего патрона, воспитанника и пріятеля; это была въ нѣкоторой мѣрѣ обязанность его, долгъ... Онъ поѣхалъ встрѣчать его на станцію...

За послѣдніе дни, вдали отъ Тата, Александръ Андреевичъ успѣлъ одержать нѣкоторую побѣду надъ самимъ собой. Онъ все время настойчиво доказывалъ себѣ всю „непроходимую глупость“ своего увлеченія и при этомъ съ намѣреннымъ, предвзятымъ великодушіемъ обвинялъ въ немъ одного себя. „На то она и женщина“, разсуждалъ онъ, „чтобы насъ морочить и власть свою надъ нами выказывать. Потѣшилась и будетъ; ей что!... А вотъ какъ я, олухъ Царя небеснаго, какъ я на эту удочку въ серьезъ пошелъ, далъ себѣ сердце въ куски порвать, подъ старость лѣтъ шута въ ея глазахъ разыгралъ?“... Провозившись съ собою такимъ образомъ съ недѣлю времени, въ полномъ одиночествѣ и усиленномъ движеніи (онъ почти не слѣзалъ съ лошади все это время), онъ пришелъ къ заключенію, что „все это теперь баста, надо единожды навсегда изъ головы и самое воспоминаніе объ этомъ выгнать... Покажу я ихъ сіятельству, что нашего брата, стараго гвардейца, въ конецъ сломить и ей не подъ силу!“...

Онъ пріѣхалъ на встрѣчу Анатолю въ этомъ пріободренномъ настроеніи, спокойный и равнодушный съ виду. Тата съ матерью прибыли еще ранѣе его на станцію, прямо изъ Большихъ Дворовъ... На ней былъ обворожительный весенній туалетъ и прелестная круглая шляпа-feutre съ обмотаннымъ кругомъ такого же цвѣта перомъ. Никогда на его глаза не бывала она такъ хороша, какъ въ эту минуту. Несмотря на весь ея свѣтскій опытъ, на прирожденную способность таить свои ощущенія, зеленые глаза ея горѣли искрами, сквозь нѣжную кожу лица проступалъ живой, необычный ей румянецъ; она улыбалась нѣжно, сосредоточенно и счастливо... Скавронцевъ, глядя на нее, улыбался тоже, улыбался улыбкой, приходившеюся въ извѣстной мѣрѣ сродни тѣмъ, съ какими выступали на смертную арену безтрепетные гладіаторы римскихъ цирковъ...

Онъ продолжалъ все также безтрепетно, также равнодушно

улыбаться и въ ту минуту, когда, вслѣдъ за выскочившимъ изъ вагона и тутъ же исчезнувшимъ въ объятіяхъ матери Анатолемъ Можайскимъ, вышелъ на платформу чернокудрый, высокій и загорѣлый молодой человѣкъ въ бѣломъ кителѣ, съ Георгіевскимъ крестомъ на шеѣ и рукой, подвязанною чернымъ платкомъ, пропущеннымъ подъ золотую рогожку генеральскаго погона съ тремя звѣздочками. Скавронцевъ видѣлъ, какъ пронзительные и блестящіе какъ у Цыгана глаза этого молодаго генерала вонзились мгновенно огненнымъ взглядомъ въ лицо княжны, прижавшейся къ брату въ ожиданіи обнять его въ свою очередь, между тѣмъ какъ рука его учтиво и заблаговременно приподнималась къ козырьку его фуражки. Александра Андреевича всего покоробило отъ этого не то страстнаго, не то лютаго взгляда...

Можайскій, разцѣловавшись съ сестрой, обернулся на половину къ своему спутнику:

— Бахтеяровъ!... Maman, мнѣ, надѣюсь, не зачѣмъ представлять вамъ его, вы его помните, сказалъ онъ и кинулся тутъ же съ распростертыми руками къ подошедшему къ нему Скавронцеву.

Пока они обнимались, Тата и Бахтеяровъ обмѣнивались казенными фразами, которымъ звукъ ихъ голосовъ, долетавшій до Скавронцева, придавалъ въ его разумѣніи совсѣмъ иное значеніе,—значеніе обоюднаго, неудержимаго признанія.

— Прежде всего слѣдовало бы *васъ* спросить, помните-ли вы насъ еще? говорила она своею шепчущею, пронизывающею интонаціей.

— Вы не изъ тѣхъ, которыхъ забываютъ, княжна, отвѣчалъ Бахтеяровъ на какихъ-то бархатныхъ, горловыхъ нотахъ, низко наклоняясь надъ протянутою ему рукой ея.

Пріѣзжихъ дамы взяли съ собой въ коляску. Скавронцевъ поѣхалъ одинъ въ своемъ тарантасѣ. Тройка его сначала то катила за коляской, то, избѣгая колей, еще полныхъ водой выпавшаго наканунѣ дождя, выравнивалась съ ней по другой сторонѣ широкой, обсаженной старыми ракитами дороги; онъ могъ видѣть тогда загорѣвшее и смѣющееся лицо чернокудраго генерала, слегка наклоненное къ сидѣвшей противъ не-

го княжнѣ, могъ угадывать по ея движеніямъ (она прятала лицо отъ солнца за низко спущеннымъ блѣдно-розовымъ парасолемъ), что она сочувственно и счастливо улыбалась его оживленнымъ разсказамъ...

„Пошелъ!“ крикнулъ неожиданно старый гвардеецъ такимъ свирѣпымъ голосомъ, что кучеръ его, молоденькій мальчикъ, даже вздрогнулъ, вытянулъ всю разомъ тройку кнутомъ и тарантасъ помчался впередъ, немилосердно обрызгивая и его, и барина жидкою черною грязью.

Пріѣхали въ Большіе Дворы часу въ восьмомъ, и тотчасъ же сѣли за столъ. Гостя посадили между матерью и дочерью, а по другую сторону княгини долженъ былъ сѣсть Скавронцевъ, по лѣвой рукѣ котораго помѣстился Анатоль. Изъ общаго въ началѣ обѣда разговоръ перешелъ весьма скоро въ частный, вѣрнѣе, распался на двѣ отдѣльныя бесѣды. Мать и сынъ закидывали другъ друга вопросами и разсказами, притягивая къ нимъ то-и-дѣло сидѣвшаго между ними Александра Андреевича, и не замѣчая, повидимому, холоднаго тона его короткихъ, чуть не рѣзкихъ отвѣтовъ (онъ понималъ, что смыслъ этихъ торопливо громкихъ рѣчей состоялъ вовсе не въ томъ, что̀ въ нихъ заключалось, а въ томъ, чтобы подъ звуки ихъ Тата и Бахтеяровъ имѣли возможность свободно и удобно вести свою особую, неслышную рѣчь, полную, судя по выраженію ихъ лицъ, животрепещущаго для обоихъ ихъ интереса). Онъ даже не выдержалъ до конца и на какой-то вопросъ Анатоля, съ любезною заботливостью справлявшагося о его сыновьяхъ, отрѣзалъ, досадливо пожавъ плѣчами: „И ничего любопытнаго въ этомъ нѣтъ: зубрятъ свою латынь, и, *само собою*, въ эскулапы собираются“, на что̀ Анатоль благодушно засмѣялся, сказавъ: „Дай ихъ Богъ намъ побольше, говорю это по опыту“, и тутъ же началъ длинный и подробный разсказъ о недостаточномъ числѣ врачей въ нашей арміи и объ услугахъ, оказанныхъ ими во время кампаніи.

Кофе перешли пить на большой балконъ съ видомъ на рѣку. Скавронцевъ поспѣшно проглотилъ свою чашку и вслѣдъ за этимъ исчезъ. Минутъ черезъ десять Анатоль, взглянувъ значительно на мать, сказалъ ей:

— Maman, я привезъ вамъ изъ Константинополя un tapis de Smyrne, недуренъ, кажется: хотите посмотрѣть? Я велѣлъ принести его въ зеленую гостиную.

— Ахъ, mercі, mercі, mon cher! воскликнула маленькая княгиня, немедленно вставая съ мѣста,—это такая прелесть ковры турецкіе, les vrais!... Pardon, cher général!

Она любезно улыбнулась гостю, и ушла съ балкона объ руку съ сыномъ. Княжна осталась одна съ Бахтеяровымъ.

Онъ сидѣлъ у самыхъ перилъ, опершись о нихъ локтемъ, съ закинутою подъ затылокъ рукой, и глядѣлъ сіяющими глазами на широкую даль полей, лѣсовъ и деревень, виднѣвшихся верстъ на пятнадцать окружности съ высокой мѣстности Большихъ Дворовъ.

— Какъ хорошъ у васъ видъ, этотъ чисто русскій видъ! заговорилъ онъ,—знаете, княжна, что для меня, проведшаго почти десять лѣтъ жизни въ среднеазіятскихъ степяхъ, подъ безпощаднымъ солнцемъ юга, и теперь тамъ, у Балканъ, эта кроткая природа, съ ея тихо волнующимися линіями, эти мирно плывущія облака — цѣлое откровеніе. Точно, примолвилъ онъ смѣясь,—какъ на старыхъ картинахъ, отверзаются для меня небеса и спускается оттуда въ поученіе мое длинная, узенькая полоса бумаги съ завитушками по концамъ и надписью: „миръ и благоволеніе...“

— Вы остались поэтомъ, молвила на это Тата, тихо улыбаясь и глядя на него изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ.

— Непремѣнно, весело отвѣтилъ онъ,—и даже романтикомъ, и даже хуже того... Я бы, кажется, съ наслажденіемъ теперь сталъ читать пасторальные романы d'Urfé и mademoiselle de Scudéri.

— Это, какъ видно, входитъ dans la spécialité de votre métier, засмѣялась она:—Наполеонъ, говорятъ, возилъ всегда съ собою на войну Оссіана, а Кутузовъ романы madame de Genlis. Отчего же вамъ не читать *l'Astrée* и *le Grand Cyrus*.

Онъ повелъ на нее тѣми же сіяющими глазами.

— Я радъ даже вашимъ насмѣшкамъ, княжна! Такъ давно не доводилось мнѣ быть въ обществѣ женщинъ, *настоящихъ* женщинъ, подчеркнулъ онъ.

— Вы развѣ ни съ одною... *такою* не встрѣчались съ тѣмъ поръ, какъ мы не видѣлись? спросила Тата съ какою-то робкою задержкой въ голосѣ.

Онъ на мигъ воззрился ей въ лице внимательно, почти строго, но также быстро улыбнулся прежнею, веселою улыбкой:

— Да, сказалъ онъ вскользь,—но это совсѣмъ другое дѣло... Я говорю про тѣхъ свѣтскихъ, тонкихъ, блистательныхъ, à mille facettes, какъ говорятъ Французы, женщинъ, о которыхъ тѣ же Французы давно рѣшили: „la femme slave, cette dernière expression de la *femme*, женщинъ какъ вы, княжна...

— Vous ne voyez en moi que la femme du monde... puisque „femme“ il y a? примолвила она со слабою усмѣшкой и тономъ упрека.

— Боже сохрани, еслибы вы были чѣмъ-нибудь инымъ, живо вскликнулъ онъ;—вѣдь это все равно, еслибы колибри ощипалъ себѣ добровольно свои радужныя перья и нарядился бы въ плебейскій мундиръ воробья или чижика.

Она хотѣла возразить и пріостановилась, увидавъ слугу, вышедшаго въ эту минуту изъ комнатъ на балконъ и почтительно остановившагося у дверей въ выжидательной позѣ.

— Что вамъ надобно? спросила она.

— За ихъ превосходительствомъ лошади изъ Соковнина прибыли, доложилъ онъ съ полупоклономъ въ сторону Бахтеярова.

— Что жъ это значитъ, развѣ вы такъ спѣшите? почти испуганно вырвалось у нея.

— Не я, а, какъ видно, нежданный благодѣтель мой и невѣдомый дядя спѣшитъ узрѣть меня скорѣе, отвѣтилъ насмѣшливо Бахтеяровъ;—я ему впрочемъ телеграфировалъ изъ Одессы, что такого-то числа думаю быть у васъ; Анатоль мнѣ говорилъ, что дорога къ нему мимо васъ идетъ, онъ и прислалъ.

— Отошлите ихъ! Когда вамъ вздумается... завтра... васъ отвезутъ на нашихъ лошадяхъ.

— Нѣтъ, все равно... Скажите, что хорошо! отослалъ онъ слугу кивкомъ и, обратившись къ Тата, заговорилъ съ новымъ оживленіемъ:

— Мы тамъ съ вашимъ братомъ, въ этомъ невыносимомъ

Санъ-Стефано, каждый день утѣшали себя говоря о васъ. Мнѣ ужасно хотѣлось васъ видѣть... Писалъ онъ вамъ объ этомъ?

— Писалъ, чуть слышно промолвила она, глядя на него опять изъ-подъ полуопущенныхъ вѣкъ тѣмъ взглядомъ, который, она знала, вмѣстѣ съ ея шепчущимъ голосомъ, составлялъ одну изъ неотразимѣйшихъ прелестей ея.

— Вы всегда, продолжалъ онъ,—были для меня самымъ— какъ бы выразить это точнѣе?.. самымъ мучительнымъ воспоминаніемъ моего прошлаго,—а вы знаете, что ничто такъ не дорого человѣку, какъ его мýки,—казались мнѣ сфинксомъ, разгадки котораго я долго добивался со страстью, всѣми нервами моего существа... И я никогда не могъ забыть того времени... И вотъ вы опять предо мной, и я также жадно хотѣлъ бы узнать теперь, что̀ вы, ка̀къ, какъ жили съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ васъ, что̀ вынесли изъ вашей жизни за это время?...

— Какъ жила? повторила Тата, унесенная горячностью его рѣчи, его цыганскими глазами, всѣмъ его оригинальнымъ, мужественнымъ, блестящимъ складомъ ума и наружности,— что̀ вынесла изъ этой vie du monde, которую вы такъ справедливо ненавидѣли *въ то время*, а теперь вдругъ почему-то находите прелестною, кажется? Я старалась прижаться, сузиться, погасить себя до уровня пониманія каждаго веселаго гусарика или мрачнаго флигель-адъютанта, и дошла чуть не до идіотизма... Вотъ какъ я жила и что̀ вынесла!..

Бахтеяровъ сочувственно закивалъ головой:

— Ну да, ну да! „La femme slave“, которой l'homme slave все до этихъ поръ не достоинъ развязывать ботинки... Очень ужь вы умны были всегда, княжна!

— Умна?... Не знаю, раздумчиво молвила она;— вѣрно только то, что у насъ ума пуще пожара боятся.

— Еще бы! онъ громко разсмѣялся:—мы это *тамъ* боками своими испытали.

Она взглянула на него съ какою-то невольною и счастливою гордостью:

— Къ счастью, вы принудили людей сдѣлать для васъ исключеніе...

Онъ чуть-чуть наклонился въ знакъ благодарности и пожалъ беззаботно плечами:

— Кривая вывезла, говоря нашимъ армейскимъ языкомъ: одинъ изъ вашихъ петербургскихъ умниковъ далъ мнѣ издавна кличку „un frondeur doublé de cerveau brulé“ и подъ нею я успѣлъ бы преспокойно зарости травой, еслибы на мое счастіе, дѣйствительно, не случилось такъ, что въ извѣстную минуту понадобился именно такой „frondeur“ на подкладкѣ сорви-головы. Я былъ, такъ-сказать, Чацкій той минуты...

Онъ прервалъ себя вдругъ и взглянулъ еще разъ на Тата проницающимъ, неласковымъ взглядомъ:

— Вы ихъ всегда очень не жаловали, Чацкихъ, княжна, не правда-ли? спросилъ онъ, засмѣявшись короткимъ, заставившимъ ее вздрогнуть внутренно смѣхомъ.

Но она издавна предчувствовала возможность этого намека на прошлое и изготовила на него отвѣтъ:

— Да, сказала она, глядя какъ бы съ замѣшательствомъ въ сторону, и даже весьма искренно краснѣя при этомъ,— я была слишкомъ горда, можетъ-быть, но никогда не въ состояніи была признать *моими* героями Чацкихъ Lizzy Ваханской.

Бахтеяровъ безсознательно потянулся къ ней своею курчавою головой, какъ бы съ тѣмъ, чтобы ближе выслѣдить игру ея лица; онъ прижмурилъ глаза не то подозрительно, не то недоумѣвая...

— Вы серьезно думали, проговорилъ онъ съ разстановкой,—что маленькая графиня играла для меня роль Софьи Павловны?

Тата разсмѣялась:

— Очень было похоже во всякомъ случаѣ!

— И вы продолжаете это думать? спросилъ онъ почти шепотомъ.

Черты ея тотчасъ же приняли прежнее вдумчивое выраженіе; она повела на него долгимъ взглядомъ и медленно проговорила:

— Нѣтъ, *теперь* я этого не думаю!...

— Вы не думали этого и тогда! пылко вскликнулъ онъ;— вы не могли этого думать! Вы знали, что я любилъ васъ?

— Да, протянула она также тихо,—но... насколько?

— Насколько? съ горечью повторилъ онъ;—на это чувство пошла вся моя молодость, вся, вотъ мой отвѣтъ! А вы... я впрочемъ вовсе не думаю винить васъ, перебилъ онъ себя тутъ же,—напротивъ, я (васъ можетъ-быть удивитъ это признаніе), я вамъ обязанъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ вы меня видите теперь, и меня давно мучило желаніе свидѣться съ вами, чтобъ именно это выразить вамъ... Я не родился честолюбивымъ; во мнѣ, дѣйствительно, было сызмала расположеніе къ дешевому „фрондерству“, которое, по всей вѣроятности, привело бы меня, какъ столь многихъ у насъ, лишь къ полнѣйшему умственному безплодію, еслибъ я не встрѣтился съ вами. Вы стояли далеко отъ меня тогда... Помните этотъ стихъ изъ *Рюи-Блаза:*

„Moi, pauvre ver de terre, amoureux d'une étoile“?

Я себѣ сто разъ на день повторялъ этотъ стихъ въ тѣ дни. Надо было поднять себя, надо было достигнуть до этой „звѣзды“! Это было безуміе, пожалуй: вы десять разъ могли выйти замужъ за другаго прежде, чѣмъ я былъ бы въ состояніи добиться того, что могло мнѣ дать право домогаться васъ. Но все равно, во мнѣ пробудилась тогда такая вѣра, такая сила вѣры въ себя и въ будущее... И это придавало всему, что я ни дѣлалъ, какую-то необыкновенную цѣпкость, твердость и послѣдовательность, всегда увѣнчивавшіяся успѣхомъ. Я шелъ впередъ съ быстротой, примѣры которой рѣдки... И вотъ тогда, послѣ Хивинскаго похода, я вернулся въ Петербургъ... Но всего, что успѣлъ я пріобрѣсти тогда, всего этого въ глазахъ вашихъ было еще недостаточно...

Тата слушала его съ трепетавшимъ сердцемъ; слова его, будто какой-то божественный напитокъ, лились ей въ душу и наполняли ее невыразимо сладостнымъ чувствомъ. Не безвѣстный юноша, не пылкій офицерикъ расточалъ ей теперь признанія, обѣты; говорилъ человѣкъ, котораго имя знала вся Россія, который приносилъ ей съ собою одно изъ самыхъ

завидныхъ положеній въ государствѣ... Да, этотъ блестящій человѣкъ, единственный умѣвшій найти доступъ къ ея мраморному сердцу, онъ все такъ же, какъ и во дни юности, былъ у ея ногъ, она не могла сомнѣваться въ этомъ: вся его жизнь, сказалъ онъ сейчасъ, была какой-то священный культъ „звѣзды“, какою она была для него, неустанное стремленіе „достигнуть“ ея. Да, она имѣла право гордиться и быть счастливою теперь. Еще одно, послѣднее слово въ придачу къ его огненнымъ рѣчамъ, и судьба вознаградитъ ее съ избыткомъ за долгіе годы недочетовъ, тоски, отчаянія... О, скорѣй же, скорѣй понудить его сказать это желанное слово!...

— Недостаточно! повторила она дрожащимъ голосомъ, и поднесла руку къ глазамъ: — для другихъ можетъ-быть... Но вы тогда сами, добровольно, уѣхали, не давъ себѣ труда узнать, что я лично могла думать объ этомъ, договаривала она чуть слышно, склоня голову и отымая руки отъ глазъ. „Вотъ, вотъ, сейчасъ, онъ скажетъ“, проносилось въ головѣ ея; ожиданіе сжимало ей грудь до боли...

Онъ заговорилъ опять, но это было не совсѣмъ то, чего она ждала:

— Я уѣхалъ потому, что мнѣ, къ несчастію, нечего было узнавать отъ васъ, княжна, произнесъ онъ медленно и твердо,—я зналъ... *Вы* могли забыть, понятно, но у меня неумолимая память; я помню все и ничего никогда не забываю... Нѣтъ, то, что вы могли бы мнѣ сказать тогда, было бы для меня *недостаточно*.

Ей вдругъ стало страшно: она уронила руку, вскинула и остановила на немъ глаза.

— Ecoutez général, начала она, силясь улыбнуться и скрыть обнимавшую ее тревогу подъ развязнымъ тономъ шутки,—вы умны и тверды, и герой, все, что хотите, но въ нашемъ женскомъ сердцѣ вы также мало понимаете, какъ и всѣ мужчины! Вы неспособны принять въ разсчетъ, взвѣсить, сколько въ немъ вѣчно бываетъ свойственныхъ намъ однѣмъ сомнѣній, противорѣчій, неожиданныхъ для него самого капризовъ борьбы... борьбы съ другими, близкими, со всякими parti pris и установленными взглядами, съ самимъ собою на-

конецъ... Вотъ вы говорите, что все помните, а помните-ли, что однажды при мнѣ сказала вамъ Lizzi: „Souvent un coeur est tout prêt à se rendre, mais il faut tout de même le prendre d'assaut?..." Но вы желали брать d'assaut, кажется, одни азіатскіе и турецкіе города...

Бахтеяровъ усмѣхнулся невольно, и нѣкоторое время затѣмъ оставался безмолвнымъ. Онъ пристально глядѣлъ на нее, какъ бы любуясь ею и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы готовя о ней внутри себя какое-то рѣшеніе, которое она въ свою очередь ждала съ тайнымъ содроганіемъ всего своего существа. То „послѣднее" слово, которое почитала такъ близкимъ она за мгновеніе предъ тѣмъ, уходило теперь, она понимала, въ какую-то смутную, колеблющую даль...

— Можетъ быть, я съ вами спорить не стану, началъ онъ наконецъ,—я былъ, можетъ-быть, слишкомъ робокъ... или слишкомъ требователенъ, какъ вамъ угодно... Но важно дать напиться человѣку, когда онъ умираетъ отъ жажды, а... а не послѣ, словно проглотилъ онъ.

— Послѣ чего? спросила блѣднѣя Тата.

Онъ будто не слышалъ этого вопроса и продолжалъ:

— Какъ бы ни было, я уѣхалъ тогда съ твердымъ намѣреніемъ вырвать все это изъ души, изъ памяти, и... и не могъ... Не могъ заглушить той мучительной жажды любви, счастія, взаимности... Въ азіатской степи, вдали отъ водоворота людскаго, человѣку некуда выкинуть избытокъ своихъ ощущеній; они, какъ рѣдкіе дожди тѣхъ странъ, падаютъ капля за каплей въ тотъ же глубокій колодезь его внутренняго *я*, переполняя его иной разъ до невыносимой муки. Мнѣ очень часто представлялось въ то время, что мнѣ придется непремѣнно кончить самоубійствомъ или сумасшествіемъ.

— И вы никому не писали оттуда, не желали вѣстей ни о комъ? вскликнула наша княжна съ загорѣвшимися опять надеждой глазами.

Бахтеяровъ пожалъ плечомъ.

— Къ чему? Жажда у меня, я сказалъ вамъ, оставалась та же, но надеждъ уже не существовало никакихъ. Въ душевной моей мельницѣ отсутствовало зерно, жернова мололи

a vide и стирали только другъ друга, примолвилъ онъ садясь, и замолкъ.

— И... и что же теперь? замирающимъ голосомъ и со взглядомъ, полнымъ тревоги, проговорила черезъ минуту Тата.

Онъ отвѣчалъ на этотъ взглядъ тѣмъ горячимъ и *лютымъ* взглядомъ, съ какимъ, по впечатлѣнію произведенному имъ на Скавронцева, глядѣлъ онъ на нее въ первую минуту встрѣчи ихъ на станціи, но голосъ его въ то же время зазвучалъ какимъ-то страннымъ, невольнымъ волненіемъ:

— Я женюсь, княжна! сказалъ онъ.

Зрачки ея широко, испуганно раскрылись, губы дрогнули:

— Вы... же... На комъ? словно захлебываясь пролепетала она.

— Вы ея не знаете, она Москвичка, поспѣшно отвѣтилъ онъ;—мы встрѣтились тамъ, въ Болгаріи... Она пріѣхала съ матерью сестрами милосердія. Ей девятнадцать лѣтъ... Раненые называли ее райскою птичкой; она совсѣмъ ребенокъ, кроткая, ясная, голубоглазая...

— Но... Анатоль ничего намъ не писалъ объ этомъ, растерянно молвила Тата.

— Онъ ничего не зналъ... и я самъ... Судьба, княжна! Пока мы были тамъ, за Балканами, она чуть не умерла отъ тифа. Мать едва довезла ее до Одессы. И вотъ, пріѣзжаю я туда теперь и на балконѣ гостиницы, куда меня привезли со станціи, вижу вдругъ это милое, исхудалое личико...

Какая-то проницающая, задушевная нѣжность, на какую казалось ей, никогда не былъ способенъ голосъ этого человѣка, слышалась теперь княжнѣ въ его словахъ. „Онъ любитъ эту дѣвочку, какъ никогда меня не любилъ!“ рѣзнуло ее, какъ ножомъ по сердцу. Она заглушила на мигъ чувство безумнаго отчаянія, палившее ея душу, встряхнулась вся, улыбнулась всѣмъ лицомъ и, протягивая ему руку, вымолвила ровнымъ, звучнымъ голосомъ, безъ иронiи и безъ смущенія:

— Agréez donc, cher général, mes compliments et mes voeux les plus sincères!

Онъ живо наклонился, крѣпко прижалъ къ губамъ эту

протянутую руку и воскликнулъ съ искреннимъ увлеченіемъ,— восхищаясь этою „красивою игрой“:

— Спасибо вамъ, княжна, et vive „la femme slave!...“

Они глянули разомъ другъ другу въ глаза, и оба тутъ же отвернулись... Ему стало вдругъ страшно жаль ее и безконечно стыдно за себя. Горячій румянецъ проступилъ сквозь его смуглую кожу. Тата прищурившись устремила взоръ за рѣку, на даль, озаренную свѣтомъ низко опускавшагося солнца...

Такъ прошло нѣсколько мгновеній.

— Мнѣ нужно было бы однако пріѣхать къ моему старику еще засвѣтло, нѣсколько невѣрнымъ тономъ прервалъ первый молчаніе Бахтеяровъ,—надо отыскать вашего брата...

— До свиданія, надѣюсь, на возвратномъ пути? сказала княжна, учтиво оборачиваясь къ нему.

— Если позволите...

Онъ низко поклонился ей и вышелъ.

Черезъ пять минутъ, едва слышнымъ шагомъ, но ужасно торопясь и еще издали сложивъ свои высохшія уста въ робкую вопросительную улыбку, нырнула на балконъ маленькая княгиня.

— Eh bien, ma chérie? добѣжавъ до кресла дочери и наклоняясь къ самому ея лицу, спросила она таинственно.

— Онъ женится! съ холодною усмѣшкой, отъ которой бѣдная мать въ свою очередь заледенѣла тутъ же отъ головы до пятокъ, выговорила Тата: — не на мнѣ, само собою, soyez tranquille!

И она поднялась съ мѣста.

Княгиня, всплеснувъ руками, готовилась вскрикнуть...

— Maman, пожалуста безъ отчаяній! злобно остановила ее дочь:—однимъ больше, однимъ меньше, не все-ли равно!...

Она направилась къ двери.

— Mais, Tata, ma chère, куда же ты идешь теперь? совсѣмъ растерявшись, вскрикнула княгиня.

— Иду къ себѣ,—и очень прошу васъ и Анатоля не приходить ко мнѣ и не посылать за мной. Я очень хорошо знаю,

что вы оба можете мнѣ сказать въ эту минуту et je ne suis pas d'humeur à l'entendre!

Она ушла, а бѣдная мать, уронивъ свою маленькую, жидкую особу въ кресло, въ которомъ сидѣла княжна, залилась горючими слезами, нажавъ себѣ предварительно для этого батистовый платокъ обѣими руками на глаза.

Ночью, часу въ двѣнадцатомъ, Александръ Андреевичъ Скавронцевъ вышелъ изъ флигеля своего въ садъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Онъ тотчасъ послѣ обѣда велѣлъ осѣдлать себѣ лошадь и поскакалъ на ней въ степь, откуда, измучивъ бѣдное животное бѣшеною, безцѣльною скачкой, вернулся часа черезъ два и у въѣзда въ Большіе Дворы наткнулся на выѣзжавшаго Бахтеярова. Молодой генералъ сидѣлъ въ колескѣ, присланной за нимъ изъ Соковнина, и со странно озабоченнымъ, какъ показалось Скавронцеву, лицомъ глядѣлъ на кучера своего и деньщика, суетившихся около одной изъ пристяжныхъ четверки, перекинувшей ногу черезъ постромку. Александръ Андреевичъ машинально пріостановилъ свою лошадь и замѣтилъ, что „постромки коротки". Пришлость отпустить ихъ.

— Cara patria! Нашъ вѣковой неурядъ вездѣ и во всемъ! сказалъ досадливо усмѣхаясь Бахтеяровъ, учтиво въ то же время отвѣчая нъ короткій поклонъ Скавронцева.

— Некому видно присмотрѣть у нихъ тамъ! отвѣтилъ на это неопредѣленно и не сейчасъ старый гвардеецъ, глядя не на него, а на испуганно дрыгавшую ногой пристяжную.

— Славный у васъ конь! замѣтилъ черезъ нѣсколько времени генералъ.

— Д-да, молодой... шестой годъ, небрежно проговорилъ на это тотъ.

Кучеръ справившись полѣзъ на козлы.

— Позвольте попросить васъ, заговорилъ опять Бахтеяровъ,—передать князю Можайскому, что еслибы мнѣ какънибудь нельзя было на возвратномъ пути заѣхать къ нему (я черезъ три дня долженъ быть въ Одессу, а оттуда въ армію),

я прошу его и почтенную его матушку извинить меня и принять искреннюю мою благодарность за ихъ добрый пріемъ.

Александръ Андреевичъ открылъ большіе удивленные глаза, хотѣлъ что-то спросить, но не спросилъ, а только поклонился въ знакъ того, что „не примину, молъ, исполнить...“

Генералъ въ свою очередь поднесъ руку къ своей бѣлой походной фуражкѣ... Коляска покатила.

„Задача!“ со странною смѣсью любопытства, какой-то глухой радости и стыда за эту радость, говорилъ себѣ Скавронцевъ, очутившись у себя дома и шагая обычнымъ своимъ быстрымъ шагомъ вдоль комнатъ, тускнѣвшихъ въ предвечерней мглѣ:—„на объявленнаго жениха далеко не похожъ, да и возвращаться даже, очевидно, не намѣренъ... Сорвалось у нихъ опять что-ли?...“

Онъ вдругъ, какъ бы не совладавъ съ хаосомъ давившихъ ощущеній, опустился на диванъ, закинувъ обѣ руки за голову и судорожно прижмуривъ глаза. Онъ просидѣлъ такъ безмолвно и недвижно до самой ночи.

Нарождавшійся мѣсяцъ слабо свѣтилъ на поблѣднѣвшемъ небѣ. Старые клены, точно шевеля пальцами, мѣрно шуршали своими широкими листьями. Соловей, какъ бы нехотя, прерываясь и обрывая, урчалъ гдѣ-то въ чащѣ...

Въ домѣ, повидимому, все спало, только въ верхнемъ этажѣ, въ кабинетѣ Анатоля, выходившемъ напротивъ флигеля „главноуправляющаго“, виденъ былъ еще свѣтъ.

Александръ Андреевичъ, проходя мимо, безсознательно поднялъ голову и пріостановился. До него донесся говоръ двухъ голосовъ: словъ не слышно было, но онъ по звуку различилъ голоса Анатоля и его матери.

Они тутъ же смолкли, а черезъ нѣсколько мгновеній погасъ и свѣтъ въ кабинетѣ. „Княгиня ушла, онъ пошелъ провожать ее до спальни“, сказалъ себѣ Скавронцевъ, проходя далѣе.

Его тянуло подъ окно Тата. „Что она, какъ?“ хмурясь, упрекая себя въ „глупости“ и то-и-дѣло пріостанавливаясь на пути отъ волненія, заливавшаго ему грудь, говорилъ себѣ Скавронцевъ...

Онъ замеръ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ ея балкона. Изъ глубины ближайшей комнаты, сквозь отворенную настежь дверь, пламя одинокой свѣчи добѣгало трепещущимъ лучомъ до длиннаго кресла, въ которомъ она, въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, полулежала, блѣдная какъ и ея ткани, съ руками безжизненно опущенными на колѣни, устремивъ пронзительно глядѣвшіе впередъ глаза прямо на него, на Скавронцева...

Она слышала издали шаги его, она его видѣла, она словно ожидала его тутъ.

— Ну, что же, вы довольны? проговорила она прежде, чѣмъ онъ успѣлъ разглядѣть ее хорошенько, сообразить, притти въ себя...

Онъ поднялся къ ней на балконъ, остановился... Ноги его дрожали...

— Чѣмъ „доволенъ“, что это вы? проговорилъ онъ въ смущеніи.

— А вы не знаете еще? отвѣтила она кроткимъ, желчнымъ смѣхомъ:—*они* вамъ еще не повѣряли, не плакали, не жаловались?..

— Я никого не видѣлъ...

— А я имѣла удовольствіе... Я просила ихъ оставить меня одну, не мучить... но братецъ, Анатолій Васильевичъ, счелъ долгомъ притти объясняться... и колоть, будто я сама... будто мало мнѣ всего этого униженія...

Голосъ ея оборвался; она глядѣла на Скавронцева сверкающими, злыми глазами:

— Онъ, изволите видѣть, все сдѣлалъ, все подготовилъ, „какъ всегда“, какъ „всю жизнь свою“, но я также, „какъ всегда“, я сумѣла все разстроить, все испортить... Они десять лѣтъ, видите-ли, не могутъ съ рукъ меня сбыть; все такъ хорошо, умно подготовятъ и, не смотря на это, все каждый разъ обрывается по *моей* винѣ... Братецъ теперь рѣшительно отказывается отъ дальнѣйшихъ стараній; „il ne peut plus rien“, онъ предоставляетъ меня моей несчастной судьбѣ“, à mon triste sort“, онъ такъ и сказалъ... Красиво, не правда-ли?... Я его попросила уйти... Еслибъ онъ не послушался, я побѣжала бы кинуться въ рѣку... Вы его видѣли? спросила она вдругъ.

— Кого, Анатоля?

— Нѣтъ, какъ отрѣзала Тата,—*того?*

— Мы встрѣтились, когда онъ уѣзжалъ... Онъ просилъ меня передать Анатолю его благодарность и прочее, если ему не случится самому быть у васъ еще разъ, молвилъ Скавронцевъ, не отрывая отъ нея взгляда;—онъ сказалъ мнѣ при этомъ, что черезъ три дня ѣдетъ обратно въ армію. Я, признаюсь, тутъ же подумалъ...

— Что я ему отказала и теперь, какъ два раза предъ этимъ? не дала ему договорить она и засмѣялась снова своимъ желчнымъ, судорожнымъ смѣхомъ.—Нѣтъ, онъ взялъ свое на этотъ разъ, онъ отомстилъ, скверно, жестоко, подло отомстилъ мнѣ, женщинѣ!.. Lizzy Ваханская предваряла меня: „Gare à Méphisto!“ говорила она. Онъ не умѣетъ прощать, этотъ человѣкъ, онъ... Онъ хорошо сдѣлалъ! неожиданно, голосомъ глубокаго отчаянія, отъ котораго перевернуло всю внутренность у Скавронцева, воскликнула она,—онъ нашелъ себѣ „тихую, ясную, голубоглазую“ дѣвочку, которая, вѣроятно, никогда и не помышляла о такомъ счастіи и будетъ любить просто его, а не его „position sociale“, не наслѣдство Соковнина... Онъ знаетъ, что у *насъ* это иначе ведется, что *насъ* воспитываютъ для того, чтобы мы сами молодость свою, умъ сердце, красоту умѣли предлагать au plus offrant...

Скавронцевъ глядѣлъ на нее, усиленно переводя дыханіе, съ мучительной тоской, съ безконечною любовью...

— Что же вы, молчите, воскликнула она съ гнѣвомъ,—развѣ у васъ словъ никакихъ на это нѣтъ?

Онъ какъ былъ, самъ не вѣдая, что дѣлаетъ, упалъ къ ея ногамъ, прижимаясь головою къ ея колѣнямъ:

— Что же мнѣ говорить? шепталъ онъ, весь дрожа въ какомъ-то водоворотѣ охватившаго его неотразимаго чувства;—я не знаю, что это за человѣкъ, что это за люди!... Знаю то, что еслибы былъ я на его мѣстѣ, такъ и схватилъ бы я васъ обѣими руками, прижалъ бы къ себѣ, не выпускалъ бы до самой смерти...

Голова его пылала полымемъ. Не помня себя, онъ охва-

тилъ ея станъ, привлекая ее къ себѣ съ неудержимой уже страстью безумнаго желанія...

— И вы одни... одни любите меня на этомъ свѣтѣ! лепетала она разсѣянно и безмолвно, отдаваясь его дружескимъ поцѣлуямъ...

И вдругъ вспрянула, оттолкнула его всею силою своихъ рукъ:

— Оставьте меня, какъ вы смѣете... вы негодяй!...

На другой день, часу въ девятомъ утра, горничная княжны принесла Александру Андреевичу въ запечатанномъ конвертѣ письмо слѣдующаго содержанія:

„Вы должны понять, что видѣть васъ, жить подъ однимъ кровомъ, я не въ состояніи. Жду отвѣта.“

Губы его чуть-чуть изогнулись въ горькую усмѣшку...

— Хорошо, спокойнымъ голосомъ сказалъ онъ горничной, разрывая какъ бы въ разсѣянности принесенную ею записку въ мелкіе кусочки,—скажите княжнѣ, что я уже велѣлъ запрягать лошадей и выѣзжаю черезъ полчаса, и всѣ ея порученія въ городѣ исполню аккуратно.

Анатоль Можайскій, очень удивившійся внезапному отъѣзду своего управляющаго, не предварившаго его объ этомъ ни единымъ словомъ, пришелъ въ совершенное недоумѣніе, получивъ отъ него дня черезъ три письмо, адресованное изъ города, въ которомъ проживала семья Александра Андреевича, и извѣщавшее, что онъ, Скавронцевъ, узнавъ, что правительство, „въ виду непріятностей, дѣлаемыхъ ему Биконсфильдомъ“, намѣрено отправить „значительныя силы къ границамъ Индіи“, рѣшилъ „попытаться военнаго счастія“, то-есть поступить въ туркестанскую армію. При этомъ упоминалось въ короткихъ словахъ, что подробный отчетъ по управленію имѣніями, приготовленный къ пріѣзду хозяина, равно и состоящія по кассѣ суммы сданы главному конторщику Фирсову, въ чемъ и дана симъ послѣднимъ Скавронцеву прилагаемая къ письму расписка.

„Онъ съ ума сошелъ!“ рѣшилъ Анатоль,—и въ тотъ же

день покатилъ по желѣзной дорогѣ въ *** „отыскать и усовѣстить этого *оригинала*...“ Но онъ его уже тамъ не засталъ...

Улыбнулось-ли „военное счастье“ Александру Андреевичу въ Средней Азіи, невѣдомо никому, такъ какъ онъ никому не пишетъ. Его ожирѣвшая, но неизмѣнно вѣрною ему пребывающая Вѣрочка льетъ о немъ нескончаемыя слезы, какъ о покойникѣ, хотя въ спискахъ объ умершихъ, за которыми трепетно слѣдитъ она по *Русскому Инвалиду*, имя его до сихъ поръ не значилось...

Княжна Тата прошлою зимою собралась было совсѣмъ въ монастырь, но вдругъ отложила намѣреніе, такъ какъ графиня Нелли Авалова, продолжающая „обожать“ ее все съ тою же изысканною и тонкою экзальтаціей чувствъ, придумала сосватать ей „un sien oncle“, графа де-Браге, офранцуженнаго Шведа, владѣющаго замкомъ въ Альзасѣ, человѣка лѣтъ довольно зрѣлыхъ, „mais très bien conservé“, судя по присланной имъ племянницѣ на этотъ предметъ фотографической карточкѣ, получившей полную аппробацію со стороны маленькой княгини и ея сына. Карточку княжны графиня Нелли, въ свою очередь, отправила „en toute confidence“ къ альзасскому дядѣ, который со слѣдующею же почтой заявилъ, что находитъ „изображенную на ней особу aussi distinguée que charmante“. Сватовство путемъ переписки идетъ, кажется, на этотъ разъ серьезно на ладъ. Вопросъ въ послѣднее время стоялъ только на томъ, будетъ-ли назначенное „à la princesse Natalia“ приданое уплачено „en metalliques ou en papier-roubles“, что̀ должно было окончательно рѣшить пріѣздъ или непріѣздъ графа де-Браге въ Россію. Но маленькая княгиня не сомнѣвается, что онъ пріѣдетъ, такъ какъ это теперь зависитъ только отъ „legér sacrifice“ со стороны Анатоля въ пользу сестры, а она очень хорошо знаетъ, что Анатоль „всегда только о томъ и думалъ, чтобы Тата „fasse un parti convenable“.

КОНЕЦЪ.

ЛѢСНИКЪ.

ЛѢСНИКЪ.

РАЗСКАЗЪ *).

(Княгинѣ Софіи Михайловнѣ Голицыной).

I.

Послѣ трехгодичнаго отсутствія, весною 1873 года, Валентинъ Алексѣевичъ Ковързневъ пріѣхалъ въ Черниговское имѣніе свое, Темный Кутъ.

Валентину Алексѣевичу было въ ту пору 36 лѣтъ; онъ былъ богатъ, здоровъ и независимъ, какъ птица въ небѣ, — если только допустить, что человѣкъ вообще, и русскій въ особенности, способенъ быть независимымъ въ этой мѣрѣ...

Во всякомъ случаѣ, условія жизни его и воспитанія и его личныя свойства весьма способствовали этой независимости,— составлявшей (онъ любилъ это говорить иногда,) „и задачу, и сущность его существованія".

Онъ былъ внукъ по матери одного изъ извѣстныхъ Екатерининскихъ любимцевъ, жалованнаго огромными помѣстьями на югѣ Россіи; дѣтство Ковързнева — его воспитывалъ безо всякаго вмѣшательства и контроля со стороны его родныхъ, прямой, жесткій и отважный характеромъ англичанинъ mister Joshua Fox,—протекло частью за границей, въ Швейцаріи

*) Впервые былъ напечатанъ въ №№ 41, 42, 43, 44 и 45 „Нивы", за 1880 годъ.

или Римѣ, частью въ Россіи, въ Москвѣ, въ Екатеринославскомъ имѣніи, или въ Темномъ Кутѣ, въ безбрежныхъ лѣсахъ котораго пропадалъ онъ на цѣлые дни со своимъ наставникомъ, страстнымъ любителемъ охоты. На семнадцатомъ году онъ поступилъ въ Петербургскій университетъ на историко-филологическій факультетъ.

Онъ кончилъ тамъ курсъ, когда, почти одновременно, лишился отца своего и матери. Двадцати лѣтъ отъ роду онъ остался одинъ, во главѣ состоянія тысячъ во сто доходу.

Эта пора его первой молодости совпала со временемъ небывалаго до тѣхъ дней возбужденія русскаго общества. Какъ птицы на зарѣ свѣтлаго дня, встрепенулись въ тѣ дни сердца, закипѣла мысль, загремѣли хоры молодыхъ звонкихъ, часто нестройныхъ, почти всегда искреннихъ въ своемъ увлеченіи, голосовъ.

Коверзневъ остался какъ бы въ сторонѣ отъ этого возбужденія. Строже говоря, оно затронуло его не съ той стороны, съ которой отзывалось на него большинство его одногодковъ... Недаромъ воспитанъ онъ былъ англичаниномъ, — чистокровнымъ англичаниномъ-реалистомъ. Ему претило все, что отзывалось, или казалось ему „фразою“,—„*абстрактомъ* и сентиментальною теоріею“, какъ выражался онъ. Онъ искренно былъ радъ, что наслѣдованные имъ пять или шесть тысячъ душъ крестьянъ перестаютъ быть его крѣпостными,— онъ даже отвелъ имъ надѣлы съ неожиданною для нихъ щедростью,—но „гражданское воспитаніе“ этого освобожденнаго народа,—о чемъ такъ много горячихъ толковъ и юношескаго гама было въ тѣ времена, — нисколько не озабочивало его. „Имъ все дано, чтобы сдѣлаться *людьми;* хотятъ — будутъ, а не хотятъ — ихъ дѣло, съ какою-то напускною, не русскою холодностью говорилъ воспитанникъ мистера Фокса. Во всемъ этомъ великомъ дѣлѣ обновленія Россіи для него важнѣе всего было то, что самъ онъ, Валентинъ Коверзневъ, „переставалъ быть крѣпостнымъ“, что прежніе путы традицій, обычая, „условныхъ обязанностей“, связывавшіе до тѣхъ поръ людей „его положенія“, распадались теперь сами собой, силою всѣхъ этихъ „либеральныхъ“ реформъ, что никто теперь

не станетъ принуждать его сдѣлаться конно-гвардейцемъ и камеръ-юнкеромъ, не „запряжетъ его въ службу“. Это понятіе *службы* Коверзневъ ненавидѣлъ чисто англійскою ненавистью: съ нимъ въ его мысли—вѣрнѣе, въ его инстинктѣ,—соединялось неизбѣжно понятіе о ярмѣ, о лжи и униженіи человѣческаго достоинства, „необходимыхъ послѣдствіяхъ подначалія“. „*Чему*-бы тамъ ни служить“, доказывалъ онъ, „какъ бы это ни называть и во имя чего бы это ни дѣлать, а разъ *слуга*—ты уже не человѣкъ, а *рабъ*“.

Въ силу такихъ своеобразныхъ убѣжденій, Коверзневъ, сдавъ свой послѣдній экзаменъ, уѣхалъ за границу. На первый разъ онъ пробылъ тамъ пять лѣтъ, — вернулся, опять уѣхалъ... Такъ прошли многіе годы, такъ жилъ онъ и до сихъ поръ. Постоянная перемѣна мѣстъ, новыя лица, новыя впечатлѣнія сдѣлались потребностью его существованія. Онъ то охотился на бизоновъ въ американскихъ саваннахъ, или ходилъ облавою на тигровъ въ Индіи, то пристращался къ морю, плылъ на своей яхтѣ изъ Лондона въ Египетъ на Мадеру. Изрѣдка, всегда неожиданно, возвращался онъ въ Россію, оставаясь какъ можно менѣе въ Петербургѣ, гдѣ, онъ уже зналъ по опыту, ему, какъ богатому жениху, въ свою очередь предстояла роль звѣря, на котораго неудержимою облавою пойдетъ вся стая великосвѣтскихъ маменекъ и дочекъ...

II.

Такъ же неожиданно пріѣхалъ онъ и въ Темный Кутъ. Софронъ Артемьичъ Барабашъ, управляющій его, родомъ изъ малороссійскихъ казаковъ, но, какъ выражался онъ, „получившій свое образованіе въ Москвѣ“, гдѣ онъ, дѣйствительно, выучившись читать, писать и считать, провелъ юность свою писцомъ въ состоявшей, при матери Ковернева, ея московской „главной конторѣ“, былъ смышленный малый, который какимъ-то верхнимъ чутьемъ угадывалъ „ндравъ“ барина и „попадалъ въ точку“ его вкусовъ. Онъ встрѣтилъ его, будто вчера съ нимъ разстался, безъ аханья и суеты, ниже малѣйшаго изъявленія удивленія или радости... Ковернев былъ очень этимъ доволенъ и—такъ какъ онъ пріѣхалъ поздно и усталъ отъ путешествія, въ какой-то скверной таратайкѣ, добытой имъ на станціи ближайшей желѣзной дороги, и въ которой пришлось ему проѣхать 70 верстъ по отвратительной, размытой осенними дождями дорогѣ—августъ былъ на исходѣ,—тотчасъ же улегся спать.

Ночью прибылъ съ чемоданами его камердинеръ, итальянецъ, говорящій на всевозможныхъ языкахъ и, первымъ дѣломъ, вынувъ изъ ящика ружья Ковернева, собралъ ихъ, прочистилъ и уставилъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ охотничьимъ приборомъ, на столахъ, у стѣны, въ комнатѣ, сосѣдней съ спальнею.

Ковернев, просыпавшійся всегда самъ, и къ которому никто никогда не смѣлъ входить безъ зова, поднялся на другой день чуть не съ зарею, совершилъ свои омовеніе и туа-

летъ, прошелъ въ слѣдующую комнату и, почти машинально перебросивъ черезъ плечо ружье и патронташъ, направился черезъ заросшій садъ въ прилегавшую къ нему сосновую рощу.

Роща эта была саженая — и не далѣе какъ лѣтъ сорокъ назадъ. Коверзневъ помнилъ еще въ дѣтствѣ ея невысокіе, тонкіе стволы, тѣсными и стройными рядами тянувшіеся въ вышину. Все такъ же тонки и стройны стояли они и теперь въ своей тѣснотѣ, лишь на пятисаженной высотѣ начиная раскидывать кругомъ темно-иглистыя кисти своихъ суковатыхъ вѣтвей. Кое-гдѣ, между соснами, такая же безупречно прямая, будто въ догонку имъ тянулась молодая береза,—и еще робкіе лучи выходящаго осенняго солнца весело переливались по ихъ красной и бѣлой корѣ... Коверзневъ остановился, залюбовавшись невольно; „не то пальмовый лѣсъ“, проносилось въ его головѣ, „не то тѣ тысячи колоннъ Кордуанскаго собора,—тѣ же пальмы, перенесенныя арабами въ архитектуру“...

Онъ прошелъ далѣе, прижмуриваясь и вздрагивая слегка плечами, подъ здоровымъ ощущеніемъ легкаго утренняго холода, и изрѣдка улыбаясь какою-то умильною улыбкою, подъ наплывомъ воспоминаній отрочества, которыя на каждомъ шагу вызывали въ немъ эти мѣста... За рощей начинались его лѣса, верстъ на сто въ окружности. Тамъ когда-то проводили они цѣлыя недѣли съ Фоксомъ. Во время оно, онъ зналъ тутъ каждое урочище, каждую тропинку и каждый оврагъ...

„Тутъ ближе всего на Дерюгино“, сказалъ себѣ Коверзневъ,—тамъ козы водились *тогда*. И онъ повернулъ направо.

Въ разрѣженномъ воздухѣ утра до него явственно донесся голосъ:

— Это должно понимать, потому какъ вы вновѣ...

Коверзневъ повернулъ голову.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги, спиною къ нему, въ сѣрой широкобортной шляпѣ и синихъ очкахъ на носу, стоялъ Софронъ Артемьичъ Барабашъ, похлопывая себя по рукѣ парою перчатокъ, которую онъ считалъ долгомъ неукоснительно

держать при себѣ „для форсу“, но едва-ли когда въ жизни вздѣвалъ на пальцы...

— Потому какъ вы вновѣ, повторилъ онъ еще отчетливѣе, какъ бы смакуя этотъ чисто русскій оборотъ рѣчи. (Говорить чисто московскимъ говоромъ, вклеивая при этомъ самымъ невозможнымъ образомъ первыя попадавшіяся ему на языкъ иностранныя словечки, вычитываемыя имъ въ газетахъ, составляло величайшую претензію Софрона Артемьича.) — Тутъ-съ, можно сказать, мужикъ коварный; сорвать съ хозяина лишнее — это то-есть у него разлюбезнѣйшее дѣло. И завсегда его понимать надо. Потому сами знаете, для чего же ему лишнее, а намъ убытокъ? Это вѣдь ужь до тонкости дойдено: двадцать пять корней на срубъ—за глаза ему!

Тотъ, которому читалась эта нотація, стоялъ передъ управляющимъ, подъ деревомъ, съ непокрытой головой, жмурясь отъ солнца, ярко освѣщавшаго его плотную фигуру, щетинистые усы на выбритомъ, кругломъ лицѣ, и темные глаза подъ такими же круглыми, рѣзко очерченными бровями. Ему было, повидимому, лѣтъ подъ сорокъ. Легкая просѣдь серебрилась въ густыхъ волосахъ, подчесанныхъ по-военному, къ височкамъ. Онъ былъ въ смазныхъ сапогахъ, грубой, посконной, но чистой рубахѣ и крестьянскомъ неказистомъ кафтанѣ, подпоясанномъ ремнемъ. Но на крестьянина онъ не похожъ. Коверзневъ, еще на-ходу, замѣтилъ его мужественную выправку и внимательное, нѣсколько печальное, выраженіе его глазъ, словно прикованныхъ къ синимъ очкамъ управляющаго. Въ опущенной рукѣ держалъ онъ фуражку съ военнымъ околышемъ,—и не солдатскую, а съ козырькомъ.

— Онъ на это говоритъ, послышался его голосъ въ отвѣтъ наставленію Софрона Артемьича, — онъ говоритъ, что ему на *столь* и *мостъ* не хватитъ...

Господинъ Барабашъ поднялъ очки на лобъ, какъ бы для того, чтобы удобнѣе выразить всѣмъ лицомъ своимъ презрительную улыбку:

— На „столь“ и „мостъ“! повторилъ онъ:—это они здѣсь, по невѣжеству своему, замѣсто, какъ по граматикѣ *слѣдоваетъ*

сказать, *потолокъ*, значитъ, и *накатъ*. Такъ на это опять вы должны...

Но въ эту минуту онъ, какъ бы нечаянно обернувшись, очутился—какъ бы нечаянно опять—на параллели медленно подвигавшагося по дорогѣ барина (зоркій управляющій еще издали, давно запримѣтилъ его). Онъ опустилъ опять очки на носъ и замолкъ, неторопливо снявъ и тотчасъ же надѣвъ на голову шляпу.

— Накройтесь! покровительственно сказалъ онъ при этомъ своему собесѣднику, чуть-чуть кивнувъ на Ковернзнева: — *они* этого не любятъ! (самъ онъ *это* очень любилъ).

Тотъ надѣлъ фуражку и, давъ на каблукахъ полуоборота влѣво, очутился тоже на параллели Ковернзнева, съ опущенными, по-фрунтовому, внизъ руками и недвижно обращеннымъ на него взглядомъ.

Валентинъ Алексѣичъ приподнялъ шляпу — и покосился слегка на незнакомое лице...

— Въ Дерюгино изволите? промолвилъ искательно Софронъ Артемьевичъ, не трогаясь впрочемъ съ мѣста.

— Да... Ковернзневъ пріостановился на мигъ.—Не знаете, не перевелись тамъ еще козы?

Барабашъ вышелъ къ нему на дорогу:

— Вѣрно сказать вамъ не могу-съ, потому, какъ самъ къ охотѣ пристрастія не имѣючи... А впрочемъ это сейчасъ узнать можно-съ... Капитанъ! крикнулъ онъ не оборачиваясь.

Зовомый этой кличкою человѣкъ, двумя быстрыми, гимнастическими шагами, проскочилъ разстояніе, отдѣлявшее его отъ разговаривавшихъ.

Софронъ Артемьичъ повторилъ ему вопросъ барина.

— Не видать-съ. По Дерюгину теперь рубка пошла; звѣрь это робкій, пугливъ... Въ Сотниково, должно полагать, коли и не совсѣмъ въ казенную пущу, перебрались. За Крусановской межей я, дѣйствительно, большаго козла...

Онъ вдругъ оборвалъ, какъ бы испугавшись своихъ лишнихъ противу того, что его спрашивали, словъ.

— Убили? досказалъ Ковернзневъ.

„Какъ-же бы я осмѣлился“! прочелъ онъ въ недоумѣломъ взглядѣ, полученномъ имъ въ отвѣтъ.

— Нѣтъ-съ, я... ходилъ—яму отыскивалъ...

— Еще вновѣ здѣсь, а очень понятливы на счетъ границъ, поощрительно сказалъ на это управляющій.

Валентинъ Алексѣичъ еще разъ приподнялъ шляпу и двинулся съ мѣста, приглашая взглядомъ Барабаша итти за нимъ.

— Кто это? спросилъ онъ, отойдя шаговъ сорокъ.

— А это у меня—съ Покрова взялъ,—лѣсникъ по Дерюгину и Крусанову.

— Вы его, мнѣ послышалось, „капитаномъ“ называли?

Софронъ Артемьичъ усмѣхнулся:

— Точно такъ-съ! Онъ и есть капитанъ настоящій.

— Что же это значитъ: „настоящій“? спросилъ Коверзневъ, не совсѣмъ понявъ.

— Въ полку, то есть это значитъ, ротой командовалъ, въ инфантеріи-съ, Валентинъ Алексѣичъ, снисходительно объяснилъ господинъ Барабашъ. „Ничего-то онъ это настоящаго про русское не знаетъ“! говорилъ онъ себѣ презрительно въ это время про барина.

— И онъ къ вамъ простымъ лѣсникомъ поступилъ?... На какое жалованье?

— Пять въ мѣсяцъ-съ. Служилъ онъ тутъ въ Чепуровѣ, прикащикомъ у графа Клейнгельма. Отошелъ. Такъ я его по началу на испытатіе взялъ-съ...

— А на прежнемъ мѣстѣ сколько онъ получалъ?

— Говорятъ, двадцать пять. И такъ, вѣрно должно быть, потому не лжетъ никогда человѣкъ.

— Странно! сказалъ Коверзневъ.

Софронъ Артемьичъ кашлянулъ—для чего предварительно прикрылъ себѣ ротъ рукою,—передернулъ очки свои и уже съ нѣкоторою таинственностью:

— Грѣшокъ за нимъ нѣкоторый есть, прошепталъ онъ.

— Какой грѣшокъ?

— На счетъ *того*-съ, меланхолически вздохнулъ Софронъ Артемьичъ и легонько щелкнулъ пальцемъ по отложному воротничку своей по модѣ сшитой сорочки.

— А!...

Настало нѣкоторое молчаніе. Коверзневъ шелъ теперь бодрымъ, широкимъ шагомъ человѣка, выходившаго пѣшкомъ чуть не весь *дальній Востокъ* Америки. Изнѣженный правитель Темнаго Кута едва поспѣвалъ за нимъ.

— Человѣкъ съ правиломъ, Валентинъ Алексѣичъ, заговорилъ онъ опять, какъ бы извиняясь, — и въ Чепуровѣ репутацію себѣ настоящую заслужилъ, потому, окромя этой слабости, ни въ какой *марали* не замѣченъ; чистъ человѣкъ, честнѣющій. А въ полку даже очень о немъ жалѣютъ-съ, потому ихъ полкъ стоялъ тутъ въ Стародубѣ и многіе даже у меня офицеры очень знакомые,—первый онъ, повѣрите-ли, нѣтъ-ли, у нихъ по полку считался; на счетъ то-ись фрунта и поведенія твердый, даже отвращеніе къ вину имѣлъ... И, можетъ, даже теперь самъ бы полкомъ командовалъ,—только случилась тутъ у него одна *манифестація*...

— Что такое?

Софронъ Артемьичъ самодовольно улыбался.

— Большая непріятность у него вышла, объяснилъ онъ.

— Да-а!... Такъ въ чемъ же состояла эта непріятность?

— Жена у него была, молодая, изъ полекъ-съ—и за этимъ словомъ господинъ Барабашъ цѣломудренно опустилъ очи,— и, по истинѣ сказать,—самая нестоющая женщина!... Только онъ къ ней слишкомъ уже большую страсть питалъ, даже, можно сказать, очень глупо съ его стороны. Потому она наконецъ и вовсе покинула его, скрылась... Искалъ онъ ее, ѣздилъ, изъ полка вышелъ изъ-за этого самаго,—нѣтъ, такъ и пропала, потому, говорятъ, панъ одинъ изъ Витебской губерніи за границу ее съ собой увезъ... Тутъ онъ съ горя и...

— Какъ водится, по-русски! процѣдилъ сквозь зубы Коверзневъ, глядя прищуренными глазами вдаль.

— А такъ точно-съ! подтвердилъ управляющій: — все съ себя до чиста спустилъ; теперь въ мужицкомъ кафтанишкѣ ходитъ, изволили видѣть.

— Вы имъ довольны? послѣ новаго молчанія спросилъ Валентинъ Алексѣичъ.

— Что дальше Богъ дастъ, а теперича окромѣ хорошаго,

ничего дурнаго не могу сказать. Лѣсникъ настоящій, солидный. Теперь къ нему въ лѣсъ ни одна душа съ топоромъ не въѣдетъ,—потому у него по-военному, *дисциплина*...

— Ну, а „слабость"-же его какъ?

— По всей истинѣ доложу вамъ, я какъ на это строгъ, и онъ, какъ и прочіе служащіе, это знаетъ, только я, въ бытность его у меня здѣсь, разъ всего замѣтилъ: постомъ дѣло было. Забился онъ въ свою сторожку и три дня не выходилъ...

Они тѣмъ временемъ доходили до Дерюгина; ласково помахивали вершинами его старые дубы подъ рѣзвымъ утреннимъ вѣтромъ. Коверзневъ остановился еще разъ:

— Такъ вотъ что: скажите этому вашему капитану, чтобъ онъ взялъ съ собой Дениса... Что, живъ онъ еще?

— Денисъ, егерь! Помилуйте-съ, въ здравіи пребываетъ! Изъ чего у насъ людямъ умирать! даже позволилъ себѣ хихикнуть по этому случаю „солидный" г-нъ Барабашъ.

— Такъ чтобы они вмѣстѣ отправились на Ситниково и, отъ Мижуева до Крусановской межи, выслѣдили съ точностью, не перебрались-ли и дѣйствительно козы въ казенную пущу. Досадно было бы! Если-жь нѣтъ, я на дняхъ соберусь на нихъ... Народу въ такомъ случаѣ довольно чтобы было, *куликуновъ*...

— Слушаю-съ. Не прикажете-ли... Хотѣлъ было еще спросить управляющій...

Но баринъ уже исчезъ въ чащѣ лѣса.

III.

Коверзневъ явился домой уже къ вечеру, съ ягташемъ полнымъ дичи и прорванною въ чащѣ курткою. Онъ прошагалъ въ этотъ день верстъ тридцать, не чувствуя ни усталости, ни голода, или, вѣрнѣе, пересиливая въ себѣ то и другое и, какъ всегда, самоуслаждаясь этою „побѣдою воли надъ физическою природой“. Онъ пообѣдалъ дома, при свѣчахъ, выпилъ полбутылку портвейна и тотчасъ вслѣдъ за обѣдомъ занялся разборомъ одного изъ нѣсколькихъ толстыхъ портфелей, привезенныхъ имъ въ Темный Кутъ. Слово *India* выгравировано было на мѣдной дощечкѣ надъ замкомъ этого портфеля; въ немъ заключались всякія бумаги, относившіяся ко времени пребыванія Коверзнева въ этой странѣ, и дневникъ, веденный имъ тамъ въ продолженіе двухъ лѣтъ этого пребыванія. Ему давно хотѣлось пересмотрѣть свои эти записки и привести въ порядокъ, съ цѣлью издать ихъ на французскомъ, или скорѣе еще на англійскомъ языкѣ, на которомъ, главнымъ образомъ, и ведены были онѣ. „По-русски кто ихъ читать станетъ!“ разсудилъ онъ давно... Съ этою цѣлью онъ собственно и пріѣхалъ въ Темный Кутъ, гдѣ полнѣйшее уединеніе и тишина обезпечены были ему „вѣрнѣе, чѣмъ къ какихъ нибудь развалинахъ Мемфиса“...

Этотъ трудъ такъ занялъ его, что онъ ни на другой, ни въ послѣдующіе дни не ходилъ на охоту, а писалъ весь день въ комнатѣ, съ закрытыми съ утра ставнями,—онъ никогда иначе не принимался за перо,—при свѣтѣ двухъ спермацетовыхъ свѣчей подъ темнымъ абажуромъ. Привычки его были

извѣстны и, кромѣ слуги его итальянца,—готовившаго ему и обѣдать, и какъ-то изловчавшагося подавать этотъ обѣдъ горячимъ въ какіе бы необычные часы ни потребовалъ его Коверзневъ,—ни единая душа въ Темномъ Кутѣ и не пыталась проникнуть къ нему.

На четвертый день онъ проснулся съ нѣсколько тяжелой головой, отворилъ свои ставни и окна... Утро стояло великолѣпное и по лазуревому небу ходили облака, игра которыхъ ни въ какой странѣ міра не казалась почему-то Валентину Алексѣичу такою красивою и разнообразною, какъ въ родной сторонѣ.

Онъ оперся локтями на подоконникъ и сталъ глядѣть...

Облака подымались какъ горы, одна другой выше, съ снѣговыми вершинами и свѣтлыми озерами, омывающими ихъ темныя подножья; зубчатая башня висѣла надъ пропастью, драконъ съ чешуйчатымъ хребтомъ тянулся, разѣвая все шире и шире бездонную пасть...

— А тамъ будто какое-то стадо готовится свергнуться внизъ, говорилъ самъ себѣ Коверзневъ, невольно улыбаясь...

Фантастическое стадо напомнило ему козъ, на которыхъ собирался онъ охотиться въ Сотниковѣ. Онъ отошелъ отъ окна, позвонилъ и вышедшему на звонъ итальянцу приказалъ позвать Барабаша.

Господинъ Барабашъ вошелъ съ замѣтно возбужденнымъ выраженіемъ въ поступи и лицѣ. Очки его были подняты на лобъ, что для подчиненныхъ его всегда служило признакомъ ближайшей распеканціи.

Коверзневъ, при видѣ этихъ поднятыхъ очковъ, почуялъ, въ свою очередь, что управляющаго его постигла, должно быть, какая-нибудь неожиданная „манифестація“...

Дѣло съ первыхъ словъ объяснилось.

Приказанія Валентина Алексѣича не могли быть исполнены до сихъ поръ. Денисъ, егерь, зашибъ себѣ ногу и встать не можетъ,—а капитанъ лежитъ третій день въ лѣсу, въ своей сторожкѣ, „не въ своемъ видѣ“, и „волкомъ воетъ“. Софронъ Артемьичъ послалъ къ нему сначала своего конторщика, а затѣмъ собственной особой отправился на увѣщаніе его, но

встрѣченъ былъ самъ такими ругательствами, что, „какъ Валентину Алексѣичу угодно, а онъ даже безъ всякой *иллюзіи* не въ силахъ этого вытерпѣть“.

— И какой онъ себѣ ни будь канитанъ, говорилъ уже съ азартомъ оскорбленный управляющій,—а какъ я его, могу сказать, изъ грязи вытащилъ, потому человѣкъ до того опустилъ себя, что даже угла себѣ не имѣлъ, подъ заборами валялся, такъ, что даже его къ себѣ на квартиру никто пущать не хотѣлъ, когда изъ Чепурова выгнали его за самое за это...

Потокомъ лились теперь всѣ эти пункты обвиненія изъ разгнѣванныхъ устъ Софрона Артемьича, совершенно позабывшаго, какъ три дня назадъ рекомендовалъ онъ барину капитана „человѣкомъ съ правиломъ“.

Ковернзневъ слушалъ его молча и внимательно.

— Вы его взяли, вы вольны его и отпустить, если онъ оказывается негодяемъ, сказалъ онъ, — но вы мнѣ, кажется, говорили, что онъ „солидный“, усердный и совершенно „чистый“ человѣкъ?

— Это точно, согласился сконфуженный Софронъ Артемьичъ,—а только какъ вамъ угодно...

— И говорили еще, не далъ ему продолжать Валентинъ Алексѣичъ,—что съ тѣхъ поръ, какъ онъ къ вамъ поступилъ, вы его въ слабости замѣтили всего одинъ разъ?

— Разъ, постомъ, справедливо-съ... Такъ вѣдь тогда онъ смиренъ лежалъ, поспѣшилъ возразить управляющій, замѣчая по тону барина, что онъ какъ бы стоитъ на сторонѣ его обидчика,—а теперича онъ, какъ звѣрь какой, даже безъ всякой *линіи*, можно сказать... Мнѣ что-же-съ, примолвилъ Барабашъ,—въ нашей должности, извѣстно, каждый часъ долженъ ждать себѣ непріятностей, особенно когда въ тебѣ совѣсть... А только собственно что я, какъ преданный слуга вамъ и съ измальства еще маменькѣ вашей служилъ, что онѣ благодѣтельницей мнѣ, можно сказать, были,—такъ, какъ вамъ угодно, Валентинъ Алексѣичъ, а такихъ словъ про васъ, какъ моего довѣрителя, никогда терпѣть не могу-съ!...

Валентинъ Алексѣичъ улыбался,—все яснѣе ему припоминалась въ эту минуту мужественная фигура капитана, безъ

шапки, жмурящагося отъ солнца передъ этимъ „преданнымъ слугою“ въ синихъ очкахъ...

— Оказывается, что и мнѣ при сей оказіи досталось? сказалъ онъ.—За что же?

Невозмутимость барина глубоко огорчила Софрона Артемьича:

— Какъ вамъ будетъ угодно, Валентинъ Алексѣичъ, заговорилъ онъ съ новымъ раздраженіемъ,—а только, когда я ему на безпардонныя его, можно сказать, слова говорю, по своей должности, что я не по своей волѣ, а барское приказаніе исполняю, чтобы онъ тотчасъ-же въ Сотниково шелъ насчетъ козъ, такъ онъ даже дозволилъ себѣ такое *неглижа*, что „я молъ на твоего барина пле...вать хочу“, договорилъ, уже словно давясь отъ мерзости этихъ словъ, управляющій.

— Да, это неглижа, дѣйствительно, очень откровенное! проговорилъ на этотъ разъ Ковернзевъ такимъ серьезнымъ тономъ, что чуткій Софронъ Артемьичъ поймался на него—и просіялъ душою.

— У меня свидѣтели есть, Валентинъ Алексѣичъ: какъ со мною былъ Спиридонъ Иванычъ и Асинклитъ, сторожъ, такъ завсегда можно его къ мировому представить, поспѣшно проговорилъ онъ.

Но, весьма нежданно для него, Валентинъ Алексѣичъ на предложеніе это отвѣчалъ ему слѣдующимъ вопросомъ:

— Не извѣстно-ли вамъ, по какому случаю вздумалось такъ, вдругъ, вашему капитану напиться, и одинъ онъ при этомъ пилъ, или съ кѣмъ нибудь?...

Изъ сообщеннаго затѣмъ Софрономъ Артемьичемъ оказалось, что онъ тогда же, получивъ приказъ барина „насчетъ козъ“, передалъ его капитану, и тотъ съ мѣста тронулся было итти въ Крусаново. Но управляющій пригласилъ его зайти съ нимъ предварительно въ контору „забрать“ Дениса—и письмо, полученное наканунѣ въ Трубчевскѣ, на почтѣ, на его, капитана, имя. Такъ они тутъ вдвоемъ и пришли въ усадьбу. Денисъ былъ на селѣ, гдѣ онъ новую избу себѣ ставитъ. Софронъ Артемьичъ послалъ за нимъ, а капитанъ получилъ письмо свое и съ нимъ сейчасъ и ушелъ. Посланный въ

вернулся часа черезъ три, съ извѣстіемъ, что старику пришибло бревномъ колѣно и что онъ двинуться не можетъ. Тогда Софронъ Артемьичъ послалъ конторщика верхомъ въ Дерюгино найти капитана и сказать ему, чтобы онъ Дениса не ждалъ. Конторщикъ проѣзжалъ мимо его сторожки, услыхалъ, что кто-то „рычитъ“,—слѣзъ и вошелъ; глядитъ:—сидитъ на землѣ капитанъ, пустой предъ нимъ штофъ, а самъ онъ, „обѣими руками за голову взявшись, ревмя реветъ.“ Конторщикъ даже испугался и поскакалъ назадъ донести управляющему,—послѣ чего тотъ и отправился туда самъ и „долженъ былъ выслушать тѣ слова, опосля которыхъ онъ, не желая дать замарать свою честь, какъ угодно Валентину Алексѣичу, а будетъ требовать, для впримѣра прочимъ, чтобы того *мерзавца* судья непремѣнно засадилъ...“

Коверзневъ все время слушалъ, обернувшись лицомъ къ окну и глядя на облака, на синіе просвѣты неба, сіявшаго сквозь ихъ капризно-мѣнявшіяся очертанія...

— Вотъ что̀, сказалъ онъ, когда тотъ кончилъ,—позовите вы его ко мнѣ!

— Кого это-съ? озадаченно спросилъ управляющій.

— Капитана.

— Помилуйте, Валентинъ Алексѣичъ, да онъ по сю пору не въ своемъ видѣ,—какъ это учитель у васъ французъ, когда вы маленькіе были, мусье Ляфишъ, говорилъ:—*кошонъ-кошономъ* въ грязи лежитъ-съ и по сей часъ въ своей сторожкѣ.

— Ну, такъ когда онъ „въ свой видъ“ придетъ.

— Слушаю-съ! по нѣкоторомъ молчаніи выговорилъ Софронъ Артемьичъ, заключивъ изъ выраженія лица барина, что онъ не допуститъ возраженій.

IV.

На другой день утромъ, Ковервневъ просматривалъ у себя конторскія книги, когда его итальянецъ, которому предварительно отдано было имъ на это приказаніе, вошелъ съ докладомъ, что „l'uomo detto“ (означенный человѣкъ) ждетъ въ передней.

— Просите его сюда.

Дверь отворилась на половину и, въ образовавшееся узкое отверстіе, бочкомъ проскользнуло плотное туловище капитана— и тутъ-же остановилось у этой, поспѣшно замкнутой за собою, двери.

Ковервневъ поднялъ глаза. Капитанъ отвѣсилъ ему почтительный поклонъ.

Онъ глядѣлъ на него спокойно и прямо,—все съ тѣмъ-же, очевидно, привычнымъ ему, печальнымъ выраженіемъ лица, которое замѣтилъ Валентинъ Алексѣичъ при первой встрѣчѣ съ нимъ. Только лице это теперь какъ бы поопухло, и глаза были мутны. Но онъ, видимо, приложилъ все стараніе привести себя въ должный порядокъ: приглаженные къ вискамъ волосы еще лоснились отъ обливавшей ихъ воды, вѣникъ замѣтно тщательно прошелъ по его бѣдной, очень бѣдной, но акуратно закутанной крестьянской одеждѣ; огромныя, мускулистыя руки, будто бы два красно-сизыя пятна, скрещавшіяся надъ фуражкою, которую держалъ онъ передъ собою,—были чисто вымыты...

— Садитесь! отвѣчая на его поклонъ, сказалъ Ковервне

Тотъ, какъ бы безсознательно, качнулся впередъ,— двинулся далѣе.

— Садитесь, прошу васъ, повторилъ Валентинъ Алексѣичъ мягкимъ, но настойчивымъ голосомъ, указывая рукою на стулъ, у противоположной его собственному креслу стороны старинаго письменнаго стола, съ изящною бронзовою отдѣлкой, за которымъ занимался онъ.

Капитанъ такъ неслышно подошелъ къ указываемому мѣсту, что Коверзневъ невольно обратилъ на это вниманіе:

— На немъ сапоги есть, и онъ ихъ даже только-что дегтемъ смазалъ, подумалъ онъ,—но подошвы подъ ними сомнительны!... И его охватило вдругъ безконечное чувство жалости къ этому человѣку, такъ глубоко „опустившему себя“, какъ выражался господинъ Барабашъ.

Онъ неотступно слѣдилъ за нимъ взглядомъ, пока наконецъ капитанъ не рѣшился сѣсть на кончикъ указаннаго ему стула.

Но, когда онъ сѣлъ, съ опущенными глазами и судорожно комкая фуражку въ своихъ огромныхъ ручищахъ, Коверзневу на мигъ самому сдѣлалось непріятно:—„я будто судить его собираюсь“, пронеслось у него въ мысли...

Онъ сталъ шумно перелистывать широкіе листы лежавшей передъ нимъ разсчетной тетради.

— У васъ непріятности вышли съ управляющимъ? сказалъ онъ, пересиливъ себя.

— Виноватъ! отвѣчено было на это такъ тихо, что онъ переспросилъ.

— Виноватъ-съ! повторилъ капитанъ.

— Не были-ли вы вызваны на... на эту ссору какими-нибудь словами Барабаша, которыя вы почли для себя обидными? какъ бы поспѣшилъ Коверзневъ ссудить его доводомъ къ своему оправданію.

Плечи капитана дрогнули. Понятое имъ намѣреніе, а—главное—тонъ, такъ давно не слышанный имъ, добрый, участливый тонъ этихъ словъ...

— Я и не помню даже, что говорили *они* мнѣ, отвѣтилъ онъ со странною улыбкою: „какое ужъ мнѣ оправданіе!“ будто [illegible] эта улыбка.

[illegible]шихъ глазахъ его пробѣжала искра, какъ бы

отъ нахлынувшаго на него новаго, ѣдкаго, нестерпимаго чувства...

— Я несчастный человѣкъ, Валентинъ Алексѣичъ! нежданно проговорилъ онъ, внезапнымъ движеніемъ подымая ихъ на Коверзнева.

У того глаза заморгали, какъ онъ ни привыкъ владѣть собою.

— Виноватъ, позвольте спросить: какъ васъ зовутъ? промолвилъ онъ, очень упрекая себя въ эту минуту, что не спросилъ этого ранѣе, у Барабаша.

— Отставной капитанъ Переслѣгинъ.

— Имя и отчество?

— Иванъ Николаевъ...

— Благодарю васъ!... Вы мнѣ позволите быть откровеннымъ съ вами, Иванъ Николаичъ?

Капитанъ еще разъ взглянулъ на него:—„никакая твоя откровенность не будетъ такъ жестока, какъ то, что̀ самъ я говорю“, прочелъ Коверзневъ въ этомъ взглядѣ.

Онъ продолжалъ:

— Къ этому „несчастію“, я слышалъ, привели васъ семейныя обстоятельства,—о которыхъ я не желаю, не имѣю права спрашивать, поспѣшно примолвилъ онъ къ этому.

Переслѣгинъ, съ какимъ-то надрывающимъ, судорожнымъ движеніемъ губъ, ерзнулъ на своемъ стулѣ...

— Но вы, повидимому, не употребили всѣхъ силъ, чтобы бороться съ нимъ, говорилъ Валентинъ Алексѣевичъ; отъ душевныхъ страданій лечитъ усиленная работа, дѣло, простой, иногда физическій трудъ. Дѣло у васъ всегда подъ руками. Вы наконецъ были въ полку, командовали ротой, судьба другихъ людей зависѣла отъ васъ...

— Не въ силахъ былъ, точно-съ! послышались въ отвѣтъ будто замиравшія въ горлѣ слова капитана,—стыда своего перенести не могъ!... И забыть... не въ состояніи... и по сей часъ! болѣзненно вырвались эти, запекавшіяся какъ бы у него тамъ, слова...

Коверзневъ слушалъ, подперши голову обѣими руками...

— Самое это, съ Софрономъ Артемьичемъ... Письмо получилъ... пишутъ мнѣ... про нее...

Онъ не договорилъ,—глухое рыданіе вырвалось у него изъ груди.

Валентинъ Алексѣичъ поднялся съ мѣста, стараясь, по всегдашней привычкѣ, сдерживать наружное выраженіе того, что ощущалъ онъ внутренно. Онъ подошелъ къ окну. Спиною къ капитану, онъ, будто вовсе не занятый имъ, глядѣлъ въ даль, на верхушки лѣса, выглядывавшія изъ-за отдѣлявшаго Дерюгино отъ Темнаго Кута косогора.

— Иванъ Николаичъ! сказалъ онъ, наконецъ, оборачиваясь...

Капитанъ поднялъ голову.

— Я хочу сдѣлать вамъ одно предложеніе, Иванъ Николаичъ?

— Слушаю-съ, твердымъ голосомъ произнесъ тотъ.

Глаза его просохли, черты приняли прежнее мужественное и спокойное выраженіе...

Коверзневъ усѣлся на прежнее мѣсто.

— Вамъ прежде всего слѣдуетъ помириться съ Барабашемъ, слегка улыбнувшись сказалъ онъ.

— Я ужь у *нихъ* за свою глупость прощенья просилъ, промолвилъ на это такъ же твердо Переслѣгинъ.

— Вотъ и прекрасно!... А предложеніе мое будетъ состоять въ слѣдующемъ. Здѣсь у меня, какъ вы знаете, земледѣльческаго хозяйства нѣту; земля и оброчныя статьи сданы или сдаются въ аренду на болѣе или менѣе продолжительные сроки, и управляющій мой здѣсь поэтому ничего болѣе, какъ конторщикъ, имѣющій акуратно слѣдить за исполненіемъ контрактовъ и сроками платежей, и доставлять мнѣ по нимъ деньги. Барабашъ совершенно честный человѣкъ и это дѣло свое выполняетъ какъ нельзя лучше. Но у меня тутъ одно природное богатство, требующее настоящаго, раціональнаго хозяйства.

— Лѣса-съ? какъ бы подговорилъ капитанъ.

— Да. Эксплуатація ихъ производилась до сихъ поръ самымъ примитивнымъ, варварскимъ, хищническимъ образомъ.

Этому давно надо положить конецъ. Я теперь въ Петербургѣ пригласилъ сюда одного дѣльнаго таксатора, который все это приведетъ въ порядокъ. Но при этомъ мнѣ необходимо имѣть своего довѣреннаго человѣка, который могъ бы и помогать ему въ распоряженіяхъ при работѣ, да и слѣдить за тѣмъ, чтобы самыя работы не откладывались въ долгій ящикъ. Къ тому же всѣ здѣшнія дачи имѣютъ отдѣльныхъ лѣсниковъ, подчиненныхъ теперь единственно конторѣ, т. е. тому же Барабашу, который, при своихъ приходо-расходныхъ занятіяхъ и огромномъ пространствѣ лѣса, не имѣетъ—что онъ мнѣ тамъ ни говори, примолвилъ съ усмѣшкою Валентинъ Алексѣичъ,—физической возможности контролировать ихъ и ѣздить и провѣрять ихъ на мѣстѣ. Изъ этого видно, что надо всѣ отдѣльныя эти лѣсничества подчинить, какъ это и было здѣсь, при матушкѣ, надзору одного, спеціальнаго, главнаго лѣсника... И это мѣсто я желаю предложить вамъ, Иванъ Николаичъ.

— Мнѣ-съ! испуганно вскликнулъ капитанъ... Вѣки его широко были открыты, и дрожь замѣтно пронимала его всего...

— Вамъ, поспѣшно проговорилъ Ковержневъ,—и увѣренъ, что этимъ я обезпечиваю себѣ надзоръ за моими лѣсами, какого лучше и самъ бы имѣть не могъ за ними, а вамъ—доставляю *отвѣтственное* занятіе,—онъ подчеркнулъ это слово,—которое для *хорошаго* человѣка, какимъ я васъ считаю, можетъ служить лучшимъ отводомъ, лѣкарствомъ въ вашемъ душевномъ состояніи... Но, Иванъ Николаичъ,—Ковержневъ пріостановился на мгновеніе,—вы передъ этимъ должны мнѣ дать слово... Вы понимаете, о чемъ я васъ прошу?...

Лицо капитана все побагровѣло, грудь его высоко подымалась...

— Нѣтъ-съ, съ видимо-мучительнымъ усиліемъ отвѣтилъ онъ,—слова я вамъ дать не могу... потому уже разъ... Одно могу обѣщать вамъ, Валентинъ Алексѣичъ,—онъ вскинулъ на него свои печальные глаза,—стараться буду!...

Ковержневъ помолчалъ.

— Хорошо, Иванъ Николаичъ, сказалъ онъ, подымая на него глаза въ свою очередь,—съ нынѣшняго дня я назначаю

васъ главнымъ лѣсникомъ по здѣшней экономіи, съ жалованьемъ, какое получалъ бывшій въ этой должности при матушкѣ,—70 рублей въ мѣсяцъ, кажется,—ну, и лошадь подъ верхъ, кормъ на нее... Вотъ видите, перебилъ себя, широко улыбнувшись Валентинъ Алексѣичъ, не давая растерянному Переслѣгину сказать слова,—я имѣю претензію угадывать людей—и въ васъ я съ перваго раза почуялъ честнаго человѣка. То, какъ вы мнѣ отвѣтили сейчасъ, служитъ для меня подтвержденіемъ этому мнѣнію. И я беру васъ теперь безъ всякихъ условій, въ увѣренности, что, въ случаѣ вы бы не нашли въ себѣ силы побѣдить вашу... *слабость*,—вы сами откажетесь отъ вашей должности...

Капитанъ дрогнулъ всѣмъ тѣломъ—и, какъ стоялъ, опустился на колѣни передъ Коверзневымъ.

— Что вы, что вы! вскрикнулъ Валентинъ Алексѣичъ, съ невольнымъ, въ первую минуту, чувствомъ гадливости.

Но не рабское приниженіе сказывалось въ этихъ обращенныхъ на него, сіявшихъ теперь, глазахъ, въ судорожномъ движеніи, сжавшемъ на груди эти сильныя руки:

— Валентинъ Алексѣевичъ, какъ передъ Богомъ,—лихорадочно прерывался голосъ капитана,—въ первый разъ... въ первый разъ, послѣ столькихъ лѣтъ... такія слова слышать... Вы... вы опять меня *человѣкомъ* поставили, Валентинъ Алексѣичъ!..

V.

Въ 1876 году Ковързневъ пріѣхалъ опять въ Темный Кутъ. Онъ пріѣхалъ рано, въ началѣ мая,—и о пріѣздѣ своемъ извѣстилъ даже заранѣе, съ приказаніемъ выслать ему экипажъ и лошадей на ближайшую станцію желѣзной дороги.

На желѣзную дорогу, съ экипажемъ, выѣхалъ къ нему на встрѣчу—капитанъ.

Валентинъ Алексѣичъ едва узналъ его.

Капитанъ словно вытянулся, выросъ и—рѣшительно помолодѣлъ. Онъ отпустилъ себѣ бороду, которую подрѣзывалъ клиномъ, удлинявшую его круглое лице; голову держалъ какъ-то особенно прямо, откидывалъ назадъ свои широкія плечи и выставлялъ грудь впередъ. Облеченъ онъ былъ въ плотно охватывающую его охотничью австрійскую куртку съ зелеными отворотами и большими пуговицами, съ изображеніемъ на нихъ кабаньихъ головъ. Гладко остриженные волосы покрывала мягкая, съ высокой тульею, сѣраго цвѣта шляпа, украшенная тремя павлиньими перьями. Во всемъ его обликѣ теперь была какая-то наивная претензія на щеголеватость, которая вызвала невольную улыбку на губы Ковързнева:

— Точно счастливый тиролецъ какой-то, подумалъ онъ.

А капитанъ такъ и сіялъ, глядя на него. Онъ, часовъ за шесть до срока прибытія поѣзда, отправился на станцію, съ провизіею, „на случай Валентину Алексѣичу захочется закусить, такъ какъ буфета на станціи не имѣется“, съ подушками и постельнымъ бѣльемъ, „неравно Валентинъ Алексѣичъ захочетъ послѣ обѣда отдохнуть, а до Темнаго К

не доѣхать, съ двумя верховыми, „не дай Богъ что̀ съ экипажемъ случится, такъ чтобъ народъ былъ подъ рукой“...

Коверзневъ на все это только поморщился и сказалъ, что онъ ни ѣсть, ни спать, ни провожатыхъ не желаетъ, а хочетъ сейчасъ-же сѣсть и ѣхать.

Мигомъ велѣлъ подавать капитанъ четверку подъ коляской для Валентина Алексѣича, тарантасъ для его итальянца; мигомъ вынесены были и уложены на телѣгѣ мѣшки и чемоданы,—а самъ капитанъ полѣзъ на козлы экипажа Коверзнева...

— Куда вы, Иванъ Николаевичъ? Садитесь со мной, сказалъ тотъ.

Переслѣгинъ отговорился было, что „ничего-съ, ему и тутъ хорошо,“—однако слѣзъ и помѣстился въ колескѣ, рядомъ съ Валентиномъ Алексѣичемъ, но бочкомъ къ нему старательно подбиралъ подъ себя ноги при каждомъ толчкѣ, чтобы какъ-нибудь не прикоснуться колѣномъ своимъ о его колѣно.

Дорогой передано было имъ все, что̀ могло интересовать владѣльца Темнаго Кута. Таксаторъ велъ дѣло отлично. Болѣе двадцати тысячъ десятинъ лѣсу были уже разбиты на правильныя лѣсосѣки, проведены широкія просѣки, поставлены столбы и даже въ главнѣйшихъ пунктахъ каменные. Вмѣсто прежнихъ неудобныхъ и холодныхъ сторожекъ на межахъ, имъ выстроены были въ самомъ центрѣ ихъ настоящія, теплыя избы, матеріаломъ для которыхъ пошли деревья, срубленныя, гдѣ лѣсники могли удобно жить съ семьею, и откуда могъ донестись до ихъ слуха стукъ воровскаго топора на любомъ пунктѣ ввѣреннаго имъ лѣснаго пространства. Сами бывшіе лѣсники, изъ мѣстныхъ крестьянъ, которые, уже изъ-за одного кумовства, готовы были всегда давать потачку порубщикамъ, замѣнены были, извѣстными Ивану Николаичу, надежными унтеръ-офицерами изъ отставныхъ и безсрочныхъ, и Софронъ Артемьичъ очень охотно согласился положить этимъ новымъ лѣсникамъ двойное противъ прежняго жалованье и продовольствіе.

— Да, онъ мнѣ писалъ объ этомъ, и я, разумѣется, со своей стороны, очень былъ радъ, сказалъ Коверзневъ.

— Очень они большую тутъ помощь оказали и сами все давали, теплымъ тономъ молвилъ Переслѣгинъ.

Валентинъ Алексѣичъ чуть-чуть усмѣхнулся:

— Онъ къ вамъ благоволитъ, значитъ?

— Софронъ Артемьичъ-съ? Могу только съ полною благодарностью... Очень хорошій *они* человѣкъ, и съ совѣстью...

Улыбка пробѣжала опять по губамъ Ковернева.

— Изо всего этого я могу предположить, что вамъ недурно въ нашемъ царствѣ? спросилъ онъ шутливо.

— И царствія небеснаго не нужно, Валентинъ Алексѣичъ! восторженно и умиленно подымая на него глаза, воскликнулъ на это капитанъ.

О капитанѣ же, по пріѣздѣ въ Темный Кутъ, Коверневу довелось услышать не менѣе сочувственные и похвальные отзывы со стороны Софрона Артемьича.

„Главный лѣсникъ“ умѣлъ съ большимъ тактомъ пощадить самолюбіе управляющаго, когда, три года назадъ, возведенъ былъ въ эту должность Коверневымъ. Онъ, очевидно, съ первой же минуты, счелъ наилучшимъ остаться относительно Софрона Артемьича на прежней ногѣ почтительности и наружной подчиненности, предоставляя ему и далѣе чуфариться и относить себѣ въ заслугу все, что дѣлалось Переслѣгинымъ на пользу ввѣреннаго ему дѣла, и къ чему самъ Барабашъ собственно могъ только прилагать никому ненужную аппробацію. За то господинъ Барабашъ и говорилъ о капитанѣ съ величайшею благосклонностью, какъ о ретивомъ и полезномъ подчиненномъ, и „даже, можно сказать, человѣкѣ съ *аттенціей*. Впрочемъ, Валентинъ Алексѣичъ сами увидятъ, говорилъ онъ, какъ онъ у *меня* въ акуратѣ по лѣсной части все устроилъ“. О нравственной сторонѣ его Софронъ Артемьичъ отзывался также, что „на счетъ поведенія капитанъ теперь, можно сказать, *маделъ*. О „слабости“, съ тѣхъ поръ, „*какъ онъ тогда у меня прощенья просилъ*, и вотъ третій годъ,—и помину нѣтъ“...

— И даже, можно сказать, горячо росписывалъ управляющій,—это самое вино—онъ теперича его видѣть не можетъ. Повѣрите, нѣтъ-ли, Валентинъ Алексѣичъ, если, къ примѣру, въ праздникъ у меня, за обѣдомъ, рюмку ему одну выпить, такъ и то для него большая *меланхолія*...

Коверзневъ только взглянулъ на него.

— Точно такъ-съ! подтвердилъ Барабашъ, чувствовавшій себя, очевидно, въ ударѣ, и игриво примолвилъ:—особенно-же какъ онъ теперича желаетъ вступить въ *узы Гималая*.

На этотъ разъ Валентинъ Алексѣичъ не выдержалъ.

— То есть это что-же? невольно спросилъ онъ.

— Въ бракъ вступить задумалъ-съ, пояснилъ Софронъ Артемьичъ,—жена его померла вѣдь-съ.

— Померла,—да? А я думалъ... поспѣшилъ сказать Коверзневъ,—давно?

— Второй годъ,—можно сказать-съ, отъ сраму его избавила!..

— И на комъ-же это онъ теперь опять вздумалъ жениться?

— Тутъ-съ... барышня одна есть, отвѣтилъ, уже словно нехотя, Барабашъ, — помѣщицы Мурашкинской, Лизаветы Степановны племянница будетъ.

— Молодая?

— Молода, это первое-съ,—не по лѣтамъ ему; а, окромѣ того, опасаюсь, чтобы не вышла ему изъ этого опять *карамболь* какая нибудь...

— Какой-же вы такой „карамболи“ опасаетесь?

Софронъ Артемьичъ глубокомысленно нахмурился, соображая, какъ ему это объяснить понятнѣе.

— А такъ, Валентинъ Алексѣичъ, что насчетъ *развитія*—это первое сказать надо... Потому онъ извѣстно, по-старинному, читать, писать, *арыхметику*,—и все-съ! А какъ теперича по наукѣ и *прагрессу*—этого онъ не можетъ, сами изволите знать... Ну, а она-съ самое, можно сказать, современное образованіе получила... И къ тому еще надо сказать, примолвилъ онъ раздумчиво, — *эманципація* эта теперешняя очень ужь въ нихъ замѣтна. На охоту это, повѣрите, нѣтъ-ли, въ болото, съ ружьемъ, сапоги высокіе, и даже по-мужски иной разъ *кастюмъ* этотъ на себя надѣнутъ... И бьетъ какъ ловко, сказываютъ.

— А собою какъ?

Господинъ Барабашъ на этотъ вопросъ передернулъ очки

свои, повелъ какъ-то особенно губами — и вдругъ широко осклабился:

— Даже очень не дурная-съ, Валентинъ Алексѣичъ, пропустилъ онъ почему-то шопотомъ,—и даже, можно сказать, настоящая *бельэмъ*... Становой у насъ тутъ новый, Потужинскій фамилія, Евгеній Игнатьичъ, такъ тотъ даже...

Управляющій оборвалъ вдругъ на полусловѣ...

Ковырзневъ вопросительно поднялъ голову.

— Что-же становой?

Господинъ Барабашъ стыдливо потупился.

— Не знаю-съ, какъ это вамъ передать-съ, потому, можетъ быть, вамъ покажется неприличное...

— Что такое, говорите!

— Онъ про эту самую барышню замѣчаетъ-съ, что она въ таліи—комаръ, а въ плечахъ—Волга...

И цѣломудренный управляющій, отвернувъ лицо отъ барина, фыркнулъ въ красный фуляръ, поспѣшно вытащенный имъ изъ кармана на этотъ случай.

— Что-же вы тутъ неприличнаго находите? сказалъ Ковырзневъ, разсмѣявшись въ свою очередь;—это даже очень хорошо сказано: „въ таліи комаръ, а въ плечахъ Волга“...

Софронъ Артемьичъ ушелъ отъ барина, совершенно довольный и имъ, и собою.

VI.

Два дня послѣ пріѣзда своего въ Темный Кутъ, Коверзневъ, проснувшись рано утромъ и открывъ ставни своей спальни, откинулся невольнымъ движеніемъ отъ окна, не вѣря въ первую минуту глазамъ своимъ: — вся окрестность покрыта была глубокимъ, сверкающимъ снѣгомъ, какъ въ самое сердце зимы, и прибитый тутъ-же за стекломъ термометръ указывалъ 5° ниже нуля. Это былъ тотъ знаменитый, повсемѣстный морозъ на Николинъ день 1876 года, какого не запомнятъ старожилы, отъ котораго опалъ, въ нѣсколько часовъ времени, весь ранній въ этомъ году цвѣтъ съ плодовыхъ деревьевъ, и лѣса потеряли половину своихъ еще нѣжныхъ, недавно распустившихся листьевъ... Валентина Алексѣича такъ поразило это печальное зрѣлище, что онъ тутъ-же, захлопнувъ скорѣе ставни и зажегши свѣчи, принялся разбирать свои портфели съ лихорадочною поспѣшностью, чтобы „не видѣть этотъ позоръ и насиліе“. Онъ былъ очень воспріимчивъ и страстно любилъ природу:—этотъ холодный, нагло сверкающій зимній саванъ, налегшій нежданно, негаданно на цвѣтущее лоно весны, представлялся ему, дѣйствительно, „насиліемъ“ какой-то грубой, ненавистной стихійной силы надъ вѣчными, божественными правами ея...

Онъ съ досады не выходилъ дней десять сряду, работая при закрытыхъ ставняхъ въ своемъ кабинетѣ, а для движенія отправлялся по вечерамъ на прогулку въ молчаливыя залы верхняго этажа своего обширнаго и пустаго дома. Видъ изъ его окна на огромныя старыя липы посреди двора, сажены

его прадѣдомъ, съ ихъ теперь полуобнаженными вѣтвями, вызывалъ въ немъ каждый разъ какое-то скорбное, почти болѣзненное чувство, — и онъ проходилъ мимо, опустивъ голову и глаза...

Онъ, за это время, никого не видѣлъ, не пускалъ къ себѣ, — и капитанъ, возвращаясь изъ лѣсу, не разъ, съ безпокойствомъ въ лицѣ, допрашивалъ Софрона Артемьича, „состоитъ-ли въ здравіи Валентинъ Алексѣичъ и можно-ли скоро ожидать, что угодно имъ будетъ осмотрѣть новыя лѣсничества?“ — на что управляющій, въ свою очередь, съ значительнымъ и нѣсколько таинственнымъ видомъ, отвѣчалъ обыкновенно, что „собственно судить объ этомъ нельзя, потому у барина, по-прежнему, въ комнатахъ ставни закрыты, и *драпра* (то есть занавѣси) спущены, и такъ, значитъ, полагать надо, что они, по-прежнему, занимаются *политикой*, а только что у нихъ *ндравъ* неожиданный и даже, можно сказать, *натуральный*, какъ завсегда у *людей науки*, а потому *ихъ* каждую минуту *вообще* должно ожидать“...

И дѣйствительно Барабашъ, бывшій самъ ежеминутно начеку, сидя однажды у своего окна въ одинъ изъ тѣхъ палящихъ дней, которыми, какъ бы въ отместку за стужу своихъ первыхъ дней, отличалась вторая половина мая того года, увидѣлъ барина, спускавшагося съ крылечка, пристроеннаго къ его кабинету. Онъ былъ въ охотничьей курткѣ и съ ружьемъ; привезенный имъ съ собою англійскій сетеръ несся визжа внизъ по ступенямъ, словно обезумѣвъ отъ радости... Былъ уже часъ восьмой пополудни, — но воздухъ былъ все также душенъ и сухъ...

— Ну, теперь пропалъ въ лѣсу на недѣлю! сказалъ себѣ управляющій, торопливо скидывая съ плечъ новый сюртукъ и жилетъ, которые онъ все это время воздѣвалъ на себя съ утра, въ ожиданіи, „каждый моментъ“, призыва къ барину;— Лукерья, ставь самоваръ!...

Валентинъ Алексѣичъ прошелъ Дерюгинскими задами на Хомяки, пробираясь къ памятной ему съ дѣтства лѣсной опушкѣ, у Пьяной Лужи, надъ которой искони „тянули“ вальдшнепы. Онъ шелъ теперь опять туда, за тѣмъ же, какъ

въ тѣ дни, когда бѣжалъ со своимъ ружьемъ вслѣдъ за своимъ англичаниномъ, по тѣмъ же тропинкамъ, подъ тѣнью все тѣхъ же темныхъ дубовъ, съ лихорадочно бьющимся сердцемъ, съ безконечнымъ рядомъ подвиговъ въ ребяческомъ воображеніи... А тамъ, на мѣстѣ, что̀ это были за восторги, и трепетъ ожиданія, и до боли сладкія опять замиранія сердца!... Все такъ же живо, той же будто обидой, какъ тогда, звенѣлъ въ ушахъ его гортанный смѣхъ Фокса вслѣдъ за первымъ его промахомъ; вспоминались горячія слезы, вызванныя въ немъ этимъ смѣхомъ, и неудачею, и неодобрительной улыбкой Дениса, егеря, стоявшаго подлѣ него, и который только молча протянулъ руку, чтобы зарядить ему вновь это такъ неудачно выпалившее ружье...

— Что̀ за человѣкъ? окликнулъ его нежданно чей-то голосъ.

Передъ нимъ стоялъ здоровенный усачъ, съ „флинтовкой“ за плечомъ и мѣдною бляхою на лѣвой сторонѣ коротенькаго кафтана „русскаго покроя“, какія носятъ кондуктора на желѣзныхъ дорогахъ; четырехъ-угольная, какъ и у нихъ, шапочка съ такою-же бляхою, на которой читалось вытисненное крупными черными буквами „Хомяки“, покрывала его голову.

— Это изъ новой гвардіи капитана! сказалъ себѣ Коверзневъ, усмѣхнувшись...

Онъ назвалъ себя—и изъ видимаго смущенія на лицѣ лѣсника убѣдился, что въ этой встрѣчѣ не было ничего пріуготовленнаго заранѣе,—что̀ было бы ему очень непріятно.

— А ты меня зачѣмъ остановилъ? спросилъ онъ.

— Потому какъ съ ружьемъ-съ... Стрѣлять у насъ въ лѣсу чтобы отнюдь никто не смѣлъ, приказывали Иванъ Николаичъ, отвѣчалъ усачъ, ободренный улыбкой барина;—и какъ особенно до Петрова дни закономъ строго воспрещено, ваше сіятельство! гаркнулъ онъ вдругъ, какъ бы вспомнивъ.

— Валентинъ Алексѣичъ, просто! поправилъ его Коверзневъ.

— Слушаю, ваше... не договорилъ лѣсникъ, вытянувшись передъ нимъ, руки по швамъ и недоумѣло глядя на него...

— Что̀ ты самъ—охотникъ? спросилъ Коверзневъ.

Лѣсникъ растянулъ широко губы:

— Есть маленечко, ваше с.....

— Не замѣтилъ, тяга хорошо въ этомъ году?

— Не важная-съ, — даже и вовсе по началу не видать было, потому холода все стояли; недавно только тянуть сталъ...

— А гдѣ твоя изба? Я еще не видалъ вашихъ новыхъ помѣщеній.

— Вотъ тутъ сейчасъ, вправо-съ новый просѣкъ пойдетъ, такъ по немъ прямо выйти. Если угодно вашей милости...

Нововыстроенная изба лѣсника по Хомякамъ оказывалась, дѣйствительно, очень удобнымъ, свѣтлымъ и чистымъ помѣщеніемъ. Коверзнева при входѣ въ нее обдало сильнымъ запахомъ сушеныхъ травъ;—усачъ, человѣкъ одинокій и не молодой, составлялъ изъ нихъ какой-то цѣлебный чай, которымъ пользовалъ себя отъ ломоты.

— Кто-же тебя этому научилъ? спросилъ Валентинъ Алексѣичъ.

— Венгерецъ, коновалъ, ваше с... Подъ Дебрегинымъ въ полонъ мы ихъ тогда много забрали.

— А ты венгерскую компанію дѣлалъ?

— Съ генераломъ Лидерсовымъ всю Перансыльхваннію обошли, ваше-съ... браво отрапортовалъ старый служивый.

— Да не прикажите-ли чаю заварить, ваше вскр... вдругъ какъ бы спохватился онъ.

— Твоего? усмѣхнулся Валентинъ Алексѣичъ.

— Помилуйте-съ, у насъ по всѣмъ лѣсничествамъ розданъ настоящій, китайскій на сей случай!

— На какой случай?...

— А собственно, что ежели ваша милость зайдутъ съ охоты, или какъ,—чай, сахаръ и все, какъ слѣдуетъ.

— Это капитанъ распорядился?...

— Сами они-съ!

— „Какая-то женская обо мнѣ заботливость!“ подумалъ Коверзневъ, невольно тронутый... — Давно онъ здѣсь былъ? спросилъ онъ.

— Иванъ Николаичъ? За часъ мѣста передъ вашей милостью проѣзжали.

— Куда, не знаешь?

— Не сказывали, а такъ полагать, что безпремѣнно въ Мурашкахъ теперь они.

— Да, это тамъ, гдѣ „узы Гималая!“ весело вспомнилось Валентину Алексѣичу...

Онъ свистнулъ своего Джима—и направился къ Пьяной Лужѣ.

VII.

Онъ стоялъ уже тутъ давно, на опушкѣ лѣса, прислонясь спиной къ дереву, со взведеннымъ на оба курка ружьемъ— и ожидалъ. Зарево заката отражалось послѣднимъ багрянымъ свѣтомъ на длинной грядѣ синевато-сизыхъ облаковъ, но душный воздухъ висѣлъ еще надъ землею свинцовою тяжестью. Сквозь мертво недвижную листву лѣса высовывался тонкій серпъ нарождавшагося мѣсяца въ струяхъ какого-то молочнаго пара. Птицы смолкли. Тускло-зеленая гладь, лежавшая передъ Ковержневымъ, лѣснаго прудка отливала угрюмо и грозно...

Угрюмо было и на душѣ его. Внезапная, безпричинная тоска налетѣла на него и давила его, какъ давитъ этотъ угасавшій, палящій день окрестную природу... Прошедшее воскресало передъ нимъ, возставалъ призракъ его собственной, одинокой, равнодушной и безцѣльной жизни. И никогда еще такъ одинокою и безцѣльною не казалась ему эта жизнь его. Онъ разумѣлъ до сихъ поръ счастіе въ независимости „внутри и извнѣ“, въ сознаніи безграничной, отрѣшенной отъ всѣхъ „условностей жизни“ свободы... „Ну, а затѣмъ“, спрашивалъ себя теперь Ковержневъ, „куда и долго-ли еще будетъ гнести меня эта свобода?“...

Онъ оборвалъ вдругъ и безсознательно скорчилъ гримасу: онъ поймалъ себя на „фразѣ“ и „метафизикѣ“, что всегда казалось ему смѣшнымъ въ другихъ, и въ чемъ онъ поэтому счелъ нужнымъ тутъ же упрекнуть себя...

Знакомый чуткому уху охотника хрипъ пронесся въ это время въ воздухѣ, почти надъ самой его головою.

Коверзневъ, какъ со сна, машинально вскинулъ ружье къ плечу.

Но уже было поздно: вальдшнепъ далъ колѣно—и исчезъ за вершинами лѣса.

Въ тоже время, звучно повторяемый лѣснымъ эхомъ, раздался вдали выстрѣлъ.

— Это же еще кто? спросилъ себя Валентинъ Алексѣичъ, возвращаясь уже весь къ сознанію дѣйствительности; лѣсникъ только-что увѣрялъ меня, что капитанъ строжайше запретилъ стрѣлять въ моихъ лѣсахъ.

Онъ наставилъ ухо, прислушиваясь къ еще перекатывавшемуся гулу выстрѣла.

— Въ казенной пущѣ развѣ?... Нѣтъ, это ближе, — и стоитъ *онъ* на тягѣ на одной линіи со мной, вверхъ къ Хомяковской межѣ. Кто же это можетъ быть?

Новый выстрѣлъ огласилъ даль.

— Должно быть, безъ промаха! досадливо подумалъ Валентинъ Алексѣичъ:—ни полвальдшнепа не тянетъ сюда болѣе.

Онъ опустилъ курки, закинулъ двустволку свою за спину и пошелъ прямо, вдоль опушки, направляясь на эти выстрѣлы.

Онъ прошелъ съ полверсты и никого не встрѣтилъ.

— А вотъ еще и новая просѣка, сказалъ онъ себѣ, останавливаясь у незнакомаго ему большаго каменнаго столба, имѣвшаго, догадался онъ, означать уголъ граничной черты Хомяковскаго лѣса отъ казенной пущи.

По этой просѣкѣ несся теперь топотъ двухъ лошадей.

Коверзневъ остановился.

Навстрѣчу ему быстро катила легонькая телѣжка, изъ рода тѣхъ, которыя на русскомъ югѣ зовутъ польскимъ названіемъ *нетычанокъ*, а въ ней сидѣла и правила кругленькою, ходкою лошадкою молодая женская особа въ черной шляпѣ съ птичьимъ крыломъ на боку. Капитанъ Переслѣгинъ, все въ томъ же своемъ костюмѣ счастливаго тирольца, верхомъ на худомъ, горбоносомъ и нещадно задиравшемъ вверхъ голову, казацкомъ конѣ, уткнувшись въ стремена тѣмъ особымъ аллюромъ пѣхотныхъ офицеровъ, надъ которымъ такъ потѣшаются истые кавалеристы, едва поспѣвалъ за этой осо-

бой, разражавшейся звонкими взрывами смѣха при каждомъ прыжкѣ легкой телѣжки на встрѣчныхъ, неизгнившихъ еще корняхъ срубленнаго лѣса просѣки.

Она первая замѣтила Коверзнева и откинулась спиною въ задокъ *нетычанки,* натягивая возжи—осадить разбѣжавшуюся лошадку.

Капитанъ, усиленно задавая каблуками въ бедра своего коня, вынесся впередъ, вообразивъ, что она уноситъ ее, — и увидѣлъ своего патрона... Онъ торопливо и смущенно соскочилъ съ коня, подхвативъ его подъ уздцы одною рукою, а другою уцѣпился за возжу лошади своей спутницы.

Валентинъ Алексѣичъ поморщился: онъ терпѣть не могъ никакихъ „почтительностей", ни знаковъ вниманія,—а тутъ, кромѣ того, по всѣмъ вѣроятіямъ, предстоялъ ему еще разговоръ съ этой незнакомкой, остановившейся, очевидно, съ цѣлью „поглазѣть" на него.

Онъ не ошибся:

— Вы не на тягу-ли, позвольте васъ спросить? обратилась она къ нему звонкимъ, густымъ и нѣсколько горловымъ голосомъ.

Онъ не успѣлъ отвѣтить, какъ она живо наклонилась, подняла со дна *нетычанки* двухъ убитыхъ птицъ и потрясла ими высоко въ воздухѣ:

— А вотъ моя работа! И она при этомъ припрыгнула съ громкимъ смѣхомъ на своемъ мѣстѣ.

— Такъ это вы были? сорвалось невольно у Коверзнева при этомъ видѣ.

— Вы были также на пролетѣ, и я вамъ перебила! воскликнула она, тотчасъ же догадавшись, — извините, пожалуйста?...

— Я вамъ говорилъ-съ, прошепталъ сконфуженно капитанъ, съ упрекомъ глядя на нее.

— Говорили, сто разъ говорили, и я васъ не послушалась, я все-таки увѣрена, что васъ за это не лишатъ жизни, громко отвѣтила она. Ужасно лютъ капитанъ на счетъ вашей собственности! обратилась она уже прямо къ Валентину

Алексѣевичу,—не то дичь, гриба не смѣй присвоить себѣ въ вашихъ владѣніяхъ!...

— Иванъ Николаичъ стоитъ во всякомъ случаѣ на законной почвѣ, сказалъ тотъ на это съ холодною шутливостью.

— Такъ точно-съ! подтвердилъ тѣмъ же шопотомъ капитанъ.

— Ахъ, Боже мой, да вы, можетъ быть, почитаете меня за нигилистку! вскрикнула словообильная особа, прищуриваясь на Ковернева не то высокомѣрно, не то обиженно:— вы очень ошибаетесь, предваряю васъ, monsieur! Я, конечно, сочувствую современному гуманизму и презираю всякій регрессъ, но по убѣжденіямъ своимъ придерживаюсь гораздо болѣе позитивизма...

Она разсмѣялась еще разъ:

— Я и забыла, что вы меня совсѣмъ не знаете... Капитанъ, дѣлайте ваше дѣло,—представьте меня!...

— Позвольте прежде всего представить вамъ себя, учтиво поспѣшилъ сказать Ковернневъ, приподымая шляпу и кланяясь.

— Ахъ, я васъ давно знаю! перебила она его:—вы нашъ, такъ сказать, русскій Ливингстонъ и Стенли. Я о вашей книгѣ читала въ *Вѣстникѣ* и успѣла составить уже себѣ о васъ понятіе, какъ о человѣкѣ интеллигентномъ... А вотъ я для васъ ничего болѣе, какъ неожиданная встрѣча, не правда-ли?

— Я, дѣйствительно, не имѣю чести... пробормоталъ онъ, подымая и останавливая на ней неулыбавшіеся глаза.

Это была бѣлокурая, довольно свѣжая „барышня“ (барышня была она по всѣмъ признакамъ) со вздернутымъ, слегка румянымъ носикомъ, алыми губами и широкимъ развитіемъ плечей и груди, при чрезвычайно тонкомъ и длинномъ станѣ („Въ таліи комаръ, а въ плечахъ Волга — и даже въ весеннемъ разливѣ“, сказалъ себѣ Ковернневъ, внутренно улыбнувшись). Въ выраженіи лица ея, въ ея движеніяхъ и тонѣ рѣчи была какая-то ребяческая смѣсь прирожденнаго добродушія и напускной самоувѣренности. Она, прищурившись, чуть не дерзко, вся при этомъ невольно краснѣя, глядѣла на

Валентина Алексѣевича, чрезвычайно озабоченная въ глубинѣ души тѣмъ впечатлѣніемъ, какое могла произвести выказанная ею сейчасъ „образованность“ на этого „русскаго Ливингстона и Стенли“.

Онъ, въ свою очередь, производилъ на нее нѣсколько внушительное впечатлѣніе. Но она никакъ не хотѣла поддаться этому „унизительному“ чувству и продолжала еще съ большею развязностью:

— Ну, „не имѣете чести“, такъ отгадайте!... Капитанъ, ни слова! Не умѣли сказать во-время, теперь молчите! Я хочу, чтобъ monsieur Коверзневъ отгадалъ... Ну, хоть собственное имя отгадайте!

— Я, право, не могу... молвилъ Валентинъ Алексѣевичъ, какъ бы безсознательно хмурясь.

— Очень трудно отгадать, это правда, у меня премудреное имя. Ну, такъ вотъ: Инна, Пинна, Римма, три дѣвицы, три великомученицы и три Римлянки—выбирайте!

Онъ, молча, только руками развелъ.

— Пинна Афанасьевна Левентюкъ, поспѣшилъ притти ему на помощь Переслѣгинъ. Ему было видимо не по себѣ отъ этого разговора и онъ съ какою-то тайною тревогой переводилъ глаза съ дѣвушки на Коверзнева и обратно.

— Очень радъ, проговорилъ Коверзневъ, поспѣшно приподнялъ еще разъ шляпу и разомъ двинулся съ мѣста.

— Куда же это вы? воскликнула дѣвушка,—теперь не до охоты, а домой скорѣй надо: видите, что оттуда несетъ? И она, подобравъ возжи, кивнула подбородкомъ вверхъ.

Онъ моментально обернулся.

Уже охватившая полнеба, ползла съ востока поверхъ лѣсныхъ вершинъ, словно норовя задѣть ихъ своими темными краями, огромная темно-фіолетовая туча.

— Страшнѣющая гроза будетъ! вскинулся вдругъ испуганно капитанъ,—только-только до лѣсника въ Хомякахъ доѣхать!

— И напиться у него вашего чаю? вспомнилъ Коверзневъ:—спасибо вамъ за это, кстати, Иванъ Николаичъ! ска-

залъ онъ, ласково улыбаясь радостно вспыхнувшему отъ этихъ словъ Переслѣгину.

— Садитесь, monsieur, я васъ подвезу! поспѣшила предложить Пинна Афанасьевна.

Предстоявшій ливень не представлялъ ничего заманчиваго для Валентина Алексѣича, но онъ, съ другой стороны, не чувствовалъ себя въ достаточно хорошемъ настроеніи духа, чтобы слушать дальнѣйшую болтовню „развитой“ дѣвицы, какъ о ней выражался Софронъ Артемьичъ Барабашъ.

— Очень вамъ благодаренъ, сказалъ онъ съ учтивой улыбкой,—не долги эти лѣтнія грозы. Я собрался въ Крусаново,—дойду, авось не растаю.

— Зальетъ-съ... дорогу, Валентинъ Алексѣичъ, глядя ему съ умоляющимъ видомъ въ глаза, возразилъ капитанъ.

Тотъ пожалъ плечами.

— Дѣло бывалое, Иванъ Николаичъ!... Въ Крусановѣ опять сторожка и лѣсникъ, должно быть,—и прямо по просѣкѣ теперь? спросилъ онъ.

— На версту еще прямо пройдетъ, а тамъ дальше, изволите знать, трясина...

— *Вѣдьминъ Логъ*, знаю!

— Такъ точно-съ! Такъ мимо, подъ прямымъ угломъ, мы вправо повели; на прежнюю дорогу выходитъ, а съ нея опять просѣка до полянки, гдѣ тамошняго лѣсника изба. Версты четыре отсюда не менѣе итти надо дотолѣ. Позвольте доложить вамъ, Валентинъ Алексѣичъ, заговорилъ вдругъ капитанъ прерывающимся отъ волненія голосомъ,—не совѣтую вамъ... Пожалуй сейчасъ зги не увидать будетъ, и самое тутъ мѣсто ненадежное, болота кругомъ бездонныя... Не дай Богъ!...

— Съ дѣтства знаю я эти мѣста, Иванъ Николаичъ, не собьюсь, молвилъ Ковержневъ.

— Такъ вы рѣшительно отказываетесь отъ моего предложенія довезти васъ? спросила съ замѣтною досадою Пинна Афанасьевна.

— Искренно благодарю васъ, отвѣчалъ онъ,—но упрямство—мой порокъ...

— Вольному воля! Вы находитесь, очевидно, подъ вліяніемъ

аффекта, но я не желаю попасть подъ ливень по вашему примѣру... Ѣдемте скорѣе, Иванъ Николаичъ.

— Позвольте, Валентинъ Алексѣичъ, предложилъ тотъ, вскарабкиваясь поспѣшно на лошадь,—я вотъ *ихъ* сейчасъ до Хомяковъ довезу и вернусь къ вамъ съ экипажемъ. Не дай Богъ, ночь, гроза, опасно...

— А я знаете, что̀ вамъ скажу, перебила его вдругъ дѣвушка, оборачиваясь на Ковернзева изъ своей *нетычанки*,— все это старобарскіе капризы!

Его такъ и покоробило отъ этого слова. Онъ холодно, коротко поклонился ей, свистнулъ своего сеттера и, не отвѣтивъ ни единымъ словомъ, быстро двинулся съ мѣста.

— А впрочемъ, не успѣвъ отойти и пяти шаговъ, сказалъ онъ себѣ усмѣхаясь,—оно и такъ пожалуй!...

И онъ какъ бы невольно оглянулся. Но телѣжка съ подпрыгивавшимъ на сѣдлѣ за нею капитаномъ быстро удалились въ сторону Хомяковъ.

VIII.

Шумъ колесъ и конскій топотъ уже успѣли смолкнуть. Коверзневъ быстрымъ, гимнастическимъ шагомъ подвигался впередъ, внимательно, привычнымъ къ наблюденію природы взоромъ, оглядывая отъ времени до времени темнѣвшую окрестность. Прямо противъ него, на западѣ, горѣло еще, сквозя межъ лѣса, багряное полымя заката, но все остальное небо уже заволакивалъ мракъ и ненастье. Все ниже и ниже опускались тучи, вершины деревъ уже исчезли въ клубахъ сѣраго тумана и, охваченные внезапно его влажнымъ холодомъ, испуганно слетали съ нихъ вороны и съ зловѣщимъ карканьемъ рѣяли растерянно въ воздухѣ... Глухой, но уже грозный, грохотъ несся изъ какой-то близкой дали; звѣрь не ревѣлъ еще,— онъ сдержанно рычалъ и готовился...

„Собирается не на шутку, кажись“, говорилъ себѣ Валентинъ Алексѣевичъ;—„сухимъ до Крусанова не дойти видно никакъ“... Ему вспомнились Америка, Техасъ, страшная гроза, выдержанная имъ на берегахъ Ріо-Браво. Его тогда спасъ спутникъ его, мексиканецъ, отъ вѣрной смерти, оттащивъ своевременно изъ-подъ вѣтвей обрушившагося подъ ударами грома платана, вблизи котораго стояли они...

— Don't be frightened, Jim! *) ласково промолвилъ онъ, останавливаясь на мигъ и наклоняясь къ своей собакѣ, въ какомъ-то странномъ испугѣ жавшейся все время на-ходу къ его колѣнкѣ;—мы съ тобой здѣсь не подъ тропиками...

*) Не бойся, Джимъ.

Онъ успѣлъ уже пройти остальную версту той прямой линіи просѣки, которая, какъ сообщено ему было капитаномъ, постепеннымъ наклономъ спускалась до берега *Вѣдьмина Лога*, круто сворачивала затѣмъ вправо и вдоль того же берега шла на соединеніе съ большою дорогою, уже хорошо знакомою Валентину Алексѣевичу. Онъ повернулъ по ней, какъ было указано, едва уже различая дорогу предъ собою. Лѣсъ въ этомъ мѣстѣ замѣтно рѣдѣлъ и понижался. Близость болота, мимо котораго шелъ путь Ковернева, давала себя чувствовать умягченіемъ почвы, въ которую ноги его уходили индѣ какъ въ какое-то тѣсто.

Въ памяти его пронеслись давнишніе, слышанные имъ въ дѣтствѣ разсказы объ этомъ болотѣ. Это было, дѣйствительно, скверное мѣсто, недаромъ носившее прозвище, данное ему суевѣрнымъ страхомъ окрестнаго народа. Вѣчно цвѣтущее на поверхности какою-то коварно-изумрудною зеленью, оно не выпускало живымъ никого, имѣвшаго несчастіе попасть въ его засасывающую бездну. Тянулось оно версты на три въ окружности. Противоположный берегъ подымался надъ нимъ довольно высокимъ крутымъ скатомъ, и съ этого ската однажды, на памяти Валентина Алексѣевича, сорвался высоко наложенный возъ сѣна и весь, съ лошадью и парубкомъ-возчикомъ, сидѣвшимъ на немъ, ухнулъ и навѣки исчезъ въ этой зеленой хляби... Онъ помнилъ еще блѣдное лицо, съ какимъ воспитатель его, Фоксъ, вернувшись съ верховой прогулки, разсказывалъ ему, какъ, проѣзжая мимо *Вѣдьмина Лога*, скакунъ его увязъ внезапно задними ногами въ трясинѣ и онъ едва успѣлъ вытащить его оттуда, и какъ, „въ ту минуту, когда онъ почувствовалъ, что крупъ Блекбуля изчезаетъ подъ нимъ, и самъ онъ валится назадъ и вотъ сейчасъ, сейчасъ туда опрокинется вмѣстѣ съ лошадью, онъ испыталъ такой смертный страхъ („anguish of death“), какой, думалъ онъ досихъ поръ въ своей гордости, онъ неспособенъ былъ когда либо испытывать“... Старыя деревенскія бабуси пугали внучатъ своихъ „*Мавками*“, увлекающими въ осеннюю ночь путниковъ въ это свое бездонное логовище...

Но мысль Ковернева не хотѣла, да и не способна была

останавливаться долго на этихъ представленіяхъ. Не то видалъ онъ въ своей, богатой всякими приключеніями, жизни... Онъ шелъ все такъ же бодро впередъ, среди обнимавшей его теперь уже со всѣхъ сторонъ темноты, держа обѣими руками передъ собою ружье на перевѣсъ, оберегая такимъ образомъ плечи свои и локти отъ толчка о какое нибудь препятствіе... Онъ не жалѣлъ, что не далъ увезти себя отъ непогоды „этой дѣвицѣ“. Во-первыхъ, онъ издавна любилъ всякія необычныя ощущенія и „*такъ называемыя* опасности“, какъ привыкъ онъ презрительно выражаться. А затѣмъ... Какими смѣшными словами, думалъ онъ, обзавелись они теперь бѣдные: „*аффектъ*“, „*регрессъ*“, „*Огюстъ Контъ*“, „*Лассаль*“!... И „пресерьезно, какъ точно орѣхи щелкаютъ“...

Смѣхъ, вызванный въ немъ этимъ нежданно пришедшимъ ему въ голову сравненіемъ, готовъ былъ сорваться съ его устъ... и замеръ. Трескучій, оглушившій на нѣсколько мгновеній Коверзнева, громовой ударъ грянулъ, показалось ему, въ трехъ шагахъ отъ него. Онъ отскочилъ невольно, невольно сжимая вѣки, опаленныя жгучимъ пламенемъ разразившейся молніи; острый, нестерпимый запахъ сѣры охватилъ его обоняніе, проникалъ въ его горло; крупныя дождевыя капли зашлепали по его шляпѣ, по его спинѣ...

И словно только и ждали они этого сигнала,—завыли, загудѣли, застонали кругомъ чудовищные голоса бури. Лѣсъ дрогнулъ весь и заскрипѣлъ подъ раздирающимъ стономъ налетѣвшаго на него, наклонившаго, сломившаго его разомъ, вихря. Трескъ лома и шлепъ оземь обрушенныхъ деревьевъ, удары грозы, слѣдовавшіе теперь одинъ за другимъ съ ужасающею быстротою, гулъ дождя, падавшаго съ небесъ уже не каплями, а непрерывною, сплошною пеленой, производили какое-то одуряющее, фантастическое впечатлѣніе. Словно какой-то стихійный духъ, неистово мятежный, несся на гибель и разрушеніе всего Божьяго міра. Едва-ли что либо подобное дано было видѣть Коверзневу и „подъ тропиками“. Но ему некогда было уже сравнивать, вспоминать, онъ и не въ шутку былъ озабоченъ положеніемъ, въ которомъ находился. Блескъ молній слѣпилъ ему глаза, не давая ни времени, ни возмож-

ности разсмотрѣть окружающіе предметы, сообразиться, найти исходъ... Итти прежнимъ путемъ, прямо, представляло уже величайшую трудность: вѣтеръ сбивалъ его съ ногъ и, сверхъ того, онъ съ каждымъ лишнимъ шагомъ чувствовалъ, какъ все болѣе и болѣе размякала подъ нимъ почва, какъ ступни его уходили все глубже въ нее,—до того, что съ большимъ трудомъ онъ могъ вытаскивать уже ихъ оттуда. Онъ попробовалъ повернуть назадъ, но это оказалось еще менѣе возможнымъ: цѣлые потоки неслись ему навстрѣчу, заливали его ноги, подпирали подъ его колѣна. Онъ уже былъ мокръ съ головы до ногъ, мокръ до костей; пронизывающія холодныя брызги дождя хлестали его по лицу, текли за шею, рѣзали ему вѣки... А вода между тѣмъ подымалась все выше и выше: вся масса непрерывнаго ливня стекалась, стремилась сюда, по наклону, въ это нижайшее мѣсто лѣсной окраины. Коверзневъ ощущалъ ея постепенный, растущій съ каждымъ мгновеніемъ, подступъ,—она уже доходила ему до пояса. „Унесетъ въ болото“, пронеслось у него въ головѣ...

Мгновенный блескъ ударившей еще разъ молніи далъ ему увидѣть, что онъ стоитъ среди уже цѣлаго, безбрежнаго озера, изъ глубины котораго подвигались стволы кое-какихъ жидкихъ вербъ и ветелъ. Съ тревогою сказалъ онъ себѣ, что онъ уже не былъ въ состояніи вспомнить направленіе исчезнувшей дороги, не могъ разобрать, съ какой стороны и куда шелъ онъ по ней четверть часа тому назадъ... „Глупо однако и неслыханно погибать отъ какого-нибудь лѣтняго дождя!“ проронилъ онъ тутъ же презрительно и злобно,—„зацѣпиться надо за какое-нибудь дерево и терпѣливо дождаться конца грозы, а тамъ засвѣтлѣетъ на небѣ“... Но въ непроглядной теми, окружавшей его, при вихрѣ и дождѣ, бившемъ ему въ лицо, отыскать это спасительное дерево было нелегко; а при этомъ онъ начиналъ коченѣть отъ сырости и холода... „Jim, where you?“ *) вспомнилъ онъ свою собаку. Слабый визгъ, показалось Валентину Алексѣевичу, отвѣтилъ ему будто съ недалекаго отъ него разстоянія. „Бѣдняжка отыскалъ тутъ чутьемъ какой

*) Джимъ, гдѣ ты?

нибудь взлобокъ, на немъ и спасается", подумалъ онъ—и направился, расплескивая передъ собою воду руками, на этотъ взгоръ... Но онъ вдругъ почувствовалъ, что земля будто оборвалась подъ его ногами... Онъ попалъ въ самый напоръ воды,—его сбило, подхватило и понесло.

Куда? Онъ не могъ этого ни понять, ни предчувствовать. Какой-то гадливый ужасъ обнималъ его при одной мысли... Но онъ боролся, плылъ во мракѣ, въ незримой, но ощущаемой имъ кипѣни бурлившихъ волнъ, широко раскидывая руки, въ чаяніи ухватиться за вѣтки какого нибудь дерева, мимо котораго могло проносить его... Такая вѣтка, дѣйствительно, попалась ему подъ пальцы. Онъ судорожно ухватился за нее, чувствуя при этомъ, что тѣло его, увлекаемое потокомъ, описываетъ около нея широкій полукругъ и измѣряя этимъ въ мысли стремительную силу уносившаго его теченія. Онъ невольно рванулъ, подтягиваясь къ нему, этотъ желанный якорь спасенія... Въ пальцахъ его остались содранные его ногтями клейкія, узкія листья обломившейся, хрупкой вербины,—и, описавъ новый полукругъ, онъ понесся дальше, гонимый потокомъ и вѣтромъ... И въ это же время, на крылахъ того же вѣтра, среди бѣшеныхъ звуковъ непогоды, явственно донесся до него голосъ, донеслось его имя: „Валентинъ Алексѣичъ!"... „Это капитанъ... Это спасеніе, можетъ быть", мелькнуло въ головѣ его. Онъ попробовалъ крикнуть въ отвѣтъ, заработалъ сильнѣе руками... Но плыть становилось ему теперь все труднѣе; теченіе, онъ чувствовалъ, теряло все болѣе и болѣе свою стремительность,—ноги его уже задѣвали почву, какая-то растительная склизь попадалась ему то-и-дѣло подъ руки... „Неужели"... „Aguish of death"—вспомнились внезапно слова его воспитателя, а съ ними вся жизнь его, мать, лицей, пароходъ, увозившій его въ Америку, берега Миссисипи, сверкающіе глаза любимой имъ когда-то женщины, и развалины въ Банаресѣ, и старый другъ, англичанинъ, отъ котораго получилъ вчера письмо, и сейчасъ, полчаса тому назадъ, эта встрѣченная имъ „Пинна Афанасьевна", говорившая объ „аффектѣ" и „Лассалѣ"... „Неужели"... повторилъ онъ замирая. Какіе-то зеленые огни замелькали въ его зрачкахъ... „Что же

это"... Подъ нимъ была уже не вода, а какая-то жижа, и онъ уходилъ въ нее. Онъ вскинулся послѣднимъ порывомъ, безсознательно стараясь встать на ноги,—но встать уже было не на что! Онъ исчезалъ въ бездонной хляби *Вѣдьмина Лога*...

IX.

Софронъ Артемьичъ Барабашъ чуть не взвизгнулъ, когда, часу въ восьмомъ утра, раскрывъ глаза на скрыпъ широко распахнувшейся двери его спальни, увидѣлъ предъ собою капитана Переслѣгина, одинъ видъ котораго говорилъ о какомъ-то невозможномъ, неслыханномъ несчастіи. Онъ стоялъ предъ управляющимъ въ порванной, мокрой, покрытой какимъ-то зеленымъ иломъ одеждѣ, съ исковерканнымъ лицомъ и раскрытыми, шевелящимися губами, изъ которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ не исходило ни единаго звука.

— Что такое, что случилось, Иванъ Николаичъ? забормоталъ Барабашъ, заранѣе трясясь лихорадкою ужаса.

— Ва... Валентинъ А...лексѣ... началъ—и не могъ договорить тотъ.

— Баринъ! крикнулъ управляющій, вскакивая, какъ былъ въ рубахѣ, съ постели,—Господи! Гдѣ онъ?..

— Не... не знаю... Не нашли...

— Какъ не нашли? Что вы говорите, Иванъ Николаичъ?.. Мать Пресвятая Богородица, да и сами-то вы мало съ ногъ не валитесь... Воды попейте, батюшка... или вотъ, погодите, для крѣпости... пользительно будетъ...

Онъ кинулся о босу ногу къ сосѣднему шкапу, досталъ изъ него бутылку мадеры и, дрожащими, еле попадавшими горлышкомъ въ стаканъ руками, налилъ и поднесъ стаканъ капитану.

Тотъ, не глядя, взялъ и выпилъ залпомъ. Глаза его мгновенно блеснули.

— И не можетъ этого быть! воскликнулъ онъ неожиданно, отвѣчая мысленно чему-то, остававшемуся все-таки невѣдомымъ Софрону Артемьичу; на село за народомъ скорѣе послать надо, кликальщиковъ собрать, мальчишекъ, чтобы всѣ мѣста, какъ есть, изойти... Можетъ онъ уйти успѣлъ, пробродилъ въ чащѣ, истомился, да и въ сонъ впалъ... гдѣ-нибудь подъ кустомъ лежитъ... Только вотъ эта шляпа ихняя, шляпа! вырвалось новымъ, полнымъ отчаянія взрывомъ изъ груди капитана...

— Вы это про нихъ, про Валентина Алексѣевича? спрашивалъ въ тоскѣ и страхѣ Барабашъ, глядя ему въ лицо,— да не томите, Христомъ да Богомъ прошу васъ, Иванъ Николаичъ, что съ *ними* случилось?

Капитанъ передалъ о встрѣчѣ своей съ Валентиномъ Алексѣевичемъ у Хомяковской межи, о томъ, какъ онъ просилъ его, въ виду находившей грозовой тучи, не итти въ Крусаново, гдѣ по новопроведенной линіи дорога идетъ низкими мѣстами, самымъ берегомъ *Вѣдьмина Лога*, какъ онъ не послушалъ, не велѣлъ ему пріѣзжать съ экипажемъ... О предложеніи, сдѣланномъ Ковердяеву Пинною Афанасьевной довести его обратно въ Хомяки, капитанъ не упоминалъ: у него коломъ въ головѣ стояло, что „если съ Валентиномъ Алексѣевичемъ, не дай Богъ, что-нибудь случилось“ (онъ все еще никакъ не хотѣлъ допустить это какъ положительный фактъ), то это потому, что „она сказала ему то обидное слово, послѣ котораго онъ ни за что ужь не могъ согласиться ѣхать съ нею вмѣстѣ въ Хомяки“...

— А тутъ самая эта гроза и пошла? подгонялъ его Барабашъ, блѣднѣя и начиная догадываться:—свѣтопреставленіе просто; то-ись такой *манипуляціи* отродясь, могу сказать, и не помню! До утра спать не могъ, маялся, думаю: всѣ крыши у насъ сорветъ!..

— Адъ, адъ сущій! глухимъ голосомъ подтвердилъ Переслѣгинъ.—Какъ увидалъ я это, продолжалъ онъ,—сейчасъ, оставивъ Пинну Афанасьевну въ Хомякахъ, погналъ обратно Валентину Алексѣевичу во слѣдъ по Крусановской просѣкѣ, хоть и запретили они мнѣ! Фонарь даже съ собою

только его сразу тутъ загасило и залило, и самъ не знаю, какъ самого-то меня съ лошадью не унесло. Потому—море! Реветъ, вертитъ, а темень—глазъ выколи, страсти! Ничего не подѣлаешь, вижу. Сталъ я кричать, что̀ горла хватило: думаю, гдѣ-нибудь тутъ по близости стоитъ онъ у дерева, въ сохранѣ, хоть и вымочило, должно быть всего... Нѣтъ, не слыхать голоса!.. Бился я такъ вплоть до зари до самой. Тутъ и утихать стало, проясниватъ... Гляжу, повѣрите-ли, мѣстовъ не узнаю, вода кругомъ, озеро озеромъ...

— А *ихъ* нѣту? прошепталъ еле слышно Софронъ Артемьичъ.

Капитанъ продолжалъ, не отвѣчая на вопросъ:

— Подумалъ я себѣ, вспомнивъ, какъ *они* быстро ходятъ всегда: можетъ, пока я туда и назадъ изъ Хомяковъ гналъ, можетъ, онъ успѣлъ до старой дороги на Крусаново пройти; а тамъ мѣсто ужь высокое, не опасное. Туда, молъ, ѣхать надо... Насилу дотащился, крюку верстъ десять далъ,—потому всѣ дороги размыло такъ, что...

Онъ не договорилъ—и только тяжело перевелъ дыханіе.

— Въ Крусаново?.. И тамъ нѣтъ? спросилъ тѣмъ же шопотомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ Барабашъ.

Капитанъ качнулъ отрицательно головой и—отвернулся...

— А что̀ шляпа?.. вы про шляпу ихнюю говорили?..

— Шляпа? Да,—голосъ его обрывался,—это мы съ крусановскимъ лѣсникомъ...

— Нашли... Шляпу?..

— Видѣли.

— Гдѣ?

— Плыветъ... Надъ *Вѣдьминымъ Логомъ*, едва былъ въ силахъ проговорить Переслѣгинъ.

Софронъ Артемьичъ всплеснулъ руками и въ совершенномъ безсиліи сѣлъ на свою постель.

— Да можетъ, и не ихняя... почемъ знать? пробормоталъ онъ черезъ мигъ, сознавая самъ, что спрашиваетъ вздоръ.

— Клеенчатая, самая та, въ которой повстрѣчался онъ намъ съ Пинной Афанасьевной, проронилъ капитанъ, продолжая не глядѣть на него.

— Съ ними собака была, *Джимка* ихняя? вспомнилъ вдругъ Барабашъ.

— Была.

— И... и той нѣтъ?

— Нѣтъ..,

Барабашъ помолчалъ, поднялъ на него совсѣмъ растерянный взглядъ, развелъ отчаяннымъ движеніемъ руки.

— Иванъ Николаичъ, прерывающимся голосомъ проговорилъ онъ,—значитъ...

— Значитъ, перебилъ его какимъ-то дикимъ голосомъ тотъ, встрепенувшись вдругъ и кидаясь къ двери,—значитъ, на село надо, за народомъ... искать... найти его надо... благ... благодѣтеля нашего!..

Софронъ Артемьичъ, полуодѣтый, выскочилъ за нимъ черезъ мигъ.

День былъ воскресный. Все населеніе Темнаго Кута было дома, и, по зову управляющаго, человѣкъ полтораста народу отправилось подъ предводительствомъ его и капитана на поиски.

Проискали до самаго вечера, обойдя при этомъ верстъ двадцать въ окружности. Ни Валентина Алексѣевича, ни его собаки, ниже какихъ либо оставленныхъ ими слѣдовъ не нашли: масса натекшей и повсюду еще стоявшей воды все смыла, уравняла и унесла. Зловѣщая тѣнистая зелень *Вѣдьмина Лога* исчезла подъ свѣтлыми, весело рябившими подъ лучами солнца, струями широко разлившагося озера. Къ берегу этого озера, противоположному тому, мимо котораго шелъ наканунѣ Ковернзневъ, подогнало теперь вѣтромъ его шляпу, затѣйливое англійское improvement для охотниковъ, изъ легкой гуттаперчевой ткани. Ее вытащили жердью, съ значительнаго разстоянія, такъ какъ никто не рѣшался теперь подойдти къ самой водѣ, хотя всякому видимо было, что разлилась она далеко за предѣлы болота и что опасности быть затянутымъ у этого берега не представлялось никакой... При этомъ крусановскій лѣсникъ шопотомъ передавалъ окружающимъ, что „когда они утресь съ ихъ благородіемъ, съ Иванъ Николаичемъ, впервой увидали евту самую шляпу, плыла

она по самой, то-исѣ, по серединѣ Лога, какъ понять надо, и такъ ее, почитай какъ въ люлечкѣ, тихохонько качаетъ... А они (т. е. капитанъ), какъ взвидѣли ее, такъ равно очумѣлые сдѣлалися, голосомъ голосятъ, да и сразу въ воду вздумали, достать ее, значитъ. И насилу я ихъ удержалъ, потому, говорю, можетъ шляпу вѣтромъ снесло съ бариновой головы и попала она сюда, а сами они, Богъ дастъ, невредимы инно гдѣ найдутся, а что тутъ къ ней не выплыть ни за что, и безпремѣнно засосетъ, потому по-надъ нимъ, (то есть надъ болотомъ) на четверть воды не больше, а подъ ней самое это хлябище и есть... А они, Иванъ-то Николаичъ, обернулись, глядятъ на меня, глаза-то большущіе такіе у нихъ стали, ажно перепужали... Одначе послушалися меня, изъ воды вылѣзли, своего казака у меня оставили: а на мою лошадь сѣли, „искать, говорятъ, надо“,—и поѣхали себѣ“...

Понуро и безмолвно возвращались при закатѣ солнца Софронъ Артемьичъ и капитанъ. Шедшіе за нимъ крестьяне, кормившіеся въ теченіи дня кое-какими краюхами хлѣба, захваченными ими уходя изъ дома, сильно проголодались и предвидливый управляющій распорядился заранѣе, чтобы на половинѣ пути ихъ въ Темный Кутъ, на полянѣ въ Хомякахъ, передъ избою лѣсника, изготовленъ былъ для всѣхъ ужинъ, или, вѣрнѣе, поздній обѣдъ. Дойдя до мѣста, разсѣлись передъ наскоро сколоченными столами и приступили къ трапезѣ. Софронъ Артемьичъ всѣхъ благодарилъ, угощалъ и собственноручно поилъ виномъ; онъ какъ бы весь, намѣренно, ушелъ въ эту заботу, чтобы не думать о томъ, *что* собрало здѣсь этотъ народъ, на какую *помочь* приглашалъ онъ самъ его утромъ.

Капитанъ, съ дрожавшими отъ устали членами, опустился наземь, едва пришли, и ото всякой ѣды отказался. Онъ былъ страшно блѣденъ и словно на половину худѣе сталъ въ теченіи этихъ сутокъ.

Барабашъ, обходившій кругомъ столовъ съ баклагою вина и чаркою, дошелъ до него и—остановился:

— Иванъ Николаичъ, молвилъ онъ, и голосъ его дрогнулъ при этомъ, — очень вы натрудили себя и, можно ска-

зать, всякаго *форсу* лишились... Хотя вы теперича—не употребляете, однако я полагаю...

Капитанъ поднялъ голову, глянулъ ему въ упоръ въ лицо и, не давъ ему договорить, протянулъ руку къ чаркѣ:

— Давайте! коротко проговорилъ онъ.

Тотъ налилъ. Переслѣгинъ выпилъ ее залпомъ.

— Еще! проговорилъ онъ.

— Иванъ Николаичъ, заговорилъ Барабашъ, подавъ ему вторую чарку, которую капитанъ влилъ себѣ такъ же поспѣшно въ горло, — какъ бы намъ въ отвѣтѣ не быть... потому сами знаете, на счетъ этого по администраціи строго... *дисциплина*...

Переслѣгинъ уставился на него еще разъ мутными глазами.

— Становому надо дать знать и слѣдователю, понижая внезапно голосъ и какъ бы давясь, пробормоталъ Софронъ Артемьичъ,—актъ формальный требуется...

Судорога исказила на мигъ все лицо капитана. Онъ не сказалъ ни слова, поднялся съ мѣста и невѣрнымъ шагомъ направился къ избѣ лѣсника.

— Куда это вы, Иванъ Николаичъ? недоумѣвая воскликнулъ управляющій.

— Спать хочу! отрѣзалъ онъ, не оборачиваясь и подымаясь на крылечко избы.

X.

Мѣстопребываніе становаго отстояло отъ Темнаго Кута всего на 15 верстъ, но конторщикъ, посланный туда въ ту же ночь Софрономъ Артемьичемъ, вернулся утромъ съ извѣстіемъ, что Евгеній Игнатьичъ господинъ Потужинскій вмѣстѣ съ господиномъ судебнымъ слѣдователемъ уѣхали въ уѣздъ. Посланный ихъ не дождался, а, передавъ письмо слугѣ, вернулся обратно.

Душевная тоска, овладѣвшая Софрономъ Артемьичемъ, только удвоилась отъ этой вѣсти. Ему надо было какое-нибудь внѣшнее занятіе, суета, нужны были чужія лица, чтобы оторваться отъ нея и забыться хоть на время. Когда онъ оставался одинъ, у него спирало горло и тѣснило грудь, „какъ клещами“, такъ какъ къ весьма искреннему сожалѣнію о „душѣ-баринѣ“, какимъ зналъ онъ Коверзнева съ самыхъ юныхъ лѣтъ, примѣшивалъ и самое серьезное безпокойство о собственной своей судьбѣ, о томъ, кому изъ наслѣдниковъ Валентина Алексѣевича достанется Темный Кутъ и дастъ-ли ему, Барабашу, этотъ невѣдомый наслѣдникъ дожить свой вѣкъ на насиженномъ и дорогомъ ему мѣстѣ...

— А не знаете, вернулся Иванъ Николаичъ изъ Хомяковъ, Спиридонъ Иванычъ? спросилъ онъ конторщика.

— Нѣту-съ. Я сейчасъ мимо ихъ комнатъ проходилъ: на замкѣ.

— Такъ пойдемъ въ контору. Мѣсячный отчетъ это перво-наперво чтобъ былъ наготовѣ, а, окромя того, полугодовой балансъ вывести надо, потому теперича, сами знаете, у

насъ *метаморфозъ*, опеку назначатъ, наслѣдство въ дѣлежъ пойдетъ...

Спиридонъ Иванычъ только вздрогнулъ.

Былъ уже часъ двѣнадцатый. Контора занимала особый флигелекъ на дворѣ усадьбы, и въ ней, у раскрытаго настежъ окна сидѣли теперь другъ противъ друга за покрытымъ клеенкою столомъ Софронъ Артемьичъ и его помощникъ, перекидывая какъ бы въ-перегонку костяжками счетовъ, лежавшихъ у каждаго изъ нихъ по правой рукѣ. Они были такъ поглощены своимъ дѣломъ, что въ первую минуту не обратили вниманія на разговоръ, долетавшій къ нимъ со двора:

— Чтой-то вы, помилуйте, чего мнѣ врать? Говорю, нѣту, вышли, пищалъ женскій голосъ.

— Куда?... Спрашиваю тебя, куда ушелъ? говорилъ кто-то другой, какъ бы путаясь языкомъ.

— Въ контору, такъ... такъ и скажи... баба! И пойду... все одно... контора!..

Барабашъ первый поднялъ голову:

— Да это никакъ Иванъ Николаичъ? спросилъ онъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

Конторщикъ поспѣшно вывѣсилъ съ мѣста голову за окно...

— Они-съ... съ вашей Лукерьей, сказалъ онъ, какъ бы стыдливо помолчавъ передъ тѣмъ и присаживаясь снова къ столу.

Софронъ Артемьичъ внимательно глянулъ ему въ лицо.

Спиридонъ Иванычъ слабо усмѣхнулся и опустилъ глаза.

Въ передней вслѣдъ за тѣмъ раздались тяжелые шаги. Дверь широко распахнулась и въ комнату вошелъ капитанъ.

Онъ остановился, оглянулъ сидѣвшихъ своими круглыми, замѣтно осовѣлыми глазами и, чуть-чуть шатаясь, подошелъ къ столу, кивнулъ Барабашу и тутъ же опустился на ближайшій стулъ.

— Видѣли? Хорошъ? неожиданно захохоталъ онъ;—актъ составьте, формальный... актъ...

Онъ уронилъ голову на грудь и тяжело вздохнулъ.

Барабашъ съ конторщикомъ испуганно переглянулись еще разъ.

— Воды позвольте... воды испить, сказалъ черезъ мигъ Переслѣгинъ, протягивая руку къ графину, стоявшему на столѣ.

Конторщикъ, отличавшійся крайнею услужливостью нрава, поспѣшилъ налить ему воды въ стаканъ.

Онъ жадно выпилъ, обтеръ губы, а съ ними и все влажное отъ жары лицо своею большою красною рукой и—передохнулъ еще разъ.

— Софронъ Артемьичъ, началъ онъ уже довольно твердымъ голосомъ,—кому мнѣ должность сдать прикажете?

Тотъ такъ и всплеснулъ руками:

— Да что это вы вздумали, Иванъ Николаичъ, Богъ съ вами!...

— Спрашиваю: кому сдать? перебилъ его капитанъ, ударивъ кулакомъ по столу,—потому... сами видите...

Барабашъ замахалъ руками:

— И не вижу, и видѣть не хочу, и съ вашей стороны, можно сказать, *иллюзія* одна и воображеніе чувствъ. Можетъ всю ночь опять не спали и *организацію* свою разстроили...

— Пустое вы говорите! перебилъ его еще разъ капитанъ и закачалъ головою; — на тѣхъ условіяхъ шелъ, изъ мозговъ не вышибешь! И онъ треснулъ себя при этомъ по лбу ладонью.

— Про какія это вы условія говорите, въ толкъ не возьмешь, спросилъ, недоумѣвая, управляющій.

— Не знаете?... А когда я у васъ за пять рублей лѣсникомъ простымъ служилъ... въ посконной рубахѣ ходилъ... въ грязи свинья-свиньею лежалъ,—не помните?... И тогда *онъ*... благодѣтель нашъ, судорожно выговорилъ и оборвалъ на мгновеніе капитанъ,—онъ меня... Можете-ли, спросилъ, обѣщаться мнѣ на счетъ вашей слабости?... Нѣтъ, говорю, стараться буду, а навѣрное обѣщаться не смѣю, потому ужь разъ...

Онъ закинулъ нежданно обѣ руки за затылокъ и крѣпко сжалъ ими свою коротко остриженную голову:

— А онъ... онъ мнѣ на честь повѣрилъ... Назначаю, говоритъ васъ, безо всякаго вашего обѣщанія, потому увѣренъ, что сами вы откажетесь, когда почувствуете, „что опять впали“... Ну, вотъ я и... и впалъ...

Онъ всталъ на ноги.

— Такъ вы ужь пожалуйста, Софронъ Артемьичъ, избавьте!... Мой совѣтъ вамъ хомяковскаго, Лавра Ѳадѣева, главнымъ поставить: знаю его съ Севастополя, на 4 бастіонѣ вмѣстѣ служили,—твердый старикъ, сообразительный...

— Да помилуйте, Иванъ Николаичъ, чуть не плакалъ говоря Барабашъ, — въ подобную-ли минуту толковать объ этомъ, когда у насъ такой *камуфлетъ* вышелъ и, можно сказать, общій ударъ!... И всѣ мы не знаемъ теперича, что̀ изъ насъ будетъ, и самая наша *резиденція* какому господину попадетъ, — такъ что-жь намъ заранѣе?... Можетъ, Богъ дастъ, и опять будетъ настоящій баронъ, съ развитіемъ...

Капитанъ покачнулся на ногахъ. Разсѣявшійся у него дурманъ начиналъ, видимо, опять туманить его голову:

— Ну, вы и цѣлуйтесь съ нимъ!... А я ужь не слуга... никому!... Потому все прахомъ! Поняли вы: прахомъ все... Значитъ, не надо молъ... не надо тебѣ ничего...

Голосъ его порвался внезапно: онъ махнулъ отчаянно рукою и направился къ двери.

Барабашъ кинулся за нимъ:

— Вы куда же это, къ себѣ теперича, Иванъ Николаичъ? Становой долженъ быть, *юстиція*, такъ отъ васъ отъ перваго показаніе потребуется...

— Актъ, формальный актъ! захохоталъ на это опять, совсѣмъ уже пьяно, Переслѣгинъ,—а *онъ*... Гдѣ *онъ?* отчаянно вскрикнулъ онъ вдругъ, оборачиваясь на управляющаго.

Тотъ невольно отступилъ на шагъ. Капитанъ вышелъ изъ конторы и зашагалъ по двору въ сторону конюшни, гдѣ привязана была у него къ кольцу лошадь.

— Самаго этого Лавра Хомяковскаго соврасый, сказалъ конторщикъ Спиридонъ Иванычъ, слѣдя за нимъ изъ окна,— туда, стало быть, опять поѣдетъ.

— Проспится тамъ до вечера, одумается, досадливо проговорилъ Софронъ Артемьичъ, садясь снова за свои счеты. И какъ бы „одумавшись“ самъ:

— Съ чувствіемъ человѣкъ! промолвилъ онъ и глубоко вздохнулъ.

— Это точно вы говорите, одобрилъ Сниридонъ Иванычъ, проводя по линейкѣ черту подъ колонной прописанныхъ имъ цифръ, — ибо, Царство имъ Небесное, Валентинъ Алексѣичъ настоящій благотворитель были, прямо такъ сказать надо.

— Изъ послѣднихъ уже вельможъ господинъ былъ, всякаго малаго человѣка понимать могъ! добавилъ къ этому Барабашъ—и вытащилъ платокъ отереть выступившіе на глаза его слезы.

XI.

Часа четыре послѣ этого, во дворъ усадьбы, гдѣ за круглымъ деревяннымъ столомъ, подъ развѣсистою липой, занимались послѣобѣденнымъ чаепитіемъ Софронъ Артемьичъ съ неразлучнымъ теперь съ нимъ конторщикомъ, въѣхала извѣстная намъ *нетычанка* съ сидѣвшею въ ней Пинной Афанасьевной Левентюкъ.

Она осадила лошадку свою у крыльца и заговорила тутъ-же съ лихорадочною поспѣшностью:

— Слышала, слышала, ужасный фактъ, ужасный!... Я впрочемъ прямо въ глаза ему сказала тогда: онъ былъ, очевидно, подъ вліяніемъ аффекта. Это даже случаемъ нельзя назвать, а просто психіатрическій казусъ... Гдѣ Иванъ Николаичъ? перебила она себя разомъ этимъ вопросомъ.

Софронъ Артемьичъ, которому „ученыя слова“ неизмѣнно внушали и нѣкій благоговѣйный трепетъ, и желаніе не ударить, съ своей стороны, лицомъ въ грязь, подошелъ къ дѣвушкѣ и, скинувъ съ головы шляпу, проговорилъ съ видомъ особеннаго достоинства и изысканной сдержанности:

— Не могу въ сей моментъ отвѣтить вамъ, сударыня, съ достаточною фундаментальностью, ибо личность, *которымъ* вы интересуетесь, *былъ* здѣсь, точно передъ полуднемъ, но опосля того не видали,—такъ сказать, улетучился.

Она насмѣшливо прищурилась на него:

— Какъ это вы сказали: „интересуетесь?“ Предваряю васъ, что пренебрегаю этимъ намекомъ. Я держусь простыхъ человѣческихъ отношеній и не допускаю никакой буржуазной сен-

тиментальности. Я ждала сегодня капитана въ Мурашкахъ, а какъ онъ не пріѣхалъ по обѣщанію, то я пожелала узнать о немъ... Что онъ очень разстроенъ? спросила она уже другимъ, болѣе теплымъ и сочувственнымъ тономъ.

Софронъ Артемьичъ вздохнулъ.

— Сами понимаете, Пинна Афанасьевна, какой для всѣхъ насъ капутъ представляетъ такое, можно сказать, ненатуральное и совершенно даже невмѣняемое событіе, котораго вовсе и предвидѣть невозможно никому.

— Ужасно, ужасно! воскликнула она, вздрогнувъ невольно;—гроза эта просто въ Библію заставила меня вѣрить: я поняла легенду о потопѣ... Въ этой избѣ у лѣсника я провела ужасные часы... Иванъ Николаичъ уѣхалъ тутъ-же, оставилъ меня тамъ. Это по буржуазному кодексу общежитія и не совсѣмъ правильно. Но я не претендовала на него за это, находя его поступокъ вполнѣ гуманнымъ...

— И такую *революцію* произвело это на него, можно сказать, заговорилъ шопотомъ Барабашъ,—что онъ, ни съ чѣмъ не сообразно даже, какъ объявилъ сегодня намъ съ Спиридонъ Иванычемъ, вознамѣрился должность свою покинуть.

Пинна Артемьевна такъ и вскинулась:

— Какъ кинуть! Да чѣмъ же онъ жить будетъ?

— Это вы, то есть, именно въ точку попали, мадмуазель,— чѣмъ жить-съ, потому буаръ-манже, это первое-съ, усмѣхнулся Софронъ Артемьичъ.

— Ну, это мы еще увидимъ, какъ онъ кинетъ! воскликнула она высокомѣрно. — Да гдѣ онъ теперь, не знаете вы развѣ?

— Безпремѣнно въ Хомякахъ, Пинна Афанасьевна, должны находиться въ настоящую минуту, сказалъ конторщикъ Спиридонъ Иванычъ, со свойственнымъ ему стыдливымъ и отчасти таинственнымъ видомъ,—они даже на лошади лѣсника тамошняго сюда пріѣзжали...

Дѣвушка кивнула ему, круто дернула возжею одной рукой, другою хлестнула по спинѣ своего пѣгашку, и *нетычанка* ея, описавъ широкій кругъ на дворѣ, запрыгала по дорогѣ

въ Хомяки, гулко расплескивая зеленоватую воду не просохшихъ еще послѣ грязи лужъ.

Она была не на шутку раздосадована и взволнована. Прежде всего, „какъ смѣлъ онъ, не сказавши ей ни слова, заявлять о такомъ *абсурдѣ*, какъ это намѣреніе отказаться отъ своей должности?“ Само собою, слова одни, потому что она „ему никогда не позволитъ“... Она давно успѣла привыкнуть держать капитана, по отношенію къ себѣ, на положеніи полнаго крѣпостничества; давно уже воля ея была для него священнѣйшимъ закономъ. А затѣмъ она безпокоилась о немъ... Любила-ли она его? Она никогда не была въ состояніи отвѣтить себѣ на это серьезно, какъ не въ состояніи была никогда дать положительный отвѣтъ на просьбы его выйти за него замужъ. „Посмотримъ, кто знаетъ, заслужите!“ говорила она съ громкимъ смѣхомъ на его признанія, а когда онъ приходилъ въ слишкомъ большое уныніе отъ ея „жестокости“, подставляла ему подъ губы свои пухлыя ладони, „чтобъ ему терпѣть было легче“, и опять принималась хохотать беззаботно и безпощадно...

Но она „привыкла къ нему“, къ его обожанію, къ тому, чѣмъ обязана она была ему. Онъ былъ для нея источникъ всякой благостыни, нежданно пролившейся на нее по пріѣздѣ ея изъ Петербурга, гдѣ жила она, слушая какіе-то курсы, на 15 рублей въ мѣсяцъ. У вчерашней неряшливой „студентки“ были теперь и красивые обои на стѣнахъ „келейки“, отведенной ей теткою въ Мурашкахъ, и мягкая мебель, и коверъ передъ диваномъ, и розаны на столахъ, и журналы, и *свой* „экипажъ“, и какіе-то фётры изъ Лондона и американскіе непромокаемые сапоги, чтобы ходить съ ружьемъ „на бекасовъ“ въ болото. И за все это даже спасибо отъ нея не требовалось, все это подносилось ей какъ должное, съ видимымъ страхомъ, что все это недостаточно хорошо, всего этого мало, съ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что къ ногамъ такой царицы какъ она къ мѣсту повергнуть лишь развѣ сокровища Индійской императрицы...

Она „привыкла къ нему“, да,—и никогда такъ сильно не сказывалось это ей, какъ въ эту минуту. „Революція какая-то

произошла съ нимъ", повторяла она мысленно слова Барабаша; она „могла потерять его", смутно чувствовала она, и какое-то непривычное тоскливое безпокойство мутило ей душу... „И все изъ за какой-то сентиментальной кислятины"!—пробовала она объяснить себѣ „выходку капитана одною изъ тѣхъ *забористыхъ* „радикальныхъ" фразъ, которыхъ, къ сожалѣнію, было слишкомъ много въ ея словахъ,—но внутреннее, не затронутое чувство правды тутъ протестовало противъ такого объясненія, и молодое сердце дѣвушки щемило чувство жалости и уваженія къ тѣмъ поводамъ глубокой скорби, которые прозрѣвала она за образомъ дѣйствій своего обожателя...

— А все-таки дозволить ему сдѣлать эту глупость нельзя! рѣшила она, нетерпѣливо похлестывая возжею свою и такъ очень усердно работавшую ногами лошадку.

Она доѣхала до Хомяковъ. Старикъ лѣсничій, Лавръ Ѳадѣевъ, сидѣлъ на крылечкѣ своей избы и попивалъ изъ глиняной кружки цѣлебный чай, который, какъ мы знаемъ, училъ его изготовлять венгерецъ коновалъ, взятый въ плѣнъ подъ Дебречиномъ. Онъ всталъ и вытянулся, увидавъ „барышню".

— Здѣсь Иванъ Николаичъ? крикнула она ему.

Онъ какъ бы нѣсколько смущенно передернулъ усомъ, показалось ей, и замѣшкалъ отвѣтомъ.

— Здоровъ онъ? поспѣшно спросила она на это.

— Ничего-съ... здоровъ, промямкалъ усачъ.

— Что значитъ: „ничего-съ?" нетерпѣливо всклинкула она;—гдѣ онъ?

— Не могимъ знать...

Пинна Афанасьевна даже въ лицѣ перемѣнилась:

— Это что такое? Вы говорите: „ничего-съ, здоровъ", значитъ, вы его видѣли! Какъ-же вы теперь увѣряете, что не знаете, гдѣ онъ?

Убѣдительность и горячность тона этого разсужденія съ разу сбили съ толку стараго служивагѳ.

— Я, ваше-с... извините!... Какъ мнѣ приказывали, такъ я и отвѣчать долженъ, забормоталъ онъ.

— Кто приказывалъ, капитанъ? Онъ приказывалъ вамъ говорить, что не знаете, гдѣ онъ? А я сейчасъ изъ Темнаго

Кута; мнѣ тамъ прямо сказали, что онъ здѣсь... Подержите мою лошадь,—я пойду къ нему... Что это за мальчишеское прятанье!

Лѣсникъ поспѣшно сбѣжалъ съ крыльца и взялъ пѣгашку за узду:

— Доподлинно позвольте доложить вамъ, ваше с... нѣту ихъ здѣсь, сказалъ онъ.

— Какъ нѣту, когда я знаю! Онъ сюда поѣхалъ, на вашей лошади, онъ былъ здѣсь...

— Были, да... да ушли, рѣшился наконецъ выговорить старикъ.

— Ушелъ? Пѣшкомъ, значитъ?

Онъ только головою повелъ.

Она подозрительно прищурилась на него:

— Гулять пошелъ?

— Стало быть, что гулять, подтвердилъ онъ, какъ бы обрадовавшись такому объясненію,—потому какъ нѣсколько головой отяжелѣли... словно сорвалось у него съ языка.

Она поняла и примолкла, пасмурно задумавшись...

— Въ какую сторону пошелъ онъ? спросила она черезъ минуту.

Старикъ внезапно поморщился, отвернувъ лицо, и махнулъ неопредѣленно рукою.

— А все туда-же! проговорилъ онъ страннымъ голосомъ.

Пинна Афанасьевна поняла опять:

— Къ *Вѣдьмину Логу?*

Онъ пожалъ плечами и, все такъ же не глядя на нее:

— Со вчерашняго вечера, молвилъ онъ, четвертый разъ ходятъ. Всю ночь хоша бы глазъ сомкнули. Проходили вчерась весь день съ народомъ, а и сегодня покою себѣ не знаютъ... Все это у нихъ въ головѣ, какъ-молъ намъ, Лавра, тѣло оттуда достать, чтобъ по христіянству, значитъ, и какъ они такого большаго званія господинъ были... А какъ его оттолѣ достанешь, сами посудите, когда болото проклятое, можетъ, скрозь всю землю идетъ, и дна ему нѣтъ, и только одно, что самому доставаючи погибать слѣдуетъ!...

— Я его сейчасъ верну оттуда, вскликнула Пинна Афа-

насьевна,—а если онъ опять какъ-нибудь вздумаетъ, скажите ему, что вы мнѣ пожалуетесь, что я приказывала вамъ не пускать его.

Дорога была такъ размыта третьягодняшнею грязью, что прошло не менѣе часа времени, пока успѣла она добраться до просѣки, гдѣ встрѣтилась она тогда съ Ковержневымъ. Вода, залившая *Вѣдьминъ Логъ*, добѣгала до половины этой просѣки. Она едва узнала мѣсто,—какъ едва узнала капитана, котораго увидѣла сидящимъ на срубленномъ пнѣ, у самой воды, съ головою низко опущенною на грудь. Онъ не только не походилъ на себя, но, какъ говорится, ни на что не походилъ. Онъ третій день не раздѣвался; лохматый, въ порванной въ лохмотья, покрытой грязью одеждѣ, со своею потерявшею теперь всякую форму тирольской шляпой, откинутой на затылокъ, онъ напоминалъ тотъ отталкивающій обликъ бродяги, въ какомъ на провинціальныхъ театрахъ традиціонно выступаетъ въ послѣднемъ актѣ главное дѣйствующее лицо драмы *Тридцать лѣтъ или жизнь игрока*.

Какая-то смѣсь ужаса, отвращенія и состраданія охватила дѣвушку при этомъ видѣ. Но она нашла силу превозмочь свои ощущенія и, осадивъ лошадь, крикнула ему сколь возможно спокойнымъ голосомъ:

— Капитанъ, что вы тутъ дѣлаете?

Онъ вздрогнулъ отъ звука ея голоса—стука телѣжки онъ видимо не слыхалъ,—и подался внезапно впередъ съ такою какъ бы испуганною поспѣшностью, что шляпа свалилась съ его головы, и самъ онъ едва сохранилъ равновѣсіе.

— Иванъ Николаичъ! вырвалось у нея невольно изъ груди скорбнымъ упрекомъ.

Онъ обернулся на нее, понялъ... Воспаленные зрачки его глядѣли на нее не то дико, не то безсознательно. Икота отъ времени до времени прорывалась сквозь его спекшіяся губы, подергивала его лицевые мускулы.

— Ну, да, вотъ... какъ видите... Полюбоваться можно! пролепеталъ онъ съ неестественнымъ харканьемъ и поднялся съ мѣста.

— Послушайте, Иванъ Николаичъ, все это вздоръ, поспѣшила она заговорить,—я пріѣхала увезти васъ отсюда.

Онъ молча, не глядя на нее, закачалъ отрицательно головой.

— Вы не хотите? воскликнула она; — послушайте, вѣдь это абсурдъ!.. Я не понимаю, что̀ съ вами дѣлается... Мнѣ сейчасъ сказалъ вашъ Барабашъ, что вы и отъ мѣста своего отказываться хотите?..

— Вѣрно! произнесъ онъ еле слышно, но съ поразившею ее твердостью интотаціи.

Ее начинала разбирать досада:

— Вы, должно быть, двѣсти тысячъ выиграли, пылко возразила она,—потому что жить, вѣдь, чѣмъ нибудь надо...

— Зачѣмъ? глухо, съ растерянной улыбкой проговорилъ онъ на это.

— Какъ зачѣмъ? повторила она озадаченно,—вѣдь потому что вашъ Валентинъ Алексѣичъ изъ-за своего упрямства...

Она оборвала разомъ, испуганная выраженіемъ его лица. Всего его будто свела безконечная внутренняя мука. Онъ качнулся на ногахъ и какимъ-то судорожнымъ движеніемъ протянулъ руку съ направленнымъ на нее указательнымъ пальцемъ:

— Изъ-за вашего слова!.. Голосъ его хрипѣлъ и прерывался:—зачѣмъ вы ему это слово сказали?

— Какое слово?.. Она вся вспыхнула:—это, за что̀ вы и тогда на меня разсердились, да? Что я ему сказала про барскіе капризы?..

— А! Помните! надрывающимъ смѣхомъ разсмѣялся вдругъ капитанъ;—чѣмъ упрекнуть вздумали... Барство!.. Онъ *человѣкъ* былъ, *настоящій*, Пинна Афанасьевна!.. Изъ мертвыхъ, почитай, воскресилъ меня этотъ человѣкъ... А вы ему сказали что̀! И эти всѣ слова ваши, сами знаете, кимвалъ одинъ... Только онъ не могъ послѣ этого ѣхать съ вами, и... и гдѣ онъ теперь, гдѣ, Пинна Афан...

Безумное, потрясающее рыданіе вырвалось изъ этой широкой груди и откликнулось какимъ-то нечеловѣческимъ отзвукомъ въ глубинѣ лѣсной чащи. Дѣвушка вздрогнула. Эта истинная, эта святая человѣческая скорбь захватывала ее за

лучшія стороны ея души. Крупныя слезы выступили мгновенно изъ глазъ ея и покатились по щекамъ.

— Иванъ Николаичъ, милый, заговорила она прерывающимся голосомъ,—это ужасно, ужасно!—Но вы сами понимаете, могла-ли я думать, что эти глупыя слова, въ самомъ дѣлѣ, будутъ имѣть такія послѣдствія... Да и точно-ли отъ этихъ словъ? Вѣдь онъ и раньше никакъ не соглашался вернуться въ Хомяки... Но все равно, я виновата, я признаюсь, что вообще говорю, по привычкѣ, многое... ненужное; простите мнѣ!.. И прошу васъ, милый, перестаньте такъ убиваться! На васъ, просто, смотрѣть больно!..

Онъ тѣмъ временемъ какъ бы совладалъ съ собою и, отеревъ лицо свое рукавомъ, молча глядѣлъ на нее отрезвѣвшими и безнадежными глазами:

— Вѣдь какъ вы ни любили этого человѣка, продолжала она,—онъ былъ прекрасный; достойный, я знаю, я понимаю васъ,—но сами вы знаете, каждая человѣческая жизнь есть самоцѣль...

— „Само-цѣль“! съ усиліемъ, медленно повторилъ Переслѣгинъ:—кимвалъ, Пинна Афанасьевна!..

Она покраснѣла слегка, но не разсердилась—и улыбнулась даже, нѣсколько черезъ силу:

— Вамъ и это мое слово не нравится? Извольте, я беру его назадъ. Но сущность остается все-таки та же. Неужели потому что *его* нѣтъ болѣе, для васъ уже ничего не осталось въ жизни, ни радостей, ни привязанности?..

Онъ усмѣхнулся вдругъ горькою, горькою усмѣшкой:

— Должно быть, не надо мнѣ этого ничего... и не бывать!.. Жена была... *Онъ*... Кому я только всю душу... прахомъ все, прахомъ. Не надо!..

— А я, Иванъ Николаичъ, вы меня забыли? вскрикнула въ неудержимомъ порывѣ дѣвушка,—вы говорили мнѣ сто разъ, что любите меня, умоляли быть вашей женою... Ну, хорошо, я согласна, я за васъ пойду... когда хотите... Только придите въ себя, уѣдемте отсюда скорѣй!..

Онъ поднялъ еще разъ на нее глаза, полные тоски и какъ бы испуга:

— Я, дѣйствительно, Пинна Афанасьевна, за... за счастье думалъ, потому... достойнымъ себя почиталъ... А теперь... Сами вы видѣли!..

— Это ничего не значитъ! торопливо возразила она;—съ кѣмъ это не бывало!.. Поѣдемте сейчасъ въ Темный Кутъ, я васъ довезу. Ложитесь спать, а завтра забудемъ оба и думать объ этомъ...

Капитанъ уронилъ голову и прошепталъ дрожащимъ голосомъ:

— Вы, можетъ быть, дѣйствительно, Пинна Афанасьевна, по молодости... и по добротѣ вашей... А мнѣ не забыть-съ... не забыть-съ никогда!..

Она вся измѣнилась въ лицѣ. Слова его имѣли для нея совершенно опредѣленный смыслъ: онъ уже не ожидалъ отъ нея счастья, онъ не въ состояніи будетъ простить ей никогда то, что она сказала покойному Коверзневу и что „въ возбужденной головѣ своей“ почиталъ онъ причиною его трагическаго конца... Ей стало и больно, и обидно до слезъ...

— Послушайте, Иванъ Николаичъ, молвила она,—вы разстроены въ настоящее время, и я поэтому не хочу признавать то, что вы сейчасъ сказали, за ваше послѣднее слово. Если вы не согласны теперь ѣхать со мной, я васъ, конечно, увезти силой не могу; но я увѣрена, что вамъ самимъ сдѣлается стыдно, и что вы завтра пріѣдете просить у меня прощенія за то, что такъ огорчили меня сегодня... И я вамъ прощу, потому что я, можетъ быть, часто и вздоръ говорю, но въ сущности, очень добрая, какъ вы и сами сейчасъ сказали, промолвила она, скрывая душевное волненіе подъ этой напускною шутливостью тона.

Онъ молчалъ и какъ бы насмѣшливо, почудилось ей, покачивалъ головою. Ее взорвало это „пренебреженіе“, котораго ни въ какомъ случаѣ не могла она ожидать отъ него.

— Послушайте, капитанъ, пылко, съ загорѣвшимся взглядомъ воскликнула она,—я васъ буду ожидать завтра цѣлый день въ Мурашкахъ. Если вы не пріѣдете, я послѣ завтра уѣду въ Петербургъ... Вы знаете, что я только изъ-за васъ жила въ здѣшнихъ мѣстахъ.

Онъ, будто движимый какою-то пружиной, вскинулъ на нее вдругъ съ какою-то жадностью свои большіе, круглые глаза. Выраженіе мучительной борьбы сказалось на мгновеніе въ его чертахъ... Вѣки его заморгали, дрогнули судорожно губы... Но все это такъ же мгновенно исчезло. Онъ взглянулъ въ сторону, махнулъ рукой...

— Что же дѣлать, Пинна Афанасьевна, проговорилъ онъ тихо, тихо, какъ бы про себя,—дай вамъ Богъ!...

Чувство оскорбленія взяло у нея верхъ надо всякими иными соображеніями: она хлестнула свою лошадь обѣими возжами и, не взглянувъ на него, покатила назадъ въ Хомяки.

Но не проѣхала она и двухъ верстъ, какъ вдругъ ей неожиданно сдѣлалось страшно. „Неужели я его болѣе не увижу, и онъ вздумалъ что нибудь сдѣлать надъ собою?“ такъ и гвоздила ей въ голову эта внезапная, только теперь возникшая въ ней мысль...

Телѣжка подпрыгивала, тѣни и яркія пятна солнца мелькали въ ея глазахъ. Какъ-то гулко отдавался стукъ колесъ въ глухой чащѣ лѣса; часто густыя вѣтви, наклоняясь, хлестали по дугѣ, обдавая свѣжими каплями. Она ничего кругомъ не замѣчала,—ей казалось, что теперь, сейчасъ должно случиться что-то важное, что-то такое, что должно было измѣнить всю ея жизнь... Ѣхала она, ужасно волнуясь, негодуя и усиленно мигая, чтобы не дать хлынуть слезамъ, которыя, она чувствовала, такъ и подступали подъ ея вѣки. Лошадка ея, точно чувствуя, въ свою очередь, разстроенное состояніе своей барышни, самымъ усерднымъ образомъ, не жалѣя ногъ, мчалась по рытвинамъ и колеямъ.

XII.

Не доѣзжая Хомяковъ, Пинна Афанасьевна увидѣла вдругъ прямо передъ собою на дорогѣ такую-же быструю лошадку, запряженную въ бѣговыя дрожки, катившія ей навстрѣчу. Она прищурилась, склонивъ на бокъ голову, и узнала черезъ мигъ, въ сидѣвшемъ верхомъ на этихъ дрожкахъ, конторщика Спиридона Ивановича, и въ конѣ его—коренника, изъ хорошо извѣстной ей тройки вятокъ Софрона Артемьича Барабаша.

Онъ тоже узналъ ее издалека и, сорвавъ картузъ съ головы, замахалъ ей, неистово кивая притомъ головою и махая локтями, словно откормленный гусь, намѣревающійся летѣть.

— „Что это за телеграфическіе знаки?“ спрашивала она себя въ изумленіи.

Еще минута — до нея донесся его хриплый отъ спѣха и волненія голосъ:

— Нашлись... Живы! живы, Пинна Афанасьевна!

— Что вы говорите? Кто? растерянная залепетала она, судорожно задерживая возжи.

Онъ докатилъ до нея, остановился:

— Они-съ, баринъ, Валентинъ Алексѣичъ... Чудомъ-съ, просто чудомъ... Живы!...

— Да что вы это!... Въ самомъ дѣлѣ? Вы его видѣли?

— Не видалъ, въ городѣ они... Софронъ Артемьичъ сейчасъ къ нимъ на почтовыхъ поскакали, а мнѣ приказали немедля Ивана Николаича отыскать, передать, значитъ, ему...

— Я его сейчасъ видѣла, перебила Пинна Афанасьевна,—

онъ безумствуетъ, я съ нимъ даже поссорилась и уѣхала... Она вдругъ засмѣялась подъ приливомъ какого-то, всю ее разомъ охватившаго теперь, безконечно радостнаго чувства:— вотъ мы теперь и помиримся... Ахъ, какъ-же будетъ онъ радъ... Да вы это вѣрно, вѣрно, говорите, Спиридонъ Иванычъ? заспѣшила она;—и отчего онъ это въ городѣ очутился, и какъ же два дня его искали всѣмъ селомъ и на слѣдъ не попали, и эта шляпа его тутъ надъ Логомъ, а его нѣтъ...

— Сказываю вамъ, чудомъ, Пинна Афанасьевна; дѣйствительно, что окромѣ Бога, Спаса нашего, никому того не возможно приписать.

Пинна Афанасьевна, какъ извѣстно, смотрѣла свысока на подобнаго рода „предразсудки“. Но въ эту минуту она чувствовала себя такою счастливою, что готова была и въ нихъ повѣрить, да и ужъ очень любопытно было ей узнать скорѣе, въ чемъ именно состояло „чудо“.

— Вотъ что, Спиридонъ Иванычъ, сказала она, — привяжите вашу вятку къ задку моей телѣжки, а сами садитесь ко мнѣ. Я сейчасъ оберну. Вы мнѣ дорогой всю эту исторію и разскажете... Господи, какъ-же это хорошо, что онъ нашелся!

— Истинно такъ, Пинна Афанасьевна! А я вамъ съ моимъ удовольствіемъ, какъ слѣдуетъ, передамъ.

— Сидимъ-съ это мы съ Софрономъ Артемьичемъ, началъ онъ, когда, умѣстившись рядомъ съ нею, покатили они по направленію Лога, на берегу котораго заполчаса предъ тѣмъ оставила дѣвушка своего „безумствующаго“ поклонника,—сидимъ-съ, сами изволите понимать, на подоби, можно сказать, такъ какъ у псалмопѣвца сказано: „на рѣкахъ Вавилонскихъ сѣдохомъ и плакахомъ“... И вдругъ-съ раздается колоколецъ, и къ намъ на дворъ пара, и видимъ Николай Дмитричъ, можетъ изволите знать, письмоводитель господина исправника. Сейчасъ къ Софрону Артемьичу,—письмо, а самъ ничего не говоритъ, только этакая усмѣшка лукавая подъ усами и глядитъ намъ прямо въ глаза. А Софронъ Артемьичъ какъ только вскрылъ конвертъ, да по письму повелъ глазами, такъ я, грѣшный человѣкъ, даже подумалъ, что они тутъ, не дай Богъ, ума лишатся...

— Отъ радости, разумѣется? перебила еще разъ Пинна Афанасьевна;—да разсказывайте скорѣе, голубчикъ! подгоняла она его.

Конторщикъ чуть-чуть сконфузился и продолжалъ:

— Дѣло это, собственно говоря, такъ вышло... Управляющаго графа Клейнгельма, Василья Ивановича Брауна изволите знать?

— Нѣтъ, не знаю. А слышала...

— Человѣкъ настоящій, можно сказать, правильный.... Только вотъ этотъ самый господинъ Браунъ, какъ у насъ постоянно бываетъ надобность по дѣламъ въ городъ, и вздумали они поѣхать съ винокуромъ ихнимъ, — тоже изъ нѣмцевъ, фамилія ему Клейстъ. Въ самый, то есть, это вечеръ, когда случилось это самое съ Валентиномъ Алексѣичемъ—третьяго дня значитъ... А дорога имъ отъ графскаго имѣнія мимо нашего Крусанова на Вислоухово,—а оттелева до города еще верстъ пятнадцать и подалѣе будетъ. Только у этого самаго Василья Иваныча Брауна кучеръ—мудреный этакій, знаете, нравный, твердый человѣкъ, а только ужь упрямъ очень. Занялись этто Василій Иванычъ, разговорились съ винокуромъ и не замѣтили, какъ онъ вдругъ, этотъ самый кучеръ, замѣсто какъ всегда по дорогѣ прямо, не доѣзжая Крусанова, да влѣво возьми въ объѣздъ. Только, проѣхамши такъ съ версту, оглянулись: „Ты, говоритъ, куда-жь это теперь прешь?“ А тотъ ему на это: „А тутъ, говоритъ, ближе много будетъ“.—„Да что ты, говорятъ ему, тутъ и дороги проѣзжей нѣтъ“.—„Чего нѣтъ, бормочетъ, проѣдемъ, не извольте безпокоиться“. А оно дѣйствительно, что тутъ крестьяне постоянно проѣзжаютъ зимою, а лѣтомъ избѣгаютъ, потому по-надъ самымъ *Вѣдьминымъ Логомъ*,—съ той его стороны, значитъ, дорога эта ведетъ,—ну, а они, особенно если вечеромъ, опасаются по своему суевѣрію... Такъ и оставилъ Василій Иванычъ, только говоритъ ему: „Смотри, гроза вотъ сейчасъ, какъ бы намъ не засѣсть въ какомъ мѣстѣ“.—„Ничего, говоритъ, проѣдемъ“!.. И по истинѣ, можно сказать, Пинна Афанасьевна (Спиридонъ Иванычъ снялъ картузъ и истово перекрестился), что самъ Творецъ Небесный направилъ ихъ по этой самой дорогѣ. Потому только

они къ этому мѣсту по-надъ *Логомъ* подъѣзжать стали, какъ хлыснетъ вдругъ молнія, да съ этимъ дождище,—ну, ну изволите сами знать, что̀ за страсть въ эту пору была!.. Взлобокъ тутъ есть одинъ, подняться надо, а оттедова спустясь, сейчасъ круто вправо принять требуется, опять на-подъемъ, лѣсомъ. Вотъ взъѣхали они,—спускаться начали... А тутъ повернуть куда—и не видать. Потому чаща, да темь эта вдругъ сдѣлалась, и сверху-то гремитъ, льетъ вода ведрами,—адъ кромѣшный, просто страхота! Ни впередъ, ни взадъ,—не дай Господи!... И Спиридонъ Иванычъ перекрестился еще разъ.

— Ахъ, Господи, какъ вы томительно разсказываете! воскликнула дѣвушка; — винокуръ какой-то, Василій Иванычъ, кучеръ,—при чемъ они тутъ? Я васъ про вашего Валентина Алексѣича просила разсказать...

— А вотъ-съ, вы извольте дослушать, благодушно усмѣхнулся на это многорѣчивый конторщикъ, такъ и все узнаете... Въ этомъ, значитъ, находясь затрудненіи, что ни туда, ни сюда, рѣшились они переждать, пока гроза пройдетъ. Подняли верхъ, фартукъ пристегнули,—хорошая у нихъ бричка, вѣнская, по случаю, знаю, въ Витебскѣ купили отъ одного пана,—ждутъ. Кучеръ передъ лошадьми, до костей промокъ,—а все стоитъ потому опасно, отъ ударовъ этихъ, отъ грома дрожмя ажно дрожатъ кони, такъ чтобы не вскинулись вдругъ, не расшибли... Вотъ-съ такимъ манеромъ и не часъ, не два пришлось имъ тутъ простоять, будто въ колодезѣ какомъ-то, потому вода и сверху и снизу. Берегъ-то тотъ, изволите знать, гораздо возвышеннѣе супротивъ того, что̀ отъ Хомяковъ, по которому Валентинъ Алексѣичъ, по встрѣчѣ съ вами, отправился; одначе отъ того количества воды и его затоплять стало,—до самой почти ихъ брички, повѣрите, приливала, а такъ, сказываютъ они, почитать надо, что отъ самаго этого мѣста, гдѣ стояли они, шаговъ полтораста, если и не болѣе, отъ настоящаго, въ сухое, то есть, время, берега должно быть...

— Ну, а Валентинъ Алексѣичъ гдѣ-же? даже притопнула съ досады ногою по дну своей *нетычанки* нетерпѣливая Пинна Афанасьевна.

— Вотъ-съ, вотъ-съ тутъ самое сейчасъ и о нихъ... Такъ-съ

пока они тутъ въ темнотѣ, да въ сырости и большомъ, можно сказать, страхѣ пребывали, и началъ наконецъ стихать, удаляться громъ сталъ... Вдругъ слышатъ неподалеку отъ нихъ собака визжитъ, да такъ жалостно, говорятъ, будто человѣкъ стонетъ... Василій Иванычъ этто слушалъ, слушалъ:— „Вынь, говоритъ кучеру, фонарь, подь сюда!“—а у нихъ-то, докладывалъ вамъ, бричка хорошая, какъ надо быть, со всѣмъ приборомъ, съ фонарями. Взялъ онъ его себѣ подъ фартукъ, добылъ спичекъ, и хоть съ трудомъ, потому сами понимаете, мокреть вѣдь, зажегъ свѣчку въ немъ. „На, говоритъ, иди на вой, что за песъ“!—а самъ возжи въ руки взялъ. Вотъ-съ кучеръ, взявши этотъ самый фонарь, да по водѣ по щиколку, говорю, залило все кругомъ,—и побрелъ, значитъ, на этотъ, такъ сказать, гласъ песій... Видитъ, дѣйствительно, пестрое быдто пятно къ дереву прислонилась, носомъ книзу уткнувшись, скулитъ. Онъ ближе,—охотницкая собака въ ошейникѣ, сетерокъ бѣлый съ пятнами...

— Его *Джимъ!* воскликнула дѣвушка.

— Точно такъ-съ! И Спиридонъ Иванычъ съ большой радостью припрыгнулъ всѣмъ тѣломъ на своемъ сидѣньи,— самое вотъ это есть *необнаковенное* обстоятельство. Потому еслибъ не собаченка эта, и что этотъ самый господинъ Браунъ, Василій Иванычъ, по мягкосердью душевному обратилъ вниманіе, то такъ бы...

Онъ не договорилъ, замѣтивъ все болѣе и болѣе возрастающее нетерпѣніе въ чертахъ своей спутницы, и заспѣшилъ опять къ фактической сторонѣ своего разсказа:

— Сталъ ее кучеръ звать,—нейдетъ—визжитъ все также жалостливо, хвостомъ машетъ и носомъ будто что указываетъ. Онъ фонарь свой поднялъ, кругомъ обвелъ... да вдругъ какъ крикнетъ: „Мертвецъ!“ Самъ-то чуть съ ногъ не свалился, говоритъ, такъ испужался... Услышавши это, Василій Иванычъ сейчасъ винокуру возжи передалъ, самъ выскочилъ, подбѣгаетъ... Лежитъ, дѣйствительно, нѣкій человѣкъ ничкомъ, по поясъ въ водѣ, а рука за корень дубовый уцѣпилась, да и замертвѣла на немъ...

— Это былъ Валентинъ Алексѣичъ?

Конторщикъ таинственно и какъ бы даже съ лукавствомъ повелъ головою:

— Неизвѣстное имъ, собственно сказать, лицо-съ.

— Какъ же, онъ очутился тутъ?

— А такъ понимать надо, что теченіемъ, а главное вихремъ пронесло его поверхъ *Логу*, да и прибило къ этому самому берегу. И даже просто удивленія достойно, какая это сила воды, что не дала его засосать трясинѣ... Василій Иванычъ, между тѣмъ, какъ человѣкъ образованный, осмотрѣвши тѣло, поняли такъ, что можетъ онъ и не померъ еще вовсе, а только отъ немощи отъ большой чувствъ своихъ лишился. „Давай, говоритъ, кучеру, сейчасъ его изъ воды вытащимъ“. И тутъ, говорятъ, долго-ужасть бились они, пока пальцы-то его, главное, отъ корня отцѣпили... Перенесли на мѣсто повыше, да посуше. Василій Иванычъ растирать велѣлъ да коньякъ — потому что это ужь съ нимъ неразлучно въ дорогѣ, — влилъ ему въ горло, мокрую съ него куртку охотницкую снялъ, въ плэдъ свой обернулъ. Дождь-то на ихъ счастіе въ это самое время пересталъ лить. Запустилъ онъ ему руку подъ сорочку: „Бьется, говоритъ, сердце, живъ.“ И тутъ, какъ тѣло, значитъ, отогрѣваться стало, — глядятъ они, а у него изъ головы и полилась кровь изъ раны; въ первой-то они не замѣтили, оттого что онъ коченѣть начиналъ, и кровь застыла. Василій Иванычъ, какъ умѣлъ, перевязалъ ее платкомъ своимъ. „Ну, говоритъ опять кучеру, безпремѣнно теперь ѣхать надо, лишь бы довести его живаго въ городъ. Ты, говоритъ, иди впередъ пѣшой съ фонаремъ, дорогу показывай, а мы за тобой тихонько поѣдемъ“. Тутъ, говоритъ тотъ, съ полверсты не болѣе низомъ вязко будетъ, а тамъ, какъ подняться только, поля пойдутъ, гладь до самаго города, верстъ пять, почитай, не болѣе. Ну, хорошо; подняли они его опять, въ бричку положили, а съ ними и этого самаго бѣдняжку пса *ихняго*, Джимку. Василій Иванычъ съ ними сѣлъ, а винокура посадили на козлы, поѣхали. Только хотя тотъ ихъ кучеръ говорилъ „проѣдемъ“ да „проѣдемъ“, а они до самаго разсвѣта бились, пока до города доползли. У Василія Иваныча тамъ своя квартира по-

стоянная нанята. Привезъ онъ *ихъ* туда; сейчасъ за докторомъ, за Казиміромъ Степановичемъ, господиномъ Подгурскимъ,—изволите знать?—потому дорогою, къ *нимъ*, можно сказать, жизнь вернулась, дышать стали свободно, только совсѣмъ безъ сознанія, ни говорить, ни глазъ раскрыть. А доктора въ городѣ нѣтъ: уѣхалъ съ слѣдователемъ на слѣдствіе въ Ковровo. Бѣда, да и только! За фельдшеромъ въ больницу, насилу добудились. Пришелъ, говоритъ: крови много потеряли, оттого... Залѣпилъ пластыремъ рану, велѣлъ къ головѣ ледъ въ пузырѣ прикладывать...

— Чего же это вашъ Василій Иванычъ нарочнаго въ Темный Кутъ не прислалъ, извѣстить объ этомъ обо всемъ?

— А чего же ему присылать, возразилъ Спиридонъ Иванычъ,—когда онъ Валентина Алексѣича и въ глаза никогда не видалъ и знать не могъ, кто они и даже совсѣмъ другое сумнѣніе у него было...

— Какое „сумнѣніе“?

Спиридонъ Иванычъ принялъ самый внушительный видъ и, наклонясь къ уху своей спутницы, прошепталъ:

— Такъ, значитъ, полагалъ, что это можетъ не *убійство* ли изъ политики, потому, изволите знать, въ Мглинскомъ уѣздѣ многихъ изъ этихъ самыхъ нигилистовъ недавно жандармы забрали.

— Какая глупость! такъ и фыркнула Пинна Афанасьевна:—изъ чего онъ это вздумалъ?

— Рана эта *ихняя*, главное, и что въ *Логу* найденъ... нечаевскій процессъ изволили читать? Такъ по подобію. Василій Иванычъ въ скорости отказались отъ этихъ мыслей, потому разсудили такъ, что „бѣлье тонкое и руки барскія“...

— Откуда вы все это такъ подробно знаете? спросила дѣвушка.

— А какъ же, помилуйте, господинъ исправникъ нарочито для этого письмоводителя своего, Никодима Дмитрича, къ Софрону Артемьичу прислали, такъ какъ они, въ Ковровѣ будучи, отъ Софрона Артемьича донесеніе получили объ этомъ самомъ, то-ись, про Валентина Алексѣича, а тутъ же, въ городъ вернувшись, отъ господина Брауна, Василія Иваныча, настоящее

услышали, который, въ присутствіи этого самаго Никодима Дмитрича, господину исправнику про все это до малости разсказалъ.

— А что же самъ Валентинъ Алексѣичъ?

— Только нынѣшнимъ утромъ пришли въ себя вполнѣ. А тутъ и докторъ Казиміръ Станиславичъ изъ Коврова тоже вернулись... Слава Творцу Небесному, живы и въ здравіи останутся. А теперь пока очень слабы, только въ полномъ умѣ, но говорятъ еще съ трудомъ. Изъ ихъ непространныхъ словъ такъ понять должно, что ихъ уже (Спиридонъ Иванычъ весь вздрогнулъ при этомъ,) забирало въ самую трясину, какъ вдругъ подхватило опять теченіе, только они ничего ужь этого не помнятъ, окромя того, что почувствовали, какъ во снѣ, сильный ударъ въ голову, а тутъ свѣтъ и совсѣмъ выкатился изъ ихъ глазъ. А Казиміръ Станиславичъ объясняютъ такъ, что ударило ихъ импетомъ въ этотъ самый корень и прошибло голову, — и даже, говоритъ этотъ самый докторъ, господинъ Подгурскій, что это къ ихъ спасенью произошло, потому кровь пошла, а что иначе, говорятъ, сотрясеніе бы мозга къ самому бы худому концу могло привести. А теперича онъ за нихъ ручается и...

Пинна Афанасьевна не дала ему кончить:

— Ну, и слава Богу, пусть живетъ себѣ, а главное, что мой Иванъ Николаичъ опять цвѣткомъ-піономъ разцвѣтетъ у меня... Она расхохоталась вдругъ зазвенѣвшимъ на весь лѣсъ хохотомъ:—поздравьте его, пожалуйста, Спиридонъ Иванычъ, я наконецъ совсѣмъ обѣщала ему выйти за него замужъ.

Учтивый конторщикъ поспѣшилъ снять шляпу:

— Имѣю честь искреннѣйше поздравить, Пинна Афанасьевна!...

— Принимаю, принимаю! продолжала она смѣяться.—Ну, вотъ и доѣхали!... Капитанъ!... Иванъ Николаичъ!...

Она затпрукала, осадила лошадку, обвела взглядомъ кругомъ.

Да, это было то самое мѣсто, гдѣ за часъ передъ тѣмъ происходило ея послѣднее объясненіе съ капитаномъ. Вотъ срубленный пень у самой воды, на которомъ сидѣлъ онъ,

когда она увидѣла его. Вотъ и его, потерявшая всякую форму, старая тирольская шляпа, какъ спала тогда съ его головы, такъ и лежитъ на травѣ... Но самъ онъ... Его нѣтъ... Гдѣ же онъ...

— Капитанъ, Иванъ Николаичъ! съ внезапнымъ, еще смутнымъ ужасомъ повторила она и разъ, и два, и три...

Отвѣта не было...

Она выскочила, кинувъ возжи, изъ своей *нетычанки*, подбѣжала къ водѣ.

Подъ ея отстоявшеюся, прозрачною поверхностью шли отъ берега далѣе въ глубь слѣды, еще ясно отпечатлѣвшихся въ твердомъ глинистомъ грунтѣ, мужскихъ каблуковъ.

Дѣвушка вскрикнула и опустилась въ изнеможеніи на траву. „Зачѣмъ?“ такъ и зазвенѣлъ въ ея ухѣ отвѣтъ капитана, когда она говорила ему просто, что „жить надо“...

Спиридонъ Иванычъ растерянно подбѣжалъ къ ней:

— Пинна Афанасьевна, что же это, Господи!...

Она схватилась обѣими руками за голову и залилась слезами.

— Иванъ Николаичъ, капитанъ! крикнулъ въ свою очередь конторщикъ прерывавшимся отъ перепуга голосомъ.

Но отвѣта не было... да и никакого отвѣта уже быть не могло. Лишь кукушка изъ пустынной чащи слала тоскливый откликъ свой на эти слезы и отчаянный зовъ, да стая воронокъ, пронзительно каркала, несясь поверхъ лѣсныхъ вершинъ, по направленію къ *Вѣдьмину Логу*.

КОНЕЦЪ.

Stanford University Libraries
3 6105 015 016 681

PG
3467
.M327
1885
v.3

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
DUE
SEP 1997
L. L. L.

Stanford University Libraries
Stanford, Ca.
94305